ISSN 0130–6545

8. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЮН МЭНЬ СЭНЬ. Дом на взморье.

Цветные иллюстрации номера — работы малайзийских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1985

Содержание

КЁКО ХАЯСИ — Встреча однокурсниц *(Рассказ. Перевод с японского Б. Раскина)* 3

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — Рассказы *(Перевод с испанского Ю. Грейдинга)* 14

ПЕТР ПАВЛИК — Река *(Повесть. Перевод с чешского Веры Петровой)* 40

«Как ты, ничем неукротим...». Из поэзии Канарских островов *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 125

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ — Тот кегельбан над Тибром *(Фрагменты книги. Перевод с итальянского Ф. М. Двин. Послесловие Паскуале Кессы. Окончание)* 131

Литературное наследие

СТЕФАН ЦВЕЙГ — Кристина Хофленер *(Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина. Продолжение)* 149

Критика

К. РЕХО — Суд памяти *(Хиросима и современная японская литература)* 192

С. ЧАКОВСКИЙ — Фолкнер в Москве 197

Литературные портреты

Н. ЛИТВИНЕЦ — Наш друг Отто Штайгер 204

Культура и современность

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ — В начале было слово 211

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Кто готовит апокалипсис 216

Антирубрика

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ — Рассказы *(Перевод с итальянского Николая Живаго)* 224

Говорят советские издатели

В. СЕДЫХ — Служить взаимопониманию народов 232

К нашим иллюстрациям

Б. ПАРНИКЕЛЬ — Лики Малайзии 235

Советская литература за рубежом 203, 234, 248

Среди книг

Издано в СССР

И. КИВЕЛЬ — Экспериментальное поле жизни *(Клаус Хёпке. Литература и жизнь. Классика и современность в восприятии читателя)* ✦ А. НАЛЕПИН — Дальний Запад без легенд *(Каньон. Американская проза о Дальнем Западе. Я связан добром с землей. Из современной литературы индейцев США)* ✦ М. ВОЛЬПЕ — Сага о трагическом времени *(Алекс Ла Гума. Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов. Время сорокопута)* 236

Издано за рубежом

Т. МОТЫЛЕВА — По заветам Петёфи *(Выводы и проекты)* ✦ ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО — Все смешалось в «Токайя Гранде» *(Жоржи Амаду. Токайя Гранде. Темная сторона)* ✦ А. ЗВЕРЕВ — Импровизаторы из Дельты *(Уильям Феррис. Блюзы Дельты. Местный колорит)* 242

Из месяца в месяц 249

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы малайзийских художников ЛАЙ ФЫН МОЙ «Малайская девушка» и ЭН КИМ ХОКА «Толчение риса».

© «Иностранная литература», 1985

КЁКО ХАЯСИ

Встреча однокурсниц

РАССКАЗ

Перевод с японского Б. РАСКИНА

Я как раз собиралась отправиться вместе с сыном в короткую поездку, дня на два, на три — не более, когда пришло приглашение на встречу однокурсниц. И я подумала: сначала съезжу куда-нибудь с сыном, а по возвращении решу — идти мне или отказаться. Встреча однокурсниц нашего женского колледжа была намечена на последнюю декаду сентября — почти через месяц.

На отпечатанном приглашении была приписка от руки: «Соберутся те, кто сейчас живет в Токио. Это первая встреча. Приходите непременно. Хама».

Мы окончили колледж в тысяча девятьсот сорок восьмом. С тех пор минуло десять лет. Наши дети уже выросли, и их можно теперь оставлять дома на полдня, а то и на день без присмотра. Честно говоря, я совсем позабыла, как выглядит Хама, и мне вдруг захотелось повидаться и с ней, и с остальными подругами. И все же я глядела на открытку и никак не могла решиться, что ответить.

Меня смущало еще и то, что встреча состоится в районе Акасака. Девяносто девять процентов моих однокурсниц, в том числе и я, пострадали от атомной бомбардировки Нагасаки. Поэтому район Акасака, славящийся различными увеселительными заведениями, казался мне не совсем подходящим местом для такой встречи, хотя мы и теперь не избегаем развлечений.

Поскольку мы встречаемся впервые, нам не избежать воспоминаний о наших подругах из трудовых отрядов, погибших от атомной бомбы. И развеселый район не очень подходил для этих печальных воспоминаний. Неужели Хама и остальные уже обо всем забыли? Ведь не так много времени минуло с того девятого августа.

Приятно повидаться с подругами — ведь мы не встречались более десяти лет. Но не только это. В еще большей степени мне хотелось проверить, как теперь себя чувствуют мои подруги и особенно

© Hayashi Kyoko, 1983

КЁКО ХАЯСИ (род. в 1930 г.)

Японская писательница. 9 августа 1945 г. Кёко Хаяси — студентка женского колледжа — стала жертвой атомной бомбы, сброшенной США на город Нагасаки. Литературной деятельностью К. Хаяси занялась в 1962 г., ее первые произведения публиковались в журнале «Бунгай сюто». Пережитое в Нагасаки — одна из главных тем ее творчества. В числе основных произведений К. Хаяси «Ритуал смерти» (1975 — повесть, за которую ей была присуждена премия Акутагава), «Стекло Нагасаки» (1978), «Помада Мишель» (1980), «Словно и не бывало» (1981) и др.

Рассказ «Встреча однокурсниц» впервые был опубликован в журнале «Бунгакукай» в сентябрьском номере 1977 г. Предлагаемый перевод выполнен по т. 3 серии «Японская атомная литература» (Токио, издательство «Хорупу», 1983).

как здоровье их детей — второго поколения пострадавших от атомной бомбы. А с тех пор как я родила Кэя, то, что случилось с нами тогда, стало для меня источником новых тревог. Вероятно, такие же мысли тревожили Хаму и ее подруг, задумавших эту встречу.

В последнее время я стала чувствовать себя хуже — как в первые дни после атомной бомбежки. Стоит подняться с постели, как тебя охватывает страшная слабость. И все время чуть повышенная температура — тридцать семь и четыре, тридцать семь и пять...

Говорят, воздействию радиации сильнее всего подвержена кровь. О том, что с кровью у меня не все в порядке, я узнала после медицинского обследования, которое проводят среди таких, как я, раз в полгода. Из районной поликлиники пришло извещение: «Результаты проверки вашего здоровья требуют более тщательного медицинского обследования». Извещение было вложено в конверт со специальной медицинской книжкой, выдаваемой пострадавшим от атомной бомбардировки. Я несколько раз пробежала глазами извещение, напрасно пытаясь отыскать в нем хотя бы одно обнадеживающее слово. Мне рассказывали, как некоторых моих однокашниц вот так же приглашали на осмотр и оставляли в больнице, откуда они уже не возвращались.

Когда никаких отклонений от нормы при осмотре не находят, из клиники присылают только медицинскую книжку с записью: «Аномалий не обнаружено». Всякий раз, когда оттуда приходило письмо, прежде чем вскрыть конверт, я ощупывала его. Убедившись, что, кроме книжки, ничего нет, я поспешно разрывала его и с облегчением читала: «Аномалий не обнаружено». И сразу охватывала такая радость, что не могла сдержать счастливого смеха. «Спасибо, спасибо!»— шептала я и склоняла голову.

Но вот теперь кроме книжки в конверте оказалось извещение. Прежде чем отправиться на осмотр, я сделала анализ крови в ближайшей клинике. Оказалось, что за десять дней белых кровяных шариков стало на пятьсот меньше. Результаты анализа меня не на шутку встревожили. Я быстро подсчитала: если каждые десять дней буду терять по пятьсот шариков, то через пятьдесят дней у меня их не останется вовсе. (До чего же я невежественна!) Значит, мне даровано еще пятьдесят дней жизни, подумала я и решила: пока еще в силах, возьму Кэя и отправлюсь с ним путешествовать. Вот уже пять лет я постоянно испытываю беспокойство: не передалась ли лучевая болезнь сыну?

Я пошла в детский сад, куда ходил Кэй, и предупредила воспитательницу — молодую монахиню — о том, что собираюсь с Кэем в поездку.

— Это прекрасно,— сказала она и, погладив Кэя по голове, добавила: — Не забывай только молиться.

Кэю не нравился этот детский сад, где приходилось каждый день становиться на колени на жесткий пол и молиться. Потому так велика была его радость, когда он узнал, что поедет со мною. «Поедем на курорт»,— воскликнул он, как только мы вышли за ворота детского сада. Его глаза радостно блестели. Не откладывая, я отправилась на ближайшую железнодорожную станцию и приобрела билеты на поезд до Сендая.

— С чего это ты вздумала ехать в Сендай? Скучный городишко...— удивился муж.

— Поэтому мы туда и поедем,— ответила я, сама еще толком не понимая, почему выбрала именно этот город.

Я не сознавала, отчего меня вдруг потянуло на север. Я ни разу в жизни не ездила севернее токийской станции Уэно, да и знакомых у нас в Сендае нет. Мне вообще не по душе сырой климат севера и снег — тоже. Наверно, потому, что я родилась на юге Японии. И все же меня почему-то тянуло на север.

Ранним сентябрьским утром мы сели на станции Уэно в поезд. Поставив на колени корзиночку с карамельками, шоколадом и сухим печеньем, Кэй помахал рукой провожавшему нас отцу.

— Слушайся маму! — крикнул он Кэю. Потом поглядел на меня и сказал: — А ты перестань нервничать понапрасну. Только себя изводишь.

Едва дождавшись, когда поезд тронется, Кэй запустил руку в корзиночку, выудил шоколадку в форме зонтика и начал сдирать с нее серебряную обертку.

В начале сентября солнце палит нещадно, кондиционера в вагоне не было и все окна были открыты. Кэй сидел по ходу поезда. Залетавший в окно ветер ерошил ему волосы.

Серебряная обертка никак не сдиралась с размякшего от жары шоколада, и Кэй протянул его мне.

— Мама, разверни!

— Да он весь растаял,— сказала я, хотела было протянуть руку, но остановилась.— Попробуй сам!

Кэй покорно склонил голову и, громко сопя, стал разворачивать обертку.

Когда поезд въезжал на железнодорожный мост, Кэй вставал и выглядывал из окна, чтобы посмотреть на реку. И я всякий раз поддерживала поднятое окно, опасаясь, как бы от тряски оно не упало вниз. У Кэя такая тоненькая шея, и воображение рисовало мне страшную картину: рама падает вниз, перерезает сыну шею и его голова катится в реку.

Когда поезд миновал первый длинный мост, перекинутый через каменистое русло реки, Кэй уже расправился с шоколадкой, взял со столика чайник с чаем, который отец купил на станции Уэно, снял с него фарфоровую крышку и стал наливать в нее чай.

Тем временем поезд вышел на прямой отрезок пути и прибавил скорость, отчего стало сильнее трясти. Стараясь приладиться к тряске, Кэй тоже покачивался из стороны в сторону. Чайник, который он держал в правой руке, подрагивал. Кэй пролил чай на колени и виновато поглядел на меня.

— Налей! — попросил он.

Я отрицательно покачала головой. Кэй недовольно засопел. Кое-как наполнив крышку чаем, он потянулся к ней губами. Я решила, что во время нашего путешествия предоставлю сыну больше свободы. Ничего, кроме пользы, от этого не будет.

Потом, оставив крышку, Кэй, словно осьминог, присосался к носику чайника и стал с присвистом пить. Я ударила его по руке. Не отрывая губ от носика, Кэй удивленно скосил на меня глаза.

— Нельзя,— сказала я, сердито глядя на сына.

Кэй обиженно втянул голову в плечи и смущенно засмеялся. Он поглядывал на меня снизу вверх, наблюдая за выражением моего лица. И я пожалела, что не сдержалась и ударила его. Почему, собственно, нельзя позволить ему вести себя так, как он хочет, когда я с ним рядом? Другое дело, когда меня не станет. Тогда он будет вынужден приспосабливаться к обстоятельствам, хочет он того или нет. А пока...

Я взяла чайник, плеснула в крышечку чаю и передала ее сыну. Он оживился и сразу стал прихлебывать. Напившись, протянул мне крышку. Я замахнулась на Кэя, но он понял, что это игра, быстро увернулся и засмеялся, широко раскрывая рот. Вот и хорошо, подумала я.

Через два часа поезд остановился у маленького станционного здания, увитого вьюнком. Там в наш вагон села женщина с мальчиком. Завидев рядом с нами два свободных места, мальчуган поглядел на Кэя и, радостно запрыгав, уселся рядом с ним.

Подражая мальчугану, Кэй приподнялся, подпрыгнул и шлепнулся на свое место. Его мать поглядела на меня и рассмеялась.

По-видимому, это были деревенские жители. Их лица и руки покрывал коричневый загар, мальчишка был острижен наголо, на голове виднелись следы от царапин. Я смотрела на эти царапины и думала: насколько он здоровее Кэя. Но ведь и у Кэя на голове есть царапины, и если его постричь так же, он будет выглядеть таким же крепышом и озорником, как этот мальчуган.

Ноги у мальчика толстые, с широкой костью. У Кэя же тоненькие, как спички. Потом я стала сравнивать: у кого из них шире грудь? Пожалуй, у Кэя. Напрасно я беспокоюсь, подумала я, не отрывая взгляда от груди Кэя, обтянутой рубашкой в красную и синюю полоску, Кэй физически развит не хуже, чем этот мальчуган.

— Тебе сколько? — спросила я у мальчика. Тот выставил один за другим четыре пальца и выкрикнул:

— Четыре!

И тут же Кэй раскрыл свою пятерню и сказал матери мальчугана:

— А мне пять!

— Надо говорить: «Мне пять лет»,— поправила его я.

— Молодец! — засмеялась женщина, по очереди разглядывая ребят.

Вскоре дети уснули. Задремала и женщина.

По мере того как мы удалялись на север, ветви деревьев за окном все более тянулись вверх, к небу. Не то что на юге, где-нибудь в Нагасаки. Там деревья раскидистые, с широкими кронами. Может, здесь, на севере, они так тянутся вверх, чтобы не обломиться под тяжестью снега? Своего рода мера предосторожности, самообороны, что ли... Должно быть, растения здесь выбирают наиболее подходящий способ существования, однако пейзаж с деревьями, не способными свободно расти вширь, навевает грусть.

После полудня поезд прибыл на станцию Сендай. Я растолкала дремавшего Кэя, и мы вышли на платформу. Пока я разыскивала выход, по станционному радио сообщили, что через несколько минут отправляется поезд в сторону Сиогамы и Мацусимы.

Не поехать ли в Мацусиму, подумала я,— ведь с самого начала у нас не было определенного маршрута. Правда, билеты приобретены только до Сендая, но это не страшно, приедем в Мацусиму и там доплатим.

Прислушиваясь к местному радио, я поспешила к другой платформе. Еще не вполне проснувшийся Кэй тащился за мной, стараясь не пролить чай из чайника.

Не успели мы сесть в последний вагон, как поезд тронулся. Кэй медленно шел по проходу. Двери тамбуров были открыты, и поезд просматривался насквозь. Осторожно миновав тряскую и лязгающую тормозную площадку, мы прошли в следующий вагон.

Солнце ярко светило, почти все окна были открыты, и внутри гулял свежий ветерок. Здесь небо не казалось тусклым и пышущим томительным жаром, как в Токио. Оно было темно-синим, и в воздухе веяло прохладой, как это бывает в начале осени. Кэй отыскал свободное место у окна и поспешно на него вскарабкался.

С той стороны, где мы сидели, виднелось море. Наверно, поэтому там было светлее, чем с противоположной стороны,— там мелькали улицы Сендая.

Меня почему-то обрадовало, что Кэй инстинктивно выбрал светлую сторону.

Поезд прибыл к мацусимской станции «Морской берег». Мне сказали, что если сойти здесь, то до залива можно добраться пешком.

— Выходим,— сказала я Кэю.

Сыну, должно быть, порядком надоело шесть часов трястись в поезде. Громко зевая, он взял корзиночку и лениво последовал за мной.

«Морской берег»... Для меня, городской жительницы, было что-то чарующее в этом названии. Словно очутилась где-то на краю земли. Выйдя на платформу, я полной грудью вдохнула морской воздух. По дороге шли туристы с бумажными сумками. Видимо, море в той стороне, куда идут эти люди, подумала я и, взяв Кэя за руку, пошла вслед за ними.

Посыпанная гравием дорога оборвалась, взору внезапно открылась морская ширь. Море было темно-синее. Вдоль него по плоскому побережью пролегало асфальтированное шоссе. Казалось, будто море возвышается над шоссе. Некоторое время я неотрывно глядела на морскую ширь, отделенную от меня лишь узкой лентой шоссе. Даже Кэй, который обычно при виде моря мчался к нему, здесь ухватил меня за руку и притих.

У причала покачивался прогулочный катер. По заливу гуляли большие волны. Их брызги, когда они разбивались о берег, достигали шоссе. В ожидании пассажиров матросы с прогулочного катера сидели на берегу и оживленно переговаривались. К нам подошел загорелый дочерна мужчина в белой рубашке и, показав на моторную лодку, предложил покататься вокруг острова.

— Скорость такая, что дух захватывает,— сказал он Кэю. Моторка была деревянная с подвесным мотором.

— Поедешь? — спросила я у Кэя, но тот, глядя, как мотает это суденышко на волнах, отрицательно покачал головой.

— Да это же совсем не страшно,— уговаривал мужчина Кэя.— Дорого не возьму.

Но Кэй наотрез отказался. Мы решили подняться на холм, откуда открывался замечательный вид на море. Кэй шел впереди, держа в одной руке корзинку, а другой рвал цветы, росшие у дороги. Чайника с ним не было. По-видимому, оставил в вагоне.

На вершине холма стояла беседка под тростниковой крышей. Беседка была ветхая. Вокруг нее росли кусты с лиловыми цветами. Оттого ли, что здесь часто дул сильный ветер, цветы склонили венчики к земле. Было четыре часа. Стараясь не помять цветы, я подошла к беседке и стала любоваться морем. Волнение в заливе не утихало, вокруг бесчисленных островков виднелась белая кайма пены. Казалось, будто море и острова то льнули друг к другу, то отталкивались, утверждая свою независимость.

Я глядела и не могла наглядеться на простиравшуюся насколько хватает глаз морскую ширь, на поросшие соснами острова. Белые гребешки волн виднелись и там, где узкая горловина залива соединялась с открытым морем. А еще далее, за заливом, вздымались океанские валы, разбивавшиеся о подошву горы Канкадзан.

Наверно, волны и напугали Кэя, отказавшегося от прогулки по заливу на моторной лодке. Раздумывая над этим, я и сама почувствовала страх сродни тому, какой испытывал сын. Я подумала, что этот страх можно обозначить коротким восклицанием «ах!», как в том стихотворении, которое, как говорят, сложил древний поэт.

Помнится, как-то наш школьный учитель прочитал на уроке это стихотворение вслух и пояснил: поэт не сумел выразить словами свое восхищение природой мацусимского залива и лишь воскликнул: «Ах!» Учитель не стал подробно разбирать это стихотворение и перешел к следующему.

Море, остров и небо, существующие тысячи лет и отвергающие друг друга, навевают чувство одиночества и даже печали. И если поэт к тому же во время путешествия испытывал недомогание, его взволнованность, которую он выразил в поэтической форме, могла

быть связана с предчувствием близящейся смерти. Вполне возможно, что я попыталась по-своему интерпретировать стихотворение, повинуясь собственному настроению, но ощущение печального одиночества, которое вызывала во мне вечная жизнь природы, казалось необыкновенным. Словно мне было дано понять, сколь коротка и быстротечна моя собственная жизнь. И я подумала: не глупо ли так убиваться из-за того, что мне уготована короткая жизнь?

Над мацусимским заливом заходило солнце.

Кэй грыз печенье, запивая апельсиновым соком, который я купила в лавке на прибрежной улице. За весь долгий путь от Уэно до Сендая он ничего не съел, кроме бэнто[1], и, должно быть, проголодался. Он жадно, словно мышонок, вгрызался в печенье.

— Правда, красиво? — спросила я, показывая на остров и море, окрасившиеся в пурпурный цвет. Кэй кивнул, продолжая хрустеть печеньем. Дувший с моря ветер временами заглушал этот хруст. Ветер взъерошил мою прическу, задирал юбку, но я не обращала на это внимания. Душой и телом я ощущала себя частичкой окружавшей меня природы. На меня снизошло спокойствие, и я подумала: нет нужды ни мечтать о чем-то, ни страдать. Кэй, грызший печенье, тоже казался мне частицей природы — здоровым мальчиком, таким же, как тот деревенский мальчуган.

Вернувшись после путешествия в нашу тесную квартиру, я вновь занялась подсчетом белых кровяных шариков. И снова стала цепляться за жизнь, позабыв об ощущении, охватившем меня перед лицом природы. Да, я опять была жертвой, пострадавшей от атомной бомбы. И Кэй снова принадлежал ко второму поколению пострадавших от нее. От этого никуда не уйти. Я подумала о том, что единственный выход освободиться от мрачного настроения — пойти на встречу однокурсниц. Там я узнаю, как живут и что чувствуют мои подруги.

Подстригая Кэю ногти, я заметила у него кровь на коленках.

— Откуда это? — спросила я, разглядывая следы крови.

— Из-за молитвы,— ответил он.

В детском саду, куда он ходил, каждое утро заставляли молиться Иисусу Христу, стоя на коленях. «И в наш смертный час...» Каждое утро Кэй возносил молитву Христу, не понимая ее смысла. С душевной болью слушала я, как Кэй произносил слово «смертный». Он же не понимал его значения и страдал лишь оттого, что приходилось стоять голыми коленками на полу.

— И у всех ребят на коленях кровь? — стараясь сохранить спокойствие, спросила я.— Значит, не только у тебя, у них тоже? — настойчиво повторяла я, вытирая кровь с коленок ватой, смоченной спиртом.

Встреча была назначена на три часа в субботу. В тот день с утра моросил мелкий дождь. Я вышла на балкон и протянула вперед руки. Через несколько минут в ладони набралась вода. Снизу поднимался густой туман, он превращался в капельки воды, которые стекали извилистыми ручейками по оконному стеклу.

Хотя я уже сообщила о своем согласии, но не была до конца уверена, что поеду на эту встречу. Вернет ли она мне душевное спокойствие, если узнаю, как чувствуют себя мои подруги? Вряд ли. Неважно, окажутся ли они здоровее, чем я, или, напротив, их состояние будет значительно хуже моего.

Муж советовал мне не пропускать встречу, пообещав присмотреть за Кэем.

— И путешествие, и ваша встреча — это прекрасно,— добавил он,— но все зависит от тебя самой, от твоего настроения. Последнее

[1] Завтрак в коробочке, который берут из дома или покупают в дороге. *(Здесь и далее прим. перев.)*

время Кэй то и дело поглядывает на тебя. Его, по-видимому, беспокоит твой вид.

Я надела новую кофточку, которую купила специально для этого случая, и вышла из дому. Доехав на электричке до станции Симбаси, взяла такси.

Дождь уже лил вовсю.

— Кажется, здесь,— сказал шофер, останавливая машину. Дорога вела вниз, и где-то там находился ресторан, в котором была назначена встреча.

Выйдя из машины, я дошла до угла, откуда начиналась довольно высокая бетонная ограда. Я пошла вдоль ограды и вскоре обнаружила в ней полуоткрытые железные ворота. Заглянула внутрь. Там был большой пустырь, в центре которого у костра сидели мужчины в рабочей одежде. Обломки досок, которые они кидали в костер, отсырели от дождя и шипели. Костер никак не разгорался, от него поднимался в небо белый дым. На почерневшем, обуглившемся обломке доски лежал сушеный кальмар — единственная закуска к двухлитровой бутыли сакэ, которую мужчины здесь распивали. Я хотела было спросить у них, как пройти к ресторану, но в последний момент не решилась — по виду они походили не то на бродяг, не то на безработных, да и бутыль на три четверти уже была пуста.

Я попыталась незаметно прошмыгнуть мимо ворот, но тут меня заметил мужчина, державший в руке белую чайную чашку.

— Эй! — окликнул он. У мужчины было маленькое, изборожденное морщинами лицо.— Эй! — повторил он и, видя, что я никак не реагирую, слегка покачиваясь, пошел в мою сторону.— Ты кого-нибудь ищешь? — спросил он.

Я остановилась.

— Знаю, знаю, куда тебе надо...— Он поднял руку с чашкой и указал на дом — тот самый ресторан, в котором должна была состояться наша встреча. Меня удивило, как мог знать этот совершенно незнакомый человек, что я направляюсь именно туда.

— Разве вам известно, куда мне надо? — спросила я и почувствовала, как все внутри у меня напряглось.

Почти все мои подруги из колледжа в свое время пострадали от атомной бомбежки. На их лицах, руках, ногах, на спине и груди остались следы от страшных ожогов. Десять лет тому назад, на церемонии по случаю окончания колледжа, я видела на их щеках и шеях рубцы.

Нелегко исчезают рубцы от ожогов, напоминающие гористую местность на рельефной карте. Не исключено, что выпивавшие на пустыре мужчины обратили внимание на странный вид проходивших мимо женщин. А может, всем нам присуще нечто такое, что отличает нас от других? Ведь у меня-то на лице, на руках и ногах ожогов нет. Может, глаза у нас невеселые? Молодая учительница, приехавшая на работу в наш колледж из Токио, говорила, что ее поразило, какие мы все мрачные — ни светлой улыбки, ни веселого смеха: «Чему же я буду учить этих девушек, лишенных мечты и надежд?.. Вот она, оказывается, какая — эта атомная бомба». Если мои однокурсницы и теперь производят такое же впечатление, немудрено, что мужчины обратили на них внимание. По-видимому, мужчина с чашкой в руке уловил и во мне что-то такое, что позволило ему, не спрашивая, сразу понять, куда я иду.

— Как вы догадались, что мне нужно в тот ресторан? — повторила я свой вопрос.

— Просто до вас проходили женщины вроде бы вашего возраста и спрашивали туда дорогу,— громко ответил он.

— Значит, дело только в возрасте? — обрадовалась я.

— Не только! Вы все словно одной меткой мечены,— сердито возразил он и пристально поглядел на меня. Я повернулась и быстро зашагала к ресторану.

Еще издали я услышала смех и громкие голоса, доносившиеся из-за задвинутых сёдзи [1].

В сопровождении служанки я поднялась наверх по плохо освещенной лестнице. Перегородки двух комнат были раздвинуты. В образовавшемся продолговатом зале вокруг столов сидели по меньшей мере пятьдесят моих однокурсниц. Когда я вошла, все, как по команде, повернулись в мою сторону. «Кто это, как зовут?» — послышался шепот.

— Ваше имя? — обратилась ко мне женщина, собиравшая деньги у входа. Я назвала свою девичью фамилию.

— А-а, добро пожаловать! А я Хама. Помнишь меня?

Так это та самая курносая Хама... Носила очки. Ну да! После атомной бомбежки у нее стали вылезать волосы. Милое, как у остриженного наголо мальчишки лицо и очки в черной оправе...

— Так ты и есть та Хама, у которой вылезли волосы? — воскликнула я, по школьной привычке сразу переходя на «ты».

— Она, она самая,— смущенно кивнула Хама и улыбнулась.— Садись на любое свободное место.

Я оглядела стол и обратила внимание на женщину с нездоровым цветом лица. Рядом с ней была девочка примерно того же возраста, что и Кэй. Только она одна привела с собой на встречу ребенка. Я подошла к ней.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она и притянула к себе девочку, чтобы освободить побольше места.

Теперь я могла внимательней разглядеть свою соседку. Худенькая женщина с приятным, даже красивым лицом, покатые плечи устало опущены. На бледном лице, не тронутом косметикой, выделялись черные и очень блестящие глаза. Так блестят глаза, когда у человека жар.

По-видимому, у нее здесь не было близких подруг. Никто с ней не заговаривал, и она, молча улыбаясь, прислушивалась к болтовне соседок по столу.

— В какой группе вы учились? — попыталась я завязать разговор.

— Вы имеете в виду — на третьем курсе? — переспросила она. Я кивнула, продолжая ее разглядывать.

Слова «третий курс» имели для всех нас особый смысл. В тот год сбросили атомную бомбу. Я назвала имя нашего классного руководителя. Женщина в раздумье склонила голову.

— Значит, вы учились в группе Б, а я — в Д,— наконец сказала она.

— А на каком заводе вы работали в трудотряде, когда сбросили атомную бомбу? — поинтересовалась я. Женщина замялась, потом поглядела на дочь, внимательно прислушивавшуюся к нашему разговору. Вроде бы просто так поглядела, но мне сразу же все стало понятно.

Я ведь тоже при Кэе старалась не упоминать такие слова, как «9 августа» или «атомная бомбардировка». По-видимому, и эта ссутулившаяся женщина не хотела, чтобы ее дочь услышала эти слова.

— Ваша девочка хорошо выглядит,— поспешила я переменить тему разговора.

— Вы так считаете? — обрадовалась женщина и, слегка отстранив от себя дочь, поглядела на нее долгим взглядом.— А как ваш ребенок?

— Благодарю вас, здоров,— ответила я.

— Это хорошо. А молочные зубы у него еще не выпадают?

Помню, когда Кэю исполнилось месяцев семь или восемь и я выходила гулять с ним на улицу, ко мне подходили незнакомые женщины и спрашивали: «Ну как, у вашего мальчугана уже прорезались зубки?» Ничего удивительного в этих вопросах нет. Но когда интересуются: не выпадают ли молочные зубы у пяти-шестилетнего мальчика — это по меньшей мере странно.

[1] Раздвижные перегородки в японском доме.

— Один выпал,— ответила я и почему-то сразу догадалась, что на самом деле эту женщину интересует совсем другое: не было ли кровотечения?..

Я вспомнила, как у меня и других девушек, страдавших от лучевой болезни, начинали кровоточить десны, как из малейшей ранки текла кровь и никак не могла остановиться. Значит, эта женщина боялась, как бы симптомы этой болезни не появились у ее дочери. Не потому ли и я пристрастно расспрашивала Кэя, отчего у него коленки в крови?

— А у вашей девочки выпадают зубы? — спросила я.

— Недавно вроде бы один стал шататься,— ответила она.

— Наши детишки не то что мы. Они вполне здоровы. У моего кровь остановилась сразу же после того, как выпал зуб,— успокоила я ее. Разговаривая с этой женщиной, я вспомнила слова мужа: «Поверь же ты наконец, что Кэй вполне здоровый мальчик». Так же, как и она, я очень нервничала, когда у Кэя стал шататься молочный зуб. Помнится, муж хотел привязать к этому зубу нитку, чтобы выдернуть его. Я тогда страшно рассердилась и сразу же отвела сына в больницу.

Хама хлопнула в ладоши и попросила тишины. Все умолкли и повернулись в ее сторону. Она, видимо, растерялась и, стараясь побороть смущение, крикнула:

— Ну как я смотрюсь, ничего?

Все дружно расхохотались.

— Красотка хоть куда! Поскорее начинай, а то есть хочется,— ответила одна из женщин.

Все разом развеселились. Там и сям послышался нагасакский говор — словно эти женщины снова превратились в четырнадцати-пятнадцатилетних школьниц.

Минувших десяти лет как не бывало, и начался такой шум, будто эти женщины сидели не в ресторане, а в классной комнате во время переменки в дождливый день.

Моя соседка по столу ни с кем в разговор не вступала. Она лишь улыбалась, крепко сжимая руку дочери. Когда приносили очередное блюдо, она брала кусочек палочками для еды, пробовала, но по-настоящему не ела.

— Вам не нравится эта пища? — спросила я.

— Нравится, но к концу лета у меня почему-то пропадает аппетит,— ответила она извиняющимся тоном.

— Не расстраивайтесь, в октябре снова появится,— сказала я.

Хотя не было еще и четырех часов, в ресторане словно наступили сумерки,— может, из-за дождливой погоды.

По-видимому, Хама была осведомлена о порядках, существующих в этом ресторане. Она сама подошла к выключателю и включила свет. В ярком электрическом свете стали отчетливо видны лица пировавших женщин, кучки рыбьих голов и костей на столах. Всем им было под тридцать. Готовясь к встрече, они основательно подкрасились: на слой крема была наложена пудра, губы подведены помадой, волосы аккуратно уложены. Под пудрой следы от ожогов были почти не видны.

Хама вновь попросила тишины.

— А сейчас по нашей просьбе покажут свое искусство лучшие гейши Акасаки,— сообщила она.

Свет в зале погас, на стене вспыхнул голубой овал, и в нем появилась гейша в дорожном кимоно.

— Как красиво! — воскликнула дочурка моей соседки и радостно захлопала в ладоши.

Начался танец странствующей гейши. Из-под подоткнутого кимоно виднелись короткие белые панталоны, едва доходившие до ко-

лен. Панталоны были чересчур узки и там, где они кончались, вздулась полоска кожи, покрытая слоем белил.

Гейша в световом овале улыбнулась и слегка наклонила голову, приветствуя зрителей.

— Хороша, не правда ли? — Хама захлопала в ладоши, призывая остальных последовать ее примеру. И мы стали аплодировать. Голубой овал сменился розовым, включили проигрыватель, зазвучала музыка, и гейша начала танец.

Танцевала она из рук вон плохо. Лишь девчушка без конца повторяла: «Как красиво!»

— Она ни разу в жизни не видела танцев в исполнении действительно первоклассных гейш,— сказала ее мать, словно извиняясь за дочурку.

Все это смахивало на концерт провинциальных актеров в деревенском балагане.

Моя соседка больше не смотрела на гейшу. Она внимательно разглядывала весело болтавших подруг. Я подумала, что она пришла сюда с тайной надеждой угадать скрытые под слоем косметики признаки «атомной болезни». Ведь и я надеялась найти здесь женщин, страдающих сильнее, чем я, и нуждающихся в «тщательном обследовании».

Моя соседка, видимо, хотела уловить в поведении своих бывших однокурсниц хотя бы малейшие признаки пережитой ими трагедии. Однако все они, казалось, схоронили в прошлом события девятого августа. Мало того, никто даже не вспомнил о тех, кто умер от лучевой болезни.

Женщина взяла на руки веселившуюся дочурку и что-то сказала ей на ухо. Девочка слушала ее, втянув голову в плечи, словно ей было щекотно. Потом громко сказала:

— Не хочу!

— Пойдем домой! — на этот раз уже громко приказала мать и спустила девочку с колен.

— Уже уходите? — удивилась я.

— Да.

— Жаль, хотелось бы еще поговорить с вами.

Женщина неопределенно улыбнулась.

— Вы не против, если я как-нибудь загляну к вам? — спросила я.

— Меня трудно застать дома.

Мы и не заметили, как подошла Хама.

— Уходите? — удивилась она.

— Да, скоро должен вернуться муж,— ответила женщина, потом обернулась ко мне и сказала: — До свидания.

— Очень бы хотелось вас посетить,— повторила я, но женщина, ничего не сказав в ответ, пошла к двери. Может, я не расслышала.

— Не следует заходить к ней домой,— шепнула Хама.

— Это почему?

— Видишь ли, она и сюда пришла тайком от мужа.

Оказывается, еще во время смотрин ее будущий муж говорил, что он никогда бы не взял себе в жены девушку, пострадавшую от атомной бомбы. И женщина скрыла от него правду.

— А уж после того, как они поженились, ей еще труднее стало признаться. Она попросила нас больше не присылать ей приглашений,— заключила Хама.

— Какая глупость! Ведь у них есть ребенок! — возмутилась я.

Хама усмехнулась, потом сказала:

— А от меня муж ушел.

Было уже пять часов, когда гейша закончила танец. Стало слышно, как шумит дождь на улице, капли которого барабанили по крыше. Хама поблагодарила всех, кто счел возможным прийти на встречу.

— Может, есть желание продолжить? — спросила она.

— Да, да, пойдемте в бар,— послышались голоса.

Женщины, отправлявшиеся в бар, тесной кучкой двинулись вниз по дороге. Они шли по двое, по трое под одним зонтом, дружно перескакивая через лужи. Та, что сидела за столом со мной рядом, уже добралась, наверно, до дома. Как бы девочка, прислушивавшаяся к разговору взрослых, не сказала отцу чего лишнего.

Я остановилась у двери, провожая взглядом своих однокурсниц. Вскоре появилась Хама. Она задержалась, чтобы расплатиться с хозяином ресторана.

— Может, пойдешь вместе с нами? — спросила она.

Я отказалась.

— Ну как хочешь.— Хама не настаивала. Она раскрыла зонтик и поспешила вслед за остальными. Потом остановилась под фонарем, помахала сверху вниз зонтом в красный горошек, давая мне знак подождать, и вернулась.

— Встретимся в будущем году. Встретимся, если будем живы...— прошептала она, и лицо ее сразу погрустнело.

Подобных слов я от Хамы не ожидала и не нашлась что ей ответить. Они болью отозвались в моем сердце, и я ощутила ту же тоску, какую навеяла на меня природа Мацусимы. Только еще более острую.

— Да-да! Обязательно встретимся,— пробормотала наконец я и пошла прочь.

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман МИХАИЛА АНЧАРОВА «Самшитовый лес». Издательство «Народна култура».

Стихи ИВАНА ДРАЧА. То же издательство.

Повести и рассказы ВИТАЛИЯ ЗАКРУТКИНА. «Партиздат».

Книга НАТАЛИИ ИЛЬИНОЙ «Судьбы». Издательство «Народна култура».

Повесть ДИНЫ КАЛИНОВСКОЙ «О, суббота!» Издательство «Христо Г. Данов».

Повесть ИВАНА КАТАЕВА «Сердце». Издательство «Народна култура».

«Повесть о Зое и Шуре» ЛЮБОВИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ. Издательство «Народна младеж».

Роман АЛЕКСАНДРА КРОНА «Бессонница». Издательство «Народна култура».

Рассказы ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Старые книги. На зимней дороге». То же издательство.

Книга НИКОЛАЯ ФЕДОРЕНКО «Море и берега». Издательство «Народна младеж».

ВЬЕТНАМ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Ван хок».

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Горячий снег». Издательство «Куан дой нян зан».

Сборник стихотворений АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Так фам мой».

Повесть АЛЕКСАНДРА ГРИНА «Алые паруса». Издательство «Ким Донг».

Очерки ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА «Районные будни». Издательство «Так фам мой».

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

Рассказы

■

Перевод с испанского Ю. ГРЕЙДИНГА

Ближний берег

1

Уж не знаю почему, но, когда я выяснил, что предки отправились в Карраско[1] проститься со мной, и особенно когда на пути к самолету я, взглянув наверх, увидел их вместе и в то же время раздельно — машут мне руками, мать прижимает пальцы к очкам, явно сдерживая выступившую слезищу, я и сам, черт побери, стал тереть глаз свободной рукой,— ну, в общем, как только я заметил их стоящими там друг возле друга — эту пару, непостижимую, каковой всегда была, разобщенную, вероятно, из-за меня,— внезапно всплыло далекое воспоминание, настолько давнее, что вначале усомнился, мое ли оно, однако оно мое, а потому в самолете, после, то есть сейчас, сидя в девятом ряду (где запасный выход, где удобнее для ног, длинных, которыми господь бог меня одарил), я возвращаюсь к тому воспоминанию, восстанавливая в памяти подробности, пока не воссоздаю все полностью и не решаю пометками о давнишнем эпизоде начать записную книжку — по всей вероятности, ее никто и никогда не прочтет, а то и прочтет.

Итак, семья обедала, точнее, обедали взрослые: мой старикан и старушка (в ту пору они не были так уж стары), дед, дядя, похоже еще кто-то,— тогда как я, четырех или пяти лет, обновлял недавно подаренный трехколесный велосипед, выезжая в сад и возвращаясь в дом, отчаянно «бибикая», по моему разумению совсем как междугородный автобус; старикан делал мне знаки, чтобы я не устраивал тарарам, но внимания на него я не обращал. Вдруг он поднялся и, прервав лучшее из моих «биби», схватил меня за ухо, да так, что я аж созвездие Ориона узрел, хотя еще не знал его названия. В те времена я не был мстительным и сейчас не такой. Кто может разгадать, что во

[1] Международный аэропорт близ г. Монтевидео. *(Здесь и далее прим. перев.)*

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — MARIO BENEDETTI (род. в 1920 г.)

Уругвайский писатель, литературовед. Автор нескольких книг стихов, сборников рассказов, пьес, повести «Кто из нас» («Quien de nosotros», 1953), романов «Передышка» («La tregua», 1960), «День рождения Хуана Анхеля» («El cumpleaños de Juan Ángel», 1971), литературоведческих работ и др. произведений.

В «Иностранной литературе», впервые познакомившей читателей с творчеством М. Бенедетти, напечатаны роман «Спасибо за огонек» (1969, № 8—9), несколько рассказов (1980, № 3).

Публикуемые рассказы взяты из книги «Все рассказы Марио Бенедетти» («Todos los cuentos de Mario Benedetti», La Habana, Casa de las Américas, 1980).

мне взыграло — эмоциональный порыв или спортивный дух, только я, хладнокровно оставив велосипед в дверях, вскарабкался на стул поближе к дяде и выдал отцу неожиданное свидетельство очевидца: «Вчера вечером я подсмотрел, как ты и Кларита под столом ногами прижимались». Мама широко-широко открыла глаза, никогда их не забуду; старикан сжал губы и посмотрел на меня с ужасающим самоотречением. Будто антихрист какой-нибудь, возглашающий: «Не допускайте детей ко мне», а может, просто подумал: «Мерзкий карапуз»,— кто его знает. Во всяком случае, с этой минуты отец и мать месяца три не разговаривали. Мать громко советовала мне: «Скажи своему отцу, чтобы оставил деньги тебе на молоко». Старикан откликался на иной лад: «Скажи своей матери, что сегодня я ужинать не приду». Само собой, Кларита уже не появлялась в доме, нашем милом отчем доме. Конечно, как осмеливаюсь считать теперь, моему старикану очень нравилась эта красотка (лет на десять моложе его и лет на пять — мамы), стройная блондинка с глазами цвета портулака, лицо ее — лишь присниться может в прекрасном, но не кошмарном сне, а как умиротворенно она умела смотреть, руки ее изящные, мягкие, с голубоватыми прожилочками, едва заметными, тем не менее их замечали все, в том числе такой дурень пяти (или шести?) лет, как нижеподписавшийся. Ведь действительно нужно быть круглым дураком, чтобы испакостить жизнь бедному старикану какой-то дурацкой фразой. А кроме того, по-моему, и Кларите он нравился. Все дело в том, что она до спазмов в желудке боялась мамы, которая сразу же ее невзлюбила. Не сказал бы, что это была ревность подозрительной супруги. Скорее вполне осознанное чувство ненависти, разгоравшееся медленно и неукротимо.

Стюардесса подходит ко мне с традиционной кока-колой, а я весь погружен в угрызения совести. Никто уж не спасет меня от мысли, что той проклятой фразой я навсегда отравил жизнь отцу. Он и раньше не ладил с мамой. Вернее, никогда у них не ладилось. И никогда я не видывал столь разных и столь разочарованных друг в друге людей. Старикан — неизменно впечатлительный, пылкий, правда, по-моему, чересчур робкий, к тому же интеллигент, каким может быть почти инженер (что не так уж много, зато интеллигентности у него несколько больше, чем у инженера). Вечно он был завзятым читателем-книголюбом, любит живопись и музыку и, к счастью, не полагает, как некоторые его почти коллеги, что жизнь — это логарифм. А вот мама, наоборот, человек довольно упрямый (если обойтись без субъективности, что вообще-то недопустимо для любящего сына, пришлось бы сказать, что она упряма как мул), чувства ее засушены (ее волнуют только собственные беды и никогда чужие), она гордится своим энциклопедическим невежеством, не переваривает ни книг, ни вообще искусства, зато знает домашнюю работу, хорошая в душе (только без глубокого бурения до души не доберешься), склонна чаще к упрекам, чем к терпимости,— словом, не сахар. Думаю, что подлинному освобождению (как говорят еще — второй независимости) старикана помешали две причины: а) мои изыскания в подстолье, погубившие в зародыше многообещающую связь, и б) неизлечимый католицизм моего родителя, исключавший возможность развода, который стал бы для него спасением и освобождением. По моим смутным воспоминаниям, Кларита была веселой, очаровательной, настолько симпатичной, что даже меня покорила. Не раз я подумывал в свои нынешние семнадцать лет (между прочим, достойно отпразднованные в тюремной камере): как было бы приятно встретить — не Клариту, разумеется, ведь теперь она, если еще жива, должна быть старушенцией лет тридцати восьми,— а такую же вострушку, какой была Кларита, когда прижимала под столом свои точеные ножки к брюкам старикана.

2

Происшедшее в эти последние месяцы — среди немногого другого,— вероятно, посодействовало сближению моих родителей. Короче: я оказался за решеткой. Потому они и выглядели в аэропорту изрядно взволнованными — наконец-то им удалось отправить меня в Буэнос-Айрес. Понимаю, для них спокойнее. Для меня тоже. Вторую тюрьму я и в кино не хотел бы видеть. Отныне и впредь кинофильмы для меня делятся на две категории: в одних — есть тюрьмы, в других — нет. Предпочитаю смотреть только вторые. До смерти осточертели мне тюрьмы, пусть всего за 34 дня. Исчерпал, как говорится, тему. А вот вам (кому это «вам»?) нет надобности строить иллюзии, принимая меня за молодого революционера, борца за правое дело, за какую-то выдающуюся личность подобного рода, я обязан пояснить, что попался не из-за политической деятельности, а по недомыслию. Горько признаться, но это чистая правда: попался по недомыслию. Каюсь, соваться в политику — не мое дело. В моем классе были ребята, которые не совались в политику, потому что им нравилось учиться, а политика отнимает много времени, это точно. Что же касается меня, то учебой я не увлекался и не увлекаюсь. Кем угодно меня можно назвать, только не зубрилой. Так что в классе я представлял собой единственный экземпляр вымирающего вида — тех, которым не по нутру ни учеба, ни политика. И все же не был пропащим: всегда переходил в следующий класс, значит, строго необходимое выучивал. Даже сказал бы, мне хватает послушать учителя, когда он зудит в классе,— и все. Голова у меня такая, что факты, даты, формулы, имена неизгладимо застревают в ней. Но и не думайте, что я безразличен к политике. Вот уж нет. Если я против математики, так почему же мне не быть против фашизма? Не люблю, когда меня толкают, тем более автоматом. Это ясно. Что мне не нравится в политике, так это бесконечные дискуссии, голосования уже перед рассветом и особенно самокритика, она напоминает мне давние и неприятные времена, когда приходилось исповедоваться — вот это мне совсем не по вкусу. И не потому, что было или сейчас нужно что-то скрывать. Никогда не было за мной серьезной вины, требовавшей бы исповеди или самокритики. Наверное, потому и не выношу их. Может, завидую немного тем типам, которые расписывают свои смертные грехи потрясенному священнику или голосят о своих мелкобуржуазных пережитках на студенческих собраниях. Однако (повторяю) я попался не из-за чего-нибудь, а по недомыслию. В четверг 22-го отмечался год со дня смерти Мерседитас Помбо,— может быть, видели это имя а газетах (не в Монте, конечно, а в Байресе [1]), девушка что надо,— которая умерла у них под пытками. Говорят, ее подвергли пытке в сухой «субмарине»[2], а у нее была астма... Так вот, идея стала созревать понемногу (первым ее высказал Эдуардо), и наконец программа прояснилась: в четверг каждый должен прийти с красной розой и положить ее на учительский стол. Об операции договорились в полной тайне. Поскольку я был так далек от политики, мне сообщили последнему. Но я все равно сказал «да». Раз нет бесконечных собраний, голосований на рассвете и самокритики, я всегда с ними. Кроме того, затея с красной розой мне понравилась. Я им сказал: «Это вызов поэтический, вызов не без выдумки». И принес розу, которую, само собой, стибрил в соседнем саду, принадлежащем одному отлею, иначе говоря (для непосвященных) — отставному лейтенанту. Каждый пришел с розой и положил на стол. Ни один не сдрейфил. Тогда нас всех вывели во двор лицея и поставили к стене. Нет у них поэтического чувства, что поделаешь. Потом нагрянули мундиры, и опять тот же вопрос: кто приду-

[1] Разговорные сокращения: Монтевидео, Буэнос-Айрес.

[2] «Субмарина», «пикана» — орудия пыток, применявшиеся в тюрьмах уругвайской военной хунты.

мал? Все знали, что Эдуардо, но никто ничего не сказал. Прекрасно было молчание. Начали вызывать по пять человек и допрашивать в канцелярии. Вот там-то я и сглупил. В своей группе я был первым из пяти. Тип спросил, не знаю ли я, кто это придумал. И я бухнул, что про свою розу придумал я, но не знаю, кто придумал про остальные розы. Мне показалось, что эта глупость — верх изобретательности. Не тут-то было. Второй тоже сказал, что он придумал про свою розу, но не знает, кто придумал про другие розы. Остальные трое сказали то же самое. Не знаю как, только о нашей уловке быстро стало известно во дворе, и, когда вошел следующий квинтет, все пять ответов были одинаковы, так и пошло. Усталость начала подрывать твердость молчавших в течение первого получаса, некоторые ребята, не стесняясь, уже подавали мне знаки одобрения, приветствовали меня, чуть не аплодировали. К героям я не отношусь, но должен признаться, что мне это понравилось. Все оказалось легко. Не знаю, как мне идея взбрела в голову, а результат был неплох. Тем не менее мундиры меня засекли: я же первым давал объяснение. Должно быть, они подумали, что я вожак или что-то в этом роде. Снова вызвали меня. «Так это ты все задумал?» — сказал мне один с тонкими усиками, у которого еще отвратительная экзема под глазом. Я пустился в объяснения: мне просто захотелось принести розу училке, потому как она очень добрая и очень хорошо растолковывает предмет — речь-то идет о математике. Называют подобное ложью во спасение — у этой мымры я ни фига не понимал и к тому же терпеть ее не мог, не потому, что она противная, а потому что математичка. Но тип не только не проявил интереса к моим блестящим высказываниям, но двинул меня по правой скуле, которая тут же выпятилась на первый план. Наверняка это послужило бы росту моего престижа во дворе, но случая покрасоваться не представилось. Двое из вопрошальщиков схватили меня за руки и потащили из канцелярии. Засунули в арестантскую машину, а на ней увезли в полицию. Попытался было я сослаться на то, что я несовершеннолетний, потому... удар в почки... это противозаконно... ногой по щиколотке... Следовательно, отказываюсь от темы несовершеннолетия. Меня запихнули в камеру, где от вони голова кружилась. За месяц, что там я пробыл, вызывали много раз — и только для битья. Вопросов почти не задавали, просто колотили. Ни «пиканы» тебе, ни «субмарины» — так, тумаки и пинки. Что называется, попал в привилегированные. Свой статус я оценил, присутствуя на сеансах «пиканы» и «субмарины». Наверное, меня приводили, чтобы устрашить. Действительно, было страшно, да и кого не испугает такое. Те, кого пытали, не были несовершеннолетними, как я, но и ветеранами не были. Одного старика — не знаю, седой он или нет, но мускулы дряблые, как у тех, кому за тридцать четыре,— всегда приводили под капюшоном. Как держался этот старик! Те, кто помоложе, ничего не говорили, ни в чем не признавались, не называли имен и фамилий, чего хотели выведать у них палачи, но когда их начинали пытать, они орали будто оглашенные. А старик не доставлял палачам даже такого удовольствия. Я так и не узнал его голоса, низкий он или высокий. Старик лишь сжимал кулаки и — привет. Когда сеанс заканчивался, а длился он иногда часами, старик сознания не терял, выходил сам. Один парень впал в беспамятство и в этом состоянии, похоже, остался. Такое палачей приводит в бешенство. Худшее, что может им подстроить арестованный,— это испустить дух. Тотчас же вызывают врача воскрешать. И доктор, сукин сын (тот самый, который говорит, до какого предела можно пытать, чтобы человек не отдал концы), делает все возможное, но иногда покойники упрямы, и никому не удается убедить их дышать снова. Тогда палачи обвиняют врача, а тот в ответ ни звука, он-то понимает, что они способны пытать и его. Тем временем на лишившегося чувств льют воду, хлопают его по щекам, это единственный случай, когда палачи, видимо, ставят на жизнь. Но не-

которые из подвергнутых пыткам подводят — умирают. В таком случае разгорается перебранка. Однажды двое сцепились. Я уж думал, собираются применить «пикану» друг к другу, но до этого, понятно, не дошло. Меня держали в капюшоне, снимали, только когда заставляли быть зрителем. Несколько раз меня рвало, один раз — на штаны полицейскому. Не нарочно, но неплохо получилось. Ну, ясно, в тот вечер меня исколошматили, как боксерскую грушу; думал, будут пытать — не дошло. Видно, у них инструкция: несовершеннолетним — только кулаки и пинки. Как-то я смог переговорить с двоими из соседней камеры. Я был один в своей, крошечной и вонючей, а у них камера побольше и, естественно, больше пахло дерьмом. Там их было вроде трое: студент, банковский чиновник и рабочий. Когда они немного приходили в себя и начинали нормально дышать, тотчас же принимались спорить, только и слышно было: очаг выступления, партия, мелкобуржуазные отклонения, извращения, ревизионизм, и-и-и понесло... Ну, точно на собраниях в лицее. Иногда так яростно спорили, что крики слышались по всему этажу. Я ни черта не понимал, да и сейчас не понимаю. Палачи пытали всех троих одинаково. Значит, в глазах тюремщиков все трое — одно и то же: народ. У тюремщиков подход действительно единый.

Месяц просидел. Без посещений. Только смену белья получил. Никаких книг. Был момент, когда я испугался: вдруг мне принесут учебник математики в виде дополнительной пытки. Но и этого не случилось. От пинка до пинка, от одной оплеухи до другой я в скуке замыкался, как устрица. Само собой, лучше поскучать, чем страдать от боли в печени или в паху. Однажды показалось, что мне сломали ногу, но через неделю опухоль спала. Сначала еще задавали вопросы, а потом тузили не спрашивая. Все же должен признать: по недомыслию я попался, по недомыслию, думаю, и вышел. По меньшей мере была последовательность: твердил до конца первоначальную поэтическую версию о розе. Не думаю, что они поверили. Зато наверняка посчитали, что я чокнутый, не от мира сего. А может, сыграла роль беседа, которую имел мой родитель с одним отполом (для несведущих: отставным полковником), с которым познакомился еще давно, в Пайсанду́. Хотя это сомнительно, тем более что сам полковник теперь за решеткой, вряд ли у него была рука. А вдруг он — подрывной элемент, а? После того как я узнал, что падре Баррьентоса посадили, обнаружив у него в ризнице тайник кое с чем, ничто меня уже не удивит. Недаром ему так нравилась Песнь Песней. Уж он-то наверняка сел не по недомыслию.

В общем, как-то утром с меня сняли капюшон, отпустили пару шуточек, которые я принял с разумным недоверием, вернули шариковую ручку, пакет с пилюлями, бумажник и пояс — все, что было отнято в первый день. Зато никто не упомянул золотые часы, подарок деда. Собрался было с невинным видом потребовать их, но молниеносный взгляд спас меня от промаха: часы сверкали на мускулистой руке, выписывающей мне пропуск.

3

Если откровенно, то Буэнос-Айрес мне нравится. И вовсе не по сравнению с тюрягой. После нее-то, разумеется, все что угодно выглядит прекрасным. И все же думаю, что город понравился бы меньше, будь я туристом. Какие площади, о! Какие деревья, о! Какие универсальные магазины, о! (произношу «о!», подражая моей матушке). Люди, пожалуй, слишком спешат, но все же они мне по душе. Какие рекламы, о! Какое метро, о! Какие девушки, о! Никогда не видел столь элегантно одетых женщин. Впрочем, я и не выползал до сих пор за пределы серебряной чашечки[1]. Ишь как оригинально выражались

[1] Подразумевается устье рек Парана и Уругвай, образующих залив де Ла-Плата (Серебряная), на левом берегу которого расположен город Монтевидео.

наши предки: серебряная чашечка! Теперь — жестяная плевательница, но ведь и об этом не стоит кричать на всех углах. В Байресе автобусы, о! Нет пляжей, ай! Это действительно жалко. Все же мне нравится город. Единственное неудобство — «обмен выстрелами», но когда слышится перестук автоматов, я укрываюсь в пассаже. Здесь всегда найдется какой-нибудь пассаж поблизости. Везет же людям! Вчера видел, как проезжала президентша. Она сидела прямо, словно манекен. Почему-то, когда думаю о манекенах, вспоминаются рассказы отца о манекенах фирмы «Спера». Это мужская портновская фирма, там, в Монте, на улице Саранди, рядом с кафедральным собором. Помнится, там стояли старые-престарые манекены, и мой отец говорит, что, хоть им и делали молодые лица, сразу было понятно, что они современники президента Виеры или негра Градина [1], приезда ансамблей «Плюс ультра» или Оксфордской труппы на заре своего становления. Отец говорил, что к тому же ни один костюм на них не сидел — казалось, будто на толстый манекен напялили пиджак с худого манекена и наоборот. Так вот, президентша была похожа на манекен, только не фирмы «Спера», а Кристиана Диора.

Обхожу город. Все улицы новы для меня. Иногда сажусь в метро на первой попавшейся станции. Решаю, например: еду до первой станции на букву В, и тогда я застреваю, потому что доезжаю до конечной — «Лакрозе» — и не попадается ни одной, чтобы начиналась на В. А у станции «Лакрозе» смотреть не на что. Набираюсь опыта и в следующий раз решаю: еду до первой на К, ведь эта буква чаще встречается, пересаживаюсь на другую линию и схожу у «Конгресо», это здорово, потому что выныриваю из глубин подземки и оказываюсь в оживленнейшем центре, полном магазинов и людей, вот это мне по вкусу, и я иду по авениде Кальяо, рассматривая витрины и девушек, однако не торопясь с выбором, потому что и то и другое требует монет, а я на мели, ну, есть мелочишка, которую дали мне предки в аэропорту Карраско, я их понимаю, ведь старикан не получил жалованья (сообщаю, что инженеры получают гонорары, а почти инженеры — всего лишь жалованье), и матери пришлось просить на мой билет взаймы у дяди Фелипе. Кроме того, мне пришлось несколько дней искать дешевые харчевни, потому что бродишь-бродишь, отчаиваешься и вдруг видишь: выставлено всякое дрянцо, и думаешь — здесь, но это вовсе не дрянцо, потому что тут бывают иногда знаменитости, Палито Ортега или Леонардо Фавио, и у завсегдатаев здесь вытрясают кошельки, и поделом, потому что сбегаются сюда не за бифштексом или колбасой, а за автографом или сплетней, поэтому жаловаться не приходится. Так что иду я спокойно по Кальяо еще потому, что, идя прямо и поворачивая сначала направо, потом налево, я открыл одну «Пиццерию», скорее «Антисанитарию», в ней действительно царит антисанитария, сюда ходят не знаменитости, а только навеки безвестные или продавщицы в халатах апельсинового цвета с коричневым воротником, или разные чиновники, которые, пока едят, занимаются своими бумагами, да и пицца, само собой, не такая, как в «Капри» (или же в американских фильмах, действие которых развертывается на Капри), наверное, поэтому я и отрыгиваю ее до следующего завтрака. Не сравнить с пиццами «Тасенде» там, в Монте, которые мы пожирали нашей компанией после уроков, отшагав тридцать кварталов, чтобы сэкономить на троллейбусе.

Все же не дохожу до пиццерии, потому что, перейдя Кангажо на красный свет (у каждого свои принципы), слышу собственное имя, произнесенное надтреснутым женским голосом. Сеньора де Акунья, экс-ближайшая подруга моей матери, во всяком случае остающаяся подругой, не ближайшей; она проездом в «этом дивном городе», куда

[1] Фелисиано Виера — президент Уругвая в 1915—1919 гг. Исабелино Градин — уругвайский спортсмен, одержавший победу на южноамериканском чемпионате по легкой атлетике в 1919 г.

прибыла за кое-какими покупками, пользуясь выгодным обменным курсом валют, «пока грабители не разберутся и не изменят его опять». Она с супругом и дочерьми, одна из которых моего возраста, а другая — своего. Та, что моего возраста, родилась в городе Либра, как и я, только она — глупое исключение, подтверждающее умное правило. У мужа, сеньора Акуньи, измученное лицо, и он изо всех сил старается почаще хныкать, чтобы законная супруга оценила его жертву. Я говорю «законная супруга», потому что знаю и его тайную любовницу, и он знает, что я знаю: однажды я видел, как они конспиративно-комически входили в скромную меблирашку на улице Ривера, а тайная была недурна, ветеран не дурак, значит, дочка не в него. Так что, когда сеньора де Акунья сказала, что они меня не отпустят и я должен с ними поужинать, а заодно рассказать всю историю моих тюрем (неведомо мне, почему почтеннейшая употребляет множественное число), я согласился, потому что раз сеньор Акунья знает, что я знаю, он не будет скупиться, глядя в меню. Дочка не моего, а своего возраста, которую, как я уловил сейчас, зовут Соней, все время улыбается мне, а я не люблю, когда мне улыбаются, потому что краснею, а это нехорошо, так что я уставился на ту, которая моего возраста, глупа как пробка и зовется Доритой: раз меня от нее тошнит — не миновать трупной бледности, необходимой для компенсации огненного смущения от постоянной улыбки Сони. Так что, смотря попеременно то на одну, то на другую, добиваюсь, чтобы мои щеки, нос и лоб обрели естественный цвет, который, как я только объяснил, тщательно мною сфабрикован. Сеньор Акунья пристает с тюрьмами, и я скромно объясняю, что была всего одна и я не собираюсь менять единственное число на множественное. Сеньор Акунья, раз он знает, что я знаю, радуется шутке, будто это шутка знаменитого клоуна,— он горит желанием подружиться со мной и обеспечить тылы, отдавая себе отчет в том, что я могу быть шантажистом, но не демагогом. Тем не менее, когда Соня спрашивает меня дрожащим голоском, пытали ли меня, я рассказываю свою историю со всеми подробностями, конечно не придавая ей никакого значения, а это самый верный способ сделать ее значительной. Тогда Дорита кладет мне ладошку на руку (тошнота, бледность и т. д.), а у Сони шевелятся пальцы на правой руке, но, увы, она сидит слишком далеко, чтобы коснуться меня. Справляясь с волнением, посвящаю свое внимание ветчине с дыней, бифштексу с жареным картофелем и сливочному мороженому (порция двойная), все это — в сопровождении двух кружек пенящегося пива. Короче: заплатил благоразумно сеньор Акунья, скрепив таким образом печатью наш безмолвный договор.

4

В моем пансионате полно клопов и тараканов, просто черт знает что, да и стены потеют. Я тоже.

К тому же всего одна ванная на семь номеров, вернее — на шесть, поскольку один занимает пара молодых французишек, которых отнюдь не причислишь к фанатикам душа. У него — пропахшая кухней грива, у нее — открытые сандалии позволяют общественному мнению ознакомиться с ее грязными ногтями. Вне всякого сомнения, уже не считая французишек, проблема ванной довольно серьезна, потому как, если к душу бегают обитатели шести номеров, к унитазу — всех семи: галлы не моются, зато облегчают желудок с европейской пунктуальностью. Все это означает, что мое жилье принадлежит не к категории Хилтон или Шератон[1], а (приготовьтесь хохотать) к категории Ватер! Жаль, что эта ужаснейшая шуточка не пришла мне в голову, когда я находился в компании сеньора Акуньи и его святого семейст-

[1] Хилтон, Шератон — американские компании, владеющие фешенебельными отелями в разных странах.

ва. Пришлось бы ему, распутнику, повосторгаться, потому как знает, что я знаю. В пансионе, который справедливо именуется «Hirondelle»[1], сама хозяйка говорит, что все мы, ее постояльцы,— перелетные птицы, так вот, в пансионе кипит жизнь. Поймите правильно: раз я говорю «жизнь», то имею в виду разгул. Например, в номере 3 проживает карманник. Он требует, чтобы его звали не карманник, а по-английски — Пикпокет, потому что, дескать, он воспитанник британской школы, но английское слово слишком сложно для прозвища, так что все зовут его Пик, и даже Пикки, а он обижается, уверяет, что это собачья кличка, но все-таки ничего не поделаешь: третий вариант вошел уже в то, что моя преподавательница истории определяла как устная традиция. В 4-м номере обитают молодожены, о них я (живущий в пятом) невольно знаю многое, включая кое-какие звуки, а они у нее прямо-таки стереофонические и вынуждают меня воображать ее без одежд чаще, чем я того хотел бы. Муж, или как его там, прекрасно понимает мое невыносимое положение, но вместо того, чтобы пожалеть, подшучивает, и когда встречается со мной, все повторяет: «Дружище, что-то ты сегодня хуже выглядишь. Что с тобой?» Я проклинаю его молча, из уважения к звонкоголосой даме, а он хохочет, как пересмешник.

В 6-м живут французики, ароматы от них проникают иногда через щели, но должен признать, что звуков восхваления Венеры не слышно. Слышны другие: иногда он играет на гитаре, и оба поют песни протеста на таком испанском, который исходит у них прямо из гортани. Никого не задевают. Если бы пахли лучше, пожалуй, нравились бы мне.

В 7-м живут две девахи, ну, ладно, две девушки, которые без конца стучат на машинке. Иногда на заре просыпаюсь и слышу только полицейские сирены и их машинку. Чего они там пишут?

1-й и 2-й не в счет — это резерв хозяйки, которую зовут Рòсой. Донья Роса. Известно (и невозможно не знать, потому что она рассказывает об этом два-три раза в неделю), что она вдова и что ее муж был перонистом первой половины правления Перона, еще при Эвите [2]. Однажды она сказала мне доверительно, негромко, заговорщическим тоном: «Теперь он был бы с другими. Понимаете?»

5

Я должен найти работу — монеты кончаются, и нельзя зависеть от тех денег, что могут посылать мне предки, да и все равно этого мало. Сходил в два-три магазина в одиннадцатом районе, которые давали объявления в «Кларин» [3], но как только слышат, что у меня, уругвайца, еще нет «разрешения» на постоянное жительство в Аргентине, с сочувствием произносят «нет». Экономлю даже на окурках, а уж это совсем идиотская жертва. Бывает, безумно хочется курить — и нечего. Вчера повезло — встретился с тощим Диего и весь вечер стрелял у него сигареты. Он тоже удрал от полиции. Правда, ему пришлось хуже, потому что он влип не по недомыслию, как я, а по причинам более достойным. Его ловили дважды (в первый раз, когда на стенах кладбища Бусео писал аэрозолью лозунг против военщины, а второй — с листовкой отнюдь не правительственной пропаганды). Оба раза его молотили вовсю — и «пикану» пустили в ход, и все прочее; он вытерпел молча, как дуб, и его отпустили. Но себе дал зарок: «Не попадайся — в третий раз не вывернуться» — и уехал на катере из Вильядиего.

Я его знал мало, он года на четыре старше и к тому же был занят политической работой. «Так, значит, и ты загремел,— сказал он мне

[1] Ласточка *(франц.)*.

[2] Эвита — Мария-Эва Дуарте де Перон (1919—1952) — жена президента Хуана Доминго Перона, являлась вице-президентом Аргентины.

[3] Газета, выходящая в Буэнос-Айресе.

сверхлюбезно.— Кто бы подумал, ты ведь всегда сторонился». Трудно объяснить такому, как он, обожженному посильнее птицы Феникс, почему я не был активистом. Пытался растолковать, но он ничего не понял. «Оправдания, мальш, оправдания». Меня бесит, что какой-то тип, всего на четыре года старше, свысока называет меня малышом. «Ну-ну. А теперь примешь участие?» Спрашиваю его, как же можно принимать участие в нынешнем хаосе. Не знаю, почему это пришло в голову сказать «хаос». «Всегда можно»,— говорит он. Объясняю, что прежде всего должен найти работу. «Правильно. Я уже тружусь. Если хочешь, помогу». Конечно хочу. Записываю незнакомое имя и адрес. Прийти нужно завтра. «А теперь пойдем со мной». Прошли примерно кварталов двадцать. Я бы сел в автобус, но он говорит, что, когда ведешь сидячую жизнь, очень полезно ходить, это способствует кровообращению. Дядя Фелипе, любитель природы, несет подобную же ерунду. Наконец останавливаемся перед многоэтажным зданием. Поднимаемся на пятнадцатый. Длинноволосый субъект с амулетами на шее открывает нам дверь. Тут человек пятнадцать, все молодежь. Спорят, только вот не могу понять о чем. Терминология у меня в одно ухо влетает, в другое вылетает, ничего не улавливаю. В углу сидит девчонка, которая почти не участвует в разговоре. На ее лице выражение скуки, и как раз от этой девы я слышу: «Надоело?» Пожимаю плечами, наверное, это походило на согласие, потому что она меня зовет: «Иди сюда». И выходит в коридор... Иду за ней, поднимаемся по деревянной лестнице с ковром. Это не просто квартира, а роскошные апартаменты. С лестницы вступаем на галерею, а из нее — в сад. Да, есть сад, с деревьями и всем прочим,— на пятнадцатом этаже. Есть еще стулья, столы и что-то вроде легкого садового дивана. «Иди сюда»,— повторяет она и садится на диван. Я тоже сажусь и в первый раз внимательно гляжу на нее, на всякий случай улыбаюсь. Она смуглая, красивые темные глаза. Наверное, моего возраста или чуть старше. Вырез у платья глубокий. Недурно. «Нравлюсь?» — спрашивает она очень спокойно. Возможно, в какой-то степени выдала меня улыбка. Есть что-то материнское в ее личике, а я с большой симпатией отношусь к матерям. «В общем, да, особенно если это задаток». Она простодушно смеется и приоткрывает вырез. Чувствую себя вправе помочь ей, но девчонка решительным жестом останавливает меня. «Не думай дурно обо мне...— И так как на моем лице написано разочарование, добавляет: — Прости, прости. Я привела тебя сюда потому, что ты заскучал».

6

Адрес, который мне дал Диего,— издательство, само собой, левое. На этот раз мой официальный статус туриста, прибывшего в Аргентину, не помеха оформлению. «Потом поищем выход,— говорит управляющий.— Самое главное, чтобы ты начал работать. Полагаю, тебе нужно есть. Правильно?» Конечно, я подтверждаю, что он думает правильно, и он назначает мне жалованье, весьма неплохое, особенно если учесть несколько неотрегулированные обстоятельства моего пребывания в Буэнос-Айресе. Благодарю его, а он говорит, что аргентинцы, столько раз эмигрировавшие в Уругвай, теперь должны выказать нам солидарность, поскольку на этот раз мы попали в сложное положение. «Когда я был мальчишкой, мой отец года два жил в Монтевидео, пек и продавал пирожки с мясом, и люди очень помогали ему». Представить себе не можете, как я рад, что мои земляки помогли его родителю. Только и мне пирожков захотелось, с ума сойти! Со мной так бывает довольно часто: заговорят о еде — о сладком, о мороженом,— и в желудке все переворачивается. В подобных случаях готов заплатить сколько угодно, лишь бы заполучить еду, только у меня никогда не бывало сколько угодно, а аппетит остается, но это еще не катастро-

фа. Не один я страдаю, к тому же это помогает осознать глубину классовой ненависти к богачам.

В издательстве теперь правлю корректуру. В Монте мне уже приходилось заменять корректора. Выперли за то, что пропустил опечатку, которую автор счел недопустимой, оскорбительной и непристойной: фекальный вместо факельный. И чего разволновался? Впрочем, интеллигенты вообще обидчивы. Надеюсь, здешние не будут такими щепетильными.

Я уже приступил к своим новым обязанностям, так что написал матери, чтобы успокоилась: с голоду не умру. Хотя не исключаю возможности смерти при переходе через авениду Либертадор или от шальной пули в любой из перестрелок, которые разнообразят жизнь аргентинской столицы. Последнюю фразу я вставил, чтобы им было о чем беспокоиться: если есть о чем тревожиться, улучшаются их супружеские отношения.

Часто встречаю людей с ближнего берега. Хотя, наверное, неправильно называть их так. Я заметил с некоторой тревогой, что только мы говорим «ближний берег» про Байрес, но жители Буэнос-Айреса так не говорят о Монте. А здешние спортивные журналисты, особенно радиокомментаторы, когда имеют в виду нас, говорят: «другая сторона». И не пишут: «там, за Ла-Платой», значит, никогда не смогут публиковать статьи о спорте в «Диарио» или «Ла маньяна»[1].

Почти все соотечественники, которых я встречаю или знаю, уже где-нибудь работают, хотя почти ни у кого нет более или менее постоянного жилья. Встретил одного, у которого даже документов нет. Проявил деликатность и не спросил, как же он въехал. Впрочем, мог просто потерять. Один земляк показал, где находится уругвайское консульство. На всякий случай тут перехожу на противоположный тротуар. Вижу много знакомых лиц с малой родины, но предпочитаю обращать свои ищущие взоры к другой части света, ибо большинство — это шпики, в прежние времена завсегдатаи баров на улице Кордон. Тощий Диего, который всех их знает, советует не появляться в кафе и пиццериях на авениде Корриентес, особенно между Обелиском[2] и Кальяо, где шляется столько отечественных шпиков, что друг за другом следят. Жаль, мне нравится, особенно вечером, Корриентес, где масса кинотеатров.

Раз буду получать жалованье, делаю послабление в своей политике жесткой экономии и покупаю сигареты. Мама всегда говорит, что, если буду так курить, умру от рака легких, как дед, но он загнулся в 81 год, так что мне остается целых 64, чего же мне тревожиться раньше времени, да и к чему выдавать себя за провидца. Очень может быть, что меня похитят или изрешетят на будущей неделе (чур меня!), и отправлюсь я в чистилище, не побаловавшись хотя бы этим. Так целых полчаса дымлю, как три нетопыря. Вообще так говорится, а на самом деле никогда я не видел курящего нетопыря, тем более трех сразу. Конечно, надо бы говорить, «как три обезьяны»: хотя они и не вошли во фразеологический словарь, есть обезьяны — заядлые курильщики, я сам свидетель, видал одного курящего самца в Вилья-Долорес, а другого в парке Палермо, который еще и стряхивал пепел в ладошку самки, куда Мазоху до этой обезьяны.

Когда сообщаю донье Росе, что наконец устроился, она приходит в восторг и целует меня целомудренно в обе щеки, исходя потом. Так как туалет занят многозвучной дамой, придется ждать минут 38, чтобы смыть помаду. Конечно, у старой доньи Росы нет легкомысленных намерений, но все равно противно. Она добрая. Хотя, по-моему, уж слишком восторженная. Лично я считаю, что времена ныне не для восторгов. Даже футбол жалок. Кажется, мы сейчас с портеньос[3] по-

[1] Крупнейшие уругвайские газеты.
[2] Памятник на площади Республики в Буэнос-Айресе.
[3] Жители Буэнос-Айреса.

любили друг друга — и они, и мы продули все что можно в этом мужественном спорте. Друзья по несчастью. Так вот, донья Роса в восторге от «Велеса». Дальше некуда. Уж выбрала бы себе команду получше, вроде «Бока» или «Ривер». Весь матч целиком слушает по радио, а вечером еще смотрит голы по телевидению, в довершение всего — это не голы, забитые футболистами команды «Велес», а те, которые им забили. Еще одна мазохистка. Поэтому позволяю целовать себя целомудренно в обе щеки, чтобы она хоть выпустила на волю все свои резервы энтузиазма. А когда наконец многозвучная дама выходит, иду в туалет и смываю помаду.

7

По крайней мере в эту первую неделю работа у меня идет. До сих пор на меня никто не жаловался. В конце дня, понятно, голова пухнет. Умственное переутомление. Кто бы сказал (школьником я никогда не перенапрягался), что дойду до такого: умственное переутомление, как у зубрилы какого-нибудь! Да еще не повезло: у выхода встретил Леонор с дочерью. Это семейство всегда мне было симпатично, но сегодня совсем доконало. Муж Леонор — в тюрьме «Либертад»[1]. Она видела его перед отъездом и говорит, что за четыре месяца он постарел на десять лет. Его выпотрошили. Он сам просил их уехать. Леонор не хотела, но он был в такой тревоге, что в конце концов она согласилась. Теперь не знают, что делать. Лаура, дочь, смотрит на меня с надеждой, будто я способен подать спасительную идею. Но хоть я и мобилизую свои мозги, ничего не выжимается. А Леонор тихонько плачет, пряча слезы. Плачет не для Лауры или там для меня. Нет, плачет сама по себе. Спрашиваю Лауру про Энрике, ее брата, с которым я в первых классах сидел за одной партой. «Уже год как ничего не знаем о нем. Он пропал. Каждый день покупаем газеты из Монтевидео, чтобы найти в каком-нибудь списке, вернее, боясь найти». А я стою как дурак, не зная, что сказать, что сделать. Рассказываю им, что работаю в издательстве, обещаю, что, если услышу про какую-нибудь работу для Лауры, обязательно сообщу. Оставляют телефон своих друзей. Уходят, прижавшись друг к дружке, будто ища защиты. Не могу ничего есть. Стыдно. Ночью, в постели, меня вдруг встряхивает что-то, содрогания какие-то, и я не могу сдержать слезы чуть не полчаса. И все из-за чужой беды. А может, она будет и моей?

8

Сельсо Дакосту я видел всего-то пару раз там, в Прадо[2], бывали оба в клубе «Атауальпа». Но теперь, заметив меня на углу Пуэйрредон и Виамонте, он окликает из-за автобусов и вприпрыжку мчится ко мне. Обнимает, спрашивает, живу ли я здесь, снова обнимает. Сейчас он очень торопится, но мы должны встретиться. Тут же спрашивает, свободен ли я вечером в субботу. Будет небольшое сборище у друзей, «народ денежный, но леваки»; «народ принаряжённый не будет побежденным»[3]. Нечего колебаться, вот адрес. Приходить после десяти. Ладно, говорю.

И пришел. Неудобная квартира, на этот раз на авениде Либертадор. Половина одиннадцатого, но Сельсо еще нет. Чувствую себя не в своей тарелке. Тут человек шестьдесят. Народ все известный. Эти лица я видел в журналах «Хенте» или «Сьете диас». Меня представляют троим или четверым, но как только удается, отхожу в сторону и со стаканом в руке любуюсь какой-нибудь дерьмовой картиной. К сча-

[1] «Либертад» («Свобода») — тюрьма, созданная уругвайской хунтой для политических заключенных.

[2] Парк в Монтевидео.

[3] Обыгрывается популярный в Латинской Америке лозунг «Народ объединенный не будет побежденным».

стью, про меня забывают. Тогда могу разглядывать гостей. Я пришел в лучшей своей одежде, но любой дурак поймет, что я птица не того полета. Все они в спортивном, но в каком, mamma mia! Женщины едва улыбаются, чтобы не попортить грим. Прячут смех внутрь, и он слышится как из пещеры. А мужчины рассказывают одну смешную историю за другой, нарочно, чтобы рассмешить их, наконец это удается, и какая-нибудь из женщин разражается хохотом, выдавая свои морщины.

Когда наконец приходит Сельсо, он застает меня за тем, как я подсматриваю краем глаза за молчаливой смуглянкой, которая пьет всего лишь апельсиновый сок. Знаю ли я, кто это? Хочу ли я, чтоб он представил меня? Не успеваю ответить, как мы уже представлены друг другу. Он тут же покидает нас. Она с соком, а я с виски. Тихонько вздыхает, как бы говоря «какой несносный» (Сельсо, конечно), а я просто хмурю брови. Говорю ей, что видел ее в «Мечтах наяву» и что, мне кажется, она способна на большее. Роняет: «Это дрянь». Когда разговаривает, даже вот на такую ерундовую тему, становится привлекательней раз в пять или десять. Когда молчит, выражение у нее суровое, почти вызывающее. Заговорит — смягчается, делается даже нежной. Сказал ей об этом. «Ишь ты, наблюдателен». Нет, вообще-то нет. Просто мне было приятно наблюдать за ней, вот и все. «Почему?» Ну, потому что она красива (ее смешок, мой вздох), но еще у нее загадочный взгляд (поднимает брови), тайна, правда, в нем небольшая, крошечная. Хохочет, ничуть не заботясь о гриме. «Выходит, невелика тайна? А почему?» Потому что в любой момент может рассеяться, обнаружиться. «А можно узнать, к кому эта тайна имеет отношение?» До сих пор я выкручивался, чтобы избежать «ты» или «вы», но тут приходится решиться, и я говорю: «К тебе». Тыканье ее удивляет (ей лет 26 или больше), она не ожидала, но еще меньше ожидала она, что за этим кроется. Отпивает глоток, чтобы выиграть время. Темные глаза блестят у нее. «Кем работаешь?» Объясняю. «А почему бы тебе не зайти за мной завтра, после репетиции?» Она мне и нравится и нет. Нравится ее внешность, особенно лицо, еще руки и ноги. Нравится и то, что придумал ей тайну. Но не нравятся три вещи: то, что она актриса, что она знаменита и что она такая старая. Вообразите: я — с двадцатишестилетней старухой! Но искушение велико. «Боишься? Я тебя не съем. Просто поговорим, больше ничего. И знаешь почему? Мне по душе то, что ты мне сказал. Думаю, ты прав: есть одна малюсенькая тайна, и дело тут во мне самой. Пожалуй, даже поможешь избавиться от нее». Теперь я глотаю виски, чтобы выиграть время.

9

Скажем, что зовут ее Исабель. Ясно, это не ее имя. Но не хочу выдавать ее. Хотя всегда есть риск, что завтра или чуть позже такие издания, как «Антенна» или «Радиоландия», сообщат, что прекрасная героиня «Мечты наяву» (название тоже выдумано) была замечена в компании статного юноши. Итак, ее зовут, скажем, Исабель. Статный юноша часами думает о том, как пойдет к ней после репетиции. Главная проблема — одежда. Но решаю ее легко. Раз не могу шиковать, оденусь просто, почти как бродяга. Без всяких комплексов. Будто я горжусь кофтой, связанной моей матерью.

Прибыл столь пунктуально, что даже совестно, и пришлось трижды обойти вокруг квартала, прежде чем обосноваться перед подъездом театра. На самом деле мог бы сделать и семнадцать кругов, потому что она опаздывает на час девять минут двадцать секунд. Выдерживаю жестокую схватку (как передало бы «Радио Карве») с чувством собственного достоинства, которое настойчиво советует мне уйти и забыть выдающуюся актрису. Все же остаюсь. Не знаю почему, но остаюсь. Надоело ждать, но остаюсь. Наконец появляется. Выходит

из лифта со всей компанией. Я — единственный ожидающий, так что ошибки быть не может. Но она проходит мимо, смеясь и жестикулируя (в этот момент она показалась мне вульгарной), смотрит на меня будто на карниз, на дверную петлю или таракана и проходит, смеясь и жестикулируя, с равными себе. Я — не ровня. Они рассаживаются по трем машинам и срываются с места с адским шумом. Значит, статный юноша не будет упомянут ни «Радиоландией», ни «Антенной». Только сейчас ощущаю, как взмок. Должно быть, кофта, связанная матерью, слишком плотная.

10

Выкуриваю сигарету и чувствую себя лучше. В конце концов, что общего у меня с этими людьми? Ведь здесь быть актером или актрисой совсем не то, что в Монте, где ты можешь встретить Кандо в троллейбусе, а Эстелу Медину в булочной. Не знаю, лучше так или хуже, только это не одно и то же. Там профессия актера больших денег не даст. К тому же нет своего кино. Здесь есть, а через кино миллионы текут. Так и говорят: контракт на столько-то миллионов песо. И на телевидении, и даже в театре. А весь механизм рекламы, со сплетнями и всем прочим! Ну как не увериться этим людям, что они и есть соль земли и ее окрестностей?

В этот час метро уже не работает, автобусы редки. Конечно, есть такси, но в кармане пусто. Поэтому возвращаюсь в пансион «Hirondelle» пешком. Должно быть, кварталов сто двадцать. А может, и триста пятнадцать. Но мне это полезно. Проходит сначала разочарование, потом злость, и, наконец, обретаю относительное спокойствие. Может, я достиг зрелости? Ну, нет! Торжественно отказываюсь созревать! Как здорово сказал Гераклит: зрелые фрукты те, которые вот-вот сгниют. Впрочем, не уверен, Гераклит ли так говорил, но всегда следует ссылаться на авторитетный источник. А может, никто этого не говорил, тогда я воспользуюсь и подпишусь сам. В альтернативе Зрелость или Смерть я, конечно, предпочитаю Смерть. Если бы позавчера вечером я сказал это Исабель, возможно, она вспомнила бы обо мне. Не нужно бояться слов. Слова завоевывают миры. И женщин.

Не все города красивы ночью, особенно если бредешь по ним, охваченный разочарованием. А Байрес располагает к себе и тогда, когда испытываешь немилосердные удары судьбы. Всегда найдется какой-нибудь бродячий пес, который не прочь сопровождать статных и покинутых юнцов, а иногда, как нынешней ночью, бродячих псов даже четыре. Сбегаются, разбегаются, снова собираются, сопровождают меня через перекресток, посмотрев прежде направо, потом налево (должно быть, какой-то ловкач из правых придумал, что опасность угрожает слева), и ждут, когда проедет длиннющая цистерна, чтобы снова пристроиться ко мне на противоположном тротуаре; они так усвоили роль почетного караула, что по дороге даже не обнюхивают мусорные бачки и, говоря библейским языком, не восходят друг на друга; все это доказывает, что свой ночной парад они устроили не ради наслаждения, а во имя строгого исполнения долга. Так мы впятером продвигаемся деловым шагом, без передышки, лишь поглядывая на то, как ветер кружит грязные бумажки, оставшиеся от прожитого дня, как крючконосый тип осторожно (будто опасаясь за барабанные перепонки) отвешивает две затрещины толстой проститутке, которая не удивляется, но зато в ответ пинает беспощадного своего спутника в тазобедренный сустав (как видите, я разбираюсь в анатомии). В отдалении — к счастью, за пределами моего непосредственного окружения — слышится завывание полицейских сирен. И хотя полицейские машины далеко, все четыре собаки останавливаются и внимательно смотрят на меня, как бы ожидая моего решения, оценки ситуации или просто сигнала тревоги. Но я продолжаю хладнокровно идти вперед.

Тогда четыре собаки, посоветовавшись между собой, также решают продолжать свой марш солидарности. Два мундира заприметили нас за десять кварталов и поджидают. Но пятеро — внушительное зрелище, и мы беспрепятственно продефилировали перед полицейскими.

11

В издательстве я правлю корректуру, пока не обалдеваю. Вот уже неделю потею над экономическим журналом. Сначала была статья на семьдесят страниц об экономическом развитии Англии до промышленной революции. Обнаружил пятнадцать опечаток в овцеводстве, двадцать — в присвоении общественных земель и двенадцать — в церковной собственности. Тема не развлекает. По ночам снятся пережитки феодализма и рационализация производственного процесса. Сегодня мне досталась статья об использовании экономических законов. Нахожу девять ошибок в стихийном действии объективных законов, восемнадцать — в объективной необходимости законов общественного производства и всего-навсего четыре — в организованных выступлениях рабочих. Значит, этой ночью мне приснятся научно обоснованные технико-экономические показатели и общественно необходимое среднее время. Это мне, которому так ненавистна математика! Пока правлю корректуру, решил не вникать в тему — по двум причинам. Первая: даже вчитываясь, не понимаю, о чем речь. Вторая: если пытаюсь вникнуть в суть, пропускаю ошибки. Один раз возвращаюсь назад, потому что отвлекся, и хорошо сделал (что вернулся назад, а не отвлекся), потому что у меня проскочило ни больше ни меньше как «съедение» вместо «соединение», «зачихать» вместо «зачитать».

Порой мне представляется, что глаза начинают каменеть, если читаешь не моргнув и все время всматриваешься. Понимаю, что это глупо, но боюсь, вдруг моргну и в это мгновение проскочит опечатка, затаившаяся среди стольких экономических законов. Тогда я отмечаю ногтем (между прочим, приходится чистить его) словечко, на котором застрял, отворачиваюсь, вволю моргаю и возвращаюсь к гранке уже с увлажненными и не такими перенапряженными глазами. И только тогда снимаю палец с оттиска, чтобы почистить ноготь.

12

Дионисио — 22 лет, студента-химика и моего бывшего соседа — я встретил на углу улиц Кордобы и Каннинга. Всего полгода я его не видел, но кажется, что эти месяцы для него означали десятилетия. Он утратил прежнее жизнелюбие, подвижность, озорство. Истеричным, как многие встреченные мною соотечественники, он не стал. Внешне он спокоен. Не знаю, что хуже. Потому что внешним спокойствием он скрывает огромное горе. Сначала даже не нахожу, что сказать ему, о чем спросить. Раньше он славился среди нас как самый талантливый, самый умный и самый уверенный в себе. Как же мне теперь советовать, сочувствовать, помогать ему? И в чем сочувствовать? Предлагаю выпить пива. Соглашается.

Когда официант ставит перед нами кружки, Дионисио впервые улыбается, но это деланная улыбка, вымученная, погасшая. «Как я был во всем уверен! Помнишь?» Конечно, помню. Уже не могу не задавать вопросы. Спрашиваю. Был в заключении, само собой, а кто там не был. Всего четыре месяца. Схватили его и еще пятерых, в том числе и Рубена, на собрании у Викки. «Ты помнишь Викки?» Еще бы. Ее не забудешь. Чуть не сказал ему это, но вовремя спохватываюсь, он едва сдерживает рыдание,— похоже, в этом суть дела. Викки была его невестой. Никто не сомневался, что их любовь навеки. Всегда они бы-

ли вместе: в парке, на студенческих собраниях, в автобусе, в кино, на факультете. «Ее увели с нами. Сначала со всеми обращались вежливо. Допросы вел «добрый». Не добившись ничего, нас передали «злому», который не стал терять время на зуботычины. Сразу под пытку. Ты не можешь себе представить! Страдаешь и за себя и за других. Нас никогда не «обрабатывали» одновременно. Брались за кого-нибудь одного, а остальные под капюшоном пусть воображают самое худшее. До того доходишь, что, когда настает твой час, стараешься кричать как можно меньше (хотя не кричать невозможно), чтобы меньше пугать тех, кто слушает и не видит. Так продолжалось две недели». Я замечаю, что Дионисио уже не сдерживается, закрывает лицо обеими руками. Голос его становится прерывистым, доносится через мокрые, сведенные судорогой пальцы. «Единственный раз с меня сняли капюшон, когда ее насиловали у меня на глазах. Их было около десяти. И она знала, что я здесь и не могу ничем помочь — меня крепко связали. Сначала она кричала как безумная, потом потеряла сознание... Я пытался зажмуриться, но они заставляли силой открывать глаза... Отвезли ее в госпиталь. Чуть не умерла. Через месяц нас отпустили, всех, кроме Рубена». Я не представляю, что делать с Дионисио. Пожимаю ему руку. Люди в кафе слышат, как он стонет, бормочет. Подходит официант: «Может быть, вашему другу плохо?» И я вру, будто ему только что сообщили о несчастье в семье. Он говорит «бедняга» и отходит с чинзано и оливками — заказом для соседнего стола. Дионисио понемногу успокаивается, и я спрашиваю, где Викки, что с ней сейчас. «Жива, но не живет, понимаешь? Так и не оправилась. Молчит. Я ее видел, пытался говорить с ней. Не отвечает, никого не узнает. У отца есть деньги, и он хочет отвезти ее в Европу, может, там смогут что-нибудь сделать. Врачи посоветовали, чтобы я больше не появлялся, во всяком случае сейчас. Кроме того, за мной дважды приходили. В конце концов пришлось уехать, и сам не знаю, как это удалось. Через Риверу выбрался в Бразилию, оттуда через Уругвай-ну — в Аргентину, доехал досюда, голосуя на дорогах. Двадцать дней ушло». Перед глазами стоит образ Викки, красавицы, заводилы, спортсменки, блестящей студентки. Дионисио поднимает голову, слез уже нет, глядя на носок туфли, он произносит вполголоса: «И это еще не самое скверное». Мне приходится наклониться, чтобы расслышать: «Она беременна». Видали? Черт знает чего в этой сволочной жизни не бывает.

13

Укрываюсь в пассаже на авениде Санта-Фе — стрельба слышится поблизости. Рассматриваю витрины, чтобы убить время. В пассаже много людей. Хозяевам дорогих магазинчиков, boutiques, расположенных в пассаже, перестрелки приносят доходы. Люди, укрываясь здесь, всегда что-нибудь покупают. Более опасливые покупают из суеверия, преисполненные благодарности слепому случаю за то, что оказались вблизи Санта-Фе, когда раздались выстрелы. Хуже, если «свинцовый ливень» (как говорит телевидение) застанет тебя на углу Санта-Фе и Талькауано или когда ты переходишь широкую авениду 9 Июля — асфальтовый пустырь. У меня нет деньжат на покупки, так что просто глазею на витрину с casettes, потом с модными костюмами для playboys, дальше — с браслетами и цепочками для хиппи, а там — с керамикой, цветными свечками, магнитофонами, фотоаппаратами. Остаются одни только boutiques для дам, и я останавливаюсь в нерешительности, даже не всматриваясь, перед витриной. Вдруг замечаю, что изнутри кто-то махнул рукой, и вот опять — сначала я подумал, что машут кому-то из прогуливающихся за моей спиной или дожидающихся, когда кончится стрельба. А увидев улыбку, узнаю Исабель, буду называть ее Скажем-Исабель. Без особой охоты отвечаю на ее

приветствие, а она подает мне знаки, чтобы подождал. Узнать сразу ее трудно — у нее другая прическа, другой цвет кожи лица (как бы с оттенком меди) и, главное, другой наряд: вместо спортивного платьица, в котором она была, когда мы познакомились, или длинного пиджака, когда она прошла мимо меня двадцать дней назад, сейчас на ней облегающий жакет и широченные брюки. Вспоминаю, что матушка называет их «шароварами», но, по-моему, просто пижама для улицы.

Наконец она выходит, нагруженная пакетами, и смотрит на меня не как на таракана или карниз, а как на статного юношу. Да еще целует меня в щеку, едва касаясь. Обволакивает духами. Не знаю, понимаете ли вы меня (кто это «вы»?). Нежными, но потрясающими. Вдруг мне показалось, что весь пассаж пахнет этими духами. Нежными. Но потрясающими. Сегодня она веселая. Не молчаливая и насупившаяся, как на сборище, не шумливая и развязная, как в тот вечер, когда прошла мимо. Просто веселая. И не вспоминает о несостоявшемся свидании. Я тоже не вспоминаю. Заговорить о нем для меня унизительно. Сегодня я надел сорочку. Может быть, в тот вечер она меня не узнала, потому что я был в кофте, связанной матерью. Но в этом случае она должна бы упрекнуть за то, что не зашел за ней. А может, не упрекает, чтобы не унизиться самой. «Что ты здесь делаешь? Покупаешь что-нибудь?» Объясняю, что попал в пассаж из-за перестрелки на улице. «Я тоже. Но мне это дорого обошлось. Смотри, сколько накупила». Помогаю ей справиться с пакетами. «Пойдем со мной. Или у тебя дела?» Нет, у меня дел нет. «Машина за углом. А перепалка уже окончилась. На сегодня по крайней мере». Это верно. Люди постепенно выходят из пассажа. Авенида обретает свой всегдашний сумасшедший ритм. Люди громко разговаривают, смеются, перекликаются. Два открытых автомобиля, набитых разными педиками, обгоняют автобусы и такси, чтобы поспеть к перекрестку до того, как зажжется красный. Никто не сказал бы, что в этом году убито девятьсот человек из-за политических взглядов.

Мы еще не дошли до стоянки машин, когда начал моросить дождик. Моя спутница все же успевает дать два автографа: девчонке с пронзительным голоском и достопочтенной матроне. Похоже, ей по вкусу, когда ее осаждают такими просьбами. Другие ничего не просят, но узнают ее. Тем временем дождик перешел в ливень. Чувствую себя свободно, никто на меня не обращает внимания, слава богу. Она раскладывает пакеты на заднем сиденье. «Какой холод, дружок! Поедем ко мне, пропустим по глотку. Столько выстрелов и столько покупок — пора передохнуть, верно? К тому же нужно отпраздновать встречу».

Квартира не то чтобы роскошная, но весьма комфортабельная. Я располагаюсь на каком-то странном сооружении: для кровати маловато, для софы чересчур велико. Хотелось бы часами валяться на нем. С этого сооружения начинаю рассматривать помещение. Для меня такая квартира была бы идеальной, когда жизнь стала бы оседлой. Сегодня — нет, сегодня я еще кочевник. На мой взгляд, оседлые всегда старые. Или уже зрелые люди, как Скажем-Исабель. Спрашиваю, не чувствует ли она себя оседлой. «Что это такое?» — осведомляется она в свою очередь, ее слова звучат не слишком-то отчетливо, потому что она одновременно чистит зубы в ванной. Поясняю: оседлые — это те, кто не переезжает с квартиры на квартиру, с пастбища на пастбище, из страны в страну; а кто переезжает то и дело — это кочевники. Вот бы послушала меня преподавательница истории, гордилась бы мной. Но она не услышит: она сидит в тюрьме. «В таком случае я оседлая. Ненавижу пастбища. Ненавижу переезды». Так и думал. Ей же столько нужно перевозить. «А вот весь мой багаж — это я сам».— «Красиво. Как у Антонио Мачадо! Ты знаешь, что я начала свою театральную жизнь декламацией стихов Антонио Мачадо?» Нет, не знаю. На-

верное, воображает, что ее биография известна всем. Но чтобы она убедилась в том, что и я знаю, кто такой Антонио Мачадо, декламирую ей: «Пылает тайна в глазах твоих, непостижимая (пауза) моя подруга (пауза). Как знать, любви иль ненависти больше (пауза) в твоем колчане черном». Цитата заставляет ее выглянуть из ванной. Ах, головка! Скажем-Исабель. «Культурнейший юноша, культурнейший. Одобряем единодушно». Теперь она появилась в джинсах и синем свитере. Переоделась в два счета. Эх, как актрисы переодеваются! «Виски? Со льдом или так?» Со льдом, конечно. Подходит с двумя стаканами и садится на ковер в позе Будды. «Слезай с этого ложа. Снизойди до народа». Мне жаль покинуть странное сооружение. Потом, не хочется садиться на пол, пусть даже на полу лежит мягкий, ворсистый ковер; у меня длинные ноги, некуда их девать. Устраиваюсь на полу, мои ноги как будто окружили меня. Не слишком удобно смотреть на нее с ложа, как она его называет, и вообще-то приятнее сидеть на ковре, не только на своих ногах, но и рядом с ней, Скажем-Исабель, в этой комнате, где никого больше нет.

«В тот вечер ты сказал мне, что я скрываю какую-то маленькую тайну. И что эта тайна касается меня». Обиды уже не испытываю. В течение последних минут я стал лучше к ней относиться. Но не сразу. Встречаются идиоты, которые из-за актрис удавиться готовы. Я — нет. Нравятся они мне или не нравятся, но в петлю из-за них не полезу. Она, к примеру, располагает к себе. Чем-то озабочена и она. А ведь она наверняка нас, статных юношей, хорошо знает.

«Догадываешься, что это за маленькая тайна, касающаяся меня?» Между двумя глотками шотландского виски мотаю головой — нет. Если бы она знала, что тем вечером я сказанул про тайну, лишь бы както выйти из положения! Должно быть, думает, что я астролог или хиромант. «Тайна в том, что я живу фальшивой жизнью». Вот оно что. «То, что ты сказал, застряло у меня в голове. Знаешь, трудно признаться в этом». Угу. «Вот поэтому в прошлый раз, после репетиции, я притворилась, что не заметила тебя». Собираюсь произнести «угу-угу», но приступ кашля выручает, заглушает чихание. «Что, простудился под дождем? Так вот, поэтому я прошла мимо, хохоча, как чокнутая. Не была уверена». В чем не уверена? «В том, что действительно хотела поговорить с тобой. Решила подождать удобного случая. Ты, наверное, не знаешь, что мы, актеры, ужасно суеверны. Если встречу тебя — расскажу. Если не встречу — конец». И она меня встретила.

Скажем-Исабель будто преобразилась. Не знаю, что с ней. Прямо светится. Или прозрачной стала. Это уж слишком. Черт возьми, неужто влюбилась? Ага, прозрачность исчезает, уже хорошо. Но нужно быть начеку. «Да, я живу фальшивой жизнью. А ведь я не была такой. Была гораздо лучше. Я из пролетарской семьи. Не веришь? Три года назад мой отец еще работал на фабрике, а мать шила для соседок. Теперь-то нет — я неплохо зарабатываю, купила им домик и помогаю. Тем более отец ушел на пенсию. И брат им помогает. Он синхронный переводчик, тоже хорошо зарабатывает. К чему я это? Ах да! Я сказала, что из пролетарской семьи. И поэтому мое призвание актрисы, если оно есть, не для того, чтобы опускаться до такой дряни, как «Мечты наяву» (вы уже знаете, название постановки другое). Я всегда хотела стать актрисой. Главной моей целью было сделать что-то полезное, помочь людям разобраться кое в чем, а не запутывать их, как я сейчас делаю. По сути, я и сама себя запутываю».

В голосе Скажем-Исабель нерешительность. Она хорошеет, когда нерешительна. Умолкает ненадолго. Я отпиваю еще виски, последний глоток. «Я знаю, что однажды придется принять решение. Будет непросто. Или я продолжаю путать и запутываться, или освобождаюсь от всего, что меня окружает сейчас. Не легко. Для тебя, может быть, легче, ты начинаешь с нуля. Сам признался, что ты — единственный твой багаж. Но я создавала себе иллюзии и поддавалась им. Вот

видишь, ты посидел четверть часа на этой чудовищной мебелище, и, когда я позвала тебя на ковер, тебе уже трудно было покинуть ее. И все так. Комфорт — как бы рессора, смягчает, изнеживает, связывает по рукам и ногам. И если, несмотря ни на что, ты пошевелишься, то лишь ради денег, ради большего комфорта. Это ложе я приобрела, чтобы читать на нем. Но должна признаться, с тех пор не читала, только спала после обеда. Только для этого оно и годится, даже любовью на нем заниматься неудобно».

Подозреваю, все это что-нибудь да значит, но Скажем-Исабель как будто ни на что не намекает. Или намекает, а до меня не доходит? Неужто я еще такой младенец? Пока что подливает мне виски, бутылку оставила под рукой, у ковра. Может, хотела сказать, что «мебелища» не годится, зато ковер — да? Решаюсь посмотреть на Скажем-Исабель, и вдруг меня осеняет: я и сам не хочу ни на что намекать. Наверное, тема слишком серьезна. Спрашиваю, отчего ей так противна ее работа. «Наверное, из-за огромной дистанции между тем, что могла бы сделать, и тем, что делаю в действительности». Почему же она не делает как надо, черт побери? «Причина номер один: мне страшно. И страх весьма многосложный. Панически боюсь, что подложат бомбу, или похитят меня, или будут угрожать, или убьют. Пока я занимаюсь нынешними бреднями, я вне опасности. Не скрою, косвенно как бы сотрудничаю с ними, я им нужна. Бездумность — фактор отчуждения. Так назвал свой доклад один мой друг, социолог, и, будучи циником, подарил мне его с посвящением. А еще преследует страх другого рода. Например, боязнь расстаться с достигнутым положением в обществе, с этой квартирой, с комфортом, автомобилем, мебелищей, ковром, шотландским виски. И клянусь тебе, не знаю, какой из этих двух видов страха угрожает больше; какой сдерживает меня и в то же время губит. Я могла бы выбрать нечто среднее, по крайней мере приличное. Не думаю, что у меня хватит пороха выступать в политических пьесах или концертах, сегодня это может стоить головы. Зато я могла бы выступать в театре, кино или на концертах с порядочным репертуаром. Раз не решаюсь защищать справедливость, не говоря уж о том, чтобы вносить свой вклад в дело революции, могла бы отстаивать культуру». Ну и? «Денег не заработаешь. Знаю я эту грязь. Сама в ней по уши. Знаю, как фабрикуют славу. Поверь, омерзительно».

Я уже давно слышу ее словно сквозь туман и все меньше придаю значения тому, что она говорит. Она в нескольких сантиметрах от моей руки, на ковре, уставилась взглядом в какую-то точку на потолке. Свитер приподнялся немного, и медью светится полоска кожи. Протягиваю к ней руку. Ощущаю содрогание кожи, как у лошади, вспугивающей оводов. Но я не пугаюсь. К тому же так нежна загорелая кожа Скажем-Исабель. Она прерывает фразу на точке с запятой. Может быть, я застал ее врасплох. Молчит. Предоставляет мне свободу действия. «Молнию», как всегда, заедает. Тогда она опускает руки и помогает мне. Она невозмутима, будто приблизилась к чему-то неизбежному. Поразительно, тело ее невероятно молодо, будто ей пятнадцать, а не двадцать шесть. Раздеваюсь не спеша, словно я тоже принимаю все как должное. Умею и я быть актером, черт побери. Даже хватает духа лечь рядом (холодновато, правда, немножко), а она все смотрит в потолок. Протягиваю руку и поворачиваю ее голову, чтобы заглянуть в глаза. Она плачет. Этого я не ожидал и не могу не растрогаться. Нежно провожу пальцами по ее шее. Она говорит: «Сейчас меньше разницы между тобой и мной. Неважно, что моя одежда шилась на заказ, а твоя так же дешева, как та, в какой я ходила в колледж в Сан-Николасе. Неважно, вся одежда там, в гру́де, и уже не мешает нам быть похожими. И когда ты будешь меня ласкать (ты будешь меня ласкать?), не столь важно, что у тебя нет ни гроша, а у меня весомый банковский счет. На теле карманов нет, видишь? И не-

важно, что ты сбежал от полиции, а я стараюсь бежать от самой себя. Смотри-ка, у нас одинаковый загар». Подвигаюсь ближе, чтобы Скажем-Исабель и я могли сравнивать. Действительно, почти тот же цвет. Разница совсем незаметна. Как будто созданы вместе...

14

Дионисио вознамерился разобраться в причинах поражения — страны и своего собственного. «Имею ли я право чувствовать себя сломленным, поскольку Викки стала жертвой, а я — свидетелем, преисполненным ненависти и стыда? Не кажется ли тебе непростительным, что мы всегда рассчитывали только на победу и никогда — на поражение?» Не знаю, что ему ответить. Дело в том, что я лично ни на что не рассчитывал: ни на победу, ни на поражение. Наверное, из нелюбви к математике? Я не считал даже пинки и зуботычины, полученные в полиции. «Это лишнее доказательство того, что мы были незрелыми. Думали, что враг — благородный кабальеро, консерватор, а оказалось — кровожадный зверь. Ну скажи, что мне делать сейчас с моей ненавистью? Поверь, с таким чувством ненависти ничего создать не удастся. И уж конечно эта ненависть слепа, потому что я не знаю, кто они: снимая с меня капюшон, они его надевали на себя. Помню, разумеется, голоса, никогда их не забуду. Но как установить лицо и имя по голосу? С политической точки зрения самое скверное заключается в том, что мне не столько нужна победа, сколько возможность размозжить головы тем, кто погубил нас с Викки. Нехорошо, но иначе не могу».

В конце концов я думаю так же. Или мне кажется? Трудно влезть в душу другого человека. А мне и того труднее, ведь я никогда не был так влюблен, как Дионисио в Викки, и мне невозможно представить себе, что переживаешь, когда на твоих глазах банда извергов надругалась над девушкой, которая для тебя — все. Или почти все, и того довольно. А ну-ка, что бы я почувствовал, если бы дюжина этих обезьян принялась за Скажем-Исабель, а я был бы связан, бессилен помочь? Понятно, я не влюблен в Скажем-Исабель, но все равно, должно быть, тяжело стать свидетелем такой дикой расправы. Тяжело, даже если не знаешь женщину. Видимо, я не влюблен в Скажем-Исабель, хотя меня сильно взволновало наше недавнее рандеву, и действительно, кожа у нее — чудо, и все тело потрясающее, но я не потерял голову (пока) даже в самый сумасшедший момент, о чем мне рассказывали другие. Нет, у меня не было желания провести с ней всю жизнь, не испытывал и стеснения в груди (до такой степени, когда близок к инфаркту), и не хотелось мне во что бы то ни стало бродить одиноко под луной, а если нет луны — под светофорами. Нет, это не мой случай. Я чувствовал себя необыкновенно свободным и испытывал наслаждение без всякого стеснения в груди, зато с огромным желанием, какого не знавал на протяжении долгой жизни. Она отвечала мне той же горячностью и совсем не стыдилась выказывать свои чувства. Ее не одолевали сомнения насчет того, что она делает и что должна была бы делать. Очевидно, ей уже будет трудно отступить. Комфорт затягивает, да как! Даже я в какой-то степени скучаю по «мебелище» и ковру, особенно по ковру! И не только это. На улице люди на нее оглядываются, останавливают, просят автографы. Хоть она и отрицает, это ей тоже по вкусу, манит ее. Судить не буду. Скорее, понимаю ее. Вероятно, если бы я был знаменитым и девушки останавливали бы меня на улице, глазели, раскрыв рот, у меня было бы больше увлечений, чем у нее. Скорее всего, тщеславие пропорционально таланту, и у меня нет тщеславия, поскольку нет таланта. И не будет? По-видимому, сейчас мне наплевать на талант, а потом он понадобится. Сейчас мне достаточно быть молодым; потом когда-нибудь, когда стану дряхлым тридцатипятилетним стариком, может, и захочется иметь талант. Пробле-

ма в том, можно ли приобрести талант чрезвычайным усилием воли? Это от многого зависит, конечно. Знаю я некоторых людей, которые не смогут быть талантливыми, даже если грыжу наживут. Вообще-то зачем мне теперь талант? Жуткие неудобства. Жуткая ответственность. Жуткая работа. Кроме того, по-моему, если ты сломлен (как Дионисио, например), то остается лишь одно — переживать свои несчастья. А я не хочу унывать. Мне кажется, что единственный способ сохранять себя молодым — не унывать. Смогу ли я?

15

Жду ее после репетиции у выхода из театра, и на этот раз она издали подает мне знак, а когда подходит, целует, едва касаясь, и представляет своей компании, начиная со здоровенной тетки, наверняка характерной актрисы. Затем следуют режиссер, осветитель, декоратор. И какой-то непонятный молодой человек, который не сводит с меня глаз. И всем она говорит: «Это Эдуардо»,— с такой естественностью, что я чуть сам не начинаю верить, что меня зовут Эдуардо. Но нет. Раз уж она изобрела мне имя, могла бы подыскать потаинственней, вроде Асдрубала, или Эусебио, или Саула. «Дружище Эдуардо!» — зовет меня осветитель, а я по рассеянности не отвечаю, тот обижается и поворачивается спиной, тогда до меня доходит, что Эдуардо — это я, спрашиваю, не звал ли он меня, а он превозносит быстроту моей реакции.

Всей компашкой отправляемся ужинать. Я ничего не ем, потому что «уже поужинал». Если буду есть, придется платить, само собой, а они выбрали таверну «Эдельвейс», где с тебя сдерут даже за зубочистку. Так что я смотрю на то, как передо мной, сзади меня, сбоку проплывают жаркое, салаты, зайцы по-охотничьи, ньоки по-болонски, и притворяюсь сытым, а слюнные железы действуют сверхактивно, поскольку на самом деле меня гложет голод. В довершение несчастья я сижу не только далеко от Скажем-Исабель (вообще-то я думал, что встречусь с ней, а не со всей труппой), но мне еще и особо повезло: мои соседи — непонятный юнец и характерная актриса, я в полном замешательстве, не знаю, о чем с ними говорить. Единственные темы, которые приходят на ум, относятся к пищеварению, меню, приправам, а я стараюсь не поминать все это, опасаясь лишиться слюны, что вредно для здоровья.

На другом конце стола Скажем-Исабель смеется над сплетнями и анекдотами, которые рассыпает осветитель. Мне не нравится, как она встряхивает париком. Мрачное впечатление производит рядом с ней осветитель. Вдруг она бросает на меня взгляд, подмигивает мне, гримасничает. Я не реагирую. Наверное, голод рождает чувство уязвленности. Тогда она открывает сумочку, достает бумагу, пишет что-то, дважды сгибает пополам и просит официанта передать мне: «Скоро пойдем домой. Ты и я». Снова сгибаю послание и кладу его в карман. Только посмотрел на нее с безразличным видом.

Декоратор заводит речь о политике. Мол, ходят слухи о пытках. И это точно — пытают. Но он лично согласен. Раз какие-то недоросли хотят изменить порядок в стране, раз хотят, чтобы страна перестала быть западной и христианской, раз хотят покончить с частной собственностью, забывая, что для отцов родины Ривадавии или Сааведры[1] частная собственность была всегда чем-то священным, раз хотят покончить с семьей, с культом матери, с рождеством, с нашими идиллическими коровками — иначе говоря, со всем хорошим, что унаследовало нынешнее поколение, тогда ладно, пусть платят, дружище, и если цена тому пытка — пусть пытают, дружище, и поясняет, что у него

[1] Бернардино Ривадавиа (1780—1845)— аргентинский политический деятель, участник национально-освободительной борьбы, был президентом республики. Корнелио Сааведра (1759—1829) — аргентинский военный деятель, активный участник Майской революции 1810 года.

при этом ни один волос не шевельнется. Характерная актриса шепчет мне: «Бесспорно, он же лысый!»

Думаю о Дионисио и Викки. Здесь, в Аргентине, быть может, другие репрессии. Другие ли? Слушаю декоратора и не могу отделаться от образа Викки, изнасилованной на глазах Дионисио, выжившей и мертвой, навсегда замкнувшейся в самой себе. И терпеть не могу больше. Прощаюсь с характерной актрисой и с непонятным («завтра нужно рано вставать»), смотрю на другой конец стола, где Скажем-Исабель уже не встряхивает париком и, быть может, поэтому видит, что я встаю, сдержанно прощаюсь и ухожу. Прежде чем открыть дверь на улицу, оборачиваюсь. Так и сидят там все, самодовольные, покуривающие, жующие.

16

Долго ли еще смогу вести свою записную книжку? Сегодняшнее заставляет сомневаться. Иду из издательства по авениде Ривадавии и замечаю странное движение неподалеку от улицы Биллингхорст. Назад не поворачиваю, это всегда вызывает подозрение. Сотни людей стоят лицом к стене, с поднятыми руками. Но солдаты их не обыскивают, только караулят. Подъезжают четыре «форда-фалкона», молодчики с автоматами выскакивают еще на ходу. Кажется, их цель — молодая пара. Она — рыжая, в светлом пальто, с вязаной сумочкой. Он — высокий, смуглый, усатый, с черным портфелем. Нападение застает обоих врасплох. Она падает, прямо в грязь. Он пытается защитить ее, но двое нападающих опрокидывают его четырьмя-пятью резкими, сильными ударами. Мужчина все же поднимается, не сдается. Но на этот раз от удара он теряет сознание. Женщина, которую держат трое, все себе кричит: «Мы — Луис и Норма Сьерра! Мы — Луис и Норма Сьерра! Сообщите, что нас похищают!» Приклад разбивает ей рот, и тогда слышится лишь прерывистый стон, что-то вроде музыки на те же слова. Я в тридцати метрах, на углу. Пока длится эта сцена, солдаты продолжают караулить тех, у стены. Никто не сделал ни малейшего движения в защиту пары. Я — тоже. Никогда до сих пор я не ощущал себя таким ничтожеством, таким презренным ничтожеством. Молодого человека, по-прежнему без памяти, двое засовывают в первый «фалкон», ее, в крови и грязи, в третий. Все четыре машины срываются с места и как метеоры удаляются в сторону площади Конгресо. Тем, кто у стены, разрешено опустить руки и следовать дальше. Я иду по улице Биллингхорст. Мне стыдно показываться на Ривадавии. Не хватает собак той ночи.

17

Больше я не видел Скажем-Исабель. Вечер в «Эдельвейсе» отбил всякую охоту. Она не знает, куда мне позвонить. А я знаю адрес, телефон да еще могу встретить ее после репетиции. Но не хочу. Зачем? Понимаю, что не все такие, как декоратор. Прекрасно знаю, что есть актеры и актрисы, которые рискуют жизнью, которые поднимаются на сцену, помня, что их в любой момент могут «снять», потому что они там подвижная (а иногда и неподвижная) мишень. Да, я прекрасно знаю, что многие из них идут на фабрики и разыгрывают на сцене именно тамошние конфликты, и эта работа приносит пользу, заставляет людей понимать ясней вещи, когда актер говорит что-то родственное их мыслям. Да, прекрасно знаю. Даже Скажем-Исабель говорила мне об этом, конечно с завистью, потому что ее саму преследует страх. Да, прекрасно знаю, и мне, конечно, хотелось бы поговорить с этими ребятами. Но что общего у меня с теми, кто был на ужине в «Эдельвейсе»? С их ироническим искрением, которое быстро угасает и порождает ужасающую скуку, с их скопившейся злостью, их переме-

жающейся завистью, их привычкой к злословию? Скажем-Исабель не так плоха, и, поработав с ней, встряхнув ее немного, может, удастся превратить ее в отличную девчонку. Но мне не до великих патриотических начинаний. Надо чувствовать себя живым.

Дионисио выглядит лучше. Получил письмо от своих из Монте, впервые его обнадеживают насчет Викки: с прошлого четверга та плачет, иногда подолгу, и ее взгляд стал что-то выражать, правда, еще неизвестно, что именно. Врачи теперь настроены более оптимистично. Если поправится настолько, чтобы перенести аборт, попытаются сделать его. Это было бы неплохим выходом. Отец Викки пишет ему, что в воскресенье кто-то при ней упомянул Дионисио, и она улыбнулась. Почти незаметно, но улыбнулась. Нужно видеть, как ухватился Дионисио за это подобие улыбки.

Мы встречаемся в кафе напротив площади Италии. Дионисио показывает мне письмо, и я еще более воодушевляю его: «Вот увидишь, все наладится. Привезешь ее сюда, и начнете жить».— «Ты думаешь?» Конечно, я так думаю. Нужно верить, другого средства нет.

Иду в W C. Мою руки, когда влетает мальчишка (двенадцати или тринадцати лет) с горящими щеками, выпаливает мне: «Ваш друг сказал, что убегает. Полиция».— «Здесь?» — «Нет, на углу». Тут уж не до «спасибо». С недомытыми руками выскакиваю из туалета и спешу к двери. Официант перехватывает меня и, естественно, думает, что я хочу удрать, не заплатив,— кричит мне издали. Оставляю ему купюру (с чаевыми и прочим) на стойке и выхожу на улицу. Но вопль официанта-галисийца насторожил полицию. «Этот»,— говорит один. «Вон тот»,— передает другой. Мне вовсе не льстит такая известность. Мчусь как олень, как два оленя, как три оленя. За вашим покорным слугой устремляется настоящая полицейская лавина. Еще не представляю, как выкручусь. Понимаю только, что на этот раз по недомыслию не попадусь. И по недомыслию, и вообще никак. Не попадусь. Проскальзываю между семью или восемью автобусами, которые потом сворачивают на улицу Лас-Эрас. Правда, чтобы убежать, чуть не попадаю под колеса. Поскользнулся, но вновь обретаю равновесие и вскакиваю в 60-й. Ни шофер, ни пассажиры не обмолвились ни словом, хотя всем ясно, что я не со свадьбы. Агенты мечутся в истерике. Останавливают автобусы, заглядывают внутрь, иногда входят, похоже, требуют документы. Один господин с галстуком поднимается со своего места, встревожив меня. «Садитесь». Понимаю и сажусь. Заодно приглаживаю вихры. Я уже приличнее выгляжу. Полиция останавливает машину. «Никто не впрыгивал сюда?» Шофер морщинит лоб. «Я впрыгнул»,— говорит ангел-хранитель, который уступил мне место. «А-а... — бросает полицейский с презрением и устало.— Валяй дальше!» — приказывает водителю. Господин ангел на меня и не смотрит. Другие — тоже. Когда подъезжаем к улице Лаприда, соскакиваю с автобуса и захожу в супермаркет. Стою двадцать минут в очереди и в конце концов расстаюсь со своими капиталами, покупая шесть коробок спичек. Кассирша смотрит на меня с изумлением, будто я Нерон. Наверное, ей хочется вызвать пожарных.

18

В Одиннадцатом районе жизнь стала невозможной. Всегда таскаю с собой документы, деньги, записную книжку. На всякий случай. Дионисио тоже спасся, но едва-едва. Рассказывает, что сбежал благодаря сумятице, возникшей вокруг меня. А все из-за того недоверчивого галисийца. «Ты засечен»,— сообщает мне Дионисио, и я ему верю. Каждый из тех, кто кричал «Этот!», сохранил меня на своей сетчатке. «Нет,— говорит Дионисио,— ты раньше засечен. Числишься в урут-

вайской секции на улице Морено. Мне передавал тощий Диего. Ты же знаешь, у него есть знакомства. Один человек видел список. Диего там еще нет. Но на всякий случай бережется. Просит тебя позвонить завтра, ты знаешь куда».

Ну ладно. Не так уж я удивлен. Иду в пансион. Точнее говоря, приближаюсь. За два квартала встречаюсь с мужем многозвучной дамы. Хватает меня за локоть: «Донья Роса велит, чтобы тебя и близко не было. Сегодня утром за тобой приходили. Мы ждем тебя на всех четырех соседних улицах, и первый, кто тебя заметит, должен предупредить». Отдает мне сумку. «Это твоя одежда. Донья Роса просит тебя позвонить ей, только не называй себя. Назовись Сервандо». Наконец-то у меня имя, которое звучит как у подпольщика: Сервандо.

19

Диего устроил мне ночлег на неделю.

— Ты должен исчезнуть. Через неделю посмотрим, куда тебя деть.— Он сам вызвался поговорить с хозяином издательства: этот человек поймет, я уверен.

— Скажи мне, тощий, почему?

— Что почему?

— Почему я должен исчезнуть и здесь?

— Потому что тебя ищут, чудак. Или хочешь, чтобы тебя взяли? Слушай, здесь долго не возятся. Прихлопнут, и точка. Закон о попытке к бегству.

— Ладно, но за что?

— Ох, спроси что-нибудь полегче!

— Единственное политическое, что я сделал в своей жизни,— отнес розу.

— И тебе кажется этого мало?

Нахожу в записной книжке номер Скажем-Исабель. Звоню ей из кафе. «Кто-о-о?» — слышен голос декоратора, вешаю трубку. Боли в груди не ощущаю, так что инфаркта нет, и я не влюблен. Тем лучше.

Паскудно прятаться, но что делать. Прежде чем исчезнуть, хочу дойти до почтового отделения. В книжной лавочке покупаю красивый конверт и пишу на нем адрес и настоящее имя Скажем-Исабель. Перед тем как опустить записную книжку в конверт, зеленым карандашом пишу на ее обложке большими печатными буквами: «Должен уехать. Целую. А это прочитай, поудобнее устроившись на «мебелище». Посылаю тебе, потому что надеюсь — в тебе еще не все потеряно».

Слушать Моцарта

Подумать только, капитан Монтес,— проспать всю сиесту! Ты и в самом деле устал. Что верно, то верно, нелегкая была вчера работенка с теми двенадцатью, которых привезли уже порядочно отделанными, а вам пришлось еще немножко попортить им здоровье. Это всегда приводит тебя в плохое настроение, особенно если не удается ничего вытянуть из них, даже номера ботинок или размера рубашки. Бывает, хотя и редко, что кто-нибудь заговорит, надеясь (наивный бедняга), что это, возможно, будет концом ада, тогда грязная работа дает по крайней мере хоть какое-то удовлетворение. А кроме того, тебя ведь учили, что цель оправдывает средства, но ты уже нетвердо помнишь, что там за цель. Твоей специальностью всегда были средства, и они должны быть сокрушающими, неумолимыми, действенными. Тебе вбили в голову, что эти, такие юные, такие здоровые, такие решительные мальчишки (ты бы добавил: и такие фанатичные) — твои враги, но сейчас ты даже не можешь с уверенностью сказать, кто твои друзья. Во всяком случае, ты наверняка знаешь, что полковник Очоа тебе не друг. Полковник, который никогда в жизни

и мизинчика не запачкает, считает тебя слабаком и сказал тебе это в присутствии лейтенанта Велеса и майора Фалеро. Тебе не всегда удается понять, как Фалеро и Велес могут спокойно вести один допрос за другим, не теряя выдержки, не расстегивая ни одной пуговицы, не допуская непорядка в прическе — черной, напомаженной у Фалеро, кудрявой и рыжей у Велеса. После сиесты у тебя всегда плохое настроение. Но сегодня особенно. Наверное, потому, что вчера Аманда, исполнив супружеский долг в опустошающем напряжении, робко сказала: *Не лучше ли будет тебе...*— и ты взорвался, почти рычал от возмущения и негодования, возможно потому, что и сам так думал, но кому сейчас придет в голову просить об отставке, это несомненно вызовет неприятные подозрения и домыслы. И потом, в «период внутренней войны» повод должен быть исключительным, не меньше чем рак, отслоение сетчатки или цирроз. Но печально, что Аманде пришло это в голову, просто пришло в голову. «Думаю о нашем Хорхито, прихожу в ужас, страшно становится». Что она там себе воображает? Что тебя ждет блестящее будущее? А ведь она еще не знает подробностей. Не знает, как ты себя чувствовал, когда девушке, которая попалась в Ла-Теха, пришлось вырывать все зубы, один за другим, терпеливо и старательно. Или когда ты понял, что после одного лишь сеанса тому толстощекому парнишке-рабочему оставалось только ампутировать семенники. Она ничего не знает. Даже толкует иногда с тобой: мол, верно ли, что говорят злые языки, будто в такой-то казарме и в таком-то полку добиваются признаний ужасными методами. Подумать только, она лепечет: «Не дай бог тебе прикажут делать что-нибудь такое. Придется, конечно, отказаться, и кто знает, что выйдет из этого». А ты успокаиваешь ее, как всегда, и не можешь признаться, что, когда тебе приказали в первый раз, ты даже не отнекивался — не мог поднести полковнику Очоа такой повод на подносе. В тот горький день ты рисковал карьерой и решил не отступать, хотя ночью тебя долго тошнило, а когда Аманда, проснувшись под раскаты твоей рвоты, спросила, что происходит, ты соврал ей про ветчину, плохо подействовавшую на желудок. Дело этим не кончилось — еще много ночей тебе снился тот мальчишка, который каждый раз в начале пытки открывал рот, не издавая ни звука, жмурил глаза и напрягал изо всех сил шею. Понятно, сейчас ты думаешь, как бы такому еще всыпать. Стоит только начать, и прощай! Во всяком случае, ты считаешь, что имеешь моральное право делать то, что делаешь. Но в том-то и штука — беспокоит уже не моральное право, а только и исключительно кровоточащий рот или корчащееся тело. Так что довольно логично, что ты включаешь проигрыватель и ставишь какую-нибудь из симфоний Моцарта. До недавнего времени музыка очищала тебя, уравновешивала, настраивала. Вот и сейчас, в этом духовном восхождении, в этом игривом блеске, ты отходишь от мрачных образов — двора казармы, душераздирающих криков, от твоего собственного стыда. Скрипки работают как каторжники, виолы идут следом, сопровождают, как вернейшие жены, рожок вопрошает, правда, без особой убежденности. Но не важно. Ты тоже иногда допрашиваешь без убежденности, а если применяешь «пикану», то именно поэтому — не веришь своим аргументам, знаешь, что никто не превратится вдруг в предателя только потому, что ты заговоришь о родине или помянешь его мать. Моцарт тебе нравится с тех пор, когда ты ходил с Амандой на концерты в зале СОДРЕ[1], когда еще не было ни Хорхито, ни подрывных элементов, а самым неуставным делом в казармах было потягивание мате, и действительно, как хорошо готовил его рядовой Мартинес. Моцарт тебе нравится вовсе не издавна, а с тех пор, как Аманда научила тебя наслаждаться им. Смотри-ка, вот забавно, теперь же Аманда совсем не хочет слышать музыки, никакой музыки, ни Моцарта, ни чертадьявола, просто потому, что она боится, ждет покушений и трясется

[1] Государственная служба радиовещания и телевидения.

над Хорхито, а Моцарта, ясно, можно слушать, только когда тебя не одолевает страх, когда дух свободен, а совесть спокойна. Значит, лучше выключи проигрыватель. Вот так, хорошо. А скрипки (заметил?) все звучат, как чудо, которое медленно рассеивается. Так иногда в казарме слышны вопли от боли, когда уже никто их не издает. Ты дома один. Прекрасный дом. Аманда пошла проведать свою мать, противную старуху, всюду сующую свой нос, отмечаешь ты. И Хорхито не вернулся еще из «Нептуна». Чудесный сынок, отмечаешь опять. Ты один, через широкое окно в гостиную проникает залитый солнцем сад. Очоа сейчас, наверное, с Велесом и Фалеро. Полковник в доверительных отношениях с ними только ради того, чтобы обзавестись союзниками против тебя. Быть может, ты ненавидишь арестованных только потому, что они — предлог ненависти Очоа. Что, больно изысканно? Добиваешься заслуг и все же понимаешь, что это бесполезно. Каким бы крепким или бездушным ты ни был или казался, ты прекрасно знаешь, что Очоа никогда тебя не простит. Именно ты однажды ночью между двумя допросами спросил его, правда ли, что его дочь «ушла в подполье». Ты спросил об этом осторожно и даже с намеком на солидарность, потому что, несмотря на твои стычки с этим типом, в тебе глубоко укоренился дух касты. Никогда не забыть тебе его гневного взгляда, ведь эта роскошная девчонка, Аурора Очоа, по кличке Зулема, действительно перешла на нелегалку, и это ее приметы сообщали в последних известиях; и полковник нашел-таки формулу изгонителя духов, которая стала для него привычной: «Не поминайте при мне этого выродка, она мне больше не дочь». А вот тебе он так не сказал, и это самое скверное. Просто он просверлил тебя взглядом и приказал: «Вы свободны, капитан Монтес». И ты, отдав честь, удалился. Ты спросил его без задней мысли, тем более понимая, что́ означает для Очоа тот факт (ужасный для любого офицера), что подрывные силы просочились в собственный очаг. Но ты стушевался и с этого отступления понял: пока Очоа во главе части, тебе жизни не будет. Сейчас ты наливаешь себе виски, хотя тебе и не нравится пить так рано. Но не мучься, мучитель; неужели невозможно уже обойтись и без Моцарта, и без виски. Во всяком случае, виски не столь требовательно, как Моцарт. А чтобы насладиться каждым глотком, не обязательно иметь спокойную совесть. Более того, больная совесть с двумя кубиками льда — это bella combinazione, как выражается капитан Кардарелли, старший по производству, когда вы устраиваете перерыв в полночь, после сложного сеанса «пиканы» в рот, сухой «субмарины» и пинков в почки. Ты задумывался, что было бы с тобой, если б ты отказался? Конечно задумывался. У тебя есть недавние и весьма поучительные примеры: жестокое наказание лейтенанта Рамоса и унизительное разжалование капитана Сильвы, младшего по производству. Они не взялись за эту грязную работу, не позволили самим себе, хотя этим решением погубили свою карьеру. А может, они просто были благопристойны, кто их знает. До чего доведет тебя твое понимание дисциплины, капитан Монтес? Ты все больше и больше будешь совершать преступлений от чужого имени? И будешь бояться взглянуть на себя в зеркало? До чего же доведет тебя твое понимание дисциплины, капитанишка Монтес? До потери мужских способностей? До превращения ненависти в привычку? Или ты дашь себе волю набрасываться, ранить, протыкать, ломать, насиловать, ампутировать, душить, стирать в порошок? До чего же доведет твое понимание дисциплины, капитан, капитанишка? Ты хоть подумал, что наказанный Рамос и разжалованный Сильва, возможно, способны слушать Моцарта или Троило[1] (или кого на ум взбредет), пусть даже только в памяти? Теперь, когда наконец вернулся Хорхито и подходит поцеловать тебя, неплохо бы по-

[1] Анибал Троило — популярный аргентинский музыкант, исполнитель танго и милонги.

размыслить о нем. Думаешь, со временем твой сын простит тебе то, о чем сегодня не знает? Ты все-таки его любишь. По-своему, конечно. Раньше ты был откровенен с ним. Строгая дисциплина внушила тебе не только пунктуальность, но и нечто похожее на правдивость. Раньше в казарме ты брал в руки оружие только ради упражнений, маневров. А дома упражнениями и маневрами была для тебя правда. Когда ты уличал Хорхито в малейшей лжи, ты обращал на него свой священный гнев. Твоя пресвятая троица состояла из Бога, Главнокомандующего и Правды. Не раз ты бил Хорхито, потому что тот возвращал Аманде не всю сдачу или утверждал, что выучил таблицу умножения, а это было неправдой. Так давно, а по сути так недавно были эти вспышки. Подрывными элементами занималась одна полиция, а вы все еще потягивали мате в казармах. Но после того, как малыш принял без единой слезы первые в своей жизни оплеухи, неизбежно (ты помнишь?) последовали первые опустошающие ночи, когда ты был не в состоянии слушать Моцарта. Однажды ты даже вышел из себя и на глазах изумленной Аманды вдребезги разбил «Концерт для флейты с оркестром», а из-за последствий твоего беспричинного гнева пришлось ремонтировать проигрыватель. Но уже давно ты подзабыл Правду. Пресвятая троица свелась ко все еще непогрешимой паре: Богу и Главнокомандующему. И не так уж трудно предсказать уже сейчас конечную единицу: Главнокомандующий — и точка. Теперь ты уже не требуешь решительно от Хорхито точной, непорочной, лишенной уловок и прикрас правды, наверное потому, что никогда не осмелишься сказать ему правду, скандально грязную правду о твоей работе. Подумать только, капитан Монтес, капитанишка, ведь ты преспокойно мог спать и дальше и не слышать вопрос, который в это мгновение задает тебе сын, сидящий напротив в черном кресле: «Па, это правда, что ты пытаешь?» И тебе пришлось отвечать вопросом: «Откуда ты это взял?» — даже заранее зная, что Хорхе ответит: «Мне в школе сказали». И, понятно, ты говоришь, пережевывая каждый слог: «Неправда. Неправду тебе сказали. Но, сынок, ты должен понимать, что мы боремся с очень, просто очень опасными людьми, которые хотят убить твоего папу, твою маму и многих других, которых ты любишь. И иногда приходится припугнуть их немного, чтобы они признались в тех ужасных вещах, которые они готовят». Но он настаивает: «Хорошо, но ты... пытаешь?» И вдруг ты чувствуешь себя в окружении, обложенным со всех сторон. Только продолжаешь упорно задавать вопросы: «Но что ты называешь пытками?» Хорхито неплохо информирован в свои восемь лет: «Как это что? «Субмарину», па. И «пикану», и «телефон». Впервые эти слова ранят, буравят тебя. Ты чувствуешь, что краснеешь, и не можешь избежать этого. Красный от бешенства, красный от стыда. И мямлишь: «Могу я узнать, кто из твоих дружков рассказывает такие гадости?» Но ты же видишь, Хорхито неумолим: «Зачем тебе это знать? Чтобы и его послать на пытку?» Это уже слишком для тебя. Вдруг ты замечаешь — точно и не понять, потрясен ли ты или удивлен,— что ты уже свободен от любви. Ставишь на салфетку стакан виски и начинаешь ходить медленными и четкими шагами. Хорхито сидит в черном кресле, его зеленые глаза все более невинны и безжалостны. Делаешь широкий круг, чтобы встать сзади, ласкаешь обеими руками эту беззащитную, безвинную, с пушком и веснушками шейку и начинаешь внушать: «Не нужно слушать, сынок, дурных, очень-очень дурных людей. Понимаешь, сынок?» И когда мальчик с некоторым удивлением выдавливает: «Но, папа...», ты продолжаешь гладить этот затылок, легонько надавливая на это горло, а затем, уже навсегда отказываясь (теперь — да) от Моцарта, давишь, неумолимо давишь, а в твоем красивом пустом доме слышится только твой бестрепетный голос: «Понял, сукин сыночек?»

ПЕТР ПАВЛИК

Река

ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского ВЕРЫ ПЕТРОВОЙ

Часть 1

Уход

Вода спадала неспешно. К утру горы, стеной стоявшие вокруг низины, уже могли любоваться своим отражением лишь в лужах, разбросанных по лугам и полям. Белые чайки с воплями носились от одного блестящего оконца к другому и, стремительно ныряя вниз, когтили рыбу, которую так далеко от реки унес летний паводок.

Птичий хохот с издевкой долетал до самых отдаленных домов Брудка. Утреннее солнце высветило нанесенный рекой ущерб и разрушения в садах, хлевах и на стенах строений. Дорога на самом дне низины была размыта. Мокро поблескивали обнажившиеся камни. К кольям загородок липли клочья набухшей травы и сена. Люди метались, не зная, за что хвататься, с чего начать. Испокон веку жившие в этой низине, они еще от предков унаследовали к реке вражду и озлобление. Уж такая это река! Что ни год, оставляя свое русло, выходит она из берегов и затопляет долину. Иногда сметая все на своем пути, другой раз лишь погрозив, постращав, но не отваживаясь ринуться дальше, она напоминала, что впереди у нее для этого еще месяцы и годы.

В стороне от остальных строений, выше по реке, обсыхали стены кузни. Наполовину рубленая, наполовину из кирпича, она стояла хутором на самом берегу. Вода катила сюда мощными валами по отводу и хищно заполняла все, как будто стремилась обжиться здесь под балками кузни. Она стояла высоко над полом, слизывала паутину и накопившуюся за долгие годы копоть, а омыв бетонную ногу большой наковальни, с грохотом перекатывала разбросанные куски металла и тяжелые инструменты, будто играя на каменистых порогах. Кузня и дом кузнеца принимали незваную гостью частенько, чаще всех остальных в Брудке. Тем, кто селился подальше от берега, река лишь угрожала.

© Petr Pavlík, 1982

ПЕТР ПАВЛИК — PETR PAVLÍK (род. в 1933 г.)

Чешский писатель, работает в речной инспекции, публикуется в журналах и газетах, пишет для радио. Его первая повесть «Наперекор!» («Tak schválně, hod'!») вышла в 1967 г. Затем были изданы роман «Шумавский дневник» («Šumavský deník»), книги «Дорога с гор» («Cesta z hor», 1979) и «Буран» («Vichřice», 1981).
Повесть «Река» опубликована в Праге в 1982 г. («Řeka». Praha, Československý spisovatel, 1982).

Стая чаек, поживившись на заболоченных лугах, возвращалась. Кузнец Ян Амброж раздраженно следовал взглядом за приближавшимися к реке птицами. Их надсадные крики бесили его. Отшвырнув от себя багор, он устало опустился на ступеньку у самого порога. Так высоко вода забиралась редко.

Прадед Яна поставил свой дом на прочном фундаменте. Поколения кузнецов, зная прихоти и силу воды, заставили ее приводить в движение большой кузнечный молот.

Амброж сидел на пороге и с тоской оглядывался вокруг. Чайки исчезли за излучиной, у мельничной запруды. Над лесом поднимался парок. Деревня громыхала лопатами и кирками. С того берега спустился ястреб и закружил, разведывая и изучая. Картина вполне мирная, будто ничего не стряслось.

Наконец Амброж осмелился взглянуть на воду. Река уже вернулась в свое русло, заняла привычное место. И кузнецу вдруг послышалась в ее монотонном шуме просьба о прощении, а может, сочувствие к его беде.

До своих сорока он ни за что бы не поверил, что когда-нибудь река станет его врагом. Он вырос на этой реке. Знал все ее капризы, каждый камень на дне, тихие заводи и водовороты, берега с вечно шуршащим камышом. Здесь танцевали, водя хороводы, стрекозы, вили гнезда утки, в земле чернели норы выдр и водяных мышей. Он знал места, где мечет икру крупная рыба, и помнил рассказы деда о ежегодном нересте лосося. Изучил весь долгий путь реки вниз, потому что испокон веку здешние кузнецы бывали еще и плотогонами.

Амброж крепко зажмурил веки, чтобы чем-нибудь не вспугнуть свои видения. Конечно, за эти годы река сделала ему немало добра, но он так и не сумел удержать свои мысли в той дальней дали. Не получилось. Снова перед его внутренним взором ожили часы, когда с гор надвинулись черные тучи и хлынул ливень. Лило без ветра, без грома и молний. Теплый дождь благоухал подсыхающим сеном и травой. Река быстро мутнела от ринувших в нее набухших водой горных потоков. Берега стали тесней. Он проверил щиты у отвода. Граблями выбрал из лотка сучья и траву. Вода наступала, вот она выхлестнулась из берегов и помчалась к кузне. Амброжу пришлось отступить. Он кинулся в дом, смирившись с этим летним разливом реки. Ничего особенного. Все как обычно, что тут поделаешь. Остается лишь, набравшись терпения, ждать да поглядывать на небо.

Рев взбесившейся реки показался ему опасным, лишь когда он обнаружил, что жены нет дома. Дочь смотрела на него испуганно. Полураздетая, она суетилась возле развешанной над печкой промокшей одежды. Стыдливо прижав руками подол нижней юбчонки, она в отчаянии шептала, что с мамой нет никакого сладу. Бросилась на луг, тот, что за мостками, где оставалась последняя копешка сена.

Ян выругался. Выскочил на порог в шум и всплески дождя, в громовые раскаты воды, катящей все дальше и дальше от берегов на низину.

Амброж по колено в воде одолел несколько ступенек и, ослепнув от бьющего в лицо дождя, побрел, погружаясь все глубже в грязный поток. На покрытой водой тропинке, чтоб не снесло, он держался за ветви верб. Пробирался вперед медленно и трудно, то и дело спотыкаясь и падая. Чем выше поднималась вода, тем чаще приходилось отступать на шаг, на два. Амброж набрал в легкие воздуха и опять в который раз закричал: «Анна, Анна!» — и, собрав силы, вскарабкался на выступающую из воды насыпь, с которой через реку был переброшен дощатый мостик. Ухватился за перильца. Впрочем, из мутной воды торчала лишь верхняя, грубо обструганная рейка. Перебраться по мосткам на луг было невозможно. Амброж попытался разглядеть, что делается там, за рекой. Луг превратился в

серое, ходящее ходуном озеро. Плавали копешки сена и ветки, которые разлившаяся река уже успела насобирать. И больше ничего. Анны нигде не было. Его трясло от страха и холода. Стало жутко. Вдруг над головой зашумели крылья. Ночная птица вылетела из чердачного окошка кузни. В этот час, в сумерки, она всегда вылетала на охоту.

«Последний час моей жены?..» Голова его опустилась на руки, крепко вцепившиеся в сучковатую рейку.

Когда Амброж открыл глаза, вода уже добралась ему до пояса. Лицо его было мокро от брызг и слез. Он с ненавистью поглядел на реку, которую паводок выкинул из берегов. Впервые в жизни Амброж ненавидел ее.

Преследуемый наступающей водой, он оторвался от перил и, подталкиваемый течением, где шагом, где вплавь, цепляясь за ветки, выбрался на мощеную площадку перед домом. На пороге увидал босые ноги дочери, но побоялся поднять голову, встретиться с ней взглядом. Дочь вернулась в дом, а он, сдернув со скобы на стене багор, кинулся обратно в темень и мокрядь.

Амброж до мелочей знал весь берег вдоль реки. Кое-где река не могла разлиться так уж далеко. Каменные гряды сжимали ее, словно валы. Но немного дальше она брала свое. Вырывалась к домам и строениям Брудка, вступала в схватку с заборами и стенами, низвергаясь водопадами сквозь оконца в подвалы жилищ.

Амброж созвал всех, кто, безнадежно опустив руки, стоял возле своих узких калиток и широких ворот. Вода не делала различий между бедняками и теми, кто побогаче. Взбесившаяся стихия на несколько часов объединила всех. Люди по-добрососедски помогали чем могли бедолаге из кузни, хотя все уже не имело никакого смысла. Соседи это знали, но двигались вслед за ним вдоль разбушевавшейся реки до тех пор, пока еще можно было передвигаться. И только ночь положила конец их мучительным поискам на отмелях и в коварных впадинах.

Амброж поблагодарил соседей и остался один, понимая, что они сделали все, что могли. Он возвращался мимо мельницы. Вода не пощадила и ее стен. Во дворе горел свет. На крыше полузатопленной конуры подвывала собака. У мельника река под самым носом. Может, он что видел...

— На минутку на запруде застряла тачка...— сказал ему мельник и позвал к себе обогреться ромом.

Дождь на улице затихал. Тьма еще больше сгустилась.

Амброж, сам того не замечая, опрокидывал рюмку за рюмкой. Оба долго молчали. Они были соседями. Одногодками. Их детство прошло здесь, у реки. Но дружбы они никогда не водили. Кузня с ее вечным грохотом тяжелого молота и жилой пристройкой никак не могла равняться с двухэтажным домом при мельнице, в которой шумели жернова, а на обширном подворье скрипели повозки, груженные мешками зерна и муки. Общей у кузнеца и мельника была лишь река. Она кормила обоих.

— Проклятая река,— упавшим голосом промолвил Амброж.

Мельник, не говоря ни слова, налил еще по одной. У него-то не было причин клясть реку. Амброж понимающе кивнул и сощурил глаза, будто припоминая, где же оно, то единственное место, которое люди могли в своих суматошных поисках упустить, хотя осмотрели все вплоть до ущелья.

— Когда утонул старшóй с моей мельницы, мы его тоже не нашли. Говорят, река где-то уходит под землю.

— Я слышал, там за лесом отмель. Можно перейти и ног не замочить, а чуть дальше опять глубоко.

— Только ведь наш старшóй тогда был пьян в доску!

— Знаю,— кивнул Амброж, но так и не смог понять, что ему до

того. Жена была трезва как стеклышко, и все-таки вода смыла ее с мостков и унесла вместе с тачкой. Ходили слухи, будто мельников помощник свалился в реку не случайно. По крайней мере так говорили. Это стряслось в самом конце войны. Еще был жив отец. «Мой папаша мрачнел, когда вспоминали о печальной судьбе молодого парня, которого ремесло наделило не отвечающей его веселому и озорному нраву кличкой — «старшóй». И вдруг его не стало. От людей не укрылось, что исчез именно тот из работников, который не боялся говорить, что «немцы таскаются на мельницу за мукой, а для местных бедняков даже отрубей нету».

Амброж потянулся к рому. Было тошно, что лезут в голову мысли, не имеющие ничего общего с его горем.

— Судьба, кузнец! — попытался ободрить его мельник.

Амброж едва удержал крик: «Плевать я хотел на судьбу! Надо было получше приглядывать за Анной. Из-за охапки сена она готова была мир перевернуть. А я кинулся к щитам! Зачем? Нечего мне было там делать! Стоял и пялился, как поднимается вода, и радовался! Судьба бьет меня потому, наверное, что я глуп. Восхищаюсь водой, ее мощью. Мне всегда нравилось, как река вдруг превращается в яростную стихию. Вот и получил!»

Амброж подавил в себе крик. Вокруг царила тишина, слышалось лишь монотонное тиканье часов да отдаленный рев реки.

— Где твои батраки?

— Какие там батраки! — вздохнул мельник.— Ферда от меня ушел, а Роза побежала к вам, чтобы твоя девчонка одна не сидела!

— Это хорошо,— с благодарностью сказал Амброж.

— Людей не хватает...— печально начал мельник.

— Тебе бы жениться!

— Ты вот женился,— осмелился произнести мельник.

— Хорошо хоть дочка осталась.

— А мне наследники ни к чему!

— У тебя мельница.

— Коли и дальше так пойдет, ни шиша у меня не останется! Но я ничего никому даром не отдам,— добавил он решительно и опять потянулся к бутылке с ромом.

Амброж посмотрел на часы. Одиннадцатый час. Он окинул взглядом чисто прибранную комнату. Всюду порядок. Понятно, Розиных рук дело. Мельники и впрямь никому ничего не давали даром. Роза работает у них не разгибая спины, ну и что с того? Уж не надеется ли, что этот стареющий пентюх когда-нибудь на ней женится? Амброж когда-то, давным-давно, и сам бегал за Розой. Когда же это было? Даже свадьбу собирались играть, но так и не сыграли.

Амброжу вдруг стало страшно — что за мысли лезут ему в голову! «Сдурел ты, что ли, Амброж? Вспоминаешь про старую любовь к Розе, которую вытеснила дружба с Анной. Эта добрая женщина была мне верной женой — и вот ее нет, сегодня утонула!» Он поднял голову, отводя глаза от мельника, невозмутимо сидящего за столом со сложенными на животе руками. Еще немного — и он разрыдается: «Зверюга я неблагодарный».

— Нет, хватит, больше не хочу.— Амброж отодвинул рюмку.

— Выпей! Может, полегчает,— сказал мельник, взяв в руки бутылку.

— Нет! — Амброж глядел на ром с отвращением, и мельник оскорбленно поставил бутылку на стол. Золотистая жидкость потревоженно заплескалась.

— С рекой надо что-то делать,— произнес Амброж злобно.

— И это говоришь ты? — удивился мельник.

— Меня она кормит, но людям приносит много бед!

— Эх, живы будем, не помрем. Все пройдет! — махнул рукой мельник.

— Пройдет,— согласился Амброж.— Это я знаю, мельник. Все проходит — и горе и радость. Ничто ведь не вечно, да и я не слюнтяй! Но река будет шкодить и дальше!

— А тебе какая забота? — ухмыльнулся мельник.

— Еще до войны могли поставить плотину!

— А как же наше ремесло?

— Ваше ремесло, мельник, ваше! Со мной бы никто не стал считаться!

Мельник насторожился и с подозрением глянул на Амброжа.

— Выходит, это мы виноваты, что твоя жена утонула? Я?

— Твой отец был против плотины!

— Ты пьян, кузнец, да и горе у тебя! — примирительно сказал мельник.

— Сам знаешь, как было дело.— Амброж медленно поднялся с лавки. Нахлобучивая шапку, покачнулся, изображения святых на стенке заплясали. Принудил себя поблагодарить хозяина, хотя в душе его кипело раздражение и против мельника, и против его отца. Здесь, под этой крышей, он кормил-поил сильных мира сего, тех, от кого зависела судьба низины. Вот вам и судьба, на которую мы потом валим что ни попадя!

Они вышли во двор. Воды уже не было, она ушла. Вода приходит быстро и так же быстро исчезает. Амброж ободряюще махнул рукой собаке — спускайся, мол, со своей конуры. За изгородью ревела река. Вокруг горящего фонаря мельтешили ночные бабочки.

Амброж попрощался с мельником, схватил багор и выбрался на раскисшую дорогу. Он злился на себя за то, что переступил порог мельницы. Много лет он здесь не был.

— Хотел, чтобы мне полегчало, или посмеялся над моей бедой? А я хлестал его ром! И чего рассиживал? Почему домой не побежал?

На душе и в голове было пусто.

Остановившись, Амброж обернулся и поглядел на видневшуюся в темноте мельницу. Свет из-под сгрудившихся крыш подчеркивал массивность строения. «Неужели кто-нибудь осмелится поднять руку на такую крепость? Все говорят «да», но я в это не верю. Всем будет хорошо! Не будет ни господ, ни бедняков! Но кто совершит такое, если бог не поможет, а человек не всемогущ? Правильно говорит мельник — даром ничего не дается. А почему он должен давать? Он-то почему?..» Амброж опирался на багор и ощущал себя маленьким и слабым. Он старался не обращать ни на что внимания, не вглядываться во мглу, где бесконечно возникал образ жены и слышался ее вопль, отчаянная мольба о помощи. Он тщетно пытался припомнить; может, просто не услыхал ее криков... Амброж, широко расставив ноги, стоял в грязи и со страхом ждал, что будет, когда с него сойдет хмель. Сейчас в нем все притупилось, в голове бесконечной чередой мелькали видения. «Уж не схожу ли я с ума! Случается и такое, если ты не в силах чего-то понять!..»

В темноте слышался плеск воды. Амброж добрался до околицы, до первого дома, мимо которого предстояло пройти нынешней ночью, ведь по реке к кузне не пробраться. Берега не было. Всюду вода, вода...

Вацлав Матлоха, не дожидаясь утра, вычерпывал ведром воду из затопленного хлева. В хлеву стояли две козы. Животные с любопытством следили за его работой, и их белые морды в слабом, неверном свете казались бесовскими. Козы почуяли Амброжа прежде, чем его заметил хозяин.

— Это ты, Амброж?

— Да, я, а кто же... — Амброж прислонился к хлипкой изгороди и стоял, не спуская глаз с козьих морд, с любопытством и как будто даже с участием выглядывавших из дверей хлева.

— Теперь-то чего искать? Шел бы ты домой!

— Иду, Вацлав, иду!

— Проклятая река! — крикнул Вацлав, отшвыривая ногой зазвеневшее ведро.

Этот раздраженный жест был своеобразным свидетельством того, что Матлоха сочувствует Амброжу в его горе. Ему и самому наводнение радости не доставило. Не бог весть какие луга, но кое-как кормят его. А теперь все сено осталось под водой.

— Одному богу известно, какая еще уродится трава! — вздохнул Матлоха.

— Откуда нам знать, Вацлав, что будет...— бросил неопределенно Амброж.

— Чему быть, того не миновать. А жить надо!

— Но как? — буркнул Амброж, не дожидаясь ответа, скорее так, для себя, и растаял со своим длинным багром во мгле. Сейчас им с Матлохой друг друга не понять. «Людям кажется, будто весь мир теперь опротивел мне из-за того, что с моей женой стряслась такая беда. Что и говорить — горе! А дальше будет еще хуже. Но ведь нельзя же во всем винить реку».

Справа сквозь тьму мчалась уже утихающая вода. Река возвращалась в свое русло, извечно пересекающее низину. Какая красавица! Кроткий ягненок, которого так и хочется приласкать! Добрая, играющая бликами света. Такой она когда-то привлекла к себе первых поселенцев, заложивших Брудек. Амброж узнавал темные силуэты домов. Самому не понять — он видит их или просто знает по памяти, где чей.

Сегодня жители деревни засыпали с трудом. «Не больно-то удачно начинается новая жизнь,— подумал Амброж с укоризной, мысленно обращаясь к тем, кто с прошлого февраля встал во главе этой, насквозь сейчас промокшей, несчастной деревни.— Что изменилось? Мельника и двух зажиточных мужичков выбросили из местной управы. «Это,— сказали те, новые,— только начало!» Как бы нынешнее наводнение не стало знамением будущего! Патера и Трояк — стоящие мужики, им бы я поверил, но не Кришпину. Этот поспешил переметнуться, а ведь никто никогда не видал, чтобы он сделал хоть одно толковое дело. Во время войны был дорожным рабочим, побывал в рейхе, туда многих угоняли, да только Кришпин вернулся, как говорится, на коне. На многие годы к нему прилипла кличка «сенатор», потому что он был скупщиком сена. Откликался на «сенатора», а теперь ворочает делами в сельском совете, в канцелярии. Ха, товарищ «сенатор»! Сегодня у всех было по горло дел со своими домами, но только он, один-единственный, не взялся за багор и не кинулся на поиски Анны».

Амброж нахмурился. Ему опять пришло в голову, что из-за своего горя он всех и вся видит в черном свете. Может, и Кришпина зря обвиняет. Нехорошо это, думал он, продвигаясь к реке. Очертания кузни уже угадывались там, где светилось одинокое окошко, словно повисшее в этой влажной темноте.

На пороге дома Амброж скинул резиновые сапоги и вошел в кухню. Роза сонно подняла голову. Уснула, и только теперь до нее доходит, какая стряслась беда. Проснулось и смятение, которое она в страхе гнала от себя.

— Есть небось хочешь,— сказала она и шагнула к плите.

Амброж отрицательно покачал головой и ткнул в дверь соседней комнаты:

— Яна уже спит?

— Только легла.

Амброж сел. Роза опустилась напротив, зябко сгорбившись, словно в тихой молитве.

— Все облазили! Утром опять попробую,— горестно сказал Амброж, и ему явилась река, до мельчайших подробностей знакомая по многолетним сплавам. Ушли, ушли те времена! Все теперь по-другому, все изменилось, но только не река. Лишь обходчики у запруды поменялись, и может пройти много времени, пока кто-нибудь из них обнаружит в воде утопленницу. Старшóго с мельницы так никто и не нашел...

— Я, как только увидала тачку у нас на гребне у запруды, сразу поняла — стряслась беда.

Амброж придвинул к себе коробку с табаком. Оторвал тонкий лоскуток папиросной бумаги и промял его между пальцами наподобие корытца. Амброж никогда много не курил. Свободные минуты у него выдавались лишь по вечерам. Посидеть, покурить — одно из удовольствий. Больше всего нравилось ему при этом легонько перебирать пальцами, целый день ворочавшими куски железа, прокопченными на жарком огне горна. Они сдерживали тупые толчки молота, сотрясающие все тело. Но пока пальцы были достаточно гибкими и чувствительными и еще могли свернуть цигарку. Амброж смочил слюной края сложенной бумаги и, примяв табак, скрутил ее трубочкой. Лишь выпустив первое облачко дыма, взглянул на Розу и с горечью вернулся памятью к ее словам о тачке, повисшей на запруде. «"У нас на запруде!" Она уже чувствует себя там, на мельнице, хозяйкой. А ведь могла быть хозяйкой здесь. Тогда, восемнадцать лет назад, после смерти матери, этот дом остался без женщины. Была ли в том вина отца или опять вмешалась река? Каждую весну мы гоняли по реке плоты. Весенняя вода ждала нас с нетерпением. Но к нам волнение приходило прежде, чем к ней. Впереди ждала свобода от долгих месяцев работы в полутьме, смраде и жаре кузни, в слепящем пламени горна, среди раскаленного добела железа, с неповторимым запахом жарких его кусков, со злобным шипением закалявшихся в ведре с холодной водой. Нас ожидали не радости, а тяжкий труд, риск. Бурное течение реки могло и наподдать и опрокинуть, но вокруг был необозримый простор, небо и безграничное приволье, где человек дышит и чувствует себя вольготно. "Кто-то должен остаться здесь вместо нас! Дом с пристройками, кузня и живность, голуби да куры требуют ухода,— твердил отец.— Пора, пора тебе жениться, иначе плотам конец". Река победила. Анна с благодарностью приняла мое предложение поселиться на этом хуторе».

— Я у мельника засиделся,— сказал Амброж уже вслух.

— Он не такой плохой, как ты думаешь,— прошептала Роза.

— Нет, не такой! Поднес мне рому,— похвалился Амброж с легкой усмешкой.

— Яна-то уже заневестилась,— неожиданно сказала Роза, но Амброж ее понял. В каждом несчастье есть счастье.

— Уже стукнуло восемнадцать!

— Она у тебя скоро замуж выскочит,— проронила она с надеждой и, будто поняв, что попала в больное место — ведь однажды под этой крышей уже возникала точно такая надобность,— быстро перевела разговор: — Она у тебя красивая.

«Тем скорее останусь один»,— подумалось ему, и совсем некстати вырвалось:

— Только теперь, в отличие от тех времен, гонять плоты мне уже не надо! С плотами покончено раз и навсегда!

Роза сделала вид, будто не слышит. Она разглядывала кухню, вроде изучая, все ли в порядке. Амброж, проследив за ее взглядом, отметил, что ничто здесь не напоминает об Анне, от нее не осталось никаких явных следов. Еще днем висело белье, стояла в углу метла, на плите громоздился чугунный котел для теплой воды... «Случайность? Или намеренно позаботилась чья-то рука? И все-таки во всем здесь невидимо жила Анна. Она здесь! Еще не ушла! Мы говорим

обо всем, о чем только можно, а ведь говорим-то о ней, о женщине, с которой я привык жить вместе. Розу она любила, они частенько видались. Наверное, Анна не знала о наших прежних отношениях. Кажется, не знала...» Амброж заглянул Розе в лицо. Ему вдруг стало любопытно, о чем они часами толковали. Приход Розы в его дом всегда волновал Амброжа. «Может, Роза сказала Анне про то, что между нами было?» И тут его передернуло от отвращения: нашел о чем думать! Он поднялся, подошел к застекленному шкафчику и достал бутылку рома.

— Не пей, Амброж,— попросила Роза, когда он налил ей рюмку.

Он глотнул прямо из бутылки. Вкус у рома был иной, нежели там, у мельника. Хуже. Дух перехватило от горечи: «Я потерял жену, которую, наверное, никогда по-настоящему не любил. Но дочь-то осталась без матери!» Он поставил ром обратно в шкафчик и осторожно притворил дверцы. Увидал безделушки — всякую ярмарочную чепуху: цветы из бусинок, домик в стеклянном шаре; если его встряхнуть, падают снежные хлопья. Вдруг эти безделушки стали казаться ему нестерпимо трогательными.

— Пойду...— сказала Роза.

— Придешь еще? — спросил он тихо.

— Коли вам с Яной что-нибудь понадобится...— кивнула она и набросила на голову шерстяной платок.

Амброж закусил нижнюю губу и глубоко вздохнул: понятно, сейчас не время для думок о будущем, но хочется хоть надежду иметь.

— Анна была хорошая женщина,— сказала Роза.

В первый раз за все долгое время здесь прозвучало это имя. До сих пор в доме бедолаги словно бы соблюдался закон умолчания. Амброж понял, почему Роза назвала Анну.

— Мы можем на тебя рассчитывать, Роза?

На лице женщины не было брезгливости, она лишь мотнула головой:

— Не воскрешай того, что ушло...

— Но почему?

— Много воды утекло с тех пор!

— Думаешь, он на тебе женится? — неожиданно грубо крикнул Амброж.

Роза прикрыла глаза. Такая жестокая прямота причинила ей боль. Она и сама понимала, сколь неопределенно ее положение на мельнице. Роза начала там батрачкой, и только теперь, после смерти старого хозяина, сын, сам уже далеко не первой молодости, чванливый сумасброд, начал относиться к ней по-человечески. Видимо, повлияло еще и то, что происходит вокруг,— поубавилось спеси и гонора в этом наследнике широко окрест влиятельной и почитаемой династии мукомолов.

— Женится! Куда ему деться, их славе и в самом деле конец! — сам себе ответил Амброж, а Роза, не дожидаясь продолжения, поспешно попрощалась и исчезла в темноте.

Амброж, весь сжавшись, стоял посреди комнаты. Все это время он думал, что придется ее провожать, но оказалось, что ей это вовсе ни к чему и она в нем не нуждается.

Печь остывала, и река, угомонившись, слегка шумела в ночи. Амброж оглядывал кухню и пытался припомнить, когда в последний раз говорил с женой — не о делах, а просто так. Как-то однажды днем. Дело шло к дождю, тому самому обложному, что среди лета неожиданно поднимает уровень воды. Анна прибиралась около дома. Потом отправилась на реку: на днях он скосил луг на другом берегу. Все это живо вставало перед глазами. Очень уж докучало тогда комарье и мошкара. Махнешь косой — и поднимутся целые тучи. Иногда он бросал взгляд на кузню и дом. На веревке сушилось выстиранное белье. Им внезапно овладело желание, тоска по жениному

телу. Во время сенокоса на него частенько накатывало такое. Может, виновато время года: сочная трава и цветенье вокруг — все вызывает желание. От жены исходил терпкий дух свежего сена. Он наблюдал за ней — босая, с обнаженными плечами и высоко подкатанной юбкой, она ворошила быстро подсыхавшую траву. Ритмичные удары кузнечного молота доносились аж сюда, за реку. «Мы оба радовались вечерней прохладе. Дни стояли такие душные!»

Амброж вдруг почувствовал лютую ненависть к дождю. Подкрался так тихо, неся с собой запах свежести и суля наслаждение, а натворил такое!

Амброж провел раз-другой по скатерти, будто смахивая крошки там, где сидела Роза. Напрасно. Стол был чистым. Усевшись, он погрузился в воспоминания. Роза. Их прежние отношения. «С ней я впервые познал любовь. Она повинна в том, что я, осмелев, первый раз в жизни потребовал от девушки все, до конца!» Его охватило какое-то очень уж неожиданное сожаление, он тер кулаками глаза и представлял себе прохладную шелковистость ее грудей, высоких, как пена. Дрожь обнаженного тела и свое ответное волнение. Крепкие Розины объятия поднимали его на вершину блаженства и бросали вниз, во тьму растерянности. Точно такие же ощущения поначалу сопровождали минуты их любви с Анной. А Роза уже ни о чем не помнит! Имеет право забыть. Она просто должна была забыть, чтобы продолжать жить дальше!..

Амброж проглотил комок, застрявший в горле. Его оглушила греховность собственных мыслей. Это же святотатство! Навалилась мучительная боль — почему именно она, Анна, должна была умереть! Только сейчас он ощутил весь ужас гибели близкого человека. Следовало бы вспоминать ее иначе: ее доброту, любовь к нему. Он же поддался тоске по чему-то такому, что принято считать мелким и недостойным, такому, что и ему самому казалось лишь голосом плоти. «Чепуха! Я человек! Мы были мужем и женой, замордованными работой, каторжный труд не давал нам наслаждаться обычными, будничными радостями. Скорее наоборот. И лишь минуты любви, только они, были нашим общим, настоящим счастьем. Разве это чуждо человеку?»

Растерянно, с немым вопросом в глазах он уставился во тьму за окном, и в первый раз за весь этот день его глаза застлали слезы. Он не противился им...

Задув лампу, Амброж улегся, не раздеваясь, на лавку. В душе он молил жену услышать его и понять. Благодарил и просил простить. «Я не был тебе верен, Анна, но всегда старался не причинить боли. Прости мне мысли, что родились так неожиданно именно сейчас, в такой момент! Никто из нас не повинен в том, что Роза была у меня первой...»

Проснулся он на рассвете. Вышел из дому. Превозмогши себя, глянул на реку. «Мне придется смириться с ней, ведь и дальше мы будем жить рядом».

Ночная птица бесшумно возвращалась через слуховое окно на свой чердак.

Амброж, взяв багор, двинулся по берегу. Река, покрывшись мелкими кудрями ряби, опять превратилась в кроткого барашка. Он шел вдоль реки, не сводя глаз с воды. От Анны ни следа.

Амброж побрел обратно к кузне. Над рекой, вызывая у него ярость, с громким насмешливым хохотом кружили стаи чаек. Их веселье напомнило ему наконец о спящей дочери. Ребенком она обычно громко смеялась.

Он отшвырнул ненужный больше багор и вошел в дом.

Тела Анны не нашли и к осени. Река играла в низине всеми цветами своих берегов; траурные звуки колокола опускались на нее

длинными предвечерними тенями. Звон доносился от церковки, стоящей на холме, на уступе, где кроме нее смогли уместиться еще две липы да погост с десятком-другим могил. Положение на высоком взгорке обеспечивало ей безопасность и при самых разнузданных разливах реки. «Служители церкви были предусмотрительней, нежели первые поселенцы низины. Впрочем, где же людям оставалось селиться? Ведь река для них означала жизнь»,— думал Амброж, растревоженный мыслями и сомнениями. Уже позади символическое погребение и заупокойный молебен, на котором только и разговоров было что о смерти.

На обратном пути они с Яной замыкали процессию. Медленно тащились вслед за одетыми в траур односельчанами, разбредающимися по извилистой дороге вниз к деревне. Люди участливо пожали им на прощание руки и оставили наконец наедине с открывшейся их взглядам излучиной реки. Слова были скупыми. Да и что говорить? На это было время. Намного больше положенных трех дней перед похоронами, чтобы успеть свыкнуться со смертью. Да разве с этим свыкнешься! Амброж всем своим нутром ощущал, что Яна, все отводящая глаза от реки, думает о том же. А реке хоть бы что. Река, этот волк в овечьей шкуре, бесстыдно бежала дальше, мимо кузни, резво мчалась вперед, не чувствуя за собой никакой вины, не сознавая своего греха. И все-таки с ней придется ладить!

Амброж и Яна спустились к подножию косогора, Амброж придержал шаг и ткнул рукой в сторону грубо отесанного валуна. На камне была вырублена отметина и дата: «1878 год» — самое страшное в этих местах наводнение. Вот куда добиралась вода. И в двадцатом веке река тоже взберется на такую высоту? Сейчас середина столетия, у нее еще полвека впереди! Яна понимающе кивнула головой. И ей показалось странным, что мать погибла в год, когда река еще притворяется кроткой и рядится в послушную овечку.

— Ты обо мне не беспокойся, доченька!

— Но что ты будешь делать один? — озабоченно спросила Яна.

— Живи как знаешь, ни о чем не беспокойся! — ответил Амброж.

«Зачем девчонке постоянно видеть реку! Я — другое дело. Я не потеряю к реке уважения. Она — мой соперник, но и моя кормилица. Сейчас не больно-то подходящее время для еретических мыслей, но с детства я с бóльшим уважением относился к этому камню, который утверждает власть и славу реки, чем к церкви, поставленной в безопасном месте. К церкви, утверждающей надо всем свою власть».

— Говорят, кузню закроют,— сказала Яна полувопросительно.

Слова эти прервали ход его размышлений — он проводил воображаемую прямую от зарубки на камне до косогора за рекой. Лишь несколько высоких крыш поднималось в тот паводок над водой. От остальных домов, выходит дело, торчали лишь трубы. Какой же это был кошмар! Неизвестно, сколько людей погибло в то наводнение. Может, никто. На надгробьях этот год не значится. Так ведь люди могут уйти от смерти, если видят, что зверь ощерил зубы и выпустил когти. Били волны, бешено мчалась вода, исходя лаем, как собака, которой не дано укусить. Самое страшное — это тихое коварство. Будь то человек или стихия...

— Пока что кузня нас кормит,— произнес он твердо и опустил тяжелую руку на плечо дочери. Столь необычное проявление чувств длилось недолго. Они двинулись дальше, в сторону кузни.

Настоящих похорон у Анны не было, но и этот траурный обряд принес жителям низины облегчение. И хотя до той минуты никто и не думал усомниться в гибели несчастной женщины, только собравшись вместе, попросив у бога вечного упокоя ее душе, они как бы смирились с ее смертью. Теперь остальные смогут спокойно жить

дальше! И Амброж все это воспринял так же, не отдавая себе отчета, что просто поддался извечной потребности человека в магии торжественного обряда, уводящего от раздумий над мучительными вопросами бытия, рождения и смерти.

«В нас, как в капле воды, повторяется все, что было в людях, живших здесь в прошлые века»,— рассуждал он. Но это уже были мысли не о гибели жены. Надо было думать о том, как жить дальше, о работе, о кузне, которая была на этом свете его жизнью.

Вечером Амброж вышел из кузни и опустился на порог. Вдыхал в сумраке осенний терпкий воздух и чувствовал себя обманутым, потерянным и одиноким. Откуда-то тянуло запахом картофельной ботвы, с откоса доносилось треньканье коровьих колокольчиков. Почти у самых его ног текла река. Приятно глядеть и слушать. Река словно бы ластилась к нему, втиралась в дружбу своим вкрадчивым веселым говорком. В ее спокойной глади отразилась верткая тень ночной птицы, устремившейся с чердака на свою еженощную охоту.

Амброж сиживал здесь и раньше, ожидая дочь с работы. Рвущий уши рев автобуса, который привозил ее из города, был одним из тех звуков, что силой вторглись в долину. Амброжа угнетали перемены, связанные с появлением этого автобуса. Конец войны раскидал по лесам и вдоль тихих дорог столько металла, что, казалось, только успевай обрабатывать. Спрос на топоры, косы, мотыги и лемехи поначалу был неиссякаем. Если б огонь в горне не угасал и по ночам, то удары кузнечного молота все равно не успевали бы превращать военную сталь в необходимые крестьянину орудия труда. «Вот удивился бы отец, если б жил сегодня»,— подумал Амброж с улыбкой — в памяти всплыли отцовские рассуждения о будущем, которое, «попомнишь мое слово, сынок», раз и навсегда принесет людям облегчение.

«Уже началось, отец! Кончилась власть мельника и чванство богатеев. Вот только автобус увозит теперь мужиков из нашего бедного края на работу в город. А музыка и речи, которые сейчас, в этот тихий вечер, доносятся из тарелок громкоговорителей, развешанных над домами по всей деревне, да и просто разговоры и толки, тоже не сулят кузне ничего доброго».

Рычание мотора покатилось вниз, в долину, но, достигнув деревенской площади, захлебнулось и умолкло. Вскоре появилась Яна. Они поздоровались, вошли в кухню, каждый отягощенный будничными заботами прошедшего дня.

Когда после ужина стол уже был чисто убран, Амброж сел и принялся сворачивать свою обычную цигарку. Пальцы послушны и гибки, но почему-то беспокойны. Закурив, он долго растирал кисти рук, пытаясь отогнать от себя мысли, которые, хотел он того или нет, приводили его к убеждению, что перемены, увы, коснутся всех. Прогресс неумолим! Добро требует жертв... «Так ведь я уже пожертвовал куда как многим. Потерял жену. Почему же я должен потерять еще и работу?»

И, сам того не замечая, он озадаченно мотнул головой, признав все-таки, что утрата близких совсем иная жертва, нежели потеря имущества или работы.

— Меня считают лучшей в мастерской! — радостно сообщила Яна.

— Вот бы мама обрадовалась,— с трудом выдавил Амброж. Заставив себя произнести эти слова, он сам расчувствовался. До чего же Яна каждым движением, каждым жестом напоминает мать! Анна приучала девочку к труду, сызмальства учила шить, как будто наперед знала, что однажды в их деревне появится автобус, а в городе построят фабрику, и девчата, такие, как Яна, станут ездить туда и шить рубахи. Кабы только молодежь. Но ведь и взрослые мужики ездят работать в город, на фабрику. Отработают свою смену, да еще

остается время посудачить, какие бы это новшества завести в деревне. Им хорошо болтать! Избавились от хозяйства. Побили птицу, порезали коз, а поля бросили на произвол судьбы. Какой же это прогресс!

— А что, если тебя станут звать в кооператив? [1] — спросила Яна, словно угадав, где бродят отцовские мысли.

— У меня ведь нету земли,— пожал плечами Амброж, и опять ему показалось странным, что вот настали времена, когда быть безземельным выгодней, чем наоборот...

За окнами шумела река, иногда налетал порывистый ветер и скидывал с деревьев пожелтевшие листья. И, как всегда, с улицы в дом врывался окружающий мир, и невозможно было захлопнуть перед ним окна и двери, словно их настигала вездесущая небесная кара. Этот мир жил в них обоих. И явственней всего они ощущали его по вечерам.

Утром, как и прежде, все снова пришло в норму и перестало казаться опасным. Амброж раскалил в горне здоровенный кусок угля, проложил железом и отправился на берег побеседовать с рекой. Надо было поднять щиты и попросить ее помощи. Река крутила водяное колесо и приводила в действие молот, под тяжкие удары которого Амброж подсовывал, поворачивал то одной стороной, то другой добела раскаленный, оживший кусок металла, как бы повторяя в миниатюре процесс сотворения мира и всего того, что рождается в огне. А потом шипение воды в лохани и снова чудо созидания в пламени, сопровождаемое снопами искр, словно новоявленное творение льет огненные слезы, навсегда пробуждая в себе душу живу. И все! Конец! На кучу готовых изделий падает еще одно. Теперь уже без признаков жизни, холодное, оно будет служить определенной цели...

Пока он метался от горна к молоту, задыхаясь и взмокнув, с напряженными до болезненных корчей мышцами, он чувствовал свое могущество. Он поддавался дурману жара, его одолевала гордость творца. Страсть порождает наслаждение. Совсем как в любви, с грустью признавал он, когда из его рук выходило еще одно остывшее, неживое изделие и он вдруг чувствовал себя обессилевшим, как после минут любви, и смысл этого тяжкого труда утрачивался, улетучиваясь сквозь щели рубленых стен, мчался туда, к деревне, и еще куда-то далеко, за горизонт. Амброжу все реже удавалось преодолеть беспомощность, налетавшую неожиданно, невесть откуда. Он знал, надо схватить клещами кусок размягченного огнем железа, и тогда в него вновь хлынет успокаивающая, укрепляющая тело сила. Все становилось тяжелым, неподъемным. Казалось, протяни только руку, да нету мочи...

Такая безнадежная усталость наваливалась на него теперь все чаще.

Листья с деревьев уже облетали. Утренники отливали сединой, трава стала стеклянной, а излучины реки подернулись тонким льдом. Дым из трубы кузни поднимался вверх все так же прямо, но молот все чаще умолкал.

В тишине, когда в горне потрескивал умирающий огонь, лишь шум воды нарушал раздумья Амброжа. Река насмехалась над ним, ведь он позволяет воде, не обременяя ее работой, мчаться безвозвратно вдаль. В ее рокоте слышались ему то издевка, то настойчивые упреки — те же, что и в холостых глухих ударах кузнечного молота.

Иногда являлись люди из деревни, и тогда Амброж тоже бросал работу. Но они приходили теперь не за новыми мотыгами и топорами. Они не заказывали больше деталей к телегам и плугам. Просто хотели поговорить. В деревне организовывали сельхозкооператив.

[1] Единый сельскохозяйственный кооператив. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Я — за!
— Ни в жисть туда не вступлю!
— Все вместе — глядишь, и дело пойдет проворней!
— С таким народом, как у нас? Да ни за какие коврижки!

Амброж поддакивал, когда они протестовали. Соглашался, когда были за. Человек мастеровой, он дорожил заказчиками и привык под них подлаживаться. Он долго верил, что заботы и дела соседей не его ума дело и кузни коснуться не могут. Куча готовых изделий становилась все меньше. Те, кто годами приезжал за новым инструментом, теперь подолгу и носу не казали...

В один прекрасный день Амброж был вынужден признаться себе, что эта его страсть к работе, прежде лечившая от всех бед, потеряла всякий смысл. Надо найти хоть какую-то отдушину. Яна иногда оставалась на ночь в городе. Видимо, уже завела себе парня. Он не спрашивал. Надеялся, что однажды дочка скажет об этом сама, и не ломал голову над вечным вопросом, боится он этого или нет. Хоть так, хоть иначе, а жизнь пойдет дальше. Он вглядывался в раскаленный добела металл, и ему виделась Роза. Она исчезала, когда он весь уходил в работу, но тем явственней стояла с ним рядом, когда молот прекращал свое дело. «Останься она со мной, может, вместе и полегче было бы! Жена погибла, работа валится из рук. Кто знает, долго ли пробудет со мной дочь...»

Амброж продолжал ходить в кузню. Каждый день вздувал огонь в горне, разговаривал с рекой, но его гнала сюда лишь ненависть ко всему белому свету. Позже он понял, что на самом-то деле просто пытается заглушить в себе злость на самого себя.

«Я трус! Чего жду? Все зависит от меня!» И вдруг наваливался страх, что уже поздно что-либо менять...

Вечерами темнота опускалась быстро. Пустынная темная река среди занесенных снегом берегов выглядела мрачной и печальной. Так оно и будет, пока она совсем не встанет и не покроется льдом. Чернота воды, ветви голых верб, огни деревни и близкой мельницы. Силуэт совы, еще более зловещий на белом фоне, ночная птица вылетает из чердачного окна. Так начинается ночь. Сегодня обещала прийти Роза.

Дома было жарко натоплено. Амброж включил новенький радиоприемник, купленный как-то Яной. Передача не мешала ему, покуда он брился и мылся. Потом показалось: может, сейчас не стоит отвлекаться на то, что так или иначе связано с непроданным товаром там, в кузне. Пускай себе радио болтает и играет что угодно. Ему-то что! Придет время, когда все встанет на свои места! Он даже позволил себе пророчески рассмеяться в наступившей тишине и почувствовал, как взыграла в нем сила. Поставил на стол вино. Начал сворачивать цигарку, но, не удержавшись, откупорил бутылку и сделал долгий глоток. Улыбнулся себе в зеркальце, прикрепленное к стене под вышитым кармашком для расчесок, заметил в своих глазах озорной блеск. С минуту он разглядывал себя, поглаживая чисто выбритый подбородок. Лихо подмигнул, напустив на себя лукавство: «В сорок лет мужчина может еще доставить бабе немало радости. Я был у нее первым и, надо полагать, справлялся неплохо! Что верно, то верно!» Амброж кивнул головой и окинул кухню самодовольным взглядом. Все ему казалось здесь новым, праздничным. Заботы, что связывали его по рукам и ногам, едва только он переступал порог кузни, сейчас казались мелкими и ничтожными. Дела как-то шли, как-нибудь пойдут и дальше. «А почему бы мне не вступить в кооператив вместе с остальными? Вступлю. Но прежде надо что-то сделать с рекой, окоротить ее норов, и не только потому, что она отняла у меня жену».

И вдруг его пронзила мысль, которая, казалось, вовсе не соответствовала этой минуте сладостного ожидания: «В нашей низине

нет никакого резона что-либо предпринимать, пока мы во власти реки».

Уже не хотелось задумываться, эти его доводы — просто ли зацепка, позволяющая оставить все по-старому, или они все-таки вызваны заботами об общем благе. На душе сразу стало легко, словно камень свалился, вернулось почти забытое чувство удовлетворения.

Роза появилась бесшумно. Он даже не слышал ее шагов на крыльце. Так же бесшумно притворила за собой дверь, прижалась к ней спиной и обвела взглядом ярко освещенную кухню, будто все, что увидела здесь, было именно таким, как она ожидала.

— Вот и я, Амброж!

— Как хорошо, что ты пришла,— сказал Амброж признательно и помог ей снять пальто. Она охотно приняла его помощь, но так и осталась стоять, тупо уставившись на стол с бутылкой вина. Амброж не заметил, что лицо ее передернула болезненная судорога,— она опустила голову, и темные волосы закрыли ей глаза.

— Погаси свет! — приказала она вполголоса.

Амброж бросил на нее смущенный взгляд, но, прежде чем он успел что-нибудь произнести, Роза, дунув, сама погасила керосиновую лампу. Молча подошла к дивану. Он услыхал, как зазвенели пружины. Потом стукнули об пол сброшенные башмаки и зашелестела одежда. Когда Амброж, наконец, заставил себя сдвинуться с места, в голове гудело и удары сердца рвались прямо к горлу. Он пробирался в темноте ощупью, пока пальцы не коснулись обнаженного тела. Опустившись на колени, он стал покрывать поцелуями ее живот и грудь, его руки ласкали ее бедра и шею, растерянно метались, словно желая всю ее заключить в объятия. Не зная, как избавиться от этой неожиданно нахлынувшей растерянности, он боялся хотя бы на секунду оторвать от нее руки, не замечая ее оцепенения. Дрожащим от волнения голосом он все шептал: «Роза, прошу тебя...» — как будто умолял прервать эту страшную муку наслаждения.

Неожиданно для себя Амброж вдруг опрокинулся навзничь, непонимающе поднял глаза вверх. Его трясло словно в лихорадке. Отчаянию не было предела. Он слышал спокойное, без тени волнения, дыхание Розы...

— Я подожду,— бросила она, и в голосе ее не было насмешки, лишь деловитость, как будто она хотела сказать: «Ничего страшного, ты просто давно не был с женщиной! Я подожду, для этого я и пришла!» У него было огромное желание заорать: «Нет, не только для этого, нет! Роза, ведь я... Да, я хотел спать с тобой! Этого хочет от женщины каждый мужчина. Но мне этого мало. Я жду от тебя бóльшего!»

Тьма словно отступила, стали слышны и тиканье часов, и слабый шепот реки. Он поднялся, чтобы сесть, и, случайно дотронувшись до Розиного тела, отдернул руку. Это была не брезгливость, а скорее стыдливость.

За окном дрожало бледное сияние снега, и на его фоне четко вырисовывались контуры бутылки. Амброж потянулся за ней.

— Зачем ты это сделала, Роза? — наконец выдавил он.

— Что?

«Ничего не понимает. Или, наоборот, слишком хорошо знает, что загнала меня в угол, поиздевалась как могла...

...Это произошло сегодня днем в деревне, у кооперативной лавки. Я специально пошел туда, надеясь встретить ее. "Приходи, Роза!" "Зачем?" — спросила она, и я, осмелев, ответил, что она мне нужна по делу. "Хорошо, приду, если я тебе нужна по делу". У меня и в мыслях не было, что она поняла все по-своему. Я возвращался домой, чуть не прыгая от радости. В кузню и не заглянул. Сегодня меня ждут другие дела, думал я, подняв глаза к остывшей трубе. Приби-

рался в доме и представлял, как овладеваю ею, а она сопротивляется. Так у нас бывало прежде. Она сама призналась как-то, что ее охватывает дикое желание защитить себя. "Я должна так поступать, милый мой Амброж, чтобы почувствовать, что нужна тебе. Парень должен меня завоевать, иначе счастье будет неполным".

Она умела нашептывать это горячо и успокаивающе. Сколько лет прошло с той поры...»

— Чего тебе еще надо? — сказала она в ответ на его молчание.

— Я не собирался с тобой только переспать! Мне ты нужна насовсем.

— Брось завирать,— отрезала она зло и быстро поднялась с дивана.

Амброж нащупал спички и зажег лампу. Слабый, вспыхнувший внезапно огонек заставил его смущенно съежиться. Он натягивал брюки, избегая Розиных глаз. Она одевалась здесь же, рядом.

— Дай мне выпить! — попросила она, уже сидя за столом.

Амброж разлил вино в две рюмки, стараясь унять дрожь. И вдруг вся эта безобразная поспешная сцена показалась ему комичной.

Роза выпила. Он не смог. Его душил хохот, он поперхнулся и вдруг разразился освобождающим смехом.

— Чего это ты покатываешься?

Амброж ткнул себя пальцем в грудь и, когда наконец угомонился, сказал:

— Над нами, Роза! Мне все вдруг показалось смешным!

Она с горечью кивнула, потупила голову, как будто и сама вдруг поняла, что хватила через край.

— Нет, не над тобой, Роза! Ты ни в чем не виновата!

— Виновата,— покаянно возразила она.

— Во всем виноват мельник, он, и только он! — сорвался на крик Амброж.

— Оставь его в покое,— произнесла Роза неожиданно спокойно.

— Сделал тебя частью своего имущества!

— Да, Амброж, сделал! За эти годы я и впрямь стала его собственностью!

— Но ты можешь уйти от него! Сейчас тебя никто силком удерживать не посмеет.

— За эти годы его имущество стало и моим. Я его заработала! — отрезала Роза с такой злостью, что Амброж испугался. Она сама, вдруг схватив бутылку, наполнила пустую рюмку.

Такое Амброжу не приходило в голову. Роза решила свести счеты с мельником-хозяином по-своему.

— Теперь его мельнице грош цена в базарный день! — заявил он предостерегающе.

Роза усмехнулась и положила руку на его сжатый кулак.

— С твоей кузней дело кончится тем же!

Амброж возразил, что мельники всегда были богатеями, особенно наши, местные. Такими займутся власти, а их добром тем более. Кузнецы же — совсем другое дело, какие у них богатства? Были и есть голодранцы...

— Ты не обижайся на меня, Амброж,— перебила его Роза.

— Я хотел, чтоб все у нас шло путем!

— Я тоже думала, все будет иначе, но...— На миг она умолкла, а потом закончила: — Я, наверное, грешница!

— А кто в этом виноват? — нахмурился Амброж.

— Да ни к чему она мне, эта любовь!

Они помолчали. Роза сидела, пристально уставившись на крышку стола, будто пыталась что-то вычитать на ее выщербленных досках. Амброж тщился отгадать ее мысли, стараясь войти в ее положение. Она ведь всегда была то батрачкой, то прислугой и никогда не чувствовала себя полноценным человеком. Жизнь превратила ее в оз-

лобленную хищницу! И ничего удивительного! Но почему же за это должны расплачиваться они оба? В ней наверняка остались и чувства, и желание жить по-людски.

Они простились, и каждый затаил в душе искорку надежды. Так, по крайней мере, Амброж истолковал Розины слова: «Мы ведь еще не умираем». И ее опасение за его будущее он понимал как явный к нему интерес: что, если ей все-таки перебраться к нему? Наверное, она именно это имела в виду, иначе зачем бы советовать ехать в город. Да! Без сбыта ему долго не продержаться, что верно, то верно.

Он глядел с порога, как она шагает к мельнице. Наконец ее поглотила белая мгла. А река все мчалась вперед. Что ей дела людские, что ей поздняя ночь! Ее пренебрежительное равнодушие пробудило в Амброже ярость. «Со мной бы не случилось такого позора, если б ты не отняла у меня жену. Легче бы перенес и остальные напасти». Он перевел взгляд на тихую пустую кузню, и его охватила тоска. За кузней, в хлынувшем вдруг сверху лунном свете, стала видна вся низина.

Засыпал Амброж трудно. Ворочался с боку на бок. К утру задремал, твердо решив не сдаваться. Еще не все потеряно. Роза права: пока мы живем на свете, со многим приходится мириться. Надо? Нет, просто вынуждены! Но и сидеть сложа руки негоже.

От деревни до города восемь километров. Можно идти вдоль реки, но это самый дальний путь. Воде приходится огибать взгорки, через которые длинными зигзагами переваливает дорога. Амброж знал более короткие тропы, где можно срезать путь и добраться до города намного быстрее. Но на этот раз он предпочел автобус. Разболтанный, маленький, будто клетка, с расположенными вдоль стенок сиденьями. Пассажиры усаживаются к середине ногами, и кроме нескольких человек, пристроившихся сзади, все теснятся бочком по направлению к движению. Потому-то он и расположился сзади, чтобы по-хозяйски свободно вытянуть ноги, как те мужики, что вели себя в автобусе словно дома.

— Ну, Амброж, что ты на это скажешь? — поинтересовался Матлоха. Он задал вопрос как бы от всех, от Трояка и Патеры, а может, и от водителя, который тоже не мог скрыть удивления, когда кузнец появился на остановке автобуса.

— А что мне говорить? — ответил Амброж и тут же обозлился. Видать, его совсем темнотой считают. «Уж я-то наездился на машинах больше, чем все вы вместе взятые, и отсюда, из низины, тоже. Пан Фоустка — торговля скобяным товаром — тоже езживал ко мне на грузовике. Сколько раз и меня подбрасывал в город, чтобы я мог истратить денежки, которые он мне заплатил...»

— Ну, скажи сам, этот автобус — разве не прогресс, а?

— Время экономит, что верно, то верно,— кивнул Амброж, как только разболтанная колымага взяла с места.

Утро выдалось холодное. Машина миновала домишки и, подвывая и кряхтя, полезла на первую высотку.

— Сидишь себе, ножки вытянул и едешь как барин,— с восторгом добавил Трояк.

— Только и всего, что сидишь, а тебя везут.— Амброж втянул носом смрад бензина и масла. Да и запахи, исходившие от людей, были не больно приятны.— Зато когда шагаешь пешком, остается больше времени, чтобы подумать...

— А здесь кто тебе мешает думать? — осклабился Патера.

— Да я ничего не говорю,— пошел на попятный Амброж и отвел глаза, уставившись в окно, в полутьму. Места, что они проезжали, он знал во все времена года. И ходил здесь в самом разном настроении. Иногда счастливый, что хоть на время удрал из низины, а иногда еще счастливее, что возвращается обратно в низину. Шко-

ла, военная служба, мобилизация, возвращение после перегона плотов домой — какие разные бывали дороги, но тогда ничего не мешало раздумью. А вот сейчас, в этой вони и грохоте... Видимо, неудовольствие отразилось на его лице, потому что Трояк насмешливо поинтересовался:

— Значит, по-твоему, люди, что топают пешком, умнее тех, кто ездит? Так, что ли?

— Коли было бы так, то я до самой смерти ни на чем бы не стал ездить,— ответил Амброж. Он был уже далек в своих мыслях от тропинок и дорог, пересекающих шоссе.— Но есть такое, о чем в автобусе думать не получается!

— О чем же это?

— Трудно объяснить,— нервно отрезал Амброж,— оно на тебя может накатить лишь под чистым небом. Все вдруг радует глаз...

...И впрямь вид с гребня, в какую сторону ни кинь взгляд, был прекрасен. Кузня сверху казалась маленькой, как собачья конура, а городские крыши и церковь по другую сторону гребня, там внизу, под горой, походили на жилища гномов. «Надо мной пролетали стаи птиц или встречался неспешный путник. Прежде люди никуда так остервенело не мчались. Только война все ускорила, сбила всех в кучи, и после нее люди стали еще суетливее».

— Разве, когда шагаешь по дорогам, встречается мало интересного? — обратился он к мужикам, и тем пришлось согласиться.

Автобус бросало на поворотах, ехавшие стоя дети и молодежь, девчонки Яниного возраста, теряли равновесие, и мужчины на задних сиденьях не поспевали поджимать ноги.

— И только поэтому ты не хочешь идти работать на фабрику?

— Отчего же, пойду, коли иначе не получится. И фабричная работенка сойдет! — кивнул головой Амброж.

— Когда у ребят каникулы, в автобусе покурить можно,— вполголоса сообщил Патера.

— Покурить я люблю дома, в покое!

— Но ты все-таки не надумал на фабрику податься? — допытывался Матлоха.

— Назад пойду пешком,— не отвечая, объявил вдруг ни с того ни с сего Амброж. Ему захотелось поскорее переделать все дела в городе и прямо через горы вернуться домой.

— Как думаешь, тебе еще надолго оставят кузню? — уже напрямик спросил Трояк.

— Ты что имеешь в виду? Кто это может ее мне оставить или не оставить?

— Кузню-то оставят, да продавать товар запретят!

— Начальство, кто же,— уточнил Матлоха.

— Кришпин еще не начальство,— махнул рукой Амброж.

— А кто же еще? Ведь он у нас секретарь!

— Тогда у него должны быть заботы поважнее! — твердо заявил Амброж.

— А он и заботится...— хохотнул Патера, словно желая подчеркнуть, что Кришпин слишком уж лезет из кожи вон.

— Пусть лучше заботится, чтоб хорошее дело не на песке создавалось!

— У него директивы!

— Да ведь всюду свои условия, и всем это хорошо известно.

— Тут уж ничего не изменишь,— примирительно вмешался Трояк, а Матлоха с Патерой напустили на себя такой вид, будто удивлялись наивности Амброжа. Ведь подобные вещи должны быть ему понятны.

Автобус спускался по крутому склону вниз к городу. Им пришлось упираться ногами, чтобы не сползти с сидений. Ухабистая дорога вытрясла всю душу, и мужики примолкли. Но когда за окнами

замелькали первые дома длинной улицы, ведущей к площади, Трояк вдруг вслух заудивлялся, почему это Амброж так долго не появлялся в трактире. Как будто во время этой головоломной поездки пришел к выводу, что именно здесь кроется главная причина его неосведомленности. Дескать, очнись да возьмись за ум, пока еще не поздно!..

— Приду, мужики, приду,— пообещал Амброж и добавил: — Не мог я...— Он окинул всех взглядом, и те понимающе закивали головами. Амброж еще носит траур по жене.

С автобусной остановки все разбежались кто куда. Амброж не спешил. Вышел последним. Перекинулся словом-другим с водителем, который заботливо оглядывал со всех сторон свой видавший виды драндулет, будто беспокоился, все ли части на месте. К вечеру надо еще проделать обратный путь через горы в Брудек. Амброж направился к дому, где были самые большие витрины.

Он вошел в дверь магазина. Знакомо звякнул колокольчик. За длинным прилавком копошился неизвестный ему человек. Новый приказчик, что ли? Пан хозяин, видимо, еще не изволили проснуться...

— Мне бы поговорить с паном Фоусткой!

— Его нету!

— А когда он может появиться?

— Он больше сюда не ходит,— ответил новенький и опять склонился над стопкой бумаг возле кассы.

— Как это — не ходит? Я к нему по делам! — в раздражении взвился Амброж.

Но человек, возившийся с бумагами, даже головы не поднял.

— Спросите у его жены.— Он ткнул большим пальцем в потолок.

Амброж неуверенно поблагодарил. Вышел из магазина, свернул к калитке, которая была врезана в большие ворота, и очутился в проходе, ведущем во двор. Стал подниматься на второй этаж и вдруг увидел среди сложенного во дворе материала и инструментов целую кучу своих мотыг. Он узнал бы их среди тысяч подобных. «Моя работа!» Но сейчас он испытывал отнюдь не профессиональную гордость. Им овладело беспокойство.

Что-то стряслось, не иначе! Уж не захворал ли Фоустка? Или еще того чище — не помер ли? Таким никому не нужным, заброшенным казалось все это добро под навесом, протянувшимся по всей длине двора. А какой всегда лоск и порядок был на этом складе между стенами асфальтированного подворья!..

Амброж медленно добрался до дверей квартиры. Постоял, помялся. Может, все-таки не заходить? Но его подгонял страх, что он уедет, ничего не добившись. Амброж вздрогнул от ужаса, когда представил себе те кучи мотыг, кос, топоров и лемехов, к которым ему пришлось бы вернуться в своей кузне, так и не узнав, куда их девать.

Пани Фоусткова опасливо приотворила дверь. Но Амброж успел заметить в ее глазах слезы.

— Мужа нету дома!

— Мне необходимо с ним поговорить,— сказал Амброж настойчиво.

Осунувшаяся, бледная, в заношенном капоте, с неприбранными волосами, она совсем не походила на уважаемую супругу крупного оптовика, одну из первых дам города. Иногда она вместе со своим мужем появлялась в кузне. Он вспомнил ее щебетанье, стук высоких каблучков возле лотка, наивные, удивленные возгласы, ахи и охи там, где ни Амброжу, ни кому-либо другому ничто не казалось удивительным. Фоустка с великодушной улыбкой посматривал вокруг, как будто говорил: «До чего же красивая и очаровательная женщина, а?» — и требовал от всех домочадцев кузнеца почтительного снисхождения к сумасбродствам своей женушки.

А сейчас эта женщина рыдает: «Его арестовали!» — и захлопывает дверь перед самым носом Амброжа.

Он нахмурился, сделал страдальческое лицо, пока рыдания и всхлипывания не заглушил стук каких-то других дверей. Амброж уходил и все упрямей мотал головой. Нет больше никаких сомнений — жизнь вокруг рушится. Он даже не заглянул во двор, где всегда с удовольствием любовался штабелями железа и замечательного, отлично изготовленного товара.

Амброж вышел на площадь и окинул укоризненным взглядом автобус. Эта старая калоша словно бы назло привезла его совсем не туда, куда он собирался. Он вспомнил разговоры мужиков во время езды. «Они, конечно, знали, что меня здесь ожидает. А я только предчувствовал. Где-то там, в самой глубине души. Но все боялся сказать вслух, как бы не сглазить... У меня так и вертелось на языке: о чем это они? Какой такой конец пришел моей кузне, коли есть пока сбыт?..»

Амброж засунул руки поглубже в карманы своего полупальто и с гневом окидывал взглядом эркеры домов. Атланты и кариатиды держались еще высокомернее, чем прежде, демонстрируя полное безразличие ко всему и ко всем. Не только к его неожиданному краху, но и к спешащим мимо людям и повозкам, запряженным лошадьми.

Иногда мимо проносился автомобиль, и с мостовой снималась стая вспугнутых голубей. Птицы опускались на лепные фасады домов. Гордость, самоуверенность и великолепие. Результат добротной строительной работы — и спекуляций. Кто-то должен сделать, кто-то другой — продать. Торговля — кровь в жилах жизни. А сейчас ее благотворный бег внезапно прервался.

Амброж отводил глаза от людей. Прохожим могло показаться, будто этот широкоплечий, простоволосый верзила просто так, скуки ради, шатается по каменной мозаике тротуаров на площади. Он заглядывал в витрины магазинов, и его удивляло, что все идет своим чередом, как прежде. Женщины делают покупки. Такой же деревенщина, как он, и даже в одинаковом с ним полупальто, тащит новый кнут. Москательщик ставит перед своей лавкой доску с указанием имеющегося сегодня в продаже товара. Все это Амброж примечал, не переставая размышлять над судьбой оптового торговца пана Фоустки. Наконец, он еще раз непонимающе оглянулся на вывеску над его магазином и быстрым шагом припустил к улице, где жил его знакомый кузнец.

В окнах кузницы играли сине-зеленые отблески сварки. Перед мастерской стояло несколько подвод. Амброж учуял запах сена и торб и смрад паленых копыт. Сено не успокаивало тревожно ожидающих лошадей.

— Слыхал я о твоей беде,— поздоровавшись сказал кузнец.

Амброж не сразу понял, о какой беде тот говорит.

— Такая молодая, тридцать восемь, да? — сочувственно продолжал старик.— Ну а как вообще твои дела?

— Что с Фоусткой? — спросил Амброж.

Кузнец поправил на носу примитивнейшие из всех производимых очков и сделал вид, будто только сейчас понял истинную причину хмурого вида Амброжа.

— Судить будут!

— За что?

— Тебе лучше знать!

— Мне?

— Ага, тебе,— кивнул кузнец.— Годы и годы обдирает тебя как липку, а ты о том не знаешь и не ведаешь!

— Не меня одного! Нас много на него работало,— бросил Амброж.

— Да! Таких, как ты, у него на совести достаточно! Он, конеч-

но, был псих, твой Фоустка. Не только из тебя-то масло жал! Что и говорить!

— А как же без выгоды-то?

— Выгода...— ухмыльнулся кузнец.— Ты своей головой подумай, какую деньгу он огребал и что тебе отслюнивал!

— Так было, так и будет, сколько свет стоит.

— Черта с два! Теперь пришел конец!

— Смотри, как бы всему конец не пришел...

— Я в артель вступил! Сырье мне дают, забот никаких, а работы — хоть отбавляй!

— Говорят, и с лошадьми покончат,— заметил Амброж.

— Пока что вон их сколько.— Кузнец ткнул в сторону парных упряжек, возле которых топтались мужики. Они с таким любопытством пялились, как подковывают коней, будто видали такое первый раз в жизни.— Спрошу, может, наши у тебя товар возьмут?

— У меня все — первый сорт, как и раньше! — воскликнул поспешно Амброж.

— Инструмент мужику всегда надобен. А вы его всегда делали на совесть.— И кузнец хлопнул Амброжа, который был намного моложе его, по спине и одобрительно глянул сквозь стекла очков.— Уж твой-то отец непременно порадовался бы, что дела зашли так далеко!

Амброж неопределенно кивнул. Старый мастер вместе с его отцом бродил по свету, набираясь ума-разума. Позже они время от времени встречались и, выпив, всегда начинали восхвалять кузнечное ремесло, которое в истории народа сыграло самую большую роль. Цепы, сулицы, булавы! Без кузнецов не достичь бы Жижке такой славы!

Разгулявшись, они вели себя как мальчишки. Глаза сверкали, их несло и разбирало: «Коли понадобится, выкуем оружие получше предков!» Амброж посмеивался над их удалым бахвальством. Вокруг бушевала и сеяла смерть война, оружие ковали иные, более изощренные люди, обладавшие иными возможностями, нежели наковальня и молот в руках кузнеца. Но два стареющих человека в своем святом восторге казались такими счастливыми, что он прощал им эти безвредные мечтанья, не размышляя об истинной причине столь убогой отваги. Лишь сейчас закрались в голову сомнения, а ведь, может статься, и он чего-то не понял...

Заручившись согласием артельщиков приехать к нему за товаром, Амброж побрел по направлению к площади. «Кузнец совсем не изменился,— думал он,— а вот отец, тот уж наверняка сделал бы все и добился, чтобы у нас в низине кузнечное ремесло не заглохло». Слово «артель», напоминавшее о кооперативе, пугало Амброжа. Оно возвращало его мыслями домой, на дно низины, где течет река, с которой шутки плохи. Начинать новое дело рядом с коварной стихией — все одно что водить дружбу с человеком, который прячет за спину острый нож. Амброж никак не мог представить себе, что сельхозкооператив под руководством Кришпина сможет в такой сомнительной ситуации хоть что-то изменить.

Он шагал мимо оклеенных плакатами стен, с которых на него смотрели улыбающиеся рабочие и крестьяне. У каждого в руках было какое-нибудь орудие труда. Они призывали его строить дома и заводы, предлагали идти на работу в шахты и рудники. Плакаты висели на тех самых местах, где перед войной часами топталась на месте толпа мужчин, тщетно поджидавших кого-нибудь, кто может дать им заработать хотя бы крону-другую. Они опрометью кидались, когда отец Амброжа подзывал помочь погрузить железо или снять готовый инструмент. За несколько геллеров, пачку «зорок» или за кружку пива... Видно, и впрямь настали другие времена!

Амброж, словно очнувшись, вдруг обнаружил, что проголодался. Он направился к трактиру, который не мог похвастать броской вывеской и занять почетное место на площади. Заезжий шинок с утра и до поздней ночи оживлял собой небольшой уголок возле церкви. Здесь никому не мешали ни лошади, запряженные в брички и телеги, ни гам, ни пьяное пение. И в окнах просторного шинка чуть не до самой зари горел свет и мельтешили фигуры бражников.

Здесь толклись и зажиточные мужики, и те, что победнее. Батраки и возчики изо всех окольных деревень, городские рабочие и подмастерья, приказчики, которым негоже рассиживать рядом со своими хозяевами или господами-чиновниками где-нибудь в ресторации на площади. В базарные дни шинок ходуном ходил от шумных разговоров, обильных возлияний, шлепков засаленных карт о столешницы. Тут же совершались сделки и ставилась выпивка в счет удачной коммерции. Здесь бывало шумно и по воскресеньям после богослужений, но Амброжу больше всего нравились предвечерние посиделки, которыми венчались знаменитые в этих краях ярмарки. На лавках теснились дорожные рабочие, извозчики, бродячие купцы, торгующие самым разнообразным товаром и всевозможными чудодейственными снадобьями от любых хворей. Те, что целый день без устали покрикивали из своих ларьков, примостившихся среди ярмарочной суматохи. От этих людей, вдруг затихших и погрустневших, словно они отыграли трудный спектакль, исходил какой-то свет дальних странствий. Амброжу было о них кое-что известно и потому иногда казалось, будто с этими людьми, бродящими с места на место, он связан родственными узами. Сам он выбирался из своей низины не чаще раза в год, но те далекие времена, когда он весной становился плотогоном, пустили в нем глубокие и крепкие корни. Переступив порог шинка, Амброж неожиданно подумал, уж не отправиться ли ему будущей весной в путь по белу свету! Ведь плакаты предлагают такой богатый выбор...

Амброж окинул взглядом шинок и сразу увидал мельника. Озлившись на себя, что не приметил на улице его коней, он повесил пальто на крючок и принялся разглядывать присутствующих. В полупустом зале среди утренних посетителей знакомых не оказалось. Амброж молчком опустился рядом с мельником. Тот, едва кивнув головой, тупо уставился прямо перед собой на стойку с пивом, хотя там ничего интересного не происходило. Амброж сообразил: мельник дает ему понять, что он явился некстати.

Приглушенный говор усиливал тихую угрюмость почти пустого помещения. За окнами то и дело мелькали опадающие листья каштанов, похожие на тени птиц. «Моя сова не оставляет меня ни на минуту. Уж не предостерегает ли от беды?..»

Перед мельником уже стояла кружка пива и рюмка с чем-то покрепче. Амброж заказал себе пиво и гуляш.

Мельник брезгливо щурил глаза, словно избегая взгляда Амброжа, а кузнец развлекался, наблюдая за странным поведением соседа. С бесцеремонностью и дерзкой самоуверенностью, присущей людям столь крупным и могучим, как он, Амброж внимательно изучал глуповатую, гладенькую и пухлую физиономию мельника.

«Ага, и у тебя уже седина в волосах. А когда совсем поседеешь, то будешь ни дать ни взять сам бог Саваоф!»

Лицо мельника с тонкими женственными складками вокруг губ и маленькими прищуренными глазками было насуплено. Он был раздражен и не скрывал этого. И у Амброжа так и чесался язык сказать: «Чего дуришь, сосед, не строй из себя невесть что! Чего ты все пыжишься, изображаешь, будто со мной незнаком?»

Но тут мельник вдруг заговорил сам:

— Роза к тебе приходила?

— Приходила! Ну и что с того? — кивнул Амброж.

— Учти, это было в последний раз.— Мельник пытался говорить твердо и решительно.

Шинкарь поставил перед Амброжем пиво и тарелку гуляша. Ушел и вернулся с ломтем хлеба.

— Как же так, сосед? Ты даже не пожелаешь мне приятного аппетита? — спросил Амброж, принимаясь за еду.

— Нет!

— Дело хозяйское,— усмехнулся Амброж. Он откусывал хлеб и не торопясь работал ложкой. Ему было неприятно возвращаться мыслью к вчерашнему свиданию с Розой, окончившемуся таким поражением.— Уж не воображаешь ли ты, что будешь ей приказывать?

— Воображаю! — отрезал мельник.

— Припоздал, не те нынче времена, приятель. Спишь долго!

— А ты не припоздал? — съязвил мельник и ухмыльнулся.— Может, это ты долго спишь?

— Я...— начал было Амброж, но вдруг умолк, сделав вид, что не может продолжать разговор с полным ртом. Он уписывал хлеб, глотал гуляш и запивал острую еду пивом. И нехотя признавался себе, что мельник, пожалуй, прав. Что-то в этом роде он уже слышал, хотя совсем по другому поводу.

— У тебя, кузнец, всегда дела шли хуже, чем у меня!

— Ага, раньше! — согласился Амброж. Он доел и почувствовал себя лучше. Ему даже нравилось, какой оборот принял их разговор.

— И сейчас хуже!

— Это как же понимать?

— Ты хотел перемен, ждал нового...— кивнул мельник.— Вот и дождался! Пожалуйста, получай, они наступили! А теперь расплачивайся!

— Что правда, то правда, Фоустку посадили, но...— И тут Амброж сообразил наконец, куда гнет мельник.

Мельник махнул рукой, будто говоря: «Этого сюда не приплетай», и перебил Амброжа:

— Я был и буду против всего, что нам навязывают! А ты — ни рыба ни мясо, и вашим и нашим, тебе я не завидую!

Амброж насторожился и выжидающе взглянул на мельника.

— Не завидую! Ведь ты сам потакал тем, кто теперь тебя сожрет и напрочь уничтожит! — прошипел мельник, и Амброж почувствовал, что тот из их спора выходит победителем.

«Да, я и впрямь очутился где-то посредине. Ни с этими, ни с теми другими...»

Он выпил залпом полкружки и сказал:

— Ты начал про Розу!

— А я про нее и говорю!

— Не похоже!

Мельник громко хихикнул. Щелкнул пальцами, подзывая шинкаря, и лихо швырнул на стол деньги. Потом встал и, не дожидаясь его, выпрямившись, зашагал прочь из шинка. Шинкарь схватил купюру и крикнул:

— Больно много!

Мельник у самых дверей обернулся:

— В порядке! Может, у этого...— он кивком указал на Амброжа,— деньжат не хватит.

И исчез.

Амброж в бешенстве только успел приподняться со стула. Опустившись обратно, он беспомощно уставился в тусклый грязно-зеленый стол. Он знал, что мгновенная слабость навалилась на него не из-за оскорбительной выходки мельника. Тот всегда был спесив и вечно тщился изображать из себя сильную личность. Нет, не это сбило Амброжа с ног. Уверенность, с какой мельник точно попал в самую его

боль, в его сомнения. Он признавал его правоту и бесился от злости, и все это смешалось в нем, как перетасованная колода карт.

Амброж заказал еще пива. Листья с деревьев облетали все гуще и беспрерывно мелькали за окном, как будто отъезд мельниковой повозки навлек на каштаны яростный порыв ветра. «Мудрая сова не зря предостерегала меня!..»

Амброж вдруг заторопился. Ему было не по себе. Он расплатился и вышел из шинка. Не испытывая ни к чему интереса, побродил по городу и вышел к той дорожке, что вела напрямки к открытому горному кряжу, за которым находилась брудская низина. Вот-вот на смену поздней осени придет зима. Это чувствовалось на каждом шагу. Когда-то Амброж любил такую пору. В кузне становилось уютно, все вокруг затягивала мгла, а над низиной повисали тихие снежинки. Времена были нелегкими, а вскоре и вовсе грянула война. Но то главное, что человека поддерживает и помогает ему держаться на плаву, если он невзначай поддается безнадежности и страху, оставалось ясным и четким.

«Теперь железа у меня навалом. Да и воды в реке как будто должно хватить на веки веков, и на здоровье пока не жалуюсь, но, сдается мне, с наступающей зимой все, что казалось до сих пор куда как надежным, тоже полетит в тартарары».

Амброж радовался, что может идти домой пешком. Он шагал по знакомой тропке и, минуя пустынные развилки дорог с крестами и распятиями, оставлял где-то позади последние мысли о городе, этом копошащемся людском муравейнике, втиснутом в дома из камня, добытого в полях. Он боялся провалиться думами в прошлое, чтобы не очнуться с еще большей обидой и болью в таком непростом настоящем.

Вечером Амброж с нетерпением дожидался Яну. Рассказал ей про свои дела. Он сидел у стола и старался говорить не повышая голоса. Цигарку свертывал с неторопливым спокойствием. Зачем перекладывать свои тревоги на ее неокрепшие плечи? Перед собственной дочерью он стремился казаться стойким и нести свое горе с достоинством настоящего мужчины. Амброж привык жить независимо от круговерти стороннего света. Надо во что бы то ни стало устоять и сейчас.

— Работы везде много,— весело сказала Яна и положила руку ему на плечо.

— Знаю...— согласился Амброж, но про себя отметил: «Да только что за работа! Ведь человеку не все равно, какое дело делать!»

— Радим тоже занимается не тем, чему выучился...— продолжала Яна, и Амброж заметил, что она вдруг оробела, невольно сказав то, чего не хотела сказать.

— Ага, значит, его зовут Радим?

Яна кивнула, и ее глаза засветились счастьем.

Наконец-то между ними не было больше секретов.

— У тебя с ним серьезно, Яна?

— Серьезно!

— А когда же ты мне его покажешь? — спросил Амброж, старательно придавая голосу мягкость.

— Пойдем как-нибудь в деревню в кино, там и покажу!

— Уж не артист ли он у тебя? — спросил Амброж с преувеличенным изумлением.

Оба рассмеялись и продолжали смеяться все время, пока Яна рассказывала.

Два раза в месяц на деревенской площади появляется разболтанный автомобиль со следами военного камуфляжа: красный крест еще проглядывает из-под свежего слоя краски. Амброжу никогда не доводилось оказаться возле этой видавшей виды санитарной машины. Но раз-другой он слышал хриплый голос, рвущийся из репродуктора, прикрепленного на крыше этого ветерана. Киноперед вижка при-

глашала зрителей на кинофильм в местный трактир. Амброжа ничуть не удивляло, что в такие дни Яна всегда возвращалась из города домой. У молодости свои права. Он ее не удерживал, хотя мог бы деликатно напомнить о недавней гибели матери. Наоборот, он радовался. Пусть девочка отвлечется, придет в себя. А оказывается, дело тут совсем в другом...

Только после рождества, когда снег почти сошел, из артели явились за готовым товаром. Теперь в кузне, как и прежде, стоял шум и грохот. Но вечером того дня Амброж отправился в кино.

— Коли фильм будет дрянной, останусь пивка попить. Не сидел с людьми не помню с каких пор!

Он стал бриться, Яна положила на стол чистую рубашку и поспешила уйти из дому первой.

Из машины, стоявшей на площади, неслись в темноту неразборчивые, прерывистые выкрики. Люди выходили из домов и домишек, прислушивались, но ничего в этих объявлениях разобрать не могли. И Амброж тоже. Он поздоровался — увидав его, деревенские малость оторопели, но он вел себя как все: идти так идти, что-нибудь да покажут!

Ему вдруг стало смешно, ведь голос из репродуктора вполне мог выкрикивать какие-нибудь гадости, например: «Заходите, заходите! Оторвем всем башку! Заходите, заходите, мы из вас душу повытрясем! Выбирайте, кому что нравится!»

Он представил себе, как все те, кто сейчас толпой устремились внутрь, рвутся из дверей обратно и мчатся домой, чтобы зарыться поглубже под перины своих высоко застланных постелей. Такая бессмыслица порадовала его. «Коли эдакие дурацкие мысли могут лезть в голову, значит, дела мои не так уж плохи!»

В табачном дыму и гомоне он отыскал свое обычное место и снова с ехидцей подумал: «Все куда-то лезем и лезем, сами даже точно не знаем зачем!» Он тешился сознанием, что среди шумных, возбужденных мужиков он один такой невозмутимый и спокойный.

На улице, подле затихшей санитарной машины, Яна познакомила его с худощавым молодым парнем. Амброж пригласил его заглядывать к ним. А потом сидел за столом, тянул пиво — у разливного совсем другой вкус, чем у бутылочного, к которому он за эти полгода привык,— и наблюдал за Радимом. Паренек сновал взад-вперед среди столов со своими ящичками и коробками. Темные волосы тщательно прилизаны, на лбу челка, от теплой куртки плечи кажутся шире, чем на самом деле. Он устанавливал киноаппаратуру и вешал на стену экран, который был виден и в дверь из соседнего зала трактира. Вспотев, парень скинул куртку и влез в пиджачок, узенький, как две Амброжевых ладони. Силачом не назовешь! Куда там! «Но для настоящего мужчины фигура еще не главное»,— твердил позже Амброж в разговоре с мужиками. Вокруг гомонили женщины, дети и бабульки, которых прежде могло вытащить из теплых домов разве что пасхальное богослужение там, наверху, в церквушке.

...Погода. Болезни у родни и у скотины. Похвальба и робкие жалобы.

Амброж ни к кому не лез с разговорами. Отхлебывал свое пиво и с таким любопытством наблюдал за происходящим вокруг него в зале, что даже пропускал мимо ушей обращенные к нему слова, а потом кивал головой, соглашаясь неизвестно с чем.

— Ну а ты-то как, Амброж? — вдруг спросил его Кришпин.— Запишешься вместе с нами в сельхозкооператив?

Амброж оглядел сидящих вокруг стола, чтобы понять, с кем это «с нами». Середняки и беднота. Амброж их хорошо знал. Всей-то живности разве что парочка коз. Никто не взглянул на него ободряюще или с интересом. Большинство сидело с таким видом, будто им самим нужно было отвечать на вопрос Кришпина.

— Запишусь! — заявил Амброж решительно.— Запишусь, но только в том случае, если ты как-нибудь обуздаешь реку!

— Будем конюшни строить! И ремонтную мастерскую...— ответил Кришпин.

Амброж покачал головой.

— Строить собираешься? А река? Пускай все крушит и зверствует дальше?

Кое-кто из мужиков поднял глаза: Амброж попал в самую точку.

— Она зверствует уже сотни лет, а жизнь в низине как шла, так и идет! Почему же именно сейчас...

— Ты эти разговорчики брось, сенатор,— подчеркнуто-ласково пожурил его Амброж.

— Не смей называть меня сенатором! — с раздражением заорал Кришпин.

Амброж благоразумно умолк и опять принялся за свое пиво. Видеть, что делается в соседнем зале, мешало одеяло, которое Яна помогала вешать на дверь. Она улыбнулась отцу, словно хотела подбодрить.

— Что это ты? Застыдился вдруг, что закупал сено?

— С чего бы? Вот уж нет! — огрызнулся Кришпин.

— Впрочем, знаю! Ты не только сено, ты покупал-продавал все, что только мог,— заметил Амброж.

«Сейчас напоминать секретарю о его прошлом не имело смысла. Это могло бы пригодиться в другой раз. А пока мы просто сидим, беседуем, пьем пиво...»

— Ты мне такое не клей! К делу не относится!

— Что-что, а дураком тебя не назовешь, товарищ сенатор! Чего нет, того нет,— одобрительно сказал Амброж.

— На твой век моего ума хватит!

Радим в последний раз обратился к мужикам, сидящим за пивом в трактире, приглашая их на фильм. Сеанс уже начался. Никто не двинулся с места.

— На мой, может, и хватит, а вот на реку — нет, не справишься! Кишка тонка! — ухмыльнулся Амброж.

— Что ты все лезешь с этой рекой! Кто виноват, что...

— Кришпин! — предостерегающе крикнул кто-то. Все понимали, что ни к чему сейчас напоминать Амброжу об утонувшей жене.

— Я не только из-за этого говорю о реке,— Амброж сразу понял, чего не договорил Кришпин,— но начинать строить, не обуздав реку,— затея пустая! Ведь каждый год вода все сносит! Сейчас это, кажется, называется вредительством!

— Что-то ты нынче много себе позволяешь!

— Вода все уничтожит, и вам это отлично известно.— Амброж повернулся к мужикам, сидящим в нерешительности.

— Знаешь, Амброж, кто ты? — резко бросил Кришпин.

Амброж кивнул. Секретарю такого неопределенного согласия показалось недостаточно.

— Ты подрываешь саму идею сельхозкооператива!

— Ну уж! Ну уж! — хохотнул Амброж, и даже остальные осмелились заметить, что секретарь, пожалуй, хватил лишку.

Из зала неслись обрывки музыки и приглушенная, странная, будто из загробья, речь киногероев.

— Я тоже проголосую за! Но в первую очередь за строительство плотины,— заявил Амброж, и все с испугом уставились на него.

— Видали? — торжествующе заорал Кришпин.— Он всех вас хочет выжить из низины!

— Такое дело не пойдет, Амброж!

— С ума, видать, спятил!

— Наши предки от твоих слов в гробах переворачиваются!

— Здесь, в низине, наш дом!

— Радуйся, что в свое время этому строительству хода не дали!..

— А почему не дали? — возмущенно спросил Амброж.— Да потому, что кое-кому оказалось невыгодно!

— И нам невыгодно, и всегда будет невыгодно,— укоризненно заявил кто-то из середняков, высказав вслух то, что думали остальные.

— Выходит дело, не другое времечко-то, товарищ сенатор? — преувеличенно заудивлялся Амброж и, смакуя, облизал с губ пивную пену.

— Да нет! Другое! — возразил Кришпин.

— А ведь кто-то в эти твои конюшни и мастерскую всадит денежки! Или нет? Кооператив на воде! Вот на чем ты прославишься!

— Заткнись! — взорвался Кришпин.

В двери зала просунулась какая-то физиономия, призывая не забывать, что идет фильм. В глухие голоса вклинилось стрекотание пулемета, и музыка заиграла громче.

— Должно, про войну,— заметил чей-то голос.

— Шли бы лучше кино смотреть...— посоветовал трактирщик.

— Тебе, Амброж, хорошо трепаться, когда знаешь, что с кузней все одно покончено,— вмешался мужик, сидящий слева от него.

— Пока что не покончено!

Кришпин многозначительно осклабился, делая вид, будто ему об этом кое-что известно. Остальные хмурились, ужасаясь призраку затопленной низины.

— Или ты держишь зло на мельника?!

— Что верно, то верно! Держу! Да только не со вчерашнего дня это началось,— согласился Амброж.

— Чтобы из-за какой-то бабы всю деревню переселять...— изумился кто-то, и остальные облегченно захохотали.

— Дурачье! — Амброж едва сдержался, чтобы не плюнуть.

Его пытались урезонить: не сходи с ума! Хватит об этом, бросьте вы, пошумели и ладно! Куда ты? Останься!

Амброж расплатился с трактирщиком, схватил свое полупальто и выскочил в ночь.

И вот опять он шагает из деревни к себе на выселки. Проходит мимо темных, без признаков жизни домов. В тоскливой слякотной тьме, среди грязи и серого снега еще четче белеют стены мельницы. Река стала шумной. Рождественская оттепель добралась до макушек окрестных гор.

Амброж припомнил свой неудавшийся поход в кино и впервые задумался. Он ведь так и не знает, откуда в нем это чувство одиночества. Из-за того, что его никто не поддерживает, когда он говорит о реке? Или потому, что не стало жены? Видимо, легче преодолеть боль утраты, чем переубедить соседей. Они продолжают ходить к нему в кузню и вести бесконечные разговоры, уговаривая понять, наконец, их опасения и нужды. Ведь времена-то настали новые! Была бы при нем жена, все шло бы легче. Жена или, может, любовница? Все равно! Видно, куда-то надо девать энергию, а не ломать попусту голову над тем, что происходит вокруг.

«У меня есть дочь. Но кто знает, сколько она еще проживет со мной вместе?»

Когда Яна в первый раз привела к ним в дом Радима, Амброж понял, что дочка пробудет здесь месяц-другой, не дольше.

Радим Зезула приезжал с Яной все чаще. И в жилой части кузни опять стало весело. Черноволосый, подвижный, как ртуть, паренек нравился Амброжу. Он пытался помочь по дому и в кузне, но видно было, что к таким делам непривычен. Инструменты держал в руках бестолково и неумело. Топор почему-то казался ему то чересчур тяжелым, то острым, ручки у инвентаря тоже никудышными, только мозоли набивают!

Такой вот он был неумеха.

— Вы бы шли на другую работу,— предложил Радим, когда

Амброж пожаловался, что нет у него уверенности, дотянет ли кузня до весны.

— Не так-то все просто,— отмахнулся Амброж.

— Радим тоже поменял работу,— сказала Яна, и тут предположения Амброжа, наблюдавшего повадки и манеры будущего зятя, наконец-то подтвердились: Радим был официантом.

— Плохо зарабатывал? — спросил Амброж участливо.

— Да нет, зарабатывал хорошо! Но сейчас мне живется лучше!

— Чего уж хорошего-то — таскаться черт знает куда,— ляпнул Амброж с пренебрежением, но сразу же усомнился: не так ли и сам он рвался из дому, влекомый весенним зовом реки, и каждый нерв в нем дрожал и манил в дальний путь?

— Вербовали на производство, да, к счастью, ухватился за просвещение!

— Просвещение? — не понял Амброж.

— Несу свет в самые глухие деревушки...— начал было Радим перечислять задачи и мероприятия, про которые Амброж иногда слыхал по радио. Ему и в голову не приходило, что такое может быть для кого-то хлебом насущным.

— Какая-то непонятная работа,— удивился Амброж.

Яна поспешила заверить отца:

— Мы скоро квартиру получим! В городе!

— Хочешь сказать, если б остался официантом, то не получил бы!

— Это уже наверняка,— с гордостью ответила Яна.

— Черный костюм, белый воротничок и гладенькие ручки сейчас не в моде,— подхватил Радим.

— А сейчас у тебя что — руки в мозолях? — от души рассмеялся Амброж.

— И мозоли были...— вступилась Яна за своего избранника, который пошел было на фабрику, да быстренько переметнулся на эту для Амброжа пока что загадочную работу.

— А кто будет подавать людям пиво и еду?

— С этим и женщины справятся!

— Угу! — неуверенно допустил Амброж.

— На фабрику нас собирали с бору да с сосенки: официанты, парикмахеры...

— И ремесленники тоже, так ведь? — перебил его Амброж.

— И они! И крупные фабриканты,— кивнул Радим.

— Ну и дела! — изумился Амброж.

— Человек, папа, всему может научиться,— подхватила Яна,— возьми хоть меня!

— Ну, коли их такая работа устраивает, почему бы и нет. Но ведь большинство пошло туда не по своей воле!

— Да-да! Такие сейчас времена,— вздохнул Радим.

— Времена! — скривился Амброж.— Всегда все валят на времена.

— Платят мне прилично...— продолжал Радим, и Амброж согласно кивнул головой. О дочери можно теперь не беспокоиться. Но он не смог удержаться и подпустил шпильку:

— Главное, чтобы работа нравилась!

Радим махнул рукой. Подошел поближе к Яне:

— Живы будем — не помрем,— и обнял ее.

Яна была счастлива, ведь для ее будущего мужа главное в жизни — их любовь.

Пожелав Амброжу доброй ночи, они отправились в комнатку, в которой еще недавно Яна ночевала одна. Амброжу до сих пор не приходило в голову, что ему придется примириться и с этим.

Он остался в кухне один, сел и опустил голову, подавляя в себе недовольство. Впрочем, ведь он сам первый предложил ему ночевать в комнате вместе с Яной. Сначала Амброжу было приятно чувство-

вать себя человеком широких взглядов. Дело молодое, да тут еще Радим беспокойно ерзает на стуле и говорить с ним просто невозможно... Двери, что вели к Яне, притягивали его как магнит. Амброж сказал: «Ступай к ней!» — хорошо хоть не добавил, как теперь принято у молодежи: «Подумаешь, какое дело!» Парень, видимо, понял, что за отцовским предложением стоит житейский опыт — к чему притворяться, и так все ясно! Нынче молодые наедине не богу молятся! Впрочем, а когда оно было иначе?..

Сомнения, которые нахлынули на Амброжа позже, перекликались с его личными переживаниями. Амброж не мог позабыть Розу. Вполне возможно, она еще придет. Представив себе это, он скривился: «Ну и дела, о господи! У девчонки парень ночует, у меня баба, тут же, за стенкой, в постели, где я годы и годы спал со своей женой».

С Яны какой спрос? Она молодая. Радим — ее парень, и они, видимо, скоро поженятся. Но смириться с мыслью, что сам он не имеет права спать с женщиной, Амброжу никак не хотелось. Его раздирали сомнения, он злился на себя: сколько же фальши и ханжества прет из человека. Только и заботы, как бы получше выглядеть в глазах окружающих. А надо на все плюнуть и жить по-своему, как хочется...

Последние морозы и начало весны неплохо уживаются друг с другом. Как друзья, что частенько бранятся. Подует северный ветер, и ляжет новый снег. Весна начинает чахнуть, ее пробирает дрожь от вида унылых лесов с их тоскливой гримасой, от голых ветвей и старой листвы на почерневших снегах. Амброж винит их в сообщничестве. Зима с весной спелись, чтобы портить нам жизнь. Играют на нервах. Вечером тепло, утром рассвет белеет свежим снежком. Он выходил на улицу и хмурился. Опять моросит дождь. Амброж с отвращением оглядывался на свои следы, провалинами чернеющие в снежной каше, и злился на бесформенные горы, утратившие границу с небом. Будто именно там зреет заговор лично против него, Амброжа.

Теперь Амброж остался совсем один. В феврале Яна с Радимом поженились. Пир горой не устраивали. Пригласили лишь двух свидетелей. Тихо расписались, и все. Это тоже знамение времени. Молодые переехали в город. Получили квартиру. Амброж туда наведался всего один раз. На последнюю телегу со своим товаром погрузил и Янино приданое.

Две комнаты, кухня темная, без окна, ванная, где и днем приходится зажигать свет. Да и те комнаты, где были окна, казались ему тоже мрачноватыми. Прямо напротив торчит еще один дом, для второго уже копают яму под фундамент.

Их семейный очаг, их счастье...

Соседи заходили к Амброжу в кузню. Опять пытались заводить разговоры, но Амброж уклонялся, отходил к горну прежде, чем начинались прикидки насчет будущего Брудка и низины. И в трактире, и возле продовольственной лавки, где мужики частенько собирались потолковать, он переводил разговор на что-нибудь другое. Амброж наконец понял, что никому нет никакого дела до его здравых рассуждений. Он-то возражал против новшеств только потому, что никто не желал брать в расчет реку.

Реку, которая была последним, что осталось у Амброжа. С ней он сталкивался изо дня в день, использовал ее силу, она была помощницей, и, несмотря на это, он стремился погубить ее...

Как и сотни лет назад, так и теперь, когда, казалось, весна играет с зимой в прятки, а зима испытывает ее терпение, река щебечет, мчится вперед, шумит, словно стаи невидимых птиц, гремит, и рокочет, и тихо мурлычет, как довольная кошка. И во всех своих обличьях она не устает отражать и солнце, и тьму. И бьется ли о берег, крутит ли водяное колесо — она не просит ни милости, ни снисхождения. Вечная, она тщеславно напоминает нам, смертным, о бренности... «А я

хочу, чтобы ее хищный поток превратился в смиренные, укрощенные плотиной, зеркальные воды. Ты утратишь свободу, река, но станешь еще сильнее».

Он ощущал ее присутствие за стеной кузни, в изнурительном жа́ре и грохоте, а сам себя — капелькой, которая вот-вот воспарит и вольется в многоголосье общего хора. В многоголосье с ускользающим от его понимания ладом. Слишком уж разноречивым было все то, что он слышал вечерами по радио, краем уха в деревне и с чем сталкивался в собственной работе. «Я ведь тоже потеряю свободу, но кто поручится, что я, Ян Амброж, стану сильнее? В этом, река, твое предо мной преимущество».

Весна не спешила в низину. Застенчиво приближалась слякотной безотрадностью, неожиданно удлиняя ночь на радость одной лишь большой сове, и птица пиршествовала на мышьих стежках, обнажившихся из-под растаявшего снега. Амброж теперь все чаще возвращался в дом лишь после того, как темная тень, выбравшись из чердачного оконца, растворялась во влажной темноте. На какую-то совсем крохотную минутку ему начинало казаться, что он не один, что огромный, трудно постижимый человеческими чувствами мир, те его вечные ценности, которым он не мог подобрать имени, а может, и великий кодекс, который человеку не подвластен, все еще существуют. Он здесь, он без нашего ведома руководит нами.

Амброж с нетерпением ждал прихода весны. Ему казалось, что только весна может принести решение, и тем не менее угнетало его странное подозрение, будто такое безвременье не кончится никогда.

Немудрено было догадаться, что дело тут вовсе не в капризной смене времен года, но в напряжении, живущем в нем самом, в его душе. С частными кузнями теперь покончено. Идти работать в мастерскую, что собрались строить за деревней, совсем близко к реке, ему не хотелось. Ведь в любой момент на нее могла рявкнуть разлившаяся вода, ее могло изувечить наводнение, которое здесь шутя называли «десятилеткой», даже если оно случалось чаще. «Какой же я мужчина, коли соглашусь делать то, во что не верю!» С такими мыслями Амброж ложился и вставал. Но бывало и по-иному. В нем оживал другой голос. Внешне проявляясь лишь безысходной подавленностью да воркотней на погоду, голос требовал, настаивал: «Мне нужна женщина! Я еще не старик, чтобы обходиться без женщины!»

После отъезда Яны Амброж все чаще поддавался игре воображения. Он считал это естественным. Более того, пытался понять, нужна ли ему определенная женщина, думая при этом о Розе, или, может быть, любая другая?.. Роза не переставала волновать его, но вскоре на высоком потолке спальни и в пламени горна стал, зыбко колеблясь, возникать иной образ.

Об этой женщине Амброж не думал. Она пришла сама и предложила себя. «Чего тут удивляться! Ведь я, как изголодавшийся кобель, пялюсь на нее всякий раз, когда прихожу в лавку». «У тебя, Мария, все в руках горит».— «Да и ты, Амброж, ловко управляешься с хозяйством».— «Тебе все к лицу, Мэня!» — «И ты еще мужик что надо, грех жаловаться!» — «Я одинок, Марженка!» — «Ты думаешь, Амброж, я не одинока?..»

Так она давеча и сказала. Он кивнул и сделал вид, будто понимает, что такое нудная обыденность супружеских страстей. У Кришпина, ее мужа, голова была всегда полна гешефтами, а теперь прибавилась еще и беготня по инстанциям да ответственный пост... Надо бы ей раньше, еще девчонкой, понять, куда лезет! Всему селу был известен суматошный нрав Кришпина, умеющего наповал сразить односельчан каким-нибудь непонятным нововведением, которое он подхватывал где-то далеко от Брудка. Начиная с одежды и кончая затеями. Когда все довольствовались велосипедами, он вдруг объявлялся на мотоцикле. Отец его, скототорговец, первым в долине завел себе ламповый

радиоприемник. Сын уродился весь в отца и унаследовал его нрав. Собственной жене урвал место продавщицы в лавке. Да, ничего не скажешь, Мария такая баба, что стоит греха...

Не выходит у Амброжа из головы Мария. Его влечет ее грудь, распирающая платье и выглядывающая из глубокого выреза, когда она наклоняется под прилавок за какой-нибудь мелочью. И еще потому, что она жена Кришпина! Да-да! Поначалу Амброжа ужаснуло такое открытие, потом он махнул на это рукой. Эко дело! Чего доброго, затаит на Кришпина еще большее зло, если у него с Марией ничего не выйдет.

А тут вдруг Мария сама явилась в кузню. Встала в дверях, держа в руках топор. Амброж заметил ее, только когда повернулся, чтобы, зажав клещами раскаленный кусок железа, оттащить его от наковальни к кадке с водой.

— Вот, топор принесла! Мой к тебе никак не выберется...— начала она и, прежде чем Амброж успел удивиться, добавила: — А в нашем доме весь инструмент затупился! — Сказала и стыдливо опустила глаза...

Амброж прошелся было пальцем по лезвию топора, но Мария вдруг обвила его шею руками и спрятала голову на груди, как будто давно уже присмотрела там спасительный уголок. Кузнец уронил топор на пол. Обнял Марию и прижал к себе с благим умыслом успокоить. В ее испуге могла быть повинна расходившаяся река, всплески воды под колесом, скрип и треск, смрад от раскаленного железа и удушающая жара. Но Амброжу во имя спасения души лишь на какую-то минуту удалось сдержать себя. Мария жадно принимала его поцелуи. Сначала он целовал ее волосы, потом впился в губы. Мария откинула голову назад и прижалась всем телом к его кожаному фартуку. И Амброж понял, что она ищет у него вовсе не спасения от какой-то неведомой опасности. Так, не прерывая объятий, они двигались к верстаку. Мария опустилась на него, словно в дурмане, Амброж сорвал с себя фартук. Он чувствовал, как ее маленькие пальцы все сильнее сжимают его шею, гладят лицо, щека его коснулась крестика в глубине выреза, и на него пахнуло нежным теплом ее груди. Все препоны рухнули... Под платьем она была совсем нагая...

Рядом шумела река, но теперь эти звуки казались Амброжу совершенно иными. Он прислушался, дрожа от волнения. Что, если вдруг навалится та непонятная, постыдная слабость, как это случилось тогда с Розой?.. Одолевал страх, что в этом грохоте и шуме они не расслышат, если кто-нибудь внезапно распахнет дверь и увидит их в греховных объятиях. «Хорошо,— мелькнуло в голове,— что на Марии темное пальто, а не белый рабочий, заметный издалека халат». Мария смеялась и всхлипывала, задыхаясь и трепеща. Он плыл куда-то с нею вместе по этой бескрайней дороге любви...

«Она пришла ко мне такому, каков я есть».

— Амброж, Амброж! — стонала она и восклицала: — Нет! Нет! Это невозможно! Неужто я здесь, с тобой!..

Она накинула на голые ноги пальто и уже не сопротивлялась, когда он вновь склонился над ней. Обхватив руками его голову, она все теснее прижимала его к себе...

— Придется все-таки наточить твой топор,— сказал Амброж, когда они наконец очнулись. Сказал, чтобы как-то скрыть смущение.

— Я приду за ним вечером!

— Вечером? — удивился он.

— Кришпин уехал на курсы,— ответила Мария, и глаза ее были полны таким счастьем, что другим чувствам уже не было места. Она призывала Амброжа участвовать в заговоре против мужа...

Амброж притворился, что готов стать ее сообщником и что подобный союз его не страшит. Он молча кивнул головой. Мария подо-

шла к нему совсем близко, поглядела на топор, который он держал в руках, указательным пальцем осторожно тронула острие, словно это была дорогая реликвия. И только потом подняла глаза на Амброжа. Наверное, он должен ее поцеловать. Но он этого не сделал. Мария повернулась и торопливо вышла.

Амброж столбом стоял посреди кузни, уставившись на захлопнутые двери. Огляделся: нигде не осталось ни малейшего следа той горячей и явно выношенной сердцем встречи. Он никак не мог успокоиться. Подошел к окошку, обросшему паутиной, и через старое слепое стекло увидал удалявшуюся фигурку Марии Кришпиновой. Тускло, как сквозь сплошной молочный туман, вырисовывалась низина, дома и домишки, вся деревня и горы, верхняя граница которых терялась где-то в облаках. Там, высоко, где одни леса и вершины, залегла густая мгла. Амброжу вдруг пришло в голову, что Марию кто-нибудь мог заметить. На этом плоском куске земли, что тянется вдоль излучины, все открыто людскому взгляду, пусть даже случайному. Марию могли заприметить, когда она только пробиралась к нему в кузню. «Ко мне, правда, многие ходят, тащат свои топоры-лопаты, но не бабы!» Он с отвращением глядел на отполированное чужими ладонями буковое топорище, и его корчило от брезгливости. Кришпиновыми ладонями...

Амброж прислонился к наковальне и задумчиво покачал головой. Случилось такое, чего он никак не ожидал. «Да, я этого хотел. Втайне, в самой глубине души. Но чтобы оно налетело внезапно, как летняя буря?.. Что пригнало ее сюда? Любовь или топор?» — улыбнулся он счастливой улыбкой и представил себе, как она заперла лавку, сняла с себя белье, чтобы все произошло быстрее... Где-то в сарае схватила топор и кинулась к кузне. Топор и тоска по мужскому телу! Такой союз казался ему вполне понятным. Топор, между прочим, не тот инструмент, которым лишь тешут балки для будущего дома или заготовляют лучину, чтобы в доме было тепло. Топором и головы снимают...

Амброж залпом выпил пива и стал бесцельно разглядывать кузню. Надо было разгрести пепел в горне и прокачать, тогда ветрогон раздует остывшую золу, из которой выглядывают куски холодного железа. Водяное колесо ждало и требовало привычных звуков молота — ударов по металлу. Амброж уже знал его жалобный скрип, когда оно крутилось вхолостую. Уходят твои силы, Амброж, уходят! Река насмехается над тобой. Ты разрешаешь ей без пользы бежать вперед. «Да плевать я на нее хотел, я всего лишь человек, не больше! Должен же я осмыслить, что произошло здесь, под этими почерневшими от копоти балками, среди стен с лучиками света, пробивающимися сквозь щербины от выпавших сучков, под кровлей с покинутым ласточкиным гнездом, где под самым коньком висят вниз головой черные кулечки нетопырьих тел. Я вел себя как настоящий мужчина!»

На этот раз он не сплоховал, и ему было весело, но почему-то вспомнилась Роза... Роза и Мария! Они одних лет, может, годок-другой разницы. Обе темноволосые, Мария пухленькая, розовощекая. Глаза глубокие, правдивые, спокойные. Никогда бы не поверил, что она может быть подобна горному потоку после летнего ливня, прорвавшего тучи...

Он набросил приводной ремень на точило и взялся за топор. Посыпались, разлетаясь в стороны, снопы искр. Сталь с визгом противилась насилию шероховатой поверхности камня. Выла и плакала на высокой ноте.

Амброж осторожно прижимает острие к вращающемуся серому камню, и в памяти возникает Мариино тело.

Его заливает радость.

...Она придет вечером, и они опять будут любить друг друга. Спешить не станут. «И не убудет ни меня, ни ее, сколько бы мы, настоящие мужчина и женщина, не тратили себя».

К вечеру он в приподнятом на редкость настроении переделал целую кучу дел. И ему ни разу не пришло в голову, даже в те минуты, когда он доставал из кадушки свежезакаленные детали, что все это больше никому не нужно...

Амброж вышел из кузни, когда уже смеркалось. Из чердачного окошка только что вылетела сова. Наверху, на церковной колокольне, колокол звал к вечерне, и звуки эти сплетались в теплом воздухе с шумом реки, впервые нынче запевшей по-весеннему. Подняв голову, он долго смотрел с порога на отвесные горные спуски. Когда опустится тьма, любопытным глазам уже ничего не углядеть. Амброж отвернулся от реки и перевел взгляд на мельницу. И, неожиданно увидав Розу, забеспокоился. Конечно, это была она! Ему даже показалось, будто Роза, замедлив шаги, пристально смотрит в сторону кузни.

Но сегодня ему некогда было обдумывать, что мог означать Розин взгляд. Он растопил печку. Поел и долго, тщательно мылся. Потом перетащил пуховики из спальни в комнатушку и оставил открытой дверь, чтобы туда шло тепло от нагревшейся уже печки. Впервые после гибели жены он задернул на кухонном окне занавески из белого полотна. Прежде темнота никогда его не смущала, да и до нынешнего вечера нечего было скрывать от соседей. Амброж включил радио, и гром духового оркестра с его барабаном, отбивающим ритмы жизнерадостного марша, заглушил монотонное тиканье часов. Наконец, усевшись поудобнее за стол, он принялся священнодействовать над своими цигарками. Первую он тут же закурил и взялся скручивать остальные, складывая рядком перед собой колбаски, набитые до отказа махрой.

Амброж послушал по радио последние известия и невольно вспомнил Кришпина. Он представлял себе, что где-то там, откуда летят эти слова, и есть то самое, что нынче называют курсами. После известий стали передавать классическую музыку. Она звучала томительно и грустно, как будто кто-то умер, и очень походила на те мелодии, которые по большим праздникам наверху, в церквушке, со скрежетом и одышкой изрыгал из своего чрева старый орган. Амброж взглянул на топор, безжизненно привалившийся к наколотым сосновым полешкам возле печки. Топор был порукой, что Мария придет. Обязательно придет.

Она пришла. Амброж поспешно переставил кастрюльку с водой на середину раскаленной плиты и, чтобы как-то скрыть смущение, буркнул, что сейчас приготовит чай. Мария тоже казалась смущенной. На ней было темно-синее платье, отделанное белой тесьмой по карманам и белыми же пуговками, целомудренно застегнутыми до самой шеи. Она опустилась на краешек стула, держась чинно и скованно. На ее лице и в глазах дрожал страх, словно она опасалась встретиться глазами с Амброжем или оглядеться вокруг.

Амброж такого не ожидал. Сразу рухнули мечты, которыми он весь день упивался: какова же она будет вечером, коли могла быть такой средь бела дня! Сейчас они смущенно сидят друг против друга, как будто встретились, чтобы обсудить важные, неотложные дела.

— Я, наверное, рехнулась, Амброж, и все испортила,— робко произнесла Мария и облизнула кончиком языка иссохшие в великой жажде губы.

— Мария...— мягко произнес Амброж и протянул к ней руку.

Вода на раскаленной плите заклокотала, кастрюлька, задребезжав, выбросила пузырьки кипятка. Амброж поднялся и достал из судничка две кружки.

— А я кофе принесла,— сказала Мария деловито и, вытащив из кармана пакетик, сама взялась за приготовление напитка, одуряющий аромат которого Амброж учуял сразу же, как только Мария вошла в дом.

Давненько не пил он натурального кофе.

— А твой топор уже готов!

— Я не знаю, сколько должна за него,— улыбнулась Мария, но тут же застыдилась, сообразив, что своими словами напомнила о случившемся между ними днем. Амброж прикоснулся к ней, желая без слов, одним лишь этим движением, исполненным одновременно мгновенной жалости, радости и желания, дать ей понять, как дорог ему ее приход.

Она благодарно принимала его прикосновения, они помогали ей преодолеть смущение. Кающаяся грешница... Потом, не сопротивляясь, позволила увести себя в комнатушку. Ее прерывистый шепот возбуждал и согревал Амброжа.

Мария чувствовала его тяжелую руку на своем теле. Тепло этой комнаты с низким потолком охватило ее. Она притянула лицо Амброжа к своему полуоткрытому рту, принуждая касаться ее губ и полузакрытых глаз и все-таки оставляя ему свободу действий, чтобы он мог считать себя завоевателем. Ее волновали сильные руки Амброжа, его тяжелое дыханье и грубые пальцы, которые вели неуклюжую борьбу с ее платьем и тонкими кружевами белья; она хотела продлить это наслаждение, которое женщина с мужчиной в полную силу могут испытать лишь в первый раз! Она больше не могла сдерживать себя и устремилась ему навстречу. И тут на них низверглась стихия, подобная той, что обрушивается, когда открывают затворы над отводом, и скрытая сила воды раскручивает водяное колесо, и кузнечный молот пускается в свой ритмичный бег... Амброжу казалось, что он проваливается в пучину...

Радио продолжало играть, хотя они его вовсе не слушали. Амброж принес остывший кофе. В тишине, которую лишь иногда нарушало потрескивание догорающих поленьев, под шум реки, не дающей забыть, что их окружает полуночный, окутанный тьмою мир, они говорили вроде бы друг о друге, но на самом деле — Амброж о своей жене, а Мария — о Кришпине.

— Он не виноват, что у нас нет детей,— шептала она, заступаясь за мужа, хотя Амброж ни о чем не расспрашивал. Лишь удивился, что за день эта мысль ни разу не пришла ему в голову.— Он ведь не такой уж плохой! Просто не мужчина!

— Мужик — это не одни только мускулы,— возразил Амброж.

— И это тоже!

— Коли бы я смолоду поездил с товаром...— хмыкнул Амброж, но Мария перебила его:

— Но ведь ты стал кузнецом!

— И жалею об этом!

— Нет, не жалей, в том твое счастье!

— О тебе тогда я и мечтать не смел!

— Времена были такие,— сказала Мария, целуя его, и Амброж невольно в который уж раз за сегодняшний день представил себе Марию, единственную дочь богатого крестьянина Сламы, которую он отдал за неугомонного, предприимчивого и честолюбивого Кришпина.

— Хорошо, что настали новые времена...— смеясь, протянула Мария, а он добавил:

— ...и людей стали отправлять на недельку-другую на курсы!..

— Скажешь тоже! — шутя надулась Мария и тесно прижалась к нему. Амброж с радостью принимал ее ласки, уводившие его от страхов за будущее. Но страхи и опасения то и дело вспыхивали в нем, словно трут, занявшийся от раскаленных искр.

Мария ушла перед самым рассветом. Кое-где по дворам, проснувшись, брехали собаки. Амброж выжидал у порога под холодным, усыпанным звездами небом, пока не угомонится последний цепной пес и не заберется обратно в свою конуру. Кузнеца брало сомнение, не обманет ли ясная ночь... Какую даст завтра погоду?

Мария приходила каждый вечер. Весна в конце концов сжалилась над Брудком и теперь спешила возместить свое опоздание. Светлые перышки молодой травы, клейкий блеск почек на ветвях, идущая против течения на нерест рыба.

К Амброжу приехали Яна с Радимом. Ненадолго. Так, на часок-другой. Яна удивлялась: с чего это отец так чисто выбрит? Прошлась по дому и шепнула ему на ухо: «Роза?» Он отвел глаза, но «нет» не сказал.

Амброж работал теперь, не присаживаясь целыми днями. Ел и пил за троих. Ему не нужно было бегать в лавку за провизией. Мария приходила с полными сумками. Однажды ночью она принялась стряпать у него на кухне, и за стол они сели только во втором часу ночи. Амброж опасался, как бы соседи не приметили, что он перестал ходить за покупками. И как-то раз отправился в лавку. Накупил, как обычно. Пива, пожалуй, взял побольше. И в лавке встретил Розу. Они остановились. Поговорили. И вдруг ни с того ни с сего Амброжа надоумило позвать ее к себе. «Приходи. Ведь ты по субботам свободна!» Роза кивнула, и ее юбка прошелестела по тропинке, спускавшейся к реке, где с незапамятных времен расходились в разные стороны две протоптанные стежки. Налево — в кузню, направо — к мельнице... Амброж со смешанным чувством ждал ночи на пятницу. Настал конец встречам с Марией. Они не заговаривали об этом, да и обо всем другом тоже молчали.

Амброжу вдруг обрыдла работа: в чем его жизнь? Этот тяжкий труд да Мария по вечерам?! Он не привык подолгу спать, но после четырех бессонных ночей, проведенных с ней, все-таки чувствовал усталость. Опять на него накатывали приступы безнадежности, не ослабевающие, даже когда он кидал на кучу готовых изделий новый заступ или лопату. Амброж все чаще хмурился. Из города уже давно не приезжали за товаром.

Он не жалел, что вот так, не подумав, позвал к себе Розу. Прошедшая неделя с Марией — да, наверное, и эта последняя ночь — ничего не изменят, он потешит свое самолюбие, укрепит веру в себя, и только! Когда у тебя есть женщина, все идет проще, пока ты не увязнешь в чувствах и не поймешь, что очень уж в ней нуждаешься...

«Надо еще раз попытать счастья с Розой, покуда есть уверенность в себе, покуда знаю, что не буду дрожать перед ней, как побитая собачонка. Мария выбрала меня для своего собственного удовольствия. Ну что ж. Что хотела, то получила»,— рассуждал Амброж.

Он представил себе обеих: Мария, одетая в белоснежный, с яркой вышивкой, национальный костюм. Роза — как на плакате, что висит в городе. Марию растили для сытой жизни. Ей всегда хорошо жилось, но ведь в этом нет ни ее вины, ни заслуги. Так же как Роза не вправе кичиться тем, что у нее никогда ничего не было. Мария миловиднее и привлекательнее, но у нее муж. Роза кажется красивей, впрочем, тут, возможно, он возвращается памятью в молодость. И главное, она ведь одна...

Амброж оставил молот и вышел из кузни, чтобы опустить щиты у лотка. Доски соскользнули вниз, вода стала быстро убывать, наконец обнажилась нижняя часть большого водяного колеса. Амброж обернулся и заметил на тропинке мельника. В руках у него был перемет с крючками.

— Браконьер! — крикнул мельник и поглядел на Амброжа.

— Ну и что? — пробурчал Амброж.

— Не знаю, кто этот ворюга,— в бешенстве орал мельник,— ну да ничего. Я его поймаю!

— Мне бы твои заботы,— усмехнулся Амброж,— река давным-давно не твоя.— И поглядел вниз, в лоток. Он всегда любовался, как перекрытая вода с журчанием просачивается сквозь щели и тоненько струится по мягко блестящим камням.

Мельник зашвырнул шнур с крючками в кусты и с неприязнью сказал:

— Зря ты на скандал нарываешься!

— С кем? С тобой? — хохотнул Амброж.

— Нет, с теми! — ткнул мельник в сторону деревни.

— Это как же понимать?

— Я им уже отдал всю свою землю. А коли ты будешь упорствовать, они заодно возьмутся и за мою мельницу!

— Не могу же я отдать им землю, которой у меня нету!

— Ступай к ним работать, тогда они нас обоих оставят в покое!

— А они объяснили тебе, почему я не хочу к ним идти?

Мельник посмотрел на кузню. Тут и там из стен вываливались бревна. Трухлявые балки требовали смены.

— Конечно, твою развалину можно с легким сердцем затопить водой. А моя мельница в полном порядке! Как игрушка!

— Сейчас самый подходящий момент укротить реку,— сказал Амброж и поспешно отвел глаза от воды. Словно испугался, что проговорился в ее присутствии.

— Надо это время как-то переждать, потом станет легче! — заметил мельник.

Амброж не понял.

— Эти их новые порядки долго не продержатся, кузнец! Опять вернутся старые порядки. Тебе со мной лучше не ругаться!

— Эка загнул! Старые порядки! Ошибаешься! Что было, то прошло и уже не вернется!

Мельник осклабился. Его румяные щеки еще больше расплылись, но в глазах вдруг проскочила злобная искорка:

— Коли так, кузнец, то тебе лучше мотать отсюда подальше!

Амброж молчал. Он оперся рукой о насыпь и сплевывал в небольшую лужицу, которая всегда натекала сквозь затор. Он глядел в темную зеленую стынь воды и едва сдерживал бешенство. «Что это? Предложение? А может, приказ?! Нет, ни за что! Хотя бы наперекор этому ублюдку я не покину реку и низину! Нет! Не могу! Но и не желаю быть побежденным вместе с ним. Сейчас мы с этим типчиком вроде бы заодно. Нас ждет одна участь. Но для меня это было бы проигрышем вдвойне!» Амброж отвернулся и глубоко вздохнул, чтобы освободиться от душившего его бешенства. Но оно все подступало к горлу. Опять всплыл вопрос, не имеющий ответа: а если я отсюда не уйду, как быть дальше? Плясать под его дудку, как плясал когда-то?..

— Ну что ж! Тогда мне придется помочь тебе. Не хочешь по-хорошему, вылетишь по-плохому,— со спокойной угрозой, словно прочитав его мысли, заявил мельник.— И не рассчитывай, что ты такой уж мастер... ну, скажем... как в постели.

Амброж оттолкнулся от щитов, ухватил мельника, который был ему по плечо, за барашковый воротник, и обеими руками стал стягивать его на жирной шее, пока не полопались швы.

— Ах ты сволочь! Сейчас швырну тебя в реку, и никто по тебе слезинки не прольет, потому что ты никому не нужен!

Амброж тряс мельника изо всех сил и угрожающе шипел прямо ему в рожу. Но вскоре пальцы сами по себе разжались. Не стоит связываться, не тот он человек, с кем можно разговаривать. Отчаянный страх этого обмякшего мешка обезоружил его. Уперев руки в бока, он глядел на дрожавшего, как мокрая курица, мельника. А тот разглаживал ладонями отвороты воротника и, не замечая, что глаза Амброжа все еще мечут молнии, а кулаки сжаты, опять взял высокомерный тон:

— Это я позволил Розе завтра вечером зайти к тебе!

Мельник совершил большую ошибку. Амброж, не долго думая врезал ему и с левой и с правой. Точно в подбородок. Молниеносные

удары опрокинули мельника, и, падая, он успел получить от Амброжа еще и хорошего пинка в зад. Толстяк тяжело поднимался с бурых плетей прошлогодней крапивы, но кузнец уже не видел, как он, хватаясь за старые стебли и согнувшись в три погибели, ковыляет прочь. Амброж стоял, повернувшись к нему спиной, и глядел на бегущую мимо реку... Его вдруг растрогала та доверчивость, с какой вода мчится сверху от излучины, чтобы влиться здесь в тихую заводь над запрудой и превратиться в большое зеркало, отражающее горы, и склоны, и птиц, и все то, что с незапамятных времен обретается на ее берегах. На него вдруг навалилась слабость. Глаза застлали слезы. «Я должен был, ну просто должен был проучить его,— твердил он себе,— но если бы знал, что потом со мной будет твориться такое, не стал бы марать руки!»

Отпустить мельнику затрещины мог сподобиться лишь он, Амброж. Последний в роду кузнецов. Но поздно! Все поздно. Далеко позади остались попреки и споры из-за того, что кузня пользуется мельничным отводом. Раздоры из-за водного права, из-за всего того, что порождало соседство богатства со скромным трудовым заработком, едва хватавшим на жизнь. «Да, только я смог позволить себе набить мельнику морду! Ни дед, ни отец на это не осмелились! Иные были времена.— Амброж удовлетворенно покачал головой.— Зато теперь пришли времена новые! Но кузне моей — конец. Дороговато обошлись мне эти затрещины»,— подумал он уныло и, взглянув последний раз на реку, на горы, словно закончив с ними разговор, медленно поплелся к дому.

Вечером Амброж изо всех сил старался скрыть от Марии свое плохое настроение. Еще не взявшись за свои вечерние цигарки, он нет-нет да и начинал прикидывать в уме, на что же мог намекать мельник. Постель? Надо бы предостеречь Марию. Кто-нибудь, наверное, видел ее. Но она пришла, такая беззаботная и праздничная, и ему не захотелось портить ей радость и вспоминать то, что снова отступило пред налетевшим вихрем вечной женственности...

Мария согрела ужин. Она то усаживалась ему на колени, обнимала и ласкала его, то кидалась прибираться в доме, доводя все до блеска. Амброж наблюдал за ней с некоторой опаской. Наверное, еще и потому, что несколько часов назад пришлось все-таки взглянуть правде в глаза. Амброж понимал: Мария хочет, чтоб у обоих остались хорошие воспоминания и об этой последней ночи тоже...

И опять они любили друг друга, а очнувшись от ласк, поняли, что время их истекло. Мария сказала:

— Спасибо тебе, Амброж, я, конечно, знаю... что...— и умолкла, а он додумал за нее. Проглотив слова «ты меня не любишь», она воркующим и спокойным голосом заговорила о своей любви: — Ведь я тебя люблю, люблю давно.

Амброж потянулся за самокруткой и закурил. Мария, свернувшись клубочком, уткнулась ему в плечо.

«Что я могу ответить ей? Она все еще красивая. Наверное, была бы доброй женой! Да только у меня ничего нету. Кузня, что вот-вот рухнет, да дом, в котором зимой гуляет ветер, а летом протекает крыша. И ни к чему вкладывать в это деньги, даже если б они у меня были... Река! Так продолжаться не может. Мне это ясно при всем почтении к ее красоте и ко всему тому, чем за многие века она оделяла людей в низине. Я вырос рядом с водой. Понимаю воду, как мало кто другой. А сегодня набил мельнику морду, быть может и за своих предков тоже! Ведь я наследник их тщетных мечтаний об огромном водохранилище, которое поглотило бы капризы реки. Не такое уж это для нее жестокое наказание... Кузня всегда попадала первой под гнев разбушевавшейся стихии. Старые балки многое могут поведать. Чего только они не натерпелись от нее!

— Ты, мужчина, Амброж. И мне нечего ждать от тебя объяснений в любви!

— Нет, Мария, я просто думаю, как жить дальше!

— Ты не пропадешь!

— Считаешь, мне надо уехать? — спросил он, зная, что у себя дома человеку и стены помогают.

— Я хочу, чтоб ты остался. Брошу Кришпина и уйду к тебе!

Слова Марии окончательно сбили его с толку. Он придавил цигарку, отодвинул пепельницу, коснулся рукой ее лица и стал пальцами гладить глаза. Они были мокрыми. Амброж верил ей: она пойдет следом за ним, даже если он решится отсюда уехать. Защемило сердце. Ведь все эти дни он думал, что Марию приводит сюда к нему только желание... А она, оказывается, поставила на карту свою жизнь, давая ему все то, чего так не хватает одинокому мужчине. Верила, что он еще может полюбить ее...

— Так ведь я же люблю тебя, Мария,— вырвалось у него.

— Тогда чего ты боишься?

— Себя!

— Это мне в тебе дороже всего!

Амброж усмехнулся.

— Ты совсем не изменился.

— Думаешь? — засомневался он.

— Тебе нужно иметь кого-то рядом...

— Кого-то...— сказал Амброж с сомнением.

— Но, видно, не меня! Я с мужчинами не очень умелая!

— Очень даже умелая, Мария!

— И все-таки — не я нужна тебе!

Она не видела в полутьме, как Амброж в бессилье покачал головой. Вдруг он спросил:

— А Кришпин верит в дело, которое делает?

— Ты о том, чем он занимается сейчас?

— Ага!

— Верит. Как и всегда. Но только вначале! Потом устает, как норовистый конь, который не потянет, покуда его не запрягут в другой воз.

— Мне бы надо быть с ним заодно. В его компании...— сказал Амброж полувопросительно, но уже без тени насмешки.

— Нет, нет! Держись от него подальше!

Амброж не стал бы всерьез принимать предостережение Марии против собственного мужа, если б так хорошо не знал Кришпина. Кришпин присосался к тому новому, что нарождалось в этой низине, и хоть не на нем одном оно держалось, энергия, с которой он всегда брался за дело, вполне могла увести доверчивых людей совсем в другую сторону. Деревенские мужики не слишком-то разбирались, что идет от его оголтелости, а чего на самом деле требуют от них «сверху». Кришпин убеждал их: «Не лезьте на рожон! Я ведь не из своей головы такое выдумал! Ничего не попишешь — это требования нынешнего дня!»

Но в их покорной уступчивости была и своя правда: «Не он, так все равно найдется кто-то, да еще пришлый!»

Так оно и бывало. Это не раз признавал и сам Амброж. А ведь главное — не наломать дров, потом уж дела не исправишь! Раньше у одних было всего невпроворот — имущество и всякие выгоды. У других — ничего. Значит, сейчас самое время покончить с несправедливостью. Потом будет поздно. Долой прошлое! Да, долой! Но, боже праведный, не забыть бы, что у прошлого была и своя мудрость. И горька была она для дальних и ближних предков, эта мудрость познания: хищная, все разрушающая неожиданными паводками река...

...Они прощались в темноте, под тихий шепот воды, беспокойно вздрагивая от утреннего холода и неопределенности, не представляя,

что с ними станется дальше. Теперь они знали, что бессонные ночи были для них не просто ночами любви. Они пытались насытиться страстью, а тем временем потихоньку вступал в силу переменчивый закон жизни, тот, который никому не даст уйти от уплаты по счету... После часов забвения еще невыносимей окунуться в тягостную злобу будней...

Амброж обнял Марию и поблагодарил. Она уходила в собственный мир. «У каждого из нас своя жизнь, и каждому жить в ней по-своему. Сурово, немилосердно, но такова неблагодарная правда. Поздно соединять наши жизни, Мария! Да к тому же сейчас не самый подходящий момент».

Утром Амброж поднялся с постели и отнес пуховики из комнатушки обратно в спальню. Тщательно уничтожил все следы прошедшей недели; многие мелочи жгли ему руки, рождая в душе сомнение, не слишком ли он упорствует в своей решимости. Но вечером должна прийти Роза! Его ничуть не смущало, что придется встретиться с ней, когда мысли его целиком поглощены другой женщиной. Вот Розу он мог представить рядом с собой. «Она из того же теста, что и я. Не знала в жизни ничего, кроме работы и унижения. Роза — битюг, запряженный в тяжелую телегу. Мария же — белая кобылка в легких дрожках на рессорах. А я на дрожках ездить не мастак!..»

Он наложил полную сумку бутылок и отправился в деревню. Солнце стало припекать. Скворцы уже прилетели, а в низкой траве, возле первой избы, с громким писком льнули к наседке желтые гусята. Наконец-то пришла весна! Амброж ног под собой не чуял от радости. Мир, омытый утренней росой, был прекрасен. А воздух! Нигде в целом мире не найти воздуха благоуханней, чем ранней весной в этой низине. Амброж был так упоен великолепием природы, что чуть не разразился своими восторгами перед теми, кто находился в лавке. Он с нетерпением ждал, пока подойдет его очередь. Хотелось поскорее оказаться опять на улице. Погожим дням люди должны радоваться, а не хмуриться и не вести тусклых разговоров про то, что станут стряпать, а потом есть. На свете уйма дел повеселее. Амброж поглядывал на Марию, но она держалась так, будто целиком поглощена своими заботами и это вовсе не он стоит по ту сторону прилавка. Только когда подошла его очередь, она стала доставать кроме пива и другие продукты, ни о чем не спрашивая, и его это растрогало. «Приметила, чего у меня дома не хватает!..»

В это время за окнами послышался шум подъехавшего автомобиля, и в лавку ввалился Кришпин. Он был в воскресном костюме, с портфелем в руке. Увидав Амброжа, бросился обратно к дверям, и все услышали, как он кричит, что кузнец, мол, сейчас здесь, в лавке, пускай подождут. Вернувшись, он сказал:

— Едут к тебе за товаром! Подбросили меня из города!

Амброж поспешил рассчитаться, но тут Кришпин добавил:

— В последний раз приехали!

Амброж остолбенел. Мария подняла на него глаза. Позже ему не однажды вспоминался ее взгляд. «Она хотела сказать мне, чтоб я сохранял спокойствие».

— Ох, товарищ сенатор, и что ты можешь знать о нуждах сельского хозяйства в железном инвентаре!

— Брось! Твое дело — труба,— заявил с превосходством Кришпин, мелкими шажками пританцовывая вокруг кузнеца.

Амброж двинулся к двери. И уже с порога, кивнув тому, кто сидел в грузовичке, крикнул:

— Может, и труба, но с тобой мне так и так не по пути!

— Это мы еще поглядим!

— И не думай и не жди! — гневно рявкнул Амброж, опуская сумку с продуктами за борт машины.

— А куда ты денешься! Деваться-то тебе некуда!

Амброж деланно захохотал, но смех этот не принес ему облегчения. Его трясло от бешенства, он заорал:

— Один раз ты мне уже такое говорил, Кришпин! Вспомни-ка, во время войны!

Кришпин взвизгнул:

— Ты войну сюда не приплетай!

— Тогда ты хотел, чтобы я в кузне на немцев вкалывал. Но я не такой дурак, не стал тебя слушаться! Не то что покойный корзиночник Бенда!

— Ну и что? — с вызовом спросил Кришпин.

— И тогда ты тоже гундел: «А куда тебе деваться?..» Ты ему неплохой гешефтик подкинул. Вязать плетенки для авиабомб.

— Он на этом немалую деньгу зашиб!

— Но ведь и ты тоже! Тебе все одно, на чем зашибать! Предатель!

Кришпин побагровел. Обернулся к перепуганным односельчанам, выскочившим на их крики из лавки. Он как будто призывал всех в свидетели:

— И ты смеешь говорить такое? И кому — мне?

— А кому ж еще! — уже спокойнее заявил Амброж и полез наверх в кузов машины.

— Ты еще своими словами подавишься! — блажил Кришпин, задрав голову вверх, но Амброж только отряхнул ладони, словно бог знает в чем перемазался о деревянные борта.

— Подавлюсь? Дожидайся! Как бы не так!

— Времена уже не те! Не зарывайся, Амброж! — настаивал Кришпин.

— Времена-то не те, да ты как был гнида, так гнидой и остался.

— Ты не меня оскорбляешь!

— А кого же еще? Место, на котором ты сидишь? — с насмешкой поинтересовался Амброж и грохнул кулаком по жестяной крыше кабинки: давай, мол, трогай!

— Тебе это дорого встанет, кузнец! — с угрозой заверещал Кришпин, пытаясь перекрыть шум уже работающего мотора.

Машина медленно взяла с места, и Амброж заорал во всю глотку:

— Смотри не попадайся мне на узенькой дорожке! В омут зашвырну! Там для таких, как ты, места хватит! — Могучий кузнец, твердо стоявший на широко расставленных ногах, чуть покачнулся на ухабе и стал удаляться от деревенской площади, на которую перебранка собрала народ из соседних домов.

Амброж погрузил в машину весь готовый инструмент. Оба приехавших артельщика молча таскали топоры, лопаты и заступы. Держались оробело, как будто чем-то напуганные. Да и Амброж своим видом никак не выказывал, что у него есть желание видеть их здесь дольше. Скорее наоборот — давайте, дескать, мотайте отсюда.

Иногда он вдруг бормотал себе под нос: «Дубина стоеросовая! Довел человека! И что он себе воображает, этот недоносок? Барышник! Лично я бы ему и пару волов не доверил! Дела толком не знает, никто его за настоящей работой сроду не видывал». И тут вдруг сообразил, что ведь вся эта сцена разыгралась на глазах у Марии. Она, конечно, слыхала их крики.

— Испортил жизнь и этой бабе тоже! — взорвался Амброж уже в полный голос.— А теперь взялся за низину.

Амброж с отвращением сплюнул и пробежал взглядом по окрестным косогорам, поднимающимся вверх, к лесам, так ярко освещенным лучами солнца, что и на расстоянии можно было разглядеть каждое дерево. Он словно желал заверить себя, что эта играющая всеми красками, полная жизни котловина — нечто великое и совершенно несопоставимое с мелкой фигурой Кришпина.

И только когда Амброж налил рабочим пива и они уселись на

лежащее бревно, рядом с которым гомозились воробьи, шофер, осмелев, но все же с осторожностью произнес:

— Время-то вам не изменить, мастер!

— А я не хочу его менять, время-то,— в тон ему ответил Амброж и вдруг успокоился.

Он подписал накладную, где указывалось количество изделий, взял деньги и молча выслушал, что из города, дескать, велели передать: за товаром больше не приедут.

Грузовичок уехал, и вспугнутая было воробьиная компания посыпалась обратно на землю из-под крыши и с набухших почками ветвей и со щебетом принялась опять за свою вроде бы пустопорожнюю суету среди мха, травы да истлевших прошлогодних листьев. Но Амброжу казалось — он разгадал смысл их хлопот. Ладони горели. На душе было муторно. Он наблюдал за возней этой пернатой мелкоты у своих ног и завидовал их неиссякаемой бодрости. У него было чувство, что его выбросили в ничто и он теперь находится вне закона. «Но ведь без работы мне нету жизни! Без той работы, которая мне необходима, она и только она имеет для меня смысл...»

Амброж обошел свою кузню и сейчас вроде бы впервые увидел, до чего же здесь все отжило свой век, изработалось, стерлось и выщербилось от неустанного труда и старости. «Кузне и без Кришпина долго не протянуть! До чего я ее довел! Ну а что мне оставалось делать?» — подумал Амброж, но тут же мысли его приняли другой оборот. Повсюду, во всем, на что ни глянь, жили воспоминания об отце и деде, которые в этой старой разваленной кузне, хитроумно соединяя металл с деревом, смогли создать столько полезного. «Они, верно, не знали, им и в голову не могло прийти, что меня ожидает. Потому что сами не променяли бы свое дело ни на какое другое. Иногда просто выкидывали проржавевший болт или, взяв полосу стали, сводили ее кольцом и соединяли ею толстые доски и балки столь искусно, что дерево оживало, возрождалось для новой жизни. И вдруг — нет больше смысла поднимать щиты у затвора и радоваться тому, что река, введенная в узкий желоб, начинает погонять колесо!»

Амброж с трудом сдерживался, чтоб не приняться за работу сейчас же, немедленно. Наперекор всему. Сколько раз ему это помогало! Страшная вещь — безделье. Но еще страшнее — так вот плясать, с кусками железа между наковальней и горном, зная, что плоды твоего тяжкого труда никому больше не нужны.

Амброж дошел до запруды и зашагал дальше, вверх по течению, навстречу реке. Он переводил глаза с воды на выступающие из нее, до мелочей знакомые каменные глыбы. С перекатов — на маленькие, с ладонь, тихие заводи. Любовался обнаженными корнями деревьев у берегов. Поглядывал на окрестные луга и бывшие здесь когда-то небольшие поля, взбугрившиеся и съежившиеся, словно сдавленные рекой и тяжестью соседних устремленных ввысь гор. Там к запаху воды уже присоединялись ароматы весеннего леса.

«Я мог бы работать в лесу. И в нашем, и вообще в любом, если только он на воде». Ага, значит, неожиданно для себя он все же допустил, что может бросить кузню. «Придется. Стену лбом не прошибешь. Но работа, которую я найду, должна быть у воды. Теперь уж все равно у какой. Ведь я же появился на свет у реки».

Остаток дня Амброж провел, плутая по берегу и вокруг кузни. Он не прощался, нет! Низину у него никто не посмеет отнять. Более того, он пришел к твердому убеждению, что от родины человеку никуда не уйти, даже если он сам того пожелает...

За товар Амброжу заплатили прилично, если жить скромно, хватит на несколько месяцев. Подумал про Яну. Хорошо, что она уехала из дома. Одному жить нелегко, но зато намного легче на что-то решиться. В памяти мелькали городские плакаты. Шахты, рудники,

большие стройки! Всюду требуются рабочие руки. И по радио про то говорят. «Время у меня есть»,— сказал он себе под вечер, посмотрев на деревню. Сцена, разыгравшаяся между ним и Кришпином, больше не казалась трагической. «Бывает, что люди и поругаются. Делов-то: у него своя правда, у меня своя!»

И только сейчас, когда на низину стали опускаться сумерки, Амброжу показалось странным, что за целый день ему и в голову не пришла мысль, которая в эту минуту вроде бы даже обрадовала его: «Что бы сделал со мной этот знаменитый революционер, если б узнал, что ко мне каждую ночь бегала его жена!» Но злорадства он не испытал, а вскоре и эта маленькая радость погасла. «Сельскохозяйственный кооператив и будущее реки — об этом еще можно поспорить и даже поругаться. Я — против, хотя могу заблуждаться, могу и посмешищем стать... А вот бегать за бабой...» Амброж глядел на далекие крыши, на кроны могучих лип, что стоят на деревенской площади, и они казались ему старыми, мудрыми свидетелями жизни целых поколений в этой низине. Многое могли бы порассказать эти липы. Целые романы. Люди рождались, умирали, уходили, иные никогда сюда больше не вернулись. Скоро эти раскидистые великаны растворятся в ночной темноте, но пока Амброжу чудится, что они смотрят на него с угрозой: «Лезть под юбку к чужой жене — да за такое всегда карали самой строгой карой! Но даже если б этот справедливый закон больше не действовал, я не имею права считать, что Кришпин мой должник».

Амброж принялся хлопотать по дому. Затопил печку, еще раз побрился, но от угрызений совести не избавился. Они перешагнули вместе с ним порог родного дома. Он признавал, что в нем бунтует отцовская кровь. Уважаемый во всей округе, и ближней и дальней, кузнец, настоящий мастер своего дела, отец, как и Амброж, после смерти жены не мог обойтись без женщины. «Тяжелый труд, наверное, заклеймил и меня своим клеймом. Жар горнила и рукопашная схватка с неподдающимся металлом рождают в человеке яростные страсти. И горе, коли здоровый мужик, полный сил, вынужден ложиться ночью в одинокую постель. Скверным бывает тогда его пробуждение!..»

Амброж уселся к столу и стал сворачивать свои цигарки. Он то и дело поглядывал на часы, сосредоточившись мыслями на Розе. Знал, что она непременно придет. И вдруг испугался. Откуда-то, из глубины души, вынырнуло опасение: а так ли уж нужна ему Роза, как в те далекие времена? Одному легче решать свои дела — подумай об этом, Амброж! «Кто мог знать, что произойдет, когда я вчера позвал ее. Мария призналась мне в любви. Такого у меня прежде не было ни с одной женщиной. Слова и клятвы ласкали слух. Мария была искренна. Потом мне объявили, что в своей кузне я могу и дальше играть молотком, но в моих изделиях никто больше не нуждается. И в придачу эта история с Кришпином; наверное, еще утром этот тип успел заскочить в металлоартель и посоветовать, чтобы впредь ко мне в кузню не обращались. А Роза собирается прийти, ожидая от меня бог весть чего! Верно, уже решилась окончательно, коли объявила мельнику, что сегодня придет... Раскаяние одолело,— думал Амброж, усмехаясь,— вчера на меня глядела овечкой, когда кивнула — да, приду, мол. Совесть мучает, что разыграла давеча мерзкую комедию: вот я перед тобой, Амброж! Давай работай!.. Знаем, мол, чего тебе от меня надо...»

Амброж с таким наслаждением выдохнул дым первой цигарки, что в керосиновой лампе заплясало пламя. Он уже стал было успокаиваться, примирившись с событиями сегодняшнего дня, и сидел, благостно поглаживая чисто выбритый подбородок. И вдруг живо представил себе Розу.

«Ох, баба, до чего ядреная! Такие на всю жизнь сохраняют пыл

молодости». Он распахнул двери в спальню, чтобы туда шло тепло, и плотоядно усмехнулся своему отражению в зеркале: «Ничего не поделаешь, я всего лишь человек, не более! Благодарю тебя, госпюди, что хоть этого у меня никто не сможет отнять!»

Амброж еще никогда не видал Розу такой разнаряженной. Шубка, видать, подарок мельника. Или тот просто дал ей поносить богатый наряд покойной мельничихи? Под шубейкой — юбка и кофточка с оборками. Розины смуглые сильные руки казались сегодня мягче и нежнее. Юбка в складку, достаточно темная, подчеркивала белизну икр. И туфельки на ногах, словно две чайки, намекали, что там, выше, тоже есть чем полюбоваться.

— Присаживайся! Тебе чаю или рому?

— Или кофе...— добавила Роза, но он не понял подковырки и с готовностью улыбнулся ей доброй улыбкой.

— Ничего мне не надо! — отрезала она и уселась, не снимая своей шубейки, поближе к раскаленной печке.

— Тебе будет жарко,— сказал Амброж, пытаясь помочь ей снять эту роскошь. Роза оттолкнула его руки и, сама сняв шубу, положила ее на колени. Амброж опустился рядом. Он был возбужден и полагал, что на Розу накатило то знакомое ему состояние, когда она станет сопротивляться. Царапаясь и кусаясь, она как будто получала от этого особое, ей одной известное наслаждение... «Ну да ладно! Время у нас есть. Вся ночь впереди»,— Амброж с интересом разглядывал свою гостью, с трудом сдерживая смех. Не мог же он сказать ей, сколь комично и трогательно это несоответствие летних туфелек с теплой шубой. «Ради меня бедняжка влезла в самую лучшую одежку, что у нее нашлась...»

— Я пришла сказать тебе, чтобы ты от меня отцепился,— вдруг решительно заявила Роза.

Амброж от неожиданности, словно от удара, втянул голову в плечи.

— Как же это...— заикаясь, выдавил он.— Ведь мы...

— Мельник меня в жены берет!

— Он тебе сам сказал?

— А коли даже и не возьмет, к тебе все одно не пойду! Никогда!

— Роза...— пытался успокоить ее Амброж.

— Ишь чего удумал!

— Что-то я тебя не пойму!

— Не-е-т! Ты все понимаешь,— отрезала Роза.— Затащил к себе в постель Маню, чтобы помогла тебе...

— Нет, не так все это было!

— Святого из себя строишь! «Люди, сделайте что-нибудь с рекой», а сам кобель кобелем!

— Да! Река для меня — самое главное.

— Но Маня тебе тоже не подмога, хоть и потешил ты ее ночку-другую!

— Зря на нее наговариваешь!

— А ты зря наговариваешь на мельника! Я пришла сказать, чтобы ты к нам не лез, и ко мне, и к нему тоже! — Роза смотрела угрожающе.

— Ну, уж это мое дело! Ты мне не указ! — Амброж пренебрежительно махнул рукой.

— Ты у него на крючке!

— Хотел бы я знать, что это за крючок? — попытался он усмехнуться.

— А хоть бы то, что Кришпин может дознаться про ваши с Марией ночные делишки!

— Роза...— Его трясло от возмущения.— Вот какая ты стала! Снюхалась с этим жирным боровом.

— А ты со своей не снюхался?

— Я — дело другое...— с расстановкой произнес Амброж. И, уже не страдая больше от неожиданного Розиного предательства, почувствовал, как в нем закипает гнев.

— Ну, Марию-то я ни в чем не виню. Столько лет по тебе сохла! Твоя жена-покойница все знала, но ты — ты ничего не замечал!

— Вот видишь,— прохрипел Амброж.

— И от Кришпина ей из-за тебя не раз доставалось!

— Из-за меня?

— Уж больно она тебя выгораживала!

Амброж опустился на стул и поднял глаза вверх, к потолку. Ему не терпелось остаться одному.

— Ну, Роза, давай выметайся отсюда! Да поскорее!

— А ты выметайся от нас, из низины! — приказным тоном заявила Роза.

— Я здесь не у вас, а у себя дома!

— Такую нищую развалюху ты и в другом месте себе поставишь... — Она обвела брезгливым взглядом кухню, потом перевела глаза на кузню за окном и поспешно набросила на себя шубу.

— Передай своему, что я все одно разворочу ему морду,— медленно и с нажимом произнес Амброж.

— Ну гляди! Найдутся люди, что помогут тебе отсюда вылететь! — гаркнула Роза.

Так и не подняв головы, он увидел, как ее нарядные туфельки заспешили к порогу. Роза шла гордо, твердо ступая, чтобы случайно не подвернулась нога на непривычно высоком каблуке. Хлопнула дверь, и Амброж услышал, как она осторожно спускается по щербатым ступенькам, ведущим во двор.

Амброжу вдруг пришло в голову, что где-то неподалеку все это время в ожидании торчал мельник. Вот он уже подскочил к Розе, смущенно улыбается и радуется, что она исполнила все точно, как они договорились.

Только сейчас Амброж осознал, что больше всего ужаснула его сама Роза. Как же она изменилась с той давней поры! Ведь когда-то все было по-другому. Куда подевался ее разум, коли уж суждено было умолкнуть сердцу и чувствам, всему тому, что увлекает за собой мужчину, так же стремительно, как быстрина форель? Что же сделал с ней этот проклятый мельник?

Амброж достал из шкафчика бутылку с ромом и стал медленно и сознательно глушить себя алкоголем. Он пил обжигающую жидкость большими глотками, пока не прекратились горькие спазмы в глотке, пока не исчезли из сознания лица и слова...

Наконец все поглотила тьма. Когда он скрюченными пальцами подворачивал в лампе фитиль, за окнами уже стояла глухая ночь.

Покачиваясь, Амброж добрался до кровати и, как был одетый, свалился на пуховики. Он засыпал и просыпался, покорный той усталости, в которой ему являлась Анна, жена. Не угрызением совести, а якорем спасения. Но Амброж не мог ни окликнуть, ни позвать ее, Анны не было, она умерла! Он прятал голову в подушки, чтобы не слышать рева реки. Во всем виновата река. Река! Во всем...

Амброж очнулся и пришел в себя, лишь услыхав громкий стук в дверь. Сначала подумал, что это ему примерещилось в пьяном сне... Поднявшись, он уселся на кровати, и в тот же момент створки дверей, ведущих в кухню, разлетелись. Амброж вскочил и застыл как вкопанный в резком свете электрического фонаря.

— Чего ломитесь, ведь не заперто! — крикнул он и отвернулся, защищая лицо от яркого света и тщетно пытаясь что-нибудь разглядеть.

— Собирайтесь! Пойдемте с нами! Вы арестованы! — четко произ-

нес незнакомый голос. Амброж отмахнулся было, но тут же засипел от резкой боли. Тьма ожила. Несколько пар рук скрутили его, и он, задыхаясь, попросил:

— Дайте хоть лампу зажечь!

Кто-то, чиркнув спичкой, поднес огонек к фитилю и надел на лампу стекло. Амброж увидал мужчину с голым черепом.

Амброж потирал лоб, пытаясь то ли окончательно проснуться, то ли прогнать страшное видение и обо всем забыть.

Двое в штатском и один в форме.

— Тонда, да ты ли это? Вы что, с ума все посходили? — выдавил Амброж с испугом, узнав среди этой троицы Антонина Ванека, одноклассника, который еще перед войной пошел служить в жандармы.

Бывший жандарм опустил глаза, а у человека в берете почему-то вдруг помягчел взгляд, когда сквозь пузатое стекло керосиновой лампы по кухне полился свет и на выбеленных стенах появились неестественно большие, беспокойные тени мужских фигур.

Амброж ошеломленно стоял между представителями закона, пытаясь иронически усмехнуться. Какое-то недоразумение...

— Этот ром вы для куражу выпили? — спросил человек, который зажег лампу.

— Нет, по злобе! — ответил Амброж.

— Ромом от него на сто шагов несет...

Бывший жандарм уставился на носки своих до блеска начищенных сапог.

— Да, выпил! Ну и что из того! А почему бы мне не выпить!

— А потом и преступление совершил!

— Что? — выкрикнул Амброж.

— Где оружие? — Человек в синем берете сразу взял быка за рога.

— Какое оружие? — выкатил глаза Амброж.

— Ружье, из которого вы совершили покушение на секретаря сельского комитета Кришпина,— уверенно добавил второй, будто все было абсолютно ясно и не вызывало никаких сомнений.

— Да вы рехнулись! Какое ружье! Какое покушение...— Амброж весь дрожал, и взгляд его требовал объяснения.

Однокашник Амброжа Антонин Ванек поглядел на своих коллег в штатском, как будто собираясь сказать: «Да, кузнец — человек вспыльчивый, что верно, то верно, прямо спичка пороховая, но так сводить счеты не станет».

Однако человек в кожанке решил иначе:

— Ну что ж, сейчас мы сами поглядим, где да что!

— Пожалуйста! Давайте ищите! — раскинул Амброж руки, призывая обыскать свой дом.

— Вы поедете с нами! — приказал тот, в берете.

— Нет у вас такого права! — Амброж сделал шаг назад, поглядывая на них и прикидывая, откуда начать нападение.

— Не дури, Амброж! — примирительно сказал бывший жандарм.

— Это вы не дурите! И оставьте меня в покое!

— Хватит! — прикрикнул на дрожащего всем телом Амброжа человек в кожаном пальто.— Пойдете добровольно или...

— Что «или»? — Амброж сделал вид, будто не понимает.

— Мы здесь не одни,— мотнул головой один из мужчин к дверям, и однокашник Амброжа Антонин Ванек согласно кивнул.

— Но ведь я ничего не сделал! — в отчаянии закричал Амброж.

— Для того мы вас и забираем, чтобы выяснить,— доброжелательно объяснил тот, в синем берете.

Амброж смотрел, будто взвешивая слова этого человека, который казался ему доступнее остальных. Он прямо впился в него глазами, когда им удалось наконец как следует засветить лампу.

«Может, и он из такой же лачуги, как моя. И тот, второй, тоже, видать, не из городских. Иначе откуда бы ему знать, как обращаться с керосиновой коптилкой. Но быть деревенским или бедняцкого роду еще вовсе не порука, что ты хороший человек. Тот, в коже, все рыщет глазами, как кошка за мышью, вот-вот закогтит».

— И что же я, по-вашему, такого натворил? — спросил Амброж. Он заправил рубаху в штаны и, опустив засученные рукава, подошел к дивану. Он плюхнулся на мягкое сиденье и принялся шарить под ним в поисках ботинок.

— Сказано же, сегодня ночью кто-то покушался на жизнь секретаря Кришпина!

— Что до сегодняшней ночи, то я ее не больно-то помню...— мотнул Амброж головой на пустую бутылку.

— Ничего, вы у нас все вспомните,— прошипел мужик в кожанке, бегая взглядом по кухонным углам. Он пролез за шкаф, поглядел около печи. Амброж зашнуровывал ботинки и ухмылялся.

— Выстрел был произведен отсюда, со стороны кузни!

— И кто вам наплел такую ерунду! Я сплю чутко и, между прочим, еще не...— И он постучал пальцем по лбу с такой силой, что в голове загудело.

— Ты же, Амброж, сказал, что пил...— осторожно произнес бывший однокашник Антонин.

— Я и не отпираюсь! — повысил голос Амброж и, соглашаясь, кивнул, сообразив с опозданием, что однокашник хочет ему помочь.

— У нас имеются показания пострадавшего!..

— Пострадавшего? — с недоверием спросил Амброж.

— Кришпин ранен,— многозначительно произнес тот, в синем берете.

Амброж обмер. В наступившей тишине стал явственно слышен голос реки.

И тут Амброж окончательно пришел в себя. Видимо, действительно стряслось что-то серьезное. «А ведь я сегодня — нет, теперь уже вчера — здорово схватился с Кришпином». Он вздохнул, медленно поднялся с дивана, добрался до вешалки и взялся за пальто и шапку.

— О твоей животине мы позаботимся...— сказал человек в кожанке и вытащил ключ из замка.

Амброж кивнул.

— Ключ я прячу снаружи, за косяк! А что до живности — ее у меня нету! Хотя...— он взглянул на темное окно, и вдруг его охватил страх и отчаяние: «Ведь меня же уводят из дому!»

— Ну, что там у тебя? — поинтересовался человек в берете.

Амброж повел плечами.

— Эта сама о себе позаботится!

— Да о ком ты, черт побери? — нетерпеливо крикнул бритоголовый.

— Ни о ком! — отрезал Амброж, озлобляясь. Ну уж этой противной роже он не станет выдавать большую ночную птицу, ту, что живет на чердаке. Пускай сам вынюхивает. «Ишь, уже дрожит от нетерпения, чтобы я убрался и он мог поскорее начать обыск!»

На ступеньках Амброжа охватило отчаяние. Он думал уйти спокойно и такого от себя не ожидал. Шум работающего мотора и внезапно включенные фары выхватили из темноты и оживили силуэт автомобиля и фигуры людей. Вокруг толпились любопытные. Их было много. Уже успели набежать из деревни. Некоторых он узнал. Лица были не слишком дружелюбны. Ему хотелось кричать: «...Люди! Да это все чушь собачья! Я ничего такого не сделал!» Он почувствовал, что кто-то ткнул его в бок. Чья-то рука подтолкнула к стоящим в ряд людям, одетым в форму. В конце живого коридора была уже лишь распахнутая дверца автомобиля. Амброж быстро втиснулся в

машину и опустил голову, чтобы не встретиться глазами с возмущенными односельчанами. Он судорожно вцепился в мягкую спинку переднего сиденья. Захлопнулись одна за другой дверцы, и машина тронулась с места. Амброж казался себе плененным зверем. Люди, что сидели вокруг, держались теперь так, будто он их вовсе не интересует.

Деревня осталась позади. Большая часть окон светилась. Машина покидала низину, взбираясь по серпантину шоссе. Сидящие в машине курили. Тот, в синем берете, протянул ему сигарету. Амброж отказался. Подумал, если возьмет — а курить хотелось все сильнее,— еще вообразят, будто он не протестует против этой поездки и согласен со всем, что ему шьют. «Им бы очень сгодилось, чтобы я грохнулся перед ними на колени. Но мне бояться нечего!..»

Тоска навалилась снова, когда шоссе, обогнув гребень горы, как на ладони открыло перед ним всю низину.

Печальный рассвет. Печальнее, нежели бледные огни удалявшейся деревни. Там все взоры с ненавистью и облегчением устремлены сюда, вверх, к автомобилю. Еще бы! Брудек избавляется от опасного человека! Если и впрямь кто-то в Кришпина стрелял, то не диво, что люди перепугались. Здесь уже давно по ночам не слышно выстрелов. И эти теперь не успокоятся, пока не обнаружат в кузне хоть какое-нибудь оружие.

Осмелев, Амброж окинул взглядом примолкнувших рядом с ним мужчин. «Надо бы напомнить Тонде, как хорошо мы друг друга знаем. Ведь Тонда прибился тогда к жандармам только потому, что будущий тесть не захотел отдать дочь за простого столяра-подмастерья. Просто пошел на службу. Там ведь можно было кое-что заработать. Все мы знали, как было дело. Понимали его. Во время войны стало ясно, что жандармская служба за ничтожное жалованье Первой республики[1] не испортила Тонду. В моей кузне побывало немало парней, бежавших с принудительных работ из Германии. Тонда про них знал и молчал. Но сейчас тоже молчит. Да и мне неохота разговаривать. Самое время самому пораскинуть мозгами. Ну что за несносный у меня характер. О чем думаю? Про кузню, про сельхозкооператив и секретаря Кришпина. Вчера мы с ним здорово схватились, и теперь они считают, будто, кроме меня, некому было в него пульнуть. Вроде бы, кроме меня, так-таки и некому».

Вот они и прикатили. Тихий утренний город. Машина остановилась перед двухэтажным домом. Амброжа привели в комнату, на освещенные окна которой он обратил внимание, как только вылез из машины на мокрый тротуар. Ему велели сесть к столу с ярко горящей лампой. Как горох из мешка, посыпались вопросы. Допрашивал человек в синем берете:

— Пан Амброж, вы признаете, что сегодня ночью стреляли в Йозефа Кришпина, секретаря сельского комитета в Брудке?

— Нет, не признаю!

— Вам известно, что признание смягчит вашу вину?

— Известно. Да только если есть в чем признаваться,— спокойно ответил Амброж. Поерзав на стуле, он наконец уселся так, чтобы свет не очень бил в глаза.

— Когда у вас обнаружат оружие, будет поздно!

— Никакого оружия у меня не обнаружат! Разве что...

— Что — «разве что...»?

— Так ведь и сейчас еще в реке можно найти какую-нибудь железяку. Винтовку там или гранату!

---

[1] Первая Чехословацкая республика была образована в 1918 г. после распада Австро-Венгерской монархии. После Мюнхенского соглашения (октябрь 1938 г.) стала называться «второй республикой», просуществовавшей до марта 1939 г., когда была оккупирована фашистской Германией.

— Вы имеете в виду те, что остались после войны? — понимающе спросил тот, что был раньше в берете, и Амброж кивнул головой.

— Вы с Кришпином не ладите?

— Не ладим!

— Почему же?

— Это уж дело мое!

— Если бы вас не заподозрили, что вы в него стреляли, тогда, конечно, дело ваше!

— Да вы понимаете, как он должен мне насолить, чтоб я в него стрельнул? — удивленно протянул Амброж.

— И как же? — с интересом произнес голос за спиной.

Амброж обессиленно покачал головой. Наморщив лоб, он пытался отыскать причину, которая могла бы заставить его выстрелить в человека.

— Ну, наверное, и вы б в кого-нибудь пульнули, коли дело касалось бы вашей жизни! — пришло ему наконец в голову.

— Однако Кришпин на вашу жизнь не покушался!

— Чего не было, того не было!

— Послушайте,— начал допрашивающий мягко,— бывает, человек вспылит и в такую минуту, не помня себя от гнева, может пойти на что угодно.

Амброж уловил подвох в его добродушном тоне и еще решительней замотал головой.

Человек вышел из-за стола, и Амброж заметил на его лбу красноватую полосу от тесного синего берета. Подойдя к дверям, он пригласил в комнату другого, одетого в форму. Тот уселся к столу и склонился над чистыми листами белой бумаги.

— Перечислите все, что вы вчера делали,— приказал следователь, и Амброж начал... Начал с самого утра. Сейчас он уже не помнил, с какой пронзительной яркостью запечатлелась в его душе весенняя красота того утра. Рехнуться можно, если постоянно держать в голове, что за каждый счастливый миг нужно расплачиваться... Ведь тогда и радость не в радость. Один только страх. А разве так можно жить?

Амброж собрался было слово в слово передать руготню с Кришпином, но следователь его перебил:

— Короче. Ну, значит, вы не поладили!

— Я хочу рассказать из-за чего!

— Вы полагаете, будет разумно вносить все подробности в протокол?

— Да! Я так полагаю,— с твердостью заявил Амброж.

— У вас есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы делали во время войны?

— Да! У нас в Брудке каждому известно, как я вел себя в войну!

— Кому это — каждому?

— Ну...— забеспокоился Амброж,— односельчанам!

Следователь кивнул:

— Имена!

Амброж мял рукой лицо, и ему казалось, что он стоит над рухнувшим лотком, решаясь, не кинуться ли ему в воду. Еще мальчишкой его притягивало течение, но лишь много позднее он испытал это счастье — прыгнул, преодолел силу воды, поднялся на ноги и двинулся вперед, под самое водяное колесо. Но сейчас он не смог решиться. Не прыгнул. Допрос ведь так мало похож на реку! Он вспомнил Матлоху, Трояка, Патеру, но тут же в памяти всплыло, что именно их лица промелькнули в свете фар возле кузни. И его уверенность как-то сразу иссякла. Станут ли они показывать против Кришпина?

Больше к этому вопросу следователь не возвращался.

«Он дает мне время все обдумать и понять, что теперь у меня надежда только на самого себя...»

— ...Потом вы приехали к себе в кузню и стали грузить товар...— ободряюще сказал следователь. Амброж пожалел, что приходится пропустить такую существенную часть своего вчерашнего дня. Но он продолжал рассказывать, начиная с того момента, когда пришла Роза.

— И с ней вы не поладили!

— Не поладил!

— Да, денек у вас вчера был, прямо сказать, не слишком удачный!

— Она пришла и заявила, чтобы я убирался прочь из низины!

— Этого хотела она?

— Мельник! — ответил Амброж, и вдруг его озарило: «Так ведь это мельник шпионил возле моего дома! Конечно, он! Иначе откуда ему знать, что ко мне ходила Мария!»

— Мельник — ваш сосед?

— Несколько дней назад он сказал, что подкарауливает браконьера,— продолжал развивать свою догадку Амброж.

— Браконьера?

— И объявил, что из низины меня все одно выживет! — У Амброжа полезли на лоб глаза, ему было не под силу справиться со всеми мыслями, что роились в мозгу. Он все еще пытался отыскать и найти объяснение этому злосчастному аресту.

Следователь, видимо, понял, куда метит Амброж.

— Но у мельника на всю ночь алиби.

— Какое еще там алиби? — оторопел Амброж.

Следователь сделал вид, что колеблется, стоит ли выплескивать на Амброжа и эту жестокую правду, но все-таки сказал:

— Пани Роза провела с ним в постели всю ночь!

Амброж пристально смотрел на доску стола и вяло кивал головой.

— Значит, вы напились и уснули!

— Да, я спал, пока вы меня не подняли,— поспешно подтвердил Амброж и безнадежно развел руками.

Следователь вытянул трубочкой губы, будто собирался присвистнуть. Прошелся по комнате и вдруг приказал человеку за столом увести Амброжа.

Амброж оказался в узкой и высокой комнате. По дороге ему разрешили зайти в уборную, но запретили запирать за собой дверь...

Принесли чай и несколько ломтей хлеба. Чай он тут же с наслаждением выпил. Хотел попросить еще кружку, да просить было не у кого. Подумал, может, постучать в окованную дверь, но отошел, радуясь, что наконец-то остался наедине с собой. Правда, одиночество вряд ли поможет ему сообразить, как бы уйти из этой камеры, чтобы больше не возвращаться. Он улегся, растянувшись на деревянных нарах. Огляделся. Камера предварительного заключения. Ничто здесь не вызывало особого интереса, разве несколько надписей, выцарапанных на стенке, решетки на окне да стертая чужими шагами краска на полу. Амброж попытался представить себе, что же, собственно, стряслось ночью у кузни. Но смог лишь точнее сформулировать нечто смутное, точившее его во время допроса: «Как я докажу, что стрелял другой, если не могу доказать, что стрелял не я!» Взяв в руки ломоть хлеба, он отламывал по кусочку и медленно пережевывал, с трудом заставляя себя проглотить. Подумал о Яне. Он пока еще не понимал, почему при мысли о дочери его охватывает жалость. «Она уже знает, что меня забрали!» Долго гнал от себя мысли о Марии, но вдруг ужаснулся, мозг пронзила догадка: он должен понести наказание за те ночи с ней, полные страсти и любви. «Чепуха! Какое еще наказание! Давно не верю в бабьи сказки. Кому нужно распоряжаться моей судьбой? Но ведь Мария — жена Кришпина! Для меня это сейчас довольно опасное обстоятельство. Глупости! Сколько мужчин увидало бы небо в крупную клетку, кабы хватали каждого, кто пере-

спал с чужой женой! Да, но Кришпина ранили! Он-то наверняка должен знать, кто в него стрелял. Но, похоже, твердит, что я! Только потому, что выстрел раздался со стороны кузни?..»

Неизвестно, сколько времени Амброж рассуждал таким вот образом, а может, бредил в полусне, когда ему вдруг велели выйти в коридор. Двое конвоиров отвели его в уже знакомое помещение.

— Вы умеете с этим обращаться? — повышая голос, сказал тот, с голым черепом, что на ночь остался в кузне.

— Умею,— кивнул Амброж.

— Вам повезло,— заявил с угрозой бритоголовый, и Амброж непонимающе уставился на него.

— Но я этого ружья в жизни не видал!

— Я вас об этом не спрашиваю!

— Мы выяснили, что именно с такой винтовкой вы проходили военное обучение,— сказал второй следователь, и Амброж добавил: «Да, когда был на срочной».

Он тщетно пытался понять, почему это ему повезло, когда он не соврал, а сказал правду.

— Отвечайте, куда вы спрятали оружие? — требовательно спросил бритоголовый.

— Нету у меня никакого оружия!

— Дома, конечно, нету,— многозначительно согласился тот, с жестким взглядом, и Амброж заметил, что рука у него перевязана чистым бинтом.— И ту мерзкую тварь на чердаке мы обнаружили!

— Сову? — удивленно воскликнул Амброж, представив себе, как потревоженная этим отвратным типом птица в испуге пробивается к чердачному оконцу.

— Признавайтесь, по какой причине вы подняли оружие на представителя государственной власти! Не тяните время!

— Ничего такого я не сделал,— оробев, возразил Амброж.

— Вы хотели убить его!

— Угрожали ему!

— Кто ваши сообщники?

— Нету никаких сообщников!

— Вы хотели лишь напугать его этим выстрелом?

— Когда вы задумали покушение?

— Кто вас натолкнул на такой поступок?

— У вас был кто-нибудь чужой?

— Почему отпираетесь?

— Все равно заставим говорить!

Амброж молчал. А чего говорить? Только повторять одно и то же. Справа голос мягкий, слева — безжалостный, как лезвие ножа.

Его опять увели. Но теперь уже в большую комнату, где, развалясь вокруг стола и на нарах, коротали время несколько мужчин. Никого из них Амброж не знал. Не успела за окнами, расположенными высоко под потолком, опуститься тьма, как вспыхнула лампочка в проволочной сетке и нарушила доверительную атмосферу этой, пожалуй, даже уютной обстановки. Довольно быстро Амброжу стало известно, что один из сидящих здесь укрывал золото («Моя собственная дура собака выкопала»), другой занимался перепродажей скота («Золотое дно! Эх, не надо было брать в компаньоны одну стервь»), третий был вором. Вор с брезгливостью поглядывал на всех этих барышников, спекулянтов и скоробогатеев (так всегда бывает с теми, кто берется не за свое дело!).

— Нам тут только убийцы не хватало,— высокомерно заявил один из них, когда Амброж честно рассказал, почему он здесь очутился.

— Но я не убийца! — резко возразил он.

— Все говорят, что убийца!

— Тебе лучше сознаться! Станет легче,— добавил кто-то ободряюще.

— Ты, приятель, фраер,— поднял пушку на этих свиней!

— Когда-нибудь тебе поставят памятник!

— Заткнитесь! — в отчаянии завопил Амброж.

— Но все равно тебе лучше признаться в своем геройском поступке!

Он забился в угол и заткнул уши, чтобы не слышать хохота, становившегося все громче с каждым ответным словом. Но когда Амброж хотел врезать одному из них, самому рьяному, остальные встали против него стеной...

Амброж сторонился этой компании, но деваться было некуда.

И эту ночь Амброж тоже провел без сна. Охватила слабость. Она не прошла и после завтрака. Амброж не доел своей пайки и пустил миску по столу. Ее одновременно схватили несколько рук. Амброж то садился, то вскакивал с места и стоял столбом. Никто не попрекнул его, что он не участвует в уборке, не берется за веник или за тряпки. Потом его фамилию снова выкрикнул голос из-за двери. Амброж заторопился, надеясь, что уже нашли настоящего виновника этого бессмысленного покушения. Пришлось собрать все силы, чтобы не выглядеть слабаком, когда его привели в комнату, где за столом сидела Яна. Она с трудом сдерживала рыдания и не могла выдавить ни слова.

— Зачем ты это сделал, отец? — прошептала она.

— Я ничего не сделал!

— Тебе надо признаться! — Она, похоже, просила его об этом, но скопившаяся боль, сдавив горло, не давала ей вымолвить связно еще что-то очень важное.— Признайся, так будет лучше для нас всех!

Амброж держал дочь за руку и все повторял и повторял, что ему не в чем признаваться.

— Где Радим? Почему он не пришел с тобой?

Она не ответила. Очевидно, тот послал Яну сломить отцовское упрямство.

— Ты мне не веришь, дочка?

— Подумай о нас, отец! — Она подняла на него заплаканные глаза, и он решил: надо сделать все, что в его силах, чтобы не испортить жизнь этим двум.

— Я не могу доказать, что стрелял не я,— неохотно произнес он.

— Вот видишь...— Яна кивнула, как будто желая сказать: «Значит, тебе не остается ничего другого, как сознаться!»

Они молча сидели друг против друга. Амброж пытался понять, как же это Яна с Радимом поддались кривотолкам, поверили тому, что слышали со всех сторон: «Ваш отец убийца!» Вот зятек и показал себя!.. Всегда был какой-то чудной!..

— Если мое дело кончится плохо...— начал Амброж робко,— забирай из дому все, что тебе может пригодиться!

Но тут подошел конвоир, все это время делавший вид, будто смотрит в окно, и увел Амброжа. Он даже обрадовался — слава богу, свидание с дочерью окончено. За Яниными словами перед ним стояла низина в чуждом и враждебном обличье. Даже родная дочь не верит в его невиновность, что же тогда говорить об остальных?..

Его временные соседи по камере то и дело менялись. Одни уходили, других приводили. Новые разговоры, новые пестрые судьбы. Амброж теперь знал: здесь сидят в ожидании суда. Иногда его вызывали, требовали признаться, где он укрывает оружие.

— Не глупите, признавайтесь!

Он твердил одно и то же: «Я был мертвецки пьян и уснул! Ничего о той ночи на знаю!» Ему опостылели бесконечные советы, которые приходилось выслушивать в мучительно длинные дни и вечера. «Тебе легко отпираться, когда ты такой здоровенный детина!» — ска-

зал ему хилый человечек с синяком под глазом. Он поджег свой дом вместе с постройками, чтобы не объединиться с односельчанами в кооператив и не нарушить обычая предков, которые из рода в род мыкались, перебиваясь с хлеба на воду, на двух несчастных гектарах земли, и ему завещали то же самое.

Опостылели ему и те, кто заблуждались, и закоренелые ненавистники нового строя, которые во всем, что сейчас совершалось в стране, видели чуть ли не конец света. И вот здесь, среди таких,— он, «убийца»! От безделья ныло все тело. Он теперь сам просил веник и убирал камеру, стремясь хоть на минуту позабыть, что причислен к людям, с которыми у него нет и не может быть ничего общего, кроме вот этой зловещей, битком набитой сложными людскими судьбами камеры. Когда его наконец оставили в покое, он стал до бесконечности перематывать в памяти каждый свой шаг. Перебирал всех жителей деревни, но невеселые его мысли всегда возвращались к берегу реки. «Мельник! Только ему одному выгодно, если я кончу тюрьмой. Ведь предупреждала же меня Роза! Да, судя по всему, они неплохо это дело подстроили. Один у другого свидетелем, что были вместе. Мельник отдал свою землю государству и тем самым купил доверие односельчан. Мне теперь остается только ждать! Только ждать, надеяться на случай да маяться среди этого сброда».

Снова в ушах Амброжа зазвучал мстительный хохот мельника, он нес что-то вроде: «Твое дело труба, кузнец! Тебе придется хуже, чем мне, потому что вы, кузнецы, всегда чего-то ждали от таких нововведений...»

Амброжа усадили все за тот же, уже знакомый ему письменный стол, и он в который раз должен был отвечать на те же вопросы и противостоять угрозам, которые плодила беспощадная ярость следователя с голым черепом, и вкрадчивой обходительности того, второго, что с самого начала пытался сломить его при помощи ласковых слов... Такие методы претили Амброжу больше, чем крики и необузданное стремление чуть ли не силой принудить его признаться. Спокойный, вроде бы доброжелательный тон тем не менее скрывал в себе достаточно прозрачное коварство, и Амброжа начинало трясти, когда он слышал: «Ваш поступок можно квалифицировать как минутное помрачение рассудка! До сих пор вы не проявляли себя противником нового строя. Поэтому и приговор не был бы столь суров. Разве вы не хотите вернуться домой? К реке, ко всему, что любите? Каждый человек может натворить глупостей, но мы сумеем обойтись с вами великодушно, если и вы проявите добрую волю. Ведь там ваш дом. У вас дочь. Такая красавица! Кровь с молоком! У нее когда-нибудь будет ребенок, а у вас внук! Неужели вы хотите лишить себя этой радости?»

Амброжу пришлось перемогать себя, чтобы не поддаться подобному прекраснодушию, пробуждающему в нем неодолимое желание обрести наконец покой. Но пока он был еще в состоянии стиснуть зубы и молчать. Этот вкрадчивый, завораживающий голос мерещился ему со вчерашнего вечера и пугал все больше.

Новый заключенный принес в камеру известие:

— Твой Кришпин уже дома! Как же ты целился, приятель, коли угодил всего-навсего в ногу?

У Амброжа отлегло от сердца, как будто и впрямь он стрелял, а теперь вдруг узнал, что никого не убил. Снова посыпались советы: «Да кончай ты отпираться! Дадут тебе месячишко-другой, и потопаешь обратно в свой Брудек».

Весьма заманчиво! «Я бы мог соврать и признаться. И тогда пришел бы конец бесконечному ожиданию!»

Он опустился на стул перед следователем в еще большей тревоге, чем до сих пор. Его давно не вызывали. И первый после большого перерыва вопрос удивил его:

— Где вы доставали сырье для кузни?

— Покупал!

— Но не всегда! — Бритоголовый поднял глаза от бумаги.

Амброж мгновенно сообразил: такой интерес к его кузне лишь кажется неопасным, оба следователя и раньше переводили на допросах разговор на безобидные вроде бы темы.

— А вообще-то в вашей реке хоть какая-нибудь рыба водится? — вдруг ни с того ни с сего интересовались они, и Амброж принимался увлеченно рассказывать. Его глаза сверкали: река богата, если ты знаешь, что там, под запрудой, стоят сомы-усачи, а среди ольховых корней жирует большая щука... И вдруг, словно молния:

— Куда спрятали оружие?

Вот и сейчас:

— Вы железо крали!

Успев собраться с духом, он возражал резче, чем до сих пор:

— Нет, я не вор!

— Количество купленного материала не соответствует проданному товару,— заявил следователь и подтолкнул лист бумаги к краю стола.

— Оно и не может соответствовать,— ответил Амброж, даже не взглянув на бумагу.

— Должно!

— Где же вы доставали это железо?

— Если не покупали, значит, обкрадывали наше общество!

Амброж с гневом глянул на человека, до сих пор никак себя не проявившего:

— Что-то вытащил из реки, что-то отыскивал в лесу!

Оба с удивлением глядели на Амброжа. Их запальчивость ослабевала по мере того, как Амброж продолжал:

— Разве вам не известно, что после войны осталась куча всякого металла? Но вы не воображайте, что на этих военных свалках запросто валяется такое, что может мне подойти. Пришлось здорово попотеть, пока откопал! И между прочим, у меня есть на это разрешение!

— Письменное?

— Нет! Просто разрешили. Надо ведь кому-нибудь этот хлам разобрать. Сами, небось, знаете — автомобили и все, что чуть поценнее, растащили барыги, а не такие, как я...

Страница с подсчетами исчезла в стопке бумаги. Следователь вложил ее в папку и завязал черную тесемку.

— Вы свои показания изменить не хотите? — устало спросил бритый.

— Нет, не хочу! — отрезал Амброж, и его вывели из комнаты.

В полдень конвоир заглянул в общую камеру и крикнул: «Ян Амброж — на выход! С вещами».

Амброж испугался. Вокруг воцарилась удивленная тишина. Он медленно, недоверчиво потащился к дверям. Его давно уже не вызывали на допросы так часто.

— И хорошо поступил, приятель, что во всем сознался,— сказал кто-то вслед, но Амброж, оглянувшись, отрицательно покачал головой.

Коридор, лестница. Никто из конвоиров не обронил ни словечка. Сам он отвык задавать вопросы. И лишь когда его подвели к застекленным дверям, ведущим на улицу, Амброж понял, что свободен.

Голова пошла кругом. Он не был готов к такому обороту дела.

Амброж безразлично плелся среди людей и лишь через какое-то время сообразил, что идет в обратную сторону от площади, где находится автобусная остановка. Наконец свершилось то, о чем он даже думать боялся. И вдруг его охватила неудержимая радость: доказал-таки, что не виноват...

Как жить дальше, он пока не знал. Сразу же обуяли мысли о последнем вечере на свободе, перед тем как его забрали.

Он все пытался припомнить, какое принял тогда решение, яснее ясного сообразив, что кузне пришел конец. Роза отняла последнюю надежду.

«Но я говорил себе: есть еще время, несколько месяцев как-нибудь выдюжу». А потом все поглотили толстые стены большого здания, от которого он сейчас удаляется. Все еще брало сомнение, а впрямь ли были произнесены слова: «Можете идти домой, Амброж!»

Он купил хлеба, консервов и, увидав автобус, воспрянул духом: «Домой так домой».

Молчание водителя не показалось ему странным. Но когда в автобус набились свои, деревенские, он почувствовал — в них что-то изменилось. На приветствие ответили, но на заднее сиденье к нему не подсели. Их лица вытянулись от изумления, тут же сменившегося испугом. Отворотившись, они упорно глядели в окошко на медленно убегающие назад поля. Амброж положил хлеб и коробку консервов на колени и сидел, тщетно подыскивая подходящие слова, такие, чтобы ни он сам, ни другие не заподозрили, будто он ищет к себе снисходительного внимания. Амброж понимал их. «Люди должны свыкнуться с мыслью, что меня обвинили напрасно. А может, они вообразили, будто я оттуда сбежал? Ну да ладно, придет время — все встанет на свои места. Мне и самому не больно охота с ними трепаться».

Автобус вскарабкался на гребень, и внизу открылась узкая глубокая низина. Амброж смотрел не отрываясь. Только сейчас он ощутил всю полноту счастья. Он возвращается! «Так сразу всего не переварить. Пускай себе хмурятся. Имеют право. Привыкли за это время считать меня чуть ли не убийцей, а я вдруг — вот он! Явился, и точка!»

В Брудке мужчины прыснули в разные стороны от автобуса, Амброж шагал один по обезлюдевшей площади. Всем было на него наплевать... Никто не стоял на порогах изб. Он приближался к кузне. На мельницу даже не взглянул. Его переполняло нетерпение. Поскорее бы увидать реку! Теперь он снова будет засыпать рядом с ней и слушать ее нескончаемый шум.

Ключ находился на своем обычном месте. Амброж открыл дверь и остолбенел. Прошелся взглядом по голым комнатам, где осталось лишь несколько ненужных вещей. Вид светлых пятен на полу, следов от стоявшей здесь раньше мебели выгнал его обратно во двор. Он повернулся лицом к реке, словно в который уж раз ожидая, что она заговорит с ним. Объяснит то, о чем он боялся подумать. «Яна все вывезла! Поверила, что меня закатали надолго...»

Амброж вошел в кузню. Она была не заперта. Исчезли кой-какие мелочи. Он не стал их искать. Его интересовал только нож. Он нашел его на прежнем месте, нарезал хлеба и ножом открыл банку.

Усевшись на крыльце перед домом, он пытался обдумать все случившееся. Это удавалось ему лишь до того момента, пока он не вспоминал камеру, где сейчас ругаются и дерутся, где один выхваляется перед другим, хочет выглядеть героем, иначе остальные не станут относиться к нему всерьез.

«Каким же я им казался потешным!»

Он повернулся лицом к деревне в надежде, что кто-нибудь все-таки придет туда и скажет всем, что кузнец Амброж невиновен.

Сколько же может такое продолжаться? Сколько он будет один?

Он глянул на заходящее солнце. На землю опускался теплый летний вечер. Все оживало, чему полагается оживать к ночи. Комарье, трепетное метанье летучих мышей и звуки, доносящиеся из деревни. Из чердачного окна взметнулась темная тень. Амброж обрадовался. Значит, сова не покинула кузню. Он любовался ее полетом. Жизнь с его отсутствием не остановилась. Наоборот. Весна перешла в лето, и все вокруг обогатилось ароматами цветущих лугов.

«Одно окупается другим. Мне поверили, и это великое счастье».

Он растопил печку, зажег керосиновую лампу, отыскал старые одеяла и постлал себе на одиноком диванчике в кухне. Нашел даже коробочку с папиросной бумагой и отсыревшим табаком. Часов не было. Шумела река, и в печи безудержно рвалось пламя.

Амброж испугался, услыхав стук в дверь. И с удивлением впился глазами в лицо Марии.

Она улыбалась ему, будто только вчера под утро ушла и теперь возвращалась в надежде на новую ночь любви.

— Мария! — выдохнул он с восторгом.

— Я рада, что ты вернулся!

— Я должен был вернуться!

Мария низко опустила голову и прошептала:

— Ты стрелял в него из-за меня?

— Да не стрелял я в него! — воскликнул пораженный Амброж.

— Я знаю,— не очень уверенно кивнула она.

— Что ты знаешь?

— Они не смогли уличить тебя,— продолжала Мария, и ее лицо опять засияло от счастья, и в глазах стояли слезы.

— Так я же правда...

— Я уже собиралась ехать туда...

— Куда?

— Туда, где ты был!

— Но зачем?

— Если б я призналась, что мы с тобой...— Она улыбнулась и вытерла глаза.

— Благодарю тебя за те ночи...— сказал он с нежностью.

— Если б они узнали, что ты сделал это из ревности, обязательно бы учли...

— О чем ты? — не понял Амброж.

— Они отнеслись бы к тебе по-другому!

Амброж вздохнул. Перед ним стояла женщина, которая любила его всей душой. Она принесет в жертву свое доброе имя, лишь бы его вызволить. Мария не понимает, что все это напрасно...

— Что ты будешь делать, Амброж?

— Не знаю!

— Люди уверены, что стрелял ты!

— А-а, все встанет на свои места,— небрежно махнул рукой Амброж, и в нем возникло желание обнять Марию и забыться. Хотелось провести рукой по ее волосам, погладить лицо...

— Ты же их знаешь!

— Иначе бы меня не выпустили...— возразил он с раздражением.

— Но им-то кто втолкует, что ты не виноват?

— Кто?..— Амброж пожал плечами и вдруг нахмурился. Мария была права.

— Уезжай! Вернешься, когда найдут того, кто стрелял,— сказала Мария, огорченная, что и перед ней он притворяется невиновным, будто хочет окончательно лишить ее даже мечты. Она поцеловала его в щеку и, с трудом пересилив себя, произнесла: — Если я тебе понадоблюсь, дай знать! — И поспешно вышла.

Только тут Амброж понял: Мария приходила не просто заверить его в своей любви, но прежде всего предостеречь! Заставить одуматься и понять, наконец, какова на самом деле горькая истина. «Значит, мне надо покинуть свой дом? Видимо, так оно и есть! Видимо, и впрямь надо уехать!»

Он больше не терзал себя глубокомысленными рассуждениями. Вдруг все чувства и сомнения разом отступили на задний план. Он спокойно и хладнокровно уложил в старый рюкзак одежду и кое-какие мелочи. Чего ждать? Коли уж уходить, так немедля! Ведь все могло обернуться намного хуже. «Так и так я собирался весной уе-

хать, меня тянуло прочь отсюда, я мечтал уйти, ведь уходил же я по реке на плотах в прошедшие весны. Почему бы мне не сделать этого сейчас посреди лета?»

Он запер двери. Ключ положил на обычное место. Прошелся по кузне. Тронул наковальню и отполированные руками дедов и отцов рычаги, которые управляли молотом.

На какой-то момент душу охватила жалость. В одночасье бросить такие привычные, такие знакомые рукам инструменты — все до последней мелочи!

Ну, да всего не унесешь! А две-три штуки погоды не сделают.

Он прислушался к застойному молчанию балок, кровли и рубленых стен. С улыбкой помянул ночную птицу и шум реки, который сопровождал его вплоть до самых тропинок, круто взбегающих по косогору над низиной. Взобравшись наверх, он обернулся, стараясь сквозь темноту разглядеть деревню и реку. Воды на таком расстоянии уже было не слыхать. Она умолкла и только теперь напоминала ему, что стала вечной могилой его жены.

«Уж не бегу ли я отсюда, как последний трус? Нет! Просто нет больше сил твердить и доказывать, что я ни в чем не виноват...»

Часть 2

Возвращение

Вода неспешно спадала. К вечеру горы, стоявшие стеной вокруг низины, могли уже любоваться своим отражением лишь в лужах, разбросанных по лугам. Белые чайки шныряли, как и когда-то, над этими блестящими оконцами, стремительно кидаясь за рыбой, которую так далеко от реки занес паводок. Птичий хохот уже не казался издевкой над горемычными жителями Брудка. На дне низины ничто больше не напоминало о бывшей здесь когда-то деревне. Высоко наверху, на склоне горы, виднелись длинные порядки новых домов.

Люди понемногу забывали обиду, унаследованную от предков. И лишь река, как обычно, разливалась и выходила из берегов по нескольку раз в год. Иногда угрожающе, другой раз лишь желая напомнить о себе, как бы предостерегая: впереди еще годы и годы!

Однажды низину опять затопило. Но все уже знали: реке позволено такое бесчинство в последний раз. Ниже по течению заканчивали строительство плотины.

Солнце закатилось, и горизонт после многодневных обложных дождей просветлел. Казалось, будто на небе полыхает пожар. Силуэты гор утратили четкость. Зубцы лесов исчезли в темной синеве, и из синевы наплывало сияние, цвета́ которого предвещали добрую погоду. Утихал рев машин и тракторов. С заливных лугов доносились крики коростеля. Легко порхающих мотыльков сменили тяжелые ночные бабочки и бесшумные летучие мыши. Ночь раздумчиво осыпала небосклон мириадами звезд.

Далеко в низине мерцал свет. Слабый. Всего лишь небольшой, едва желтеющий квадрат окна. Он бросался в глаза каждому, стоял ли тот возле своего дома, смотрел ли с балкона или шел по шоссе к ресторану, гордо именуемому «На смотровой площадке». Жители Брудка оставили свои старые жилища на дне глубокой низины, стиснутой объятиями извивающейся реки, и уже успели свыкнуться с тем, что ночью сюда сквозь темноту пробивается лишь нескончаемый печальный шум воды. Внизу, у реки, ждали теперь своей участи только два строения. Мельница да чуть выше по течению старая кузня. Именно оттуда исходил сейчас этот неожиданный свет, вызывая у людей беспокойство.

— Что скажете, мужики? С чего там вдруг быть свету? — встревоженно спросил человек с усиками, входя в современный зал нового ресторана, ничем не напоминающего прежнюю забегаловку в низине.

— Какой еще свет, чего плетешь, Трояк?

— Да в кузне будто лампу зажгли!

— Кому она может понадобиться, эта кузня,— недоверчиво протянул кто-то, и Трояк не стал возражать, может, и ошибся. Чего не бывает? Поди, обман зрения!

Он подсел к мужикам и, тоже заказав себе пива, вмешался в разговор. Завсегдатаи с каждым днем все реже возвращались воспоминаниями к старым своим жилищам. Видимо, их расхолаживала и отрезвляла керамическая мозаика, украшавшая переднюю стенку зала, где были изображены избы и надворные постройки, бедность и убожество которых художник подчеркнул яркой декоративной стилизацией.

В зал вошел еще один посетитель и, не тая испуга и изумления, подтвердил, что, мол, свет в низине и правда горит и не иначе как в кузне.

— Матлоха не такой человек, чтобы трепаться, да и зрение у него еще хоть куда! — решили мужики и бросились к широким окнам. Ладонями загораживая глаза, прижавшись к стеклу, они старались сквозь темноту разглядеть, что там творится...

Да, в самом деле, на дне низины желтела светлая точка. Огонек был словно втиснут в узкую рамку окна с выбитыми стеклами. С такого расстояния, конечно, не увидишь, но кому же не знакомо это покосившееся строение? Дождями и морозами обглоданные стены. Провалившаяся крыша. Никто не жил поблизости, и некому было закрепить первую оторвавшуюся когда-то тесину, чтобы ветрам неповадно было разбойничать в доме. Заброшенное, угрюмое место. Лишь шум реки, упрямо преодолевающей каменистые пороги. Кузня стоит на самом берегу.

— Может, ты нам что-нибудь скажешь, хозяюшка? — язвительно крикнул хромой мужик.

Буфетчица, женщина лет сорока, низко наклонилась над отполированной до блеска пивной стойкой. За ее руками, ополаскивающими пол-литровые кружки, и колышущейся в вырезе блузки грудью постоянно следило несколько пар мужских глаз. Женщина не подняла головы:

— А чего тут говорить!

— Да ведь это же твой родной дом, Яна,— насмешливо заметил кто-то.

Она согласно кивнула:

— Да, родилась в кузне, что правда, то правда. Только над чем же тут насмешничать? А сами-то уже забыли, откуда родом? Забыли про свои развалюхи, там, внизу?

Те, кто постарше, сконфуженно потупили головы. Младших ее замечание рассмешило. «Как ни верти, а наше старичье как было, так и есть деревня деревней! Но корней своих стыдятся»,— балагурили они с буфетчицей. Расплатились и ушли, оставив после себя пустые бутылки из-под тоника и содовой. Вскоре с улицы послышалось рычанье моторов, и грузовики, на которых они шоферили, уехали.

— Может, мы и есть деревня деревней, зато наша молодежь в большие аристократы выбилась! — прокомментировал кто-то из оставшихся.

— Как бы там внизу пожара не случилось,— дохромав до стола, хихикнул взъерошенный мужик, явно подзуживая остальных, и Яна поглядела на него, будто говоря: «И чего это вас, Кришшин, больше всех разбирает!»

Она закончила мытье кружек и обтерла руки о фартук. Ее муж скинул клетчатый пиджак, повесил его на вешалку под рекламой кока-колы и «будвара»[1] и, аккуратно орудуя краном, принялся наполнять пивом пол-литровые кружки:

— Если бы кузня сгорела, не пришлось бы ее сносить! Опять же меньше работы!

Все молчали, никто ничего не добавил к его словам. Дело обстояло именно так. Оставленная деревня уже несколько лет зарастала крапивой и лебедой. Вот-вот превратятся в руины мельница и кузня. До них руки дошли в последнюю очередь. Они стояли пустые, покинутые хозяевами еще до того, как низину стали готовить под обширное водохранилище. Оно и к лучшему — когда взорвут две эти развалюхи, некому будет лить по ним слезы. Мельница и кузня, словно заклятые, разрушались сами по себе. Убогое зрелище! Каждый, кого нужда заставляла идти мимо, старался сделать крюк в обход.

Двери ресторана распахнулись, и в зал вошел высокий парень с рюкзаком на спине. Поздоровался и направился в угол, где стоял пустующий стол. Это было его постоянное место. Он сел и, сняв очки, принялся тщательно протирать запотевшие стекла.

— Твои ребята уже уехали...

— Здорово спешили... Знать, было куда!

— А я вот задержался,— кивнул парень.

— Эй, ты, наука, мимо кузни часом не проходил? — спросил кто-то с подчеркнутым ехидством, налегая на слово «наука».

Тот утвердительно кивнул головой. Он уже успел свыкнуться с насмешками кой-кого из местного старичья, и его ничуть не трогало, что лишь немногие принимали всерьез археологическое обследование дна будущего водохранилища.

— Кто-то зажег в кузне свет! — нетерпеливо сказал один из присутствующих.— Мы видали, что там горит лампа!

Молодой человек опять кивнул и, сняв очки, проверил стекла, держа их против люстры.

— Есть там кто? — спросил Кришпин.

— Ты не мог не заметить...

— Какой-то дедок,— равнодушно сказал археолог. Он надел очки и благодарной улыбкой встретил появление тарелки с супом, поставленной перед ним буфетчицей.

— Значит, ты с ним разговаривал?

Парень впился зубами в ломоть хлеба и отрицательно замотал головой. У него к этим мужикам тоже свое отношение. Не в первый раз строят насмешки над его работой. Сейчас он испытывал некое злорадство. Они выжидательно уставились на него, и теперь он может отыграться. Само собой, молодой археолог и не думал докладывать им о своем разговоре с тем, из кузни. Эта необычная встреча не выходила у него из головы. Весь долгий путь по узкой тропе сюда наверх, в этот щедро освещенный ресторан в новом Брудке, парня не покидала мысль о старике, оставшемся внизу. Парень ел и поеживался, ощущая на себе пристальные взгляды: «Ого, мои шансы у них здорово поднялись бы, наплети я им что-нибудь этакое, сенсационное!»

— Как он хоть выглядит-то?

— Совсем старик, что ли?

— Должен быть старым! И росту большого,— подсказывал кто-то.

— Чего он говорил?..

Археолог загадочно пожал плечами и только тут заметил, что буфетчица, вот уже несколько месяцев присматривающая за его комнаткой под крышей с великолепным видом на новую деревню и глу-

---

[1] Марка пива *(чешск.)*.

бокую низину, стояла боязливо потупившись, будто ждала именно тех слов, которые были сейчас произнесены.

— Может, это твой отец, Яна! — крикнул хромой, допил свое пиво и, куражась, грохнул кружкой об стол.

Муж буфетчицы вздрогнул, не в силах скрыть испуга.

— Он бы не посмел вернуться!

— Вот еще! А почему это он не может вернуться к себе домой? — возразил Матлоха.

— Вы что, уже позабыли? — опять заорал Кришпин и возмущенно затюкал палкой по ковру, что покрывал пол большого зала.

— Имеет право вернуться! Тут его дом!

— Ему тогда ничего не доказали! Не смогли!

— А я вот калекой на всю жизнь остался!

— Уж ты-то, Кришпин, и на этом сумел неплохо подзаработать!

— Кузнец первый раскусил, что ты за штучка!

— Мужики, помните...— захохотал Трояк,— ведь это он прозвал Кришпина «товарищ сенатор»!

— Нынче тебе все здесь у нас обрыдло, уже из ноздрей лезет, и поработать «сенатором» тебе бы следовало еще кое-где. В другом месте! — с преувеличенным сожалением хохотнул кто-то из мужиков.

— Дурачье! — орал Кришпин.

— Да-а-а! Наломал ты тут у нас дров!

— Значит, на меня с ружьем надо?

— Может, и с ружьем! Только он к тебе и с делом подходил! Чего-чего, а ума ему не занимать стать!

— В ту пору на умные речи было начихать,— насмешливо отбрил Кришпин и махнул палкой, будто желая навсегда прогнать даже память о тех далеких временах.

Наступила тишина. Присутствующим почему-то стало стыдно. Лезли в голову мысли о годах, когда они так глупо клюнули на посулы изворотливого, суетливого Кришпина. А сейчас и дураку известно, чем все это кончилось! Ночной выстрел на год-два укрепил его популярность и прибавил веры в него. Потом его авторитет и верховодничанье стремительно покатились вниз и рухнули. Но он словно ослеп и оглох. До последнего держался с людьми высокомерно, злоупотребляя властью и казенными деньгами... Под конец запил, а теперь вот налево и направо честит всех и вся, то, что когда-то вознесло его на незаслуженную высоту, а потом безжалостно скинуло.

— Да как он смеет здесь появляться?..— Кришпин весь дрожал от ненависти и переводил взгляд с одного на другого.

— Амброж эти двадцать лет вкалывал на полную катушку! Про него даже в газетах писали!

— В газетах о ком только не напишут,— злобно ухмыльнулся Кришпин.

— И про вас тоже писали, пан Кришпин? — поинтересовался молодой археолог, и Кришпин вперил в него пьяные глаза. Но не он один сообразил, что мальчишке в очках уже немало известно про человека, что зажег там, внизу у реки, свет.

Очкарик подошел к музыкальному автомату. Включил. Опустил монетку. От него не утаился благодарный взгляд буфетчицы. Громко рванулись первые звуки музыки, и стекла в окнах ритмично задребезжали.

На улице было совсем темно. Ночные птицы могли начинать охоту.

Буйная крапива. Высокие стебли лебеды. Корни разросшейся бузины вросли в фундамент. И ветер... И непогода... И вечная сырость от близкой воды. И река, что, каждый раз разливаясь, в первую оче-

редь набрасывается на кузню. На провалившейся крыше, поросшей мхом, притулилась березка. Невысокое деревце, устремившееся ввысь, оно, единственное, радует глаз вопреки безнадежной мерзости запустения...

Старый Амброж смотрел на эту унылую картину и мял в руках шапку. Он стоял, привалившись спиной к каменному валу, из трещин которого лезли зеленые побеги и желтые цветы чистотела. А чего он ждал? Такая картина предстанет перед каждым, кто возвратится в свой покинутый дом через двадцать лет.

В низине все настолько изменилось, что ничего нельзя узнать...

Амброж сошел с поезда на станции за несколько километров отсюда, чтобы пройтись пешком вдоль родной реки, которую так долго не видел. Его поразили склоны гор, где от лесов остались лишь вырубки да плеши, а от знакомых хуторов — зарастающие плевелом руины. Он вдруг стал лучше понимать тех, кто тогда не верил ему. «А я мечтал всего-навсего укротить реку навсегда. Легко говорить! Я и представить себе не мог, как много надо сделать, чтобы покончить с бедами».

Первые известия о строительстве плотины под родным Брудком застали его на грандиозной стройке. Тоже плотина. И тоже немалые сражения, когда пришлось сносить деревни и переселять людей на новые места. «Но то был не мой родной дом!»

Амброж положил мешок на землю. Стало легче. Давно не приходилось ему таскать такие тяжести. Он отирал платком пот и медленно обводил взглядом кузню. И на мельницу тоже оглянулся. Когда-то здесь, в низине у реки, мельница была самым богатым хозяйством. Теперь она казалась ему куда заброшенней, чем кузня. Это белое строение мерещилось ему все долгие годы. Там, покинув его, осталась Роза, там навсегда погребена тайна далекой злосчастной ночи...

Его невольно кинуло в дрожь от неожиданно вспыхнувшего сомнения: а вдруг он возводит на них напраслину? На Розу, на мельника... Рядом с этим опустошением, с пагубой от рук человеческих все остальное стало казаться ему мелким и несоразмерным увиденному. Амброжа ужасал вид этих руин, этого жуткого запустения...

Наверху, высоко на откосе, декоративно белели новенькие, словно рафинадные домики, торчали красные столбы уличных светильников — совсем как на окраинах больших городов.

Словно прочерченное по линейке, бежало по склону новое шоссе. Из-за светлых конструкций высоковольтных линий то и дело выскакивали легковушки. Ему видны были только кузова, словно машины мчались без колес. Вниз доносился лишь шум моторов. Амброж еще не побывал наверху и не мог себе представить темный асфальт с белыми полосами «зебры»! Сколько за эти годы появилось таких вот шоссе вместо старых проселочных дорог!

Уцелела лишь церковка, мудро поставленная когда-то подальше от воды. Она осталась на старом месте. Столетиями возвышалась над низиной, воздев ввысь, словно карающую десницу, над домами и халупами, в страхе корчившимися вблизи коварной реки, шпиль. Теперь все наоборот. Новый Брудек построен на склоне горы и смотрит сверху вниз на крест, венчающий церковную твердыню.

Амброж в волнении потирал руки. Безотчетно, не думая, сорвал стебелек чистотела. Пальцы стали липкими. Он улыбнулся, взглянув на оранжевое молочко. «Мама когда-то выводила мне этим соком бородавки... Не припомню, помогало ли. Ведь с той поры прошло почти шестьдесят лет».

Его взгляд остановился на плоских каменных плитах, которыми была вымощена площадка под навесом, одни только камни не изменились, остались все такими же. Он помнил каждую щербинку, каждую трещину, выбоину и ямку. Здесь после дождя долго стояла, посверкивая на солнце, водица. И после наводнения там тоже стояла

вода. Нынче наводнение, как это случалось и раньше, пришлось на середину июля. «Очень кстати, иначе я навряд ли смог бы выполнить то, для чего сюда приехал. Именно сейчас мне нужно, чтобы река была полноводной...»

Амброж долго и внимательно разглядывал все вокруг и постепенно пришел к убеждению, что кузню и дом не так уж безнадежно разрушили время и годы. «Другого я и ожидать не мог. Трещины в балках, зияющие дыры в стенах. Обвалившаяся штукатурка! Ну и что из этого? Знакомый рисунок годичных колец на срезах торчащих стропил. Все было так и в моем детстве и позже, когда я взрослел. Годы летели, и было их немало. Мы с вами старые друзья! — хотелось ему крикнуть, обращаясь ко всему, что уцелело.— Камень, дерево, штукатурка... Вы все те же. Только вид у вас теперь иной, чем в то время, когда человек творил из вас свой дом. Нет, я не собираюсь снова лепить себе гнездо. Мне нужны только бревна!»

И тут он услыхал шум птичьих крыльев. На чердаке, проснувшись, охорашивалась ночная птица. Амброж испугался. Этого он не ожидал. Забыл про своего верного постояльца. «Сколько лет вообще-то живет сова? Наверное, та же самая, что поселилась здесь, когда я решил уехать».

Присутствие живого существа подбодрило Амброжа. Он скинул куртку и по ступенькам спустился к реке. Набирая полные пригоршни, плескал себе воду в лицо. В мирном токе реки, все так же, как извечно, отражались поросшие разноцветьем берега и синева неба. «Я уже простил тебя, река! — Сейчас Амброж знал это точно.— Хотя ты и отняла у меня жену. Возможно, во всем, что стряслось со мной позже, тоже твоя вина. Ведь я вдруг остался совсем один».

Ему померещилось, будто река дружески подмигивает ему, взрябивши гладь и вспенивая ее о вросшие в дно валуны. «До чего же здорово, что река пока еще есть! Ведь мы с ней кое-что задолжали друг другу. Я должен победить тебя, река. Да! Ты уж не удивляйся, не смейся надо мной. Я должен сквитаться с тобой один на один. Давняя мечта! И ты сама мне в этом поможешь! Ты и кровля над кузней. Она как будто не слишком прогнила».

Амброж радостно и почтительно проводил глазами гребень пенной воды, пока волна не слилась со спокойным током, словно бы зовущим в путь, туда, туда, в низину... Сколько раз за промелькнувшие долгие годы зов реки будоражил и манил его душу...

Амброж скинул брюки и напялил на себя спецовку. Она была уложена в рюкзаке, сверху. Надел шапку, нахлобучив ее обеими руками поглубже на седые волосы. Он долго собирался с духом, копил силы, чтобы преодолеть все, что непременно навалится на него, когда он переступит порог родного дома. «Я уходил, и мне было трудно. Пришлось собраться с силами. Но ведь вернуться тоже ничуть не легче, чем уйти...»

...Тогда Амброж успел заскочить к Яне. Он проводил ее утром на фабрику и понял, что и для них с Радимом будет лучше, если он отсюда уедет.

Он и с этим смирился. Не было времени изводить себя думами, что даже самые близкие ему не верят. Его целиком поглотило видение чего-то нового, неизведанного. Он рвался туда и чувствовал себя раскрепощенным и свободным. «Хотел быть безжалостным? Или только делал вид?»

Амброж доехал тогда до самых прудов. Он хорошо помнил эти места, еще с той поры, когда был призван на срочную и служил там внизу, на равнине. Широкие насыпи, укрепленные дубовыми аллеями. От каждой на две стороны разливается зеркальная гладь, словно бы земля распахивает свои очи, чтобы отразить в чистом зеркале вод небо и всех небесных скитальцев. Тучи птиц и неумолимый бег времени. Другие пруды больше походят на огромные лужи,

обрамленные камышом и осокой. Только дождем и живы такие божьи прудишки.

И вдруг он обмер, застыв на краю гигантского, на многие гектары обнаженного дна. Куда ни глянь, одни лишь камни оголившейся дамбы, гиблое болото, смердящее рыбой и гнилью.

На дне спущенного пруда он прожил потом долгие месяцы. Здесь велись ремонтные работы. Он ночевал в вагончике, примостившемся под столетними дубами, и спал, быть может, под той самой веткой, над которой некогда один лихой человек, задумавший дерзкое обуздание природы, повесил трех специалистов — для острастки всем тем, кто попытается мешать его грандиозным планам. Он замахнулся тогда поставить на болотах запруды и осушить эти места. Амброж старался представить себе прежний облик болотистой равнины, которую теперь покрыла вода, высоко поднявшаяся за широкой и прочной преградой. Он не мог не думать о родной низине, но сильно сомневался в том, что и его река, послушная воле человека, однажды тоже упрется в плотину. Здесь в свое время сумели это сделать, хотя тоже существовало немало противников такой затеи.

Амброж испытывал уважение к тем энтузиастам и был счастлив, когда ему вместе с другими удалось наконец откачать воду, которая со всех сторон просачивалась в котлован. Обнажился неохватный комель дубовой сваи. Могучий ствол по всей длине был просверлен. Получилась длинная деревянная труба. Она шла сквозь высокую дамбу и выходила с другой стороны, у самого фундамента.

Там, на стройке, собрался разномастный народ. Два-три каменщика, парикмахер, бывший крестьянин. Еще некто, у кого отобрали, национализировав, малодоходную строительную фирму, и ему пришлось стать мастером по очистке спущенных прудов. Все были местными и хорошо знали легенду о повешенных жестоким преобразователем.

И каково же было их восхищение, когда оранжевое дерево, пробывшее под водой чуть ли не век и ставшее тверже металла, уже неподвластное ни времени, ни кирке, появилось на свет божий во всей своей красе! Каждый как умел представлял себе лица и голоса тех, кто укладывал длинный ствол в основание дамбы.

Амброж был взволнован. Ложась спать, он видел в этом послание предков... Когда зальют бетоном ложе для механизмов плотины, эти бревна по-прежнему будут нести свою службу. Амброж восхищался и завидовал: «Выпадет ли когда-нибудь на мою долю сопричастность к такому делу, которое послужит людям не один век?..»

И надо же было случиться, что именно той ночью, когда в жизнь его вновь вошла радость созидания, ему пришлось покинуть место, где ему удавалось хоть как-то позабыть свой дом.

Ночью его разбудила возня. Он не слышал подъезжающей машины. Вышел из вагончика и около склада столкнулся с мастером и каким-то незнакомцем. Они грузили в кузов мешки с цементом. Сначала Амброж не понял, но, сообразив, в чем дело, пытался помешать. Кричал, что это воровство. Ему швырнули в лицо лишь несколько слов: «Слышь-ка, Амброж, катись куда подальше да придержи язык! Что до нас, то мы у них крадем, и только, а ты хотел убить их человека!»

И продолжали свое тихое и суетливое дело. Они и слушать не желали, когда он попытался объяснить им, что ничего такого не сделал!

Утром Амброж собрался и ушел из вагончика, в последний раз грустно заглянув вниз под насыпь на обнажившееся бревно. Он уезжал на стройку другой большой плотины, о которой много говорили и писали в газетах. Там, в огромном человеческом муравейнике, легче затеряться. Здесь он уже пообвыкся, но после этой ночи пришлось бы всегда молчать и со всем соглашаться...

Все эти воспоминания сейчас промелькнули в голове. Видимо, еще и от минутной слабости. Защемило сердце при виде плесени, косматых пыльных клочьев паутины и пятен сырости, когда он наконец решился войти в свой дом. Но с того самого случая у пруда в нем неожиданно пробудились упорство и воля, не позволявшие ему поддаваться приступам слабости. «Я не распускал нюни, когда мне приходилось совсем туго, так чего же мне киснуть именно сейчас!..»

Крючки на стене, сине-белый брусок с блеклыми квадратиками от облупившихся картинок...

Он распахнул дверцу кирпичной печки: обгоревшее поленце и слой пепла. Задумался. Не может быть! Неужто то самое полено? Помнится, после ухода Марии он уже больше не подкладывал в печь...

Амброж принуждал себя сосредоточиться на чем-нибудь успокаивающем: «Главное, все чугунные конфорки целы, могу и затопить».

В спальне и в комнатушке кто-то уже выломал половицы. Угол стал ржаво-коричневым с большими потеками дождевой воды. Амброж нагнулся к разбросанной по полу бумаге. Под слоем старых газет валялась школьная тетрадь — «Яна Амброжова». Он нахмурился. Швырнул ее обратно, вернулся в кухню и тут же поспешно выскочил вон, словно кто-то невидимый гнал его из дому.

С жалостью и печалью вспомнил жену. Ему казалось, будто она стоит поодаль и наблюдает, каково ему видеть эту мерзость запустения.

Амброж продрался сквозь заросли крапивы к кузне. Дверь прогнила и едва держалась на петлях. Не успел он тронуть ее, как дверь грохнулась оземь, вздымая пыль. Горн, куски раскиданного железа. Там, где стояла наковальня и был подвешен водяной молот, торчали болты. От башмака фундамента по полу тянулся глубокий след к развалённой стене. Амброж сообразил, что здесь тащили на канатах стальное сердце кузни.

Он влез на чердак. Его разбирало любопытство, как там птица? Верность месту его растрогала. Но и сова не смогла уберечь заброшенную кузню от разрушения.

Амброж обнаружил птицу под стропилами. Огромные круглые глазищи смотрели умудренно. Амброж громко заговорил с ней. Ему пришлось за последние минуты многое подавить в себе, но преданная дому птица казалась самым большим препятствием. «Придется тебе улетать, сестрица! Вечером улетай и больше сюда не возвращайся! Завтра у тебя уже не будет прибежища. Солнце взойдет, станет шпарить вовсю, а крыша ляжет на землю. Надеюсь, дело у меня пойдет как надо и все получится!»

Теперь сова злобно таращила глаза. Кто ее знает, может, понимает значение слов и глухих звуков, которые исходят от этого человека, зачем-то простукивающего балки. Вдруг Амброж громко засмеялся, и сова, испугавшись, шарахнулась в сторону. Она комично вертела головой, как будто и ей сейчас вспомнилось, как напала она на того человека, что двадцать лет назад вскарабкался сюда в поисках спрятанного ружья. «Что с ним сегодня, с тем человеком? Вероятно, дослужился до пенсии и на здоровье не жалуется... Впрочем, неизвестно, как сложилась его судьба... Может, посиживает в знакомом трактирчике и ворчит на тех, кого кормит тот же хлеб, который когда-то кормил его... Я и таких знавал немало. Марают всех и вся, будто сами чисты, как голуби! Им невдомек, что зло, которое на этом свете не так-то просто истребить, родилось не без их участия... Ну да ладно, слаб человек»,— говорил себе Амброж, оглядывая из чердачного оконца безлюдную, ласкающую взор картину. Перед глазами встал Кришпин. Он тоже был частью этой низины. Амброжу

о нем многое известно. Жена его, Мария, вскоре уехала из Брудка. Нашла в себе силы и бросила мужа, когда тот был на взлете славы. Детей ему не нарожала и свою судьбу решила сама. Поступила воспитательницей в детский дом. Уже совсем не первой молодости взялась за учебу, занималась науками, о которых в юности и слыхом не слыхивала. Зачем было деревенской невесте из богатого дома учиться, как воспитывать чужих детей и познавать душу человека? За Марией давали хорошее приданое, ее научили стряпать, шить и обслуживать будущего мужа.

У них с Амброжем у обоих выступили на глазах слезы, когда впервые, через много лет, они встретились на городской улице среди многоэтажек. Выяснилось, что оба живут в одном микрорайоне, более того, в одном корпусе гигантского человеческого улья. Встречались теперь все чаще. Мария была счастлива, что может заботиться о нем, о его одежде, а он искренне поделился с ней всем, что произошло в его жизни. Не скрыл, что и женщины были... Рассказал все. И про случайные, быстро забытые встречи, и про тех серьезных женщин, что вселяли надежду, и про таких, которые притворялись, будто ищут любви и опоры. Все эти встречи кончались ничем.

Марии, конечно, нетрудно было понять, что не последнюю роль во всем этом сыграла ее любовь к нему. Одним нужен был просто мужик в доме, иные очень быстро обнаруживали свою жадность до денег. Что-что, а деньжата у него водились! «Да, грошей у меня хватает, но они ни от чего не спасут, ими ни от чего не откупишься...»

Теперь Амброж все больше думал о Марии. Она была одной из немногих, которые смогли понять, почему ему приспичило возвратиться сюда. Его отговаривали: «Да брось ты, Амброж! Спи себе спокойно! Кришпина тебе уже бояться нечего. Что заслужил, то и получил. Симулируя, сыграл на вере людей в общее дело, добился власти над низиной. Но как веревочке ни виться, а кончику быть!»

— Я, Мария, возвращаюсь не затем, чтобы доказывать свою невиновность! Я должен кое-что доказать самому себе! — сказал он, и Мария улыбнулась. Ее стареющий друг ничуть не изменился. Все тот же норов: мечты и фантазии как у мальца! Когда-то давно она полюбила его за такое сочетание мужественной силы с мальчишеским озорством. Она радовалась, что он остался таким же упрямцем. Но, болея за него душою, просила:

— Смотри не надорвись! В твои-то годы удумать такое!

Амброж только что вышел из душа. Яркое полотенце обвязано вокруг торса. Он улыбнулся и горделиво стукнул себя кулаком в гулкую грудь:

— Ну уж такое дело я еще как-нибудь одолею!

Перед его глазами мчалась река с ее порогами, коварными водоворотами, а на берегу вставала кузня...

Он обдумал все до мельчайших деталей.

...Они с Марией то ходили друг к другу, то жили вместе, как муж с женой. Не верилось, что их общее прошлое уместилось всего в одну неделю... Иногда Амброж задумывался: взял бы он Марию в жены, если б она сразу после его ухода из низины приехала к нему? Нет, наверное, побоялся бы, что станет обузой. Ему и с самим собой хватало дел. «Прежде всего мне надо было распрямиться, и для этого я вкалывал, как лошадь. Но ведь и она немалого добилась в чужом, незнакомом ей мире...»

Они встретились почти через двадцать лет и ни о чем не сожалели. Амброж знал, что на его реке строят плотину, а высоко над низиной, на склоне горы, вырос новый Брудек. Мария приносила свежие вести. Ей писала родня. Деревню уже снесли. И липы на площади вырубили. Все переселяются в новые дома. Никто теперь не сожалеет, что на месте низины разольется водохранилище. А Яна с

Радимом работают в новом ресторане. Назвали его «На смотровой площадке». Амброж кивнул. Подходящее название. Сверху всегда открывался прекрасный вид на реку и низину. А теперь, когда все превратится в сплошную водную гладь, перед глазами раскинется другая картина и горы станут выглядеть иначе. «Пройдут годы, и мало кто сможет представить себе, какими были когда-то эти края. С моей рекой будет то же, что стало с прудами и озерами, на которых я работал. Бескрайний водный простор, как будто все так и было испокон веку!»

Роза помогает Яне и Радиму в ресторане. Радим получил повышение. Он контролирует работу всего общественного питания в округе, сообщила ему Мария позже, и Амброж заметил, что Розино имя она произнесла запнувшись; хотя он давно объяснил ей, какую странную шутку сыграла судьба с Розой, полунищей батрачкой, замахнувшейся на добро своих хозяев. И про Яну он тоже частенько говорил с Марией. Он с нетерпением ожидал известий о дочери. За все эти годы Яна не проявила ни малейшего интереса к отцу. Амброж винил Радима. Одного поля ягода с теми, кто не слишком обременяет себя работой! Работник просвещения! Это он-то, официант! Был бы хоть стóящим мужиком, таким, которому можно доверить любое дело, который не побоится признаться, если чего-то не понимает или не умеет. Типы вроде Радима только вредят делу и людям своей трепотней. Слабак и показушник. Такие все только усложняют. А чуть что — в кусты! Вот и пришлось обратно в трактир возвращаться! Но наливать пиво он, видите ли, уже не желает, это ниже его достоинства! Привык руководить. Сейчас он снова на коне и опять дрожит от страха, как бы ему не припомнили тестя, врага того самого нового, что дает Радиму его легкий хлебушек...

Амброж после этой новости ходил мрачный. Мария рассказала ему и то, что он давно знал сам. Мельник сошел с ума и помер.

И опять Амброжа мучили думы, отчего спятил мельник. Сломался, поняв, что не вернутся больше времена, когда были славны мельники и весь мельников род и катались они как сыр в масле? А может, от угрызений совести?.. В конце концов Амброжу пришлось смириться с мыслью, что сия тайна ушла вместе с мельником. И это его право. «Но и у меня тоже есть право доказать самому себе, что я от своей реки не сбежал!»

Амброж еще раз взглянул на сову и подумал: «Вот кабы сова могла говорить! Уж она-то знает правду про все, что стряслось той ночью...»

Он махнул рукой и, словно извиняясь, улыбнулся растревоженной птице. «Впрочем, что ты можешь знать? Одному богу известно, какой ты по счету потомок той старой совы...»

Амброж спустился вниз и вышел на воздух. Вздохнул глубоко. Все, казалось, уже прошло, да вот увидал ночную птицу... Этой встречи он не предвидел.

Но вскоре вернулась решимость. «Я не затем сюда приехал! Не вздыхать да вспоминать. К чему тогда все эти долгие сборы и беготня в поисках необходимого инструмента?»

Он окинул взглядом кузню. «Будет нелегко, но раз я все-таки приехал, то должен сделать задуманное!»

Присмотрев подходящий куст, Амброж обрезал несколько веток. Соорудил подобие веника и внес в дом. Разгреб на кухне щепки, листья, бумагу. Открылся дощатый пол. Он хорошо помнил кухонные исхоженные половицы. Потопал ногой на том месте, где когда-то стоял шкаф. Удовлетворенно кивнул головой. Местечко вполне подходящее для спального мешка и одеяла.

С облегчением, будто после тяжелой работы, Амброж выбрался из дома, опустился на траву рядом со своим мешком и поднял лицо к небу. Небо было чистым, и закатное солнце медленно плыло к го-

рам на горизонте. Самое время закурить. Амброж нащупал в кармане пачку, вытащил сигарету и, размяв между пальцами, с усмешкой прикинул: «А что, если понадобится свернуть цигарку? Сумею? Если понадобится или захочется, наверное, сумею».

Он пускал дым, и колечки его легко волнились от едва заметного дыхания реки. В высоком небе носились ласточки. «Охотятся за мошкарой. Коли комарье да мошки вьются столбом, жди завтра хорошей погоды. Когда-то на это полагались, значит, и нынче можно надеяться. Прежде мы старались как можно лучше понять природу. Выйдешь утречком из дому, прислушаешься, вздохнешь поглубже и оглядишься, далеко ли видать. А сейчас включаешь телевизор — и тебе объявляют, какая будет завтра погода. Держим в голове карту чуть не половины мира и ждем всяких там наступающих от самого моря фронтов да изменения давления! А что делается под собственным носом, не больно замечаем! Хорошо, конечно, что человек теперь так много знает, но зачем же тогда удивляться самому себе? В нас всякого добра понамешано, и наверняка так всегда и будет, потому что человек — существо сложное... Знаний все больше, но разобраться в себе почти не остается времени...»

Со стороны леса через речку перелетел сарыч. Опустился на берегу. Амброж вспомнил свою сову под крышей кузни и, поспешно придавив сигарету, стал распаковывать рюкзак. Он выложил на землю хлеб и консервы, спиртовку, спальный мешок, свитер, что связала ему Мария, фланелевую рубаху и плащ. В самом низу нащупал связку больших гвоздей, железные скобы, пилу-ножовку и острый, недавно наточенный топор. Последним на свет появился каретный фонарь. Купить эту штуковину оказалось делом нелегким. Пришлось долго искать. Ада Бас, с которым он вместе работал на складе большого торгового дома, его друг-приятель еще с тех времен, когда Амброж только обвыкался на прокладке тоннеля под могучей плотиной, этот самый Ада Бас, кроме Марии, был единственным человеком, посвященным в планы Амброжа. «Не дури! Не езди туда! Ты уже забыл, почему уехал? Вспомни, сколько времени прошло, пока ты смирился! Пока допер наконец, что правда иной раз не выходит наружу и через много годков! Но человек должен жить дальше, даже если его гложет обида за возведенный на него поклеп!»— так говорил ему Ада Бас, и Амброжу приходилось признавать, что он прав. Басу Амброж верил. Много горюшка хлебнули они вместе. Их подружила вода. «Ты говоришь о течениях?— раздался его густой бас, когда Амброж как-то вечером рассказывал в общаге ребятам, как сплавляют по реке лес. Амброж оживился, кивнул головой и с любопытством взглянул на косматого мужика, а тот продолжал, будто бубнил молитву:— А как ты насчет Сахарной головы? Ну, а что ты скажешь насчет Моисеевых скрижалей? Дедка?»

И Амброж: «Потом Щука? Зубодер, Перинка...» Они выкрикивали названия, словно хлопали козырными картами о столешницу. То Амброж, то Бас по очереди, проплывая таким образом долгие километры по знакомой реке и перечислив все коварные скалы и водовороты на ней. Эти опасные места имели свои имена и свои трагедии: о Черепушку в щепки разбился плот, и один из плотогонов утонул... Виноват был солевозчик. Тогда на плотах еще перевозили соль!..

У Амброжа сверкали глаза: «Теперь-то я знаю, Ада Бас, где твоя переправа. Как раз перед ней выступали из воды две здоровенных каменюги — Кабан и Телята!»

Бас согласно кивнул, и Амброж припомнил: да, в тех местах ему приходилось вести свой плот вдоль левого берега, чтобы проскользнуть мимо опасных скал.

Позже Амброж узнал, что Ада Бас был последним в династии паромщиков. Он не смог передать паром, унаследованный от дедов-прадедов, своему сыну. И по иронии судьбы сам приложил руку к

строительству нового моста. Аде Басу было отлично известно: как только через реку перекинут железобетонную дугу, пробьет его час и он в последний раз поведет к берегу свой тяжелый паром.

Сначала Амброж озлился: «И ты вкалывал на этом мосту? Ведь он у тебя кусок хлеба отнял!» Но Бас только усмехнулся над святым гневом приятеля: «Ты сам подумай, пошевели-ка мозгами: так уж с давних времен повелось на этом свете, коли люди что-то меняют на лучшее, то про старое и думать не хотят! Со мной все в порядке, Амброж!»

И Амброжу пришлось согласиться. Но он хорошо помнил, как сильна бывает боль, как давит душу тоска, когда приходит печальный конец делу, что кормило целые поколения твоих предков.

Они вместе с Адой Басом переезжали со стройки на стройку; вместе работали до седьмого пота на больших водных сооружениях, и Ада Бас гневно накидывался на всякого, кто пытался с ехидцей предсказать Амброжу его будущее: «Этот Амброж работник, конечно, хороший, да только!..»—«Что только?»—«Ведь он сидел!»—«Не сидел, а был под следствием! И если б оказался виновным, упрятали бы за решетку по гроб жизни!»

Много утекло воды, пока люди в руководстве стройки сообразили, что Амброж не только хороший работник, но и порядочный человек. Что было, то было! К чему ворошить прошлое? Да и кто его знает, как оно было!.. Сейчас это уже значения не имеет!

Амброж получал награды, его премировали бесплатными путевками, он ездил отдыхать за границу, и в конце концов они с Адой Басом построили себе по однокомнатной кооперативной квартире в городе по соседству, чтобы, уйдя на пенсию, иметь свой угол. На пенсию они вышли одновременно, но без дела сидели недолго. Им предложили работать на складе большого универмага. Двум мужчинам, которые долго бродили по свету, взрывали скалы и заливали бетон в фундамент плотины, возня с ящиками с товаром казалась не работой, а приятным и не таким уж нудным времяпрепровождением. Теперь они могли рассказать друг другу все, на что не было ни времени, ни сил в те годы, когда после смены они валились от усталости на деревянные нары, а позже — на мягкие кушетки всех возможных общежитий. Потом Амброж стал приходить к Аде с вырезками из газет, с репортажами о переменах, происходящих в его низине. Наконец-то люди взялись за ум! Иначе и быть не могло!.. Амброж и Ада Бас посмеивались над строящейся у Брудка плотиной. Она казалась им карликом рядом с теми великанами, которые они возводили...

Фотографии в журналах и радиопередачи не лгали. Как радовался Амброж, когда подошел сегодня к плотине, перегородившей низину в самом узком месте! По обводному каналу еще свободно текла река. Он снова услышал слова Ады Баса: «Поезжай! Уж если решил так поступить — валяй! Может, что и получится...»

Амброж искал глазами какой-нибудь кусок железа, без которого ему не выполнить своего замысла. Их торговый дом мог предложить все, от булавок до щитовых домов, но поди найди простой ломик, который еще иногда называют фомкой! Ада Бас поначалу хохотал над незадачей. Но в конце концов убедил Амброжа: «Не потащишь же ты железяку в эдакую даль на своем горбу! Неужто не найдешь ничего подходящего в своей кузне?..»

Амброж тщетно облазил все углы. Вот ведь загвоздка. Просто зла не хватает... Главное сейчас — найти что-нибудь, чем можно орудовать как ломом. Все остальное не к спеху...

Он все еще играл сам с собой, со своими чувствами в какую-то странную игру. Как кошка с мышью. Старался держаться мужественно, чтобы того гляди не пустить слезу. «Глупости все это! Годится для кино и для романа. Все рыдают от жалости к герою, который возвращается в родной дом... Я знал, что меня здесь ждет. И явился сюда не биться головой о стенку или распускать слюни, а вкалывать до

кровавых мозолей, иначе мог бы остаться в городе с Марией либо трепаться со старичьем. Такими же пенсионерами, как я сам. Что такой-то помер, что жизнь промчалась, что молодые все делают не так и что погода нынче не такая, как в дни нашей молодости! Или сидеть и переливать из пустого в порожнее насчет того, что мы смогли и чего не смогли, с чем не справились, а что у нас получилось здорово. Все равно никто честно не скажет, чего в нашей жизни было больше. Да, наверное, это и невозможно. Но ведь моя жизнь пока еще не кончена!»

Тут Амброж громко выругался. Спохватился — и чего влез в рассуждения? Не имеет все это ничего общего с его твердым намерением доказать себе и реке, что он вовсе не считает свою судьбу изуродованной. Оговор и человеческая глупость — не больше!

«Я не юлил и не шел против совести. Может, есть и моя, хоть маленькая, но заслуга в том,что люди живут теперь в достатке и не боятся завтрашнего дня. Могу ли я остановиться на полпути?..»

Он влез на верстак. Ногой спихнул кучу тряпья и мусора. Послышался звон, взвилась столбом пыль и заплясала в лучах солнца, прорывающихся сквозь потолочины. Он оглядел балки и перекладины, и глаза его вспыхнули радостью, когда он нащупал то, что искал: двухметровый обрезок металлической трубы. Амброж спустился на пол и стал вертеть ее и так и эдак, прикидывая, как быть дальше. С грустью взглянул на развороченный горн, набитый камнями, вероятнее всего, рухнувшими из трубы. Амброж выскочил наружу, схватил топорик и в яростной поспешности принялся бить обухом по трубе, положив ее на обломок гранитной скалы. Эхо четко возвращало звонкие удары, а конец полого обрезка понемногу уплощался.

— Добрый вечер,— услышал он вдруг за спиной.

Обернувшись, Амброж увидел молодого долговязого очкарика.

— А что, уже и впрямь вечер?— спросил Амброж и удивленно огляделся. У подножия горы залегли тени. Сумерки вот-вот доберутся до кузни и перешагнут через реку.

— Я было испугался. Столько лет прошло, а кузня вдруг опять заработала,— сказал парень и с улыбкой кивнул на полуразрушенную постройку, ничем теперь не напоминающую кузню.

И Амброж тоже улыбнулся, в последний раз легонько стукнув по трубе.

— Грохот стоял бы ой-ой-ой, когда б молот работал,— сказал Амброж.— Да и я здесь наездом, и тоже вроде бы прогуляться.

Обрадовавшись, что очкарик не из местных, он не спешил раскрываться.

— А я заканчиваю разведку в низине!

Его слова озадачили Амброжа.

— Какую такую разведку?

— Археологическую...

Амброж насторожился. Он знавал на больших стройках образованных людей. Большинство из них были тоже молодые. Инженеры-строители, инженеры-механики и химики, которых ничто, кроме воды, не интересовало. «Работали среди нас, иногда ночевали с нами вместе, а я запомнил только одного-единственного инженера, которого знал раньше. Окруженный толпой подчиненных, он проводил у нас в низине измерительные работы по регулированию воды в реке. Но ни до какого регулирования дело не дошло. Я тогда еще был мальчишкой и ходил с зонтиком следом за этим важным господином, чтобы его ученой светлости не напекло голову. Уж тот наверняка не стал бы жить с нами в одной общаге и есть из общего котла. Очень возможно, нынешние молодые поученей тех инженеров из бывших. Такой мальчишка — и вдруг археолог»,— рассуждал Амброж. Он никак не мог увязать возраст парня с собственным пониманием науки археологии.

— Значит... раскопки и прочее, ага?— Амброж старался проявить искренний интерес.

— Да.— Глаза юноши за очками заморгали.

— Ты, парень, случаем есть не хочешь?— спросил вдруг Амброж, может, от смущения или на самом деле ощутив голод.

— Я поужинаю наверху!

— В том новом ресторане?

Парень кивнул. Амброж достал полбуханки хлеба, отрезал ломоть и вонзил нож в крышку консервной банки.

— У тебя хорошая работа,— заметил он, когда лезвие ножа приподняло криво взрезанную жесть.

— Да, интересная,— согласился очкарик.

— Значит, тебе уже известно, какие здесь в древности жили люди?

— Как и везде: хорошие и плохие!

Амброж согласился.

— Может, оно и странно, но чтобы мир мог идти вперед, на свете должны быть и те и другие...— И Амброж стал нарезать хлеб на квадратики и на каждый шлепать по куску паштета.

Паренек уселся в траву и заявил:

— Да, должны быть и те и другие. Чтобы мы всегда могли все распрекрасно усложнять!

— Как это усложнять?

— А вам не кажется, что те, что жили до вас, что-то здорово напутали?

— Напутали...— повторил Амброж задумчиво.

— И вы тоже многое напутали, а мы расхлебываем!

— Ты это про кого? Про меня и моих годков?

— Ну да,— кивнул юноша.

Амброж допускал, что парень в чем-то прав. Но таков уж удел каждого поколения...

— А вы, конечно же, исключение,— поддразнивал Амброжа археолог, получая от этого удовольствие.

Старый человек задумчиво жевал хлеб и ответил не сразу. Не хотелось бросать слова на ветер. В его возрасте можно бы позволить себе такое, но нутром он чувствовал, что лучше как следует обдумать ответ. И не только ради этого незнакомого мальчишки, который мотается где-то там, выше по течению, где некогда мыли золото. Река была золотоносной. И об этом писали в газетах, в репортажах о низине, которой суждено теперь стать дном большого водохранилища.

«Мне и самому давненько охота знать, к каким людям себя причислить. Хорошим? Плохим?» Взгляд Амброжа долго блуждал по реке, и вдруг его прорвало:

— Отец учил меня, что нельзя бросать плот, который сел на мель!

Юноша не понял, к чему он клонит. Но его заинтересовал этот старый человек. Он был еще подвижен, энергичен, полон сил. Притворяется, будто поглощен едой, а сам никак не может отвести глаза от стен и крыши кузни, будто все время что-то взвешивает и прикидывает. А теперь вдруг эта неожиданная сентенция насчет плотов...

— Я это не только с чужих слов,— сказал Амброж.— Сам когда-то с отцом гонял плоты. Каждую весну! Давно это было. Случалось, упрешься в пороги, или вода вдруг взбесится — и начнет плот от берега к берегу жахать! Бревна друг на друга налезают, как спички. А ведь не бросишь, не убежишь! Некуда!

— Вы, наверное, последний из плотогонов, кто еще жив! — с неожиданным интересом воскликнул юноша.

Амброж пренебрежительно махнул рукой: «Что первый, что последний — дело тут вовсе не в плотах».

— Ты знавал таких, кто бросал начатую работу?

Юноша не слишком уверенно кивнул.

— За свою жизнь еще встретишь, и немало! Поначалу рвутся, не разбирая пути-дороги, все вперед и выше, но как только упрутся в трудности — тут же на попятный! А ведь в жизни так оно и ведется. Бывает полоса, за что ни возьмись, все вкривь да вкось... Не везет — и точка...

— Слабаки?— пытался понять его парень.

Амброж пожал плечами:

— Слово «слабак» тут не подходит. Слабак спрячется за чужую спину, сидит-дрожит да помалкивает. Кабы эти люди только отступались! Так ведь нет! Они к тому же обливают грязью все, во что раньше верили, к чему призывали!

— Значит, плохо верили!

— Может, верили, а может, только делали вид! И рвали на куски каждого, кто не просто на веру, а с осторожностью и раздумьем принимал то, что иные старались подменять трепотней да громкими словами... Ведь и раздумье иногда считают проступком...— сердито сказал Амброж, проглотил последний кусок и с каким-то новым интересом огляделся вокруг. Пришло в голову, что в нем, в его судьбе как в капле воды отразилось все то, о чем он сейчас говорил.

Глаза Амброжа помимо его воли остановились на развалинах мельницы, и вдруг из тех давних лет снова послышались слова мельника: «Мне тебя жаль, все твои беды оттого, что эти новшества ты вроде принимаешь, а вроде и нет. Это самое что ни на есть худшее. Ни нашим, ни вашим. И будешь ты ни богу свечка, ни черту кочерга!»

— Вы, наверное, здешний? — спросил парень.

Амброж встрепенулся, как от внезапного холода, но мысли его все еще витали где-то далеко. Жизнь, собственная жизнь казалась ему похожей на дугу. Сызмальства он все лез, карабкался вверх. Если бы жил спокойно, не перемогаясь, то никогда бы не достиг верха. Линия жизни взлетала бы то вверх, то вниз, словно вздымаемая вечным землетрясением. А сейчас? Ведь и эта поездка не что иное, как отрезок той воображаемой дуги. Просто теперь вся она стала явственней, как радуга после дождя. Но жизнь его скользит теперь вниз. Вот-вот коснется земли. Наверное, так оно и должно быть!

Он кивнул, будто согласившись сам с собой, и провел ладонью по траве.

— Сыро! Роса выпала! Хороший знак!

Амброж поднялся, натянул на спецовку свитер и стал собирать разбросанные вещи. Когда он двинулся к дому, юноша с удивлением спросил:

— Вы здесь заночуете?

— Так ведь я же здесь родился! — крикнул Амброж уже с порога.

На минуту паренек остался один. Он пытался припомнить, что слыхал от людей о бывшем обитателе этого странного местечка. Подробности на ум не шли. Кузня да чуть поодаль заброшенная мельница во всех разговорах были лишь некоей точкой, где когда-то давно разыгрались драматические события. Коварный выстрел в того мужика, что там наверху, в ресторане, всегда под хмельком, хромая мотается между столиками. Виновник так и остался ненайденным. Большинство защищало кузнеца. Хромой в этих стычках оставался в одиночестве. Мельник рехнулся. Кузнец бросил дом и уехал. Но разве это можно считать доказательством его вины?..

— Ты, наверное, обо мне уже слыхал? — сказал Амброж, вернувшись и подсаживаясь к огоньку.— Или, может, не слыхал? — Он вопросительно посмотрел на археолога.

— Кое-что слышал.

Амброж регулировал пламя примитивного светильника, то выдвигая, то подворачивая плоский фитиль. Он отлично знал, что фо-

нарь в порядке. Дома, в своей однокомнатной квартире, высоко над городом, он развлекался с фонарем и даже зажигал — вспоминал, как с ним обращаться, чтобы не коптил. Он устраивал эту волшебную иллюминацию, когда ожидал Марию. И удивился, что это барахляное изделие вгоняет ее в слезы. Странно! Забыл, видимо, что желтый мерцающий огонек должен всколыхнуть в душе Марии тысячи воспоминаний детства и юности, с такой быстротой промчавшихся в низине у реки. «Наша судьба была бы счастливее, кабы не электричество. Вместо гигантских молотов и прокатки на свете оставался бы только кузнечный молот! Чепуха! Человек, если хочет бóльшего, должен большим и пожертвовать. Это касается каждого поколения»,— думал Амброж. Но чего уж тут греха таить! С каким нетерпением он ждал минуты, когда зажжет наконец фонарь, к которому не ведут электрические провода и нету выключателя...

Амброж поглядел вверх, на деревню. Первые огни уличных светильников, широкие освещенные окна в новых домах и в ресторане создавали кружевное обрамление глубокому ущелью. «Сюда, вниз, опустилась дуга моей жизни. В землю она еще не уперлась. Может, это станется потом, когда я исполню задуманное?..»

У молодого археолога создалось впечатление, что этот старый человек играет и с фонарем, и с ним тоже. По крайней мере, вид у него был весьма загадочный.

— Значит, кузня — ваша!

— Вроде бы...— Амброж состроил удивленную мину.— Да, вроде бы моя! — подтвердил он со смехом.

— Хотите отремонтировать? — удивился парень, и Амброж понял, что разбросанные гвозди, скобы и инструмент кого хочешь наведут на такую дурацкую мысль.

— Буду сносить!

— Если б сегодня кузня работала...— с энтузиазмом начал парень.

— Что тогда? — вскинулся Амброж.

— Это же настоящий аттракцион для туристов!

— Для туристов, говоришь... Ну нет, кузня — это не аттракцион, а тяжкий труд! — сказал Амброж с горечью, и его ужаснула мысль, что наверняка нашелся бы такой, кто на потеху людям стал бы тут за какие-нибудь две-три кроны ломать комедию. И люди глазели б, как вода крутит колесо и поднимает тяжелый молот.

— Тогда зачем вам это?

— Сказал же я тебе, что мы были не только кузнецами...— ответил Амброж, и оба, замолчав, уставились на реку. Вода потемнела. Амброжа забавляло, что у студента в голове роятся недоуменные вопросы. «Может, за психа меня принимает?»

Парень пошевелился, и Амброж продолжал, не удержавшись:

— Из своих раскопок ты многое узнаешь, но вот о людях, что жили тогда, видать, не так чтобы очень?

— Тоже хватает,— заверил его студент и засобирался.

— И про их свары? — недоверчиво спросил Амброж.

Парень от ответа ушел. Пообещал завтра наведаться опять.

Они простились, и археолог скрылся в быстро сгущающейся темноте.

Амброж представлял себе свою первую встречу с кем-нибудь из низины совсем иначе. Может, завтра?.. Было бы странно, просто невозможно, если бы не нашлось никого, кто не захотел бы воскресить давно позабытое. На душе стало горько. Он строптиво вскинул голову и стал вглядываться в угасающее над горами небо. «Утро будет ясным. И я начну!»

Со стороны чердачного оконца послышался шорох, и над самой его головой промелькнула тень. Тяжелые шлепки крыльев. Сова

появилась точно в свое время. Ее сполошный ныряющий полет отшумел в ночи.

— Ты, птица, сюда больше не возвращайся! Послушайся меня! — прошептал Амброж.

С зажженным фонарем он вошел в кухню. Расстелил одеяло и забрался в спальный мешок. Только сейчас почувствовал, как сильно устал. Поезд, долгий путь пешком с тяжелой ношей. Но главное — сборы, нетерпение и волнение! «Оно и сейчас не ушло, хотя я, преодолев себя, сумел все-таки постоять у разрушенного лотка, перешагнуть порог кузни и войти в свой дом. Наконец-то я улегся, и если захочу, то вызову и оживлю на стенах и на потолке картины прошедшей жизни. Но я этого не захочу. Иначе придется поверить запахам тлена и плесени, а мне кажется, будто холодная печь пылает и все стоит на своих местах, как и прежде».

Он прислушался, понимая, что в этом заслуга реки. Ее до боли знакомого разноголосья.

«Всегда, где бы я ни находился, мне было легко оживить ее в себе, услышать ее рокот, хотя в памяти вставала и моя жена, и все события, что потом разыгрались здесь...»

Он явственно представлял себе кровлю, которую завтра утром начнет разбирать. И вдруг его обжег страх: а что, если сова вернулась и дранку придется отдирать над спящей птицей?! Амброж выбрался из мешка, схватил фонарь и вскарабкался на чердак. Понадобилось какое-то время, чтобы отыскать доски и плотно закрыть оконце.

Облегченно вздохнув, он вернулся вниз. Задул фонарь, и вскоре его сморил крепкий сон. Давно Амброж не спал так сладко.

Громкие голоса подгулявших мужиков разносились над спящей деревней. Где-то брехнул потревоженный пес. И опять наступила тишина. Веяло прохладой летней ночи. Трепетали искрясь звезды.

Яна Зезулова стояла у широкого окна в опустевшем ресторане. Наконец-то она могла без свидетелей посмотреть вниз, в низину. Не было там никакого света! Темнота. Ей стало легче.

— Наверное, уже спать отправился,— неожиданно произнес очкарик.

— Ну и что из того? — Яна с вызовом вскинула голову и поспешно бросилась собирать скатерти со столов.

— Он же ваш отец! — настойчиво продолжал парень. Яна возилась со скатертями, но ее движения стали медлительней. Этот юнец словно бросил в нее камень. Или просто напомнил? «Иногда этот мальчишка с его черепками из раскопок кажется мне забавным, но сегодня весь вечер сидит с таким видом, будто мы с ним заговорщики и он мой союзник. Наверняка разговаривал с тем человеком, в низине, если утверждает, что это — мой отец! Но при всех, слава богу, ничего не сказал. Мужики из кожи вон лезли от любопытства! Этим стоит немного выпить, как тут же начинают корчить из себя святых и суют нос в чужие дела...»

— Ведь вашему отцу не смогли предъявить обвинения! Не было никаких доказательств! — продолжал говорить парень, ободряюще глядя на буфетчицу. Она подошла совсем близко к его столику и теперь стояла, низко наклонившись над ним. Ей нравилась его по-мальчишески пытливая физиономия. Ах, мальчик, мальчик, что ты знаешь о жизни?

— Вы все это время не видались?

— Не видались,— кивнула Яна.

— Но почему? — искренне изумился парень.

Яна попыталась улыбнуться, улыбка получилась кривая, вымученная. Парень неодобрительно отвел взгляд. Перед глазами у него все еще стоял хромой мужик, тот самый, что последним вывалился

из ресторана. Он уже не раз слыхал его разговорчики. Поливает всех и вся! И его работу тоже: «И за что тебе только деньги платят? За то, что в земле копаешься? Ишь ты — ученый! Ну и что с того? Сколько ребят из нашей деревни отправилось на ученье! И все воображали, что в люди выбьются. А теперь протирают с десяти до пяти штаны! Толку от них!»

Раньше над ним подтрунивали, напоминали, каким он был когда-то пламенным борцом за прогресс. Но сегодня вдруг напустили на себя важность и вступились за него: «Вам, молодым, лучше попридержать язык за зубами! Когда мы начинали, вас и в проекте не было! А мы — ветераны...»

Пили много. И в конце концов решили, что тот, кто когда-то трусливо сбежал из низины, не смеет в этих местах объявляться.

— Если ваш отец пошел против таких вот кришпинов...

— Ни против кого он не шел! — воскликнула Яна и сама испугалась своего ответа.

— Тогда почему же вы боялись с ним встретиться? — возмущенно спросил парень.

Яна молчала. Иначе пришлось бы признаться, что иметь дело с тестем не пожелал прежде всего ее муж. Он постоянно твердил: «Это твой отец, Яна, я понимаю, но он нам может всю жизнь исковеркать!»

— Чего только люди не наболтают...— допустил юноша.— Но ведь они там не были и не видали, как он стрелял!

— Если вообще стрелял...— неуверенно добавила Яна.

— То-то и оно! — сказал юноша. Направляясь в свою комнату, он думал о старике, с которым провел вечер внизу у кузни. Вид у него такой, что выстрелить он может не задумываясь. Видать, дедок в молодости большой кротостью не отличался.

Яна заперла входные двери. Погасила всюду свет. Она долго стояла под душем, смывая с себя ресторанные запахи, как будто надеясь, что вода унесет с собой и угрызения совести. Оказывается, они все еще мучают ее. Скоро снесут мельницу, а потом ляжет руинами кузня... На что отцу понадобилось напоминать о себе и о давным-давно ушедшем? Да еще сейчас, когда вода наконец вот-вот покроет всю низину. Яна надеялась, что навсегда исчезнут и воспоминания о трагической гибели матери. «За эти годы я и отца потеряла. Сейчас он здесь, рядом, но меня пугает его возвращение».

Погружаясь в сон, Яна слышала рядом с собой спокойное дыхание мужа. «На него я не вправе обижаться. В самом начале он очень помог мне. Да и потом спасал от сплетен. Только недавно мы смогли сюда вернуться. Получается, нас потому лишь приняли с распростертыми объятьями, что я отказалась от отца?.. У Радима опять приличная работа, но как он изменился! А ведь был совсем иной, когда скитался с кинопередвижкой из деревни в деревню. Тогда мы жили другими интересами. А теперь все упирается в деньги, деньги, деньги. Мы оба изменились...»

За окном бледнела ночь, близился рассвет, и Яна все больше боялась наступающего утра. Ее охватило такое чувство, будто вот-вот окончится засада и начнется охота. Мужики были немногословны, но в глазах иных вспыхивали опасные огоньки...

Рассвет принес прохладу. Разбитое окно покрылось белесым налетом, неизвестно откуда сюда заплутал аромат свежескошенной травы.

Амброж щурился, пытаясь в полумраке разглядеть комнату. Его внимание привлекли клочья тумана. Словно легкий, влажный дымок, они стояли над его постелью. Какое-то время он просто наблюдал. Мысли не терзали его. Как будто еще не проснулась память и в нем живет лишь настоящее.

Вдалеке суетился фазан. По верхнему шоссе погромыхивала первая в народившемся дне машина. Река пела и плескалась у камней и берегов. Все вокруг жило ее монотонным шумом.

В полумраке на голых стенах уже выступили рубцы и шрамы. Рокот воды усиливался, и все мелочи, напоминающие о прошедшей под этой крышей жизни, слились с ним воедино. Амброж зажмурился, пытаясь стряхнуть с себя видения, избавиться от всего, что с такой силой поднялось в его душе.

Он быстро вскочил на ноги. Дрожа от холода, потянулся. Поставил на плиту спиртовку и поджег кубик сухого спирта. Потом выбежал из дома и набрал в манерку речной воды. Скинул с себя одежду и, обнаженный до пояса, схватив полотенце, спустился к реке. Поспешно ополоснувшись, он растирался до тех пор, пока кожа не покраснела и не стало жарко. Он надел рубаху, натянул поверх нее свитер. Позавтракал. На сигарету времени тратить не стал, спешил использовать утро с его прохладой.

Взобравшись на чердак, Амброж уперся всем телом и поддел железной трубой обрешетку под самым коньком крыши. Гвозди проржавели, и она легко поддалась. Потом, взяв топор, стал сшибать дранку. Дранка была трухлявой и крошилась, как пряники. Амброж попытался поднять ее целым пластом вместе с обрешеткой. Это ему удалось. Лишь кое-где, там, где рейки держались покрепче, пришлось вышибить гвозди. Когда ему хотелось выругаться, он останавливался, пережидал и, вдохнув, снова принимался за работу, зарекаясь хулить предков. Руки прадеда когда-то сотворили эту крышу на совесть.

Амброж знал наперед, что его здесь ожидает, и еще раньше примирился с трудностями и со всем, с чем придется столкнуться. Он еще там, в городе, когда созревали его планы, обдумывал самые разные обстоятельства, сопутствующие перевозке и упаковке необходимых вещей, обдумывал с такой скрупулезностью, что не слышал, о чем говорит Мария, не видел голубого экрана телевизора и вообще отключался от окружающего мира, от гудящего и светящегося тысячами огней большого города. «Будет нелегко, но я должен это сделать, еще раз пережить то, о чем долгие годы мечтал. Человеку легче справиться с делом, если ему известно, что он выкладывается в последний раз в жизни. Мне-то еще повезло. Большинство не успевает понять, что такого взлета на своем веку им больше не суждено пережить. А сколько без вины виноватых, обиженных, умерло, так и не успев напоследок уверовать в собственные силы!..»

Туман, растворяясь, медленно плыл в ту сторону, откуда с вечера незаметно подкрался. Река местами уже поблескивала на солнце. Крыша оголилась, остался лишь скелет из прочных стропил. Сова, ночная птица, к счастью, не вернулась.

Амброж подавил в себе желание выкурить первую утреннюю сигарету. Хотелось сделать как можно больше, пока кузня не вынырнула из молочно-белого густого тумана и сверху, из деревни, нельзя еще увидать, что происходит здесь, внизу.

Ему было смешно, когда он представлял себе удивленные взгляды односельчан, но вместе с тем досадовал, что не сможет работать под прикрытием тумана целый день. «А чего я, собственно, боюсь?..»

Привычными, отработанными движениями Амброж всаживал топор в перекрытия и думал: «Неужели кривда имеет такую силу, что может нагнать на человека страху даже через многие годы? Ведь мне-то известно, как оно тогда со мной было!..»

Шоссе, ожив, уже гудело. Низина поблескивала под утренней росой. Далекие горы трепетали в легкой дымке взошедшего летнего дня. Высоко, на склонах гор, тихо смещались пестрые лавины пасущихся стад.

Прикидывая, куда свалить бревна, когда ему удастся высвободить их из столетнего плена, Амброж время от времени поглядывал в сторону извилистой тропинки, бегущей вверх, к Новому Брудку. Его огорчило, что молодой археолог так и не пришел. Видимо, отправился на свои изыскания по другой дороге. Рассказал бы, что там наверху происходит... Амброж окинул взглядом деревенские дома. Там за окнами поднимались ото сна люди, которых он не видел двадцать лет. «Потускнел в их памяти, как и они в моей? Или же, наоборот, слишком хорошо меня помнят?..»

Амброж решил свалить балку на ту сторону, что поближе к реке. Чуть поодаль от устья отвода — отмель. А до нее придется таскать бревна на себе... «Неплохо я все рассчитал. Река сама пошла мне навстречу. Летний разлив наступил в обычное время. Иначе затон был бы безводен!»

Он уже сбивал топором первую балку с шипа. Надо ее немного приподнять, чтобы был зазор. Шип поддался. В образовавшуюся щель Амброж всунул железную трубу и навалился всем телом, действуя трубой как рычагом. Послышался треск. Он передохнул. Труба в его ловких руках делала нужное дело да к тому же была не такой тяжелой, как настоящий лом.

Наконец-то Амброж мог спокойно выкурить свою обычную утреннюю сигарету. Сидя на переборке, он пускал дым и беседовал с бревнами. Побаивался он их, что ли? Все еще мучат сомнения, удастся ли с ними справиться? «Хотите или не хотите, больше вам здесь не место. Я с вами еще церемонюсь. Они ведь вас все равно пустят в распыл или взорвут вместе со стенами. А со мной еще кое-что повидаете, если, конечно, будете вести себя разумно». Он дружески подмигнул торчавшим в небо стропилам и чуть не произнес эту тираду вслух.

Внизу зашелестела крапива. Послышались гулкие шаги. Амброж обернулся и с изумлением увидал старуху. Они поздоровались.

Амброж полез вниз по приставной лесенке, отметив про себя, что спокойно, без свидетелей, успел выкурить всего полсигареты.

— Ты меня не узнаешь, Амброж? — после долгой, унылой паузы прошептала женщина одними губами.

Амброж кивнул опущенной головой. Он весь согнулся, как будто изготовился встретить любой удар. «Мне надо было предвидеть и эту встречу...»

— Чего тебе здесь надо, Роза? — пробормотал он и бессильно опустился на порог.

— Зачем ты вернулся?

— Я здесь у себя дома! — Он щелкнул пальцами по каменной ступеньке и медленно поднял глаза на старуху. «Что с нами сделали годы! Мы уже старики. Да, от этого никуда не уйти. Но может, между нами все еще стоят давние счеты?»

— Ты должен отсюда уехать!

— Однажды ты уже давала мне такой совет!

— Яне с тобой всю жизнь одни заботы да неприятности,— сказала Роза и повела глазами в сторону деревни.

Амброж докуривал свою сигарету, но вкуса не ощущал.

«У Яны своя жизнь, свои интересы! Своя судьба! И вдруг — я! Могут быть осложнения...»

Видимо, взгляд у него был презрительный, потому что Роза вдруг с обидой в голосе зачастила, что всегда, мол, заботилась о Яне. И сейчас помогает ей.

— И вдруг являешься ты!

— Ну и что? — заорал Амброж и тут же пожалел, что не смог сдержаться.

«Жизнь моя была нелегкой, но я многому научился. Умею разбираться в сложных машинах, управлять ими. Я уже не тот бедный,

малограмотный кузнец, каким был когда-то... Могу работать сварщиком, могу и на шлифовке, могу сесть за руль автомобиля и управлять экскаватором. Я побывал на таких стройках, которые моему отцу, да и другим из нашей жизни и во сне не снились! Ведь здесь когда-то был конец света! Я заслужил почет и уважение и вот теперь вернулся к себе в низину! И горжусь, что не побоялся вернуться туда, где люди обо мне не самого лучшего мнения, хотя не имеют на это никакого права. Впрочем, их это не волнует...»

— А ведь мельница тебе так и не досталась, Роза,— сказал Амброж, и взгляд его остановился на единственном, уцелевшем по соседству строении.

— Мне тоже наверху новый дом построили!

— Видишь, как они к тебе хорошо относятся...— усмехнулся Амброж.

— Всем построили новые дома, не только мне.— Роза говорила с раздражением.

— Жаль, что мельник не дожил до этого дня...— парировал Амброж, явно наслаждаясь издевкой.

Вид мельницы вызвал у него приступ ярости, напомнив вдруг все, что мучило его, преследовало целых два десятка лет.

— Ты и вправду была у него в ту ночь?

— Была,— ответила старая женщина, и кто знает, каким ей припомнился мельник, спятившим с ума бедолагой или надутым и чванным владельцем мельницы, который ей, бедной девчонке,— впрочем, нет, она ведь тоже была не так уж молода — сулил златые горы.

— Нет, не может этого быть! Не дрых он возле тебя всю ночь! — жестко бросил ей в лицо Амброж.

— Не знаю...— Роза отвела взгляд.

— Тогда на следствии ты говорила, будто он от тебя не отходил!

— Но ведь я же могла уснуть! — потупилась Роза сконфуженно.

Амброж вздохнул. Ему пришло в голову, что, быть может, все эти годы и она страдала и маялась. Ведь на следствии-то она соврала.

— Видать, неплохо он тебе заплатил, а? — не удержавшись, крикнул он.

Роза вдруг разразилась рыданиями. Может статься, заговорила совесть. Откупается заботами о Яне. Старается заменить ей мать. «Это дело твое, поступай, как знаешь,— думал Амброж.— Матери у Яны нету! Но почему ты хочешь заменить ей и меня, отца? Ведь я-то пока еще жив!»

Роза, виновато сгорбившись, удалялась по тропинке, протоптанной в примятой крапиве. Амброж еще раз поглядел ей вслед, когда она уже поднималась вверх, к новой деревне. Потом сплюнул и опять полез на крышу. Он с яростью выворачивал перекрытия и, сбросив в траву бревно, откатывал его от кузни, к берегу. Только услыхав треск дерева, он пришел в себя, стряхнул горечь встречи и нашел в себе силы посмеяться над самим собой, над тем, что поддался гневу. Он крепко сомкнул веки, чтобы не полились неожиданные слезы, так и не сумев понять — от смеха они или от жалости к собственной персоне... «Ну да ладно, досаду надо на чем-то выместить, но бревна тут ни при чем, они мне нужны целехонькими, не порушенными в щепки!»

Те, что скатывались по другую сторону крыши, приходилось приподнимать и оттаскивать, напрягшись до хруста в пояснице. От усталости подламывались ноги. Амброж сбегал вниз, чтобы приготовить для них место, и возвращался обратно. Он с удовлетворением оглядывал побежденные бревна, ибо, вынашивая в подробностях свой план, именно так и представлял себе эту картину.

Обед его был простой, но сытный. Куриный бульон из кубиков. И свиные консервы. Амброж торопился разобрать крышу раньше, чем полуденное солнце начнет шпарить вовсю. Он надеялся, что к

тому времени вода все-таки прогреется. Ведь хочешь не хочешь, а придется в нее лезть.

Он шагнул в воду — ноги тут же свело. Стиснув зубы, Амброж дождался, пока судорога чуть отпустит, и, взглянув на реку, усмехнулся:

— Хорошо же ты меня встречаешь! А я-то, дурак, надеялся, что поможешь!

Но тут же был готов просить у реки прощения. Он медленно брел за другим бревном и ласково пошлепывал по воде ладонью. Вода подхватила тяжелые бревна. Боковое течение поворачивало их и относило к берегу отмели. Тут они замирали, словно вставшие на якорь корабли.

Когда на берегу остались два последних бревна, Амброж вдруг озлился, что так непродуманно спустил все на воду. Надо было подставить две жерди. Пришлось притащить валун и, использовав его как точку опоры, при помощи обрезка трубы приподнять тяжелое бревно, передвинуть его. Потом он бросил трубу и, согнув в три погибели ноющую спину, откатил камень, чтобы снова навалиться всем телом... Обессиленный, опустился на бревно на полпути к берегу и отвернулся, чтобы не видеть те два-три последних метра, что оставались до реки. С каждой минутой расстояние, казалось, все увеличивается. Амброж беспомощно смотрел на заросли крапивы, на мощное переплетение ее корней. В крапиве валялась деревяшка. Нагнувшись, Амброж поднял ее. Это была вешалка с ржавыми крючками. Когда-то она висела в кухне у самой печки. «И ее тоже унесет река, как и многое другое из нашего дома. И меня унесет! Должна унести!»

— Ну и разворотили же вы все,— услышал он вдруг голос. Амброж просветлел лицом. Молодой археолог подошел в самое время.

— Еще два этих вот дуролома...— ткнул Амброж в сторону боковых бревен, и глазам изумленного парня открылся вид кровли, распростертой на глади отмели.

— А я, признаться, решил, что вы собираетесь ее продать,— крикнул он и с каким-то восторгом сбросил со спины рюкзак. Старик, покачав головой, опять взял в руки обрезок железной трубы, но парень выхватил его из рук Амброжа.

— Вы принесете камень!

Теперь они уже вдвоем дотащили часть чердачных перекрытий до берега, перевалили через поросшую травой береговую кромку, и оба налегли на вздыбившийся конец бревна, как на огромное весло. Бревно с громким плеском рухнуло в воду. Таким же образом переправили второе. Амброж благодарно похлопал парня по спине.

— А что дальше?

— Да вот хочу попробовать еще разок...— ответил Амброж и уставился на бегущую все вперед и вперед реку.

— Плот?

— Из этих бревен вряд ли получится настоящий плот, но, надо думать, и такой поплывет, не потонет!

Юноша с изумлением глядел на его жилистые руки и посиневшие от холода ноги, на помеченные временем бревна, покачивающиеся на воде и чем-то напоминающие лицо старика.

— Так вот зачем вы сюда явились!

— Не только за этим!

— А еще?

— Тебе, я думаю, не понять...

— Я могу чем-нибудь помочь вам?

— Ты уже и так помог, и здóрово! В самый нужный момент явился. Я не собираюсь тут зря торчать. Сколочу плот на скорую руку, сооружу что-то вроде весла...

Амброж вылез из воды, и юноша, который целый день думал об этом человеке, почувствовал к нему какое-то особое почтение.

Они сидели на берегу и молчали. Старый курил, иногда поворачиваясь к своей кузне без крыши.

— Ну, а ты, парень, что ты откопал в этой земле?

— Да всякое!

— Вещи...— улыбнулся Амброж, и перед глазами его замелькали предметы разной формы и цвета, которые изо дня в день проходили через его руки на складе универмага, а потом отправлялись наверх на прилавки и полки.

— Утварь, орудия труда...

Амброж, соглашаясь, кивнул головой.

— Да, люди тогда обходились самым насущным! — И опять его мысли перенеслись в универмаг, где они с Адой Басом развлекались, наблюдая похожих на безумцев покупателей, которые выискивали в великом множестве барахла то, без чего вроде бы им не прожить. Отыскав, покупали и вне себя от радости уносили домой.

Пройдет время, подкопят еще деньжат и снова явятся, чтобы купить что-то уже совсем другое. И так будут приходить всегда, ибо ни одна вещь не приносит вечного удовлетворения. Они с Адой смеялись над этой суетностью и тщетой.

— Почему вы уехали отсюда? — спросил парень и вспомнил буфетчицу Яну и беспокойно переглядывавшихся мужчин.

— Надоедает мне однообразие! И потом, меня всегда тянуло посмотреть белый свет...— ответил Амброж, прикинувшись, будто тогда, в те далекие времена, он просто не смог преодолеть зова дальних странствий.

— А плоты вы гоняли каждый год?

— Многие годы, по весне...— подтвердил Амброж и сразу же перенесся мыслью в те весны, когда они отдавали себя во власть стихии. Вода ласкала плоты на мельчинах и лягала, словно дикий конь, затянув в быстрину между скал. Работенка была нешуточная. Но эти адовы муки приносили чувство раскрепощенности, свободы... Бревна пахли смолой. А мимо стремительно мчались берега с деревнями, лесами, людьми. Красота! И опять в который уж раз Амброж отметил про себя, что эти воспоминания помогали ему потом, на стройках, где каждая минута была на счету.

— Завтра снова в путь!

Юноша не осмелился усомниться в реальности его затеи и промолчал, чтобы не причинить старому человеку боли. «Все равно он не станет меня слушать. А я-то решил, что он явился сюда, чтобы снять с себя старые подозрения. Ведь здесь живет его дочь!»

— Вам бы следовало подняться в деревню!

— Зачем?

— Доказать, что тогда стреляли не вы!

Амброжа тронула его уверенность, но вслух он сказал:

— Больно надо кому-то что-то доказывать! — И добавил: — Да и нет у меня никаких доказательств!

— Но вас это мучит,— убежденно заявил юноша.

— Не мучит. Уже не мучит,— ответил Амброж и задумчиво продолжал: — В молодости, сынок, человек считает, что каждый его поступок люди должны одобрить. И зря. В один прекрасный день ты сам, своим умом дойдешь, что не одобрение главное... Важно, чтоб совесть была чиста и чтобы ты сумел собственными силами чего-то достичь...

Он умолк.

Археолог терпеливо ждал, когда Амброж снова заговорит.

— Я хочу тебя кое о чем попросить!..

— С удовольствием все сделаю,— загорелся юноша.

Амброж поднялся и пошел в кузню. Вернулся. В руках он держал куртку. Со вчерашнего вечера Амброж не надевал ее. Он пошарил в

кармане и, вытащив пачку аккуратно сложенных бумажек, извлек оттуда сберкнижку.

— Завтра!.. — Он умолк, а потом со значением продолжил: — Завтра, когда меня уже не будет здесь, понял! Отдашь это буфетчице! — И протянул парню сберкнижку.

Тот держал ее в руке и обеспокоенно моргал глазами, пока очки на его носу не пришли в движение.

— Да ты погляди. Тебе надо знать, что ты понесешь,— предложил ему Амброж.

Сберегательная книжка была оформлена на имя Яны Зезуловой. На счету после очередного вклада числилось ровно сто пятьдесят тысяч крон.

Амброж делал вид, будто его занимает лишь комарье, но сам внимательно наблюдал за растерявшимся юношей.

— Это же целая куча монет!

— Ничего! У меня они не последние, не дрейфь, я кое-что и себе оставил,— усмехнулся Амброж.

— Вы же могли купить себе...

— ...Скажем, машину...

— Хотя бы! Или дом!..

— И что тогда?

— Ну...— Юноша растерянно мотнул головой и смущенно опустил глаза. Он почувствовал, что Амброж сейчас думает о чем-то совсем другом, и восхищенно воскликнул:

— Вот они обрадуются!

— Думаешь? — недоверчиво поинтересовался Амброж.

Парень не ответил. Ему был не совсем понятен смысл такого поступка.

— Вы ведь меня совсем не знаете...— завел он речь с другой стороны,— а доверяете такую прорву денег!

Старик прижал к губам палец и легонько, успокаивающе, тронул юношу за руку.

— Но ведь и ты мне доверяешь, не так ли?

Молодой археолог с важностью кивнул головой.

Снизу по-над рекой неслась, все приближаясь, большая стая чаек. Казалось, белые птицы надвигаются на берег в полном беспорядке. Они то стремглав кидались в воду, то снова взмывали ввысь и плавно кружили, притворяясь, будто нет для них никакой разницы, куда направить свой полет.

Амброж и молодой археолог, продолжая беседовать, наблюдали за игрой белоснежных птиц, и в их разговор вплетались птичьи вопли, так напоминающие громкий насмешливый хохот. Юноша измерял прошлое сотнями лет, Амброж лишь десятилетиями. Но оба сходились во мнении, что человек всегда есть не более чем человек со всеми заботами и, главное, со своим трудом. И только труд, только работа творят историю...

Скоро эту низину затопит вода. Те, кто придет сюда после нас, увидят одно лишь огромное озеро. А мы? Что нам известно о тех давних людях, живших на просторах, которые теперь стали дном озер, морей... Для нас они лишь история, и мы любуемся просто реками, озерами, морями...

Настоящее напоминало о себе гулом и скрежетом, доносившимся с шоссе.

— А вообще вы хоть как-то защищались? — вдруг спросил юноша вне всякой связи с их разговором.

— Еще как...— с вызовом усмехнулся Амброж.— И, видать, не так уж плохо, коли с ума не свихнулся и есть силушка в жилушках, чтобы сделать то, о чем так долго мечтал!

Чайки играли в лучах заходящего солнца, и огромный шар, катясь на запад, отбрасывал длинные тени. Темный фон для беспорядочно

мечущихся белых птиц. Высоко в небе возник сарыч. Он возвестил о себе резким писком, и чайки пустились врассыпную, поспешно покидая его владения. Они удалялись во мглу уходящей вниз низины, и омерзительный их хохот растворялся вдали.

Археолог засунул сберкнижку в карман куртки. Поблагодарил Амброжа, сам не очень отчетливо понимая за что, видимо, за доверие... Пожелал счастливого пути. Они пожали друг другу руки, и молодой, оставив старого наедине с самим собой, двинулся вверх, к ресторану, что светил далеко окрест своими большими окнами.

Амброж поужинал. И только тогда решился наконец на торжественный акт. Он распахнул печную дверцу и поджег под сухими поленцами бумагу. Пламя, разжигая бумагу, на минуту угасло, но вдруг, ярко вспыхнув, охватило щепки. Поленья затрещали, и печь загудела от устремившегося ввысь огня.

Амброж выскочил из дома, поднял взгляд на голую теперь трубу и стал внимательно наблюдать за поднимавшимся в сумеречное, предвечернее небо дымом. Сколько же долгих лет не видали эти края дымной души ожившей кузни!

«Наконец-то я дождался этой великой радости!»

Он засыпáл, обогретый теплом кирпичной печи, которая для многих поколений его предков служила семейным очагом, и гуденье огня в последний раз сливалось с вечным шумом воды...

Горы потемнели, словно утонув в своей собственной тени. В ночь вылетали летучие мыши, и ночные бабочки, трепеща крыльями, липли к стеклам освещенных окон. Над рекой поплыл дым, а внизу снова загорелся тот единственный огонек...

Буфетчица разносила пиво. Всем уже было известно, что в низину на самом деле вернулся Амброж-кузнец.

— Интересно, что себе твой батя воображает, слышь, Яна? — спросил Кришпин.

Яна сделала вид, будто ей недосуг поддерживать разговор. После Розиного возвращения Яна уже могла себе представить, что ее ожидает вечером. Радим, ее муж, сжав кулаки, с отчаянием прислушивался к перебранке. Мужики вели себя так, будто Янин отец своим появлением поставил под удар их жизни и лишил святого покоя, до сих пор нарушаемого лишь заботами о том, чтобы ржа не сожрала шасси их автомобилей да не тронула центрального отопления их белых сахарных домов...

— Его привела сюда жадность! Не иначе! Развалит кузню, а бревна продаст подороже...

— Ну и нахалюга же!

— Бросьте, ведь это его собственность!

— Лучше бы ему исчезнуть отсюда, да поскорей!

— Да отцепитесь вы от него! Амброж ничего плохого не сделал!

— Не сде-е-е-лал?

— Нет! Мы все его хорошо знаем!

— Не строй из себя ангела, Кришпин, мы все тогда сдрейфили, полны штаны со страху наложили! А надо было тебя и впрямь пристрелить!..

— А может, это ты и стрелял? — ткнул Кришпин в Трояка пальцем.

— Дураки мы тогда были! Ни дать ни взять стадо баранов...

— Чтой-то ты вдруг...— с притворным испугом Кришпин оглядывал всех, ища поддержки своему справедливому негодованию.

— Амброж понимал, что с рекой надо как-то управиться!

— Все сейчас задним умом крепки...

— Это ты заставил нас тогда строиться внизу, у воды! А чем это кончилось?

— Такое уж было время!

— Выходит, один только Амброж понял это время!

— Понял и лег спать с моей женой? А потом она сбежала к нему, сука ученая!

— Спал не спал, это уж дело твое, Кришпин! Ты всегда только о себе думал!

Кришпина трясло от злости. Он подходил то к одному столику, то к другому и чуть ли не хватал мужиков за грудки, домогаясь согласия:

— Надо его оттуда выкурить! Забыли вы, что ли, как он над нами посмеялся, а сам взял да смылся.

Молодой археолог сидел в сторонке за своим столом и притворялся, будто его вовсе не интересует их громкий спор. Его коробило, что только немногие отважились поднять голос в защиту Амброжа, окоротить этого бывшего хозяина деревни. По всему видать, дрянь человечишка... Или те, остальные, на всю жизнь перепуганы неизвестно чем...

— Завтра начнем рушить мельницу! — крикнул кто-то, когда все уже двинулись к дверям, и словно поставил точку: — Утром видно будет! Чего зря языки чесать...

Яна смотрела им вслед, во тьму, и ей было тошно. Вот и сегодня у нее опять не хватило смелости вступиться за отца. Достаточно было только сказать, только напомнить им, что следствие против отца прекратили! Она знала, что может ответить ей Кришпин. «Но хоть раз в жизни я сделала бы по-своему, как совесть велит!..»

Очкастый парень, ее единственная поддержка, отправился спать. Он явно избегал ее, отводил взгляд, как будто опасался, что, не совладав с собой, откроет что-то важное.

Яна лежала в постели, и ей снова мерещился столб дыма, который с вечера поднимался над кузней. Она вспомнила тепло, что согревало ее в детстве. Куски раскаленного железа в горне... Ритмичный стук молота и нескончаемый шум реки... И покрытое копотью лицо отца... «Река уже рассчиталась со мной, я больше ей ничего не должна. Она взяла у меня мать! Зато теперь, получается, вернула назад отца!»

Радим беспокойно ворочался во сне. Ей казалось, будто он без конца повторяет одно и то же. Те жестокие слова, что сказал, прежде чем ему удалось уснуть:

— Завтра пойдем к нему! Он нас должен послушаться! Ты не знаешь людей! Каждый только и ждет, как бы сожрать другого!..

Яна возразила. Его страхи всегда были пустыми...

В который уж раз со слезами повторяла она самой себе: «Хуже всего, что наш вечный ужас перед прошлым отца теперь тоже кажется чепухой. Мы жестоко обошлись с ним. А чего ради? О чем мы так пеклись? Чего добились? Работали, чтобы поскорей купить машину! Новый дом, дачу! И ездить в отпуск по заграницам! Деньги, и только деньги! В этой вечной погоне за барахлом мы упустили время и не родили ребенка. Как же я позволила себе с такой легкостью забыть, что у меня есть отец? Мы же от него отреклись, чтобы не испортить себе жизнь! А сейчас боимся, что придется содержать его! Я его дочь, и моя обязанность — заботиться об отце! Про каждого, кого ни возьми, что-нибудь да болтают. Редко хорошее. Выходит, все плохое, что плели про отца, нам оказалось на руку!

За окнами мириадами звезд сверкало небо. Ночные птицы охотились. Яна плакала тихо, боясь разбудить спящего мужа.

А под утро к чердачному окну кузни вернулась сова. Она осторожно искала знакомый вход. Замедлила полет, взмах крыльев стал спокойнее, и вдруг, охваченная паникой, вновь взмыла ввысь, испугавшись голого, еще теплого остова кирпичной трубы.

Амброж встал чуть свет. Все, что он делал потом в прохладе наступившего утра, было словно продолжением ночных раздумий и прикидок, будораживших душу, отягощавших сон. Ему не хватило всего

одного дня. Из-за этого придется лезть в холодную, еще не прогретую солнцем воду. Тут же у порога он выпил горячего чая. Стоя. Даже не присаживаясь.

Нелегко будет соорудить плот из тех бревен, что покачиваются сейчас там, на отмели. Ночью его вдруг осенило: бревна такие толстые, что можно, пожалуй, обойтись без настила.

Над рекой плыли клочья тумана. Окрестности вырисовывались быстрее, чем вчера, открывая перед глазами всю низину.

Амброж скинул штаны и засучил рукава рубахи. Прихватил скобы, гвозди и топор и вошел в воду, взбудоражив тишину заливчика. К счастью, дно было песчаное и камни попадались редко. Его ступни увязали в песке, и песок казался Амброжу теплее, чем вода.

Амброж оттолкнул друг от друга две толстые балки, всадил между ними стропила и матицу и соединил вместе тремя досками, положенными во всю ширину будущего плота. Скобы вбил по диагонали, чтобы бревна не могли сдвинуться по продольной оси. Из оставшихся сложил на корме что-то вроде приступка. Подумав, сообразил, что необходимо утяжелить и носовую часть, чтобы она не задиралась над водой, когда он перейдет на корму. Соорудил уключину для кормила...

Он уже вылезал из холодной воды, когда солнце, словно издеваясь над ним, только начало обогревать реку. Наверху жизнь шла своим чередом. Рычали в своей неумолчной спешке моторы автомобилей.

Амброж вошел в дом и принялся складывать в мешок вещи и одежду. Времени достаточно, но его настойчиво подгоняло что-то, чему он не находил названия и не мог противостоять. Чувствовал себя усталым. Хорошо бы присесть, передохнуть и порадоваться. Наконец свершилось то, о чем мечтал долгие годы! Плот, конечно, не бог весть какой, но поплывет!

Амброжа опять выручил обрезок железной трубы. Не нашлось ничего подходящего, из чего можно вырубить руль с длинной рукоятью. Его взгляд машинально обшарил кухню. Подумав, он принялся поднимать высохшие, исхоженные половицы...

Снаружи неожиданно послышался близкий, все нарастающий громкий треск. Амброж выбежал на порог. Около мельницы царило оживление. Мотор грузовика стих. Мужские фигуры суетились вокруг выкрашенного в желтый цвет компрессора на двухколесной площадке. «Вовремя же я управился!» — подумал он.

Его вдруг стал раздражать скрип, сопровождавший каждую его попытку поднять эти тысячами шагов придавленные половицы. Он налегал на обрезок трубы всей тяжестью своего тела и осторожно раскачивал, чтобы не попортить доску. Острия глубоко вбитых кованых гвоздей не желали покидать гнезда. За долгие годы металл словно прикипел к дереву. Еще немного! Ну, совсем немножко! Весь мокрый от пота, Амброж упирался, давил. Наконец-то! Один конец освобожден! Победил. Окончательно освободить приподнявшуюся доску было уже легче. Амброж отбросил железную трубу, подхватил доску посередке и поволок из кухни через сени на улицу, где уже вовсю светило солнце.

Зажмурившись, он сбросил доску в примятую, полегшую крапиву и, оглядевшись вокруг, увидал мужиков. Они стояли, наблюдая за ним удивленно и испытующе.

Амброж отвел глаза и глянул на мельницу, потом на свое сооружение. Плот стоял нетронутый на том же месте. Мужики явно не собирались ему помогать.

— Мое почтеньице, Амброж! — произнес один из них, с усиками.

Амброж буркнул что-то в ответ и полез за сигаретой. Он медленно шарил в кармане в поисках спичек, словно давая мужикам фору...

— От тебя такого вполне можно ожидать...— насмешливо пропел Кришпин. Его Амброж узнал сразу.

— Чего от меня можно ожидать?

— Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления,— уточнил Кришпин.

Амброж закурил и твердо взглянул ему в глаза. В них металось беспокойство...

— Так ведь он приехал не за чужим, а за своим,— сказал тот, с усиками, и Амброж кивнул головой. Трояка он тоже узнал сразу.

— Опять смываешься?

— Я никогда не смывался,— тихо, скорее для себя, проговорил Амброж.

— Ты мог бы и раньше возвратиться! Я тебя уже простил,— заявил Кришпин. Он суетливо раскачивался, навалясь на палку.

И только сейчас в глазах Амброжа блеснула ярость. Его вывел из себя издевательски добренький, вроде бы великодушный тон этого типа. Кришпин всегда был ничтожеством! Умело липнул ко всему, на чем мог нажить капиталец. И сейчас глазки у него поблескивают, как у рыбы...

— Мне твое прощение ни к чему! — крикнул Амброж и, схватив топор, сделал вид, будто ищет у доски сторону без сучков, чтобы расколоть поровнее.

— И всегда-то ты был хитрованом, Амброж!

Непохоже, что Трояк заодно с Кришпином.

— Каждый судит по-своему и по себе,— ответил Амброж.

— Да ладно, бросьте вы! — примирительно сказал Трояк.

— Того и гляди наше старичье в кулачки пойдет,— захохотал паренек, которого Амброж и знать-то не мог.

— А зачем? Все уже и без того ясно! Что скажешь, Кришпин?!

— Это как же? — не понял Кришпин. Он нервно колупал палкой в траве.

— Очень даже хорошо знаешь как,— отрезал Амброж и крепко сжал топор, будто опасаясь, что он вырвется из рук.

У него вдруг перехватило дыхание. Грудь вздымалась и опускалась, он с трудом проглотил застрявший в горле комок, стараясь преодолеть приступ бессильного бешенства.

— Нынче ты уже можешь все рассказать! Сознаться, как тогда дело было,— примирительно выводил на высокой ноте Кришпин.

— При чем тут «нынче»? Сколько бы времени ни прошло, мне признаваться не в чем,— с сердцем отрезал Амброж, прикидывая, куда бы положить топор.— И, может статься, именно тебе, сенатор, это как хорошо известно! Зачем мне было идти против новых порядков?! Мне-то они как раз были кстати, эти перемены. Я им радовался! Только не орал об этом громко... Ну, поговорили и хватит, вы меня задерживаете! И себя вроде бы тоже...— Он в сердцах ткнул рукой в сторону мельницы.

Но мужики и без того уже двинулись прочь. Трояк молча протянул Амброжу руку. Кришпин издали крикнул:

— Давай уматывай, да поскорей!

— А что ты мне сделаешь, если не умотаю? — усмехнулся Амброж.

Кришпин погрозил палкой и, прихрамывая, пустился вслед за остальными к мельнице.

Амброж лишь рукой махнул. Но тут же опустился на землю. Ныли теперь не только кости и мышцы, ныла униженная и оскорбленная душа. На какой-то момент пожалел, что вернулся. Людская злоба живуча.

Появились чайки, они приближались в беспорядочных, неустанно изменяющихся сочетаниях. Испуганно заметались в горячем воздухе, когда, разнося окрест эхо, грохнули взрывы. И сразу же раздалось рычанье пневматических буров.

Амброж еще не докурил своей сигареты, как гнев его стал утихать. Ведь такого приема он и должен был ожидать. Этим рачителям

правосудия лишь бы выкричаться! Да и не мог он не признать, что было бы противоестественно, если бы Кришпин дружески похлопал его по плечу. Трояк — этот не изменился, все тот же, надо полагать, как и многие из тех, кто живет теперь наверху в деревне.

Амброж надпилил край доски и опять обрадовался, что удалось отщепить такую ровную полосу. Минута-другая — и уже вырисовывалась ручка руля, расширяющегося лопатой книзу.

Он добрел по воде к плоту и закрепил руль. Упершись, оттолкнулся, и плот стал послушно разворачиваться. Стволы давно срубленных деревьев ожили. Амброж и сам себе казался теперь восставшим из мертвых. Долгие годы мечтаний, месяцы подготовки и последние часы тяжелого труда! Наконец-то! Он облегченно вздохнул. Наконец-то он тронется в путь и у него будет время осмыслить все случившееся! Всю ту бурю чувств, что поднялась в нем от встречи с низиной, с рекой. Он вновь ощущал себя сильным и спокойным. Знал, что победил. Теперь вокруг него лишь бревна, река и небо. Дышалось легко, хотелось обнять и прижать к груди нечто, чему не подберешь названия.

Амброж опустился на бревенчатый накат. Мучила одышка. Болели мышцы, и все внутри словно сжалось в комок. Босые ноги были мокры от воды, впитывавшейся в поры сухих бревен. Амброж в немом восторге оглядывался вокруг. Картина, представшая глазам, была драматична, она воздействовала на чувства сильнее, чем грохот разрушения там, у мельницы. Озорной и вместе с тем степенный бег реки. Валуны, берега, рыба и птица. Необузданная стихия. Покинутые могилы и потайные уголки, словно созданные специально для любви. Заросшие стежки и новые, недавно проторенные тропы.

Одни поколения в этой низине нарождались, другие умирали под вечный шум реки. «Не каждому выпадает счастье понять, какие сокровища мы получаем в наследство от предков,— подумал Амброж. — Я вернулся сюда, чтобы поблагодарить реку и за это тоже!»

Амброж набрал в ладонь уже нагретой солнцем воды и стал медленно пропускать ее сквозь пальцы. Вода падала крупными каплями, как дождь с жаркого неба. Народившись слабым ручейком, она прокладывала себе путь между деревьев, среди расщелин скал, сочилась сквозь папоротники и мхи... Все большое появляется на свет медленно и трудно. Сюда, в низину, река вступала уже широко и мощно. Когда там, ниже по течению, ее перекроют плотиной, все равно вода не поглотит всего. Обширные водные просторы станут лишь продолжением вековой, как океан, людской мудрости.

«Надо сходить за вещами. Пора в путь!» — подумал Амброж. Но покидать эти места еще не хотелось. Зачем спешить? Свой путь по реке он знал до мельчайших подробностей и весь его видел внутренним взором. Если река не взбунтует, он пройдет ее еще засветло. Пока что Амброжу не хотелось и думать о том, как он доберется на плоту до стоячих вод ближайшего водохранилища и, бросив там свое детище, отправится к поезду пешком.

«Тогда-то и наступит конец! Хотя уже сейчас я вижусь со своей рекой в последний раз. Ниже река уже будет другая, чужая. Да и я уже буду иным!»

Его взгляд снова остановился на голом откосе и дальних лесах, а потом скользнул по мелям и перекатам. Амброж давно знал, что река все время меняется. Название остается, но ее облик и душу переиначивают берега и люди. «Потому-то я и торопился сюда, чтобы застать тебя в старом твоем обличье».

Амброж не мог оторвать глаз от волн. Вот он снова слышит жалобы реки, ее угрозы и насмешки, словно обернулось время и он опять приходит сюда, чтобы найти в ней союзника или поделиться своим горем. Когда откроют шлюзы, с рекой уже не договоришься. Река всегда с важностью и горячностью бралась за дело. Амброж завидо-

вал ей. Она вертит мельничные колеса и понуждает человека, обессилевшего не от работы, а от приступов безнадежности, поторапливаться. «Ты помогла мне жить, река! И не мне одному! Иногда побеждала нас, клала на обе лопатки, ибо мы были к тебе непочтительны. Анна могла бы жить до сих пор, если бы вовремя поняла, что ты не властна управлять страстями, бурлящими в каждой здоровой стихии. Я вернулся к тебе, река, чтобы сказать, что теперь понимаю причину ее смерти».

Он потрогал бревна. Нет, он не собирался проверять плот на прочность. Этим нечаянным жестом Амброж как бы одобрял себя, свою затею. Соорудив этот последний плот, он сделал нужное дело. Для обоих. Для себя и для реки. Они оба этого заслужили.

Становилось жарко. Над гладью заводи трепетало марево, и казалось, будто воздух вздрагивает от шума отбойных молотков, тех, у мельницы. Амброж скинул рубаху и ополоснулся.

Река с мелодичным рокотом бежала вперед, и Амброжу показалось, что она уже покорилась ожидающему ее плену.

Неожиданно наступила странная тишина. Грохот у мельницы прекратился. Амброж торопливо посбирал на берегу одежду и инструмент и стал беспорядочно заталкивать в мешок. Он вбежал в кухню, в последний раз обвел взглядом голые стены и, совсем уже смирившись, покачал головой. Тишина подсказала, что сейчас начнут перегонять машины и возьмутся за кузню. Поскорее прочь отсюда!

И вот Амброж уже стоит на плоту, босой, в закатанных до колен штанах. Ему пришлось опять лезть в воду, чтобы подтолкнуть свое неуклюжее чудище к устью заводи. Здесь течение примет его, вцепится когтями своих перекатов.

Камни на дне ранили ноги. Сбитые кое-как бревна ходили ходуном. Амброж надрывался из последних сил...

Откуда-то издалека он услыхал крик, кто-то выкрикивал его имя. Кто-то звал его. Но Амброжу было не до того — он никак не мог управиться с плотом. Течение, закружив, потащило его.

Крик прилетел от мельницы.

Яна Зезулова с мужем добралась туда, когда все в молчаливом ожидании столпились у стены. Бур заклинило, острие наткнулось на что-то твердое. Молодой рабочий схватил кирку и проломил кирпичную кладку. Из замурованного тайника вывалилась солдатская винтовка. Люди беспокойно и лихорадочно передавали ее из рук в руки, будто холодный металл жег им кожу. Наконец Трояк подавленно прошептал:

— Значит, тогда стрелял мельник!

Кришпин, соглашаясь, кивнул головой.

Кузня по соседству, уже без крыши, с оголенной кирпичной трубой, упершейся в небо восклицательным знаком, вдруг заставила их содрогнуться. Впервые за долгие годы мужики глядели на кузню без обычной укоризны и сомнений.

Яна кинулась к родному дому. Трояк и молодой рабочий следом.

— Отец! Амброж! Погоди...

...Плот наконец выбрался на стремнину. Амброж едва успел вскочить на бревна и вцепиться в кормило. У него не было времени думать о своей усталости. Берега уже мчались назад, и сбитые наспех бревна то поднимались, то бились о камни порогов... Грохот воды все усиливался. Ноги обдавало холодом. Плот ритмично качало. Амброж привычно налег грудью на руль, ему хотелось кричать и петь от счастья. Ведь он плыл! И ему было теперь безразлично, что в шуме ветра и шлепках воды он слышит женский голос и крики мужчин. Он не обернулся. Он плывет! Какая радость! Амброж вспомнил Марию и Аду Баса. Так или иначе, невзирая ни на каких кришпинов, радимов

и прочих, кто усложняет нашу жизнь, она идет вперед своим чередом. «Мне повезло, я знавал и порядочных людей!.. Разве без них мне удалось бы это сделать?!» Амброж поглядел на крутые берега и представил себе, до какой отметины поднимется вода будущей весной. Дружески помахал чайкам, что, словно белый торжественный эскорт, сопровождали его плот.

Солнце в тот вечер село в тучи. Ласточки носились над самой землей, и каждый звук в предвечерней долине предвещал дождь.

В ресторане «На смотровой площадке» стояла непривычная тишина. Всем казалось, что их подвели, надули. Но никто даже не пытался свалить вину на обманчивый бег времени. Томительное чувство, навалившееся на них, пришло совсем из иного мира, где нет места будничным заботам об автомобилях, домах, деньгах и повседневной суете...

Молодой археолог уже знал, что стряслось пополудни у реки. Мужчины сконфуженно переговаривались, обсуждая происшедшее. Кришпин то и дело повторял, к чему, мол, было Амброжу спускаться по реке на плоту. Опять все у него не как у людей...

— Ну скажи! Ты ученый человек, обязан и в этом разобраться!

Очкарик молчал. Он понимал Амброжа по-своему: у старика, должно быть, совсем иные интересы в жизни, и нет ему дела до чужого мнения, болтовни и пересудов. А люди легковерны, и теперь им стыдно. Но археолог видел также, что, еще вчера злобствуя, сегодня они завидуют Амброжу...

— Откуда только в нем силенки взялись?

— Чего-чего, а силы ему всегда было не занимать стать!

— Еще и на баб оставалось...— хмыкнул Трояк, и все захохотали. Один лишь Кришпин сидел уныло и казался сломленным. В нем вдруг что-то погасло.

Археолог встал, и все, оторопев, увидали, как он вдруг молча выложил на пивную стойку сберегательную книжку. Яна открыла ее и обомлела. С минуту она тупо глядела перед собой, потом молча протянула книжку через плечо своему мужу и, закрыв лицо руками, разрыдалась.

Радим Зезула долго не мог проронить ни звука, потом откупорил бутылку самого дорогого коньяка и дрожащими руками стал разливать по рюмкам.

— Сегодня я угощаю! Пьем! Все! — крикнул он, но голос его прозвучал неуверенно и глухо.

— За то, чтобы Амброж благополучно добрался! — сказал Трояк, и остальные закивали головами. Они представляли себе неравную борьбу старого человека с коварной рекой, которая может и лягнуть и подстроить любую каверзу от одной только злости, что ее извечный путь по низине вот-вот окончится. Водохранилище, затопив низину, раз и навсегда окоротит ее норов. И унесет красоту...

За большими окнами ресторана опускалась беззвездная ночь.

Впрочем, ночные птицы охотятся и в кромешной тьме.

■

ПЕТРОВА ВЕРА ЗИНОВЬЕВНА

Советский переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводе издавались романы В. Ржезача «Свидетель», Я. Коларовой «Наш маленький, маленький мир», Ф. Гечко «Святая тьма», книги Б. Хнеупека «Генерал с орденом льва» и «Меты», «Золотая» и «Серебряная» книги сказок Б. Немцовой, рассказы Я. Гашека, роман С. Рудольфа «Дальтоник», книги для детей, сборники сатирических и юмористических произведений чешских и словацких писателей.

«Как ты, ничем неукротим...»

Из поэзии Канарских островов

Перевод с испанского и вступление **СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО**

«Как ты, могущ, глубок и мрачен, Как ты, ничем неукротим»,— эти и другие строки, посвященные Пушкиным «свободной стихии» моря и вольнолюбивой поэзии, приходят на память, когда листаешь страницы многочисленных ныне сборников канарской лирики. Советскому читателю эта поэзия — органичная часть испанской и, беря шире, испаноязычной литературы — до сих пор неизвестна. В Испании же в последние десятилетия интерес к ней заметно возрос, что безусловно связано и с той ролью, которую сыграла канарская общественность в борьбе за преодоление мрачного наследия франкистского режима.

Канарские острова, эти вкрапленные в стихию Атлантики осколки вулканирующей суши, с XV века входят в состав Испании. И хотя от любого из них, от Тенерифе ли, от Фуэртевентуры или, скажем, Пальмы, гораздо ближе до африканского побережья, чем до Европы,— тысячами нитей духовной и материальной общности связана канарская литература с родиной Лопе де Веги и Федерико Гарсиа Лорки.

С XV же века ведет свою историю и канарская поэзия на испанском языке. Вслед за «материковой» литературой прошла она долгий путь эволюции, но каждый шаг ее на этом пути был все же не копией испанского прототипа, а его вариантом — и порой очень своеобразным.

Канарцы, потомки аборигенов-гуанчей и испанских конкистадоров, часто говорят, что море, свобода и поэзия у них в крови.

Первый письменный памятник канарской поэзии — анонимный «Плач на смерть Гильена Перасы» (1447) — не только оказался одним из лучших произведений испанской средневековой лирики, но кое в чем и предвосхитил знаменитые «Строфы на смерть отца» (1476) крупнейшего испанского поэта XV века Хорхе Манрике. А немногим позже до Испании доходят невероятные по тому времени вести о том, что на далеком острове Гран-Канария существует некая литературная «Академия сада» — основанный Бартоломе Каррраско де Фигероа кружок поэтов и философов, которые «по образованности и изяществу испанского слога не уступят ни Мадриду, ни Гранаде».

Так стремительно двигалась канарская литература к осознанию своей общеиспанской и в то же время самостоятельной значимости.

Особенно четко сформировался образ «островной» «малой родины» в творчестве канарских поэтов конца прошлого — начала нашего столетия. Своеобразным манифестом этих поэтов стало стихотворение Николаса Эстеванеса «Канары» —фрагментом из него и открывается наша подборка. Эпиграфом к нему вполне можно было бы поставить строки из народной канарской песни:

К морю я пошел по апельсины,
только в море апельсинов нету.
Опустил я все же руку в море
и как будто прикоснулся к свету...

Излучаемый морем свет надежды и веры в конечную победу справедливости («Учись у моря. Не обманет...») питал своею энергией творчество Луиса Бенитеса Инглотта, и Фернандо Гонсалеса, и Педро Пердомо Аседо, и многих других канарских поэтов, к сожалению не вошедших в нашу подборку, которая лишь первая, а потому неизбежно неполная и в чем-то схематичная попытка создать обобщенный портрет современной канарской поэзии.

«К морю я пошел по апельсины» — именно так называется и последняя книга одного из самых известных сегодня на Канарах и в Испании поэтов, Педро Гарсиа Кабреры. Автор четырнадцати поэтических сборников, республиканец и антифашист, проведший долгие годы во франкистских тюрьмах и концентрационных лагерях, он нашел в послевоенных поколениях канарцев не просто многочисленного и благодарного, но и очень отзывчивого читателя. Когда в 1969 году франкистские власти запретили публичные торжества по случаю шестидесятилетнего юбилея поэта, это вызвало бурное негодование канарской интеллигенции и студенчества.

Творчество Гарсиа Кабреры многогранно: здесь читатель найдет и открыто публицистическую, гражданскую лирику — стихи об атомной бомбардировке Хиросимы («Ночь уничтожения»), рассказ о повальном обыске, который устраивают фашисты в рабочем квартале («Ночь черных псов»). И все же большинство его книг, его философская лирика так или иначе связаны со стихией моря. Того самого «канарского» моря, которое «лечит душу человеческим взглядом», как выразился некогда Мигель де Унамуно — великий испанский поэт и мыслитель, сосланный в 1924 году на Канарские острова Примо де Риверой, первым фашиствующим диктатором Испании.

Действительно, море со всех сторон окружает канарца. Море — его горизонт. Море — его пространственная и временная д а л ь. Удивительно ли, что оно давно уже стало в канарской поэзии многозначным символом, олицетворяющим надежду, свободу, истину, вечность?

Кстати, о культурной самобытности: символ этот по глубинному своему смыслу прямо противоположен лирической традиции «материковой» Испании, где море обычно сопряжено с дыханием смерти, где море — это бездна, в которую струятся и впадают «реки жизни».

Впрочем, символ — не совсем точное слово. Скорее, бессмертная стихия моря в канарской поэзии сделалась м о д е л ь ю живого времени и — как это ни парадоксально — вполне з е м н о г о мира. Мира, который нельзя не любить. Мира, который надо научиться и защищать, чтобы однажды не наступила «ночь уничтожения», чтобы, как пишет Гарсиа Кабрера, «все, что было землей», не «стало пламенной ямой».

НИКОЛАС ЭСТЕВАНЕС

Канары

Моя отчизна — море,
прильнувшее к песку,
а родина — тропинка
к родному роднику.

Отчизной не бывают
весь мир и вся земля,
но может быть колодец
и тень от миндаля.

Во мне кровь гордых готов?
Египетская спесь?
Не важно... Важно только,
что я родился здесь.

Родился остров острым
утесом над волной,
и я родился тоже
с душою островной.

Тропинкою отчизна
петляет по скале,
и бьет родник в родимой
загадочной земле.

НИКОЛАС ЭСТЕВАНЕС — NICOLÁS ESTÉVANEZ (1838—1914)

Канарский поэт и прозаик, уроженец острова Гран-Канария. Автор книг «Романсы и песни» («Romances y cantares», 1881), «Канарская муза» («Musa canaria», 1900), «Следы жизни» («Rastros de la vida», 1913). Публикуемое стихотворение взято из книги «Канарские поэты XIX и XX в.» («Poetas canarios de los siglos XIX y XX», 1966).

Могилы предков. Роща.
И крыша шалаша,
Отчизна не хоромы,
а память и душа.

Витает дух, рожденный
разбившейся волной,
дыша над колыбелью
душою островной.

Отчизна — это остров,
где на заре моей
сошлись лазурным клином
все семью семь морей...

ЛУИС БЕНИТЕС ИНГЛОТТ

Надежда

Не беда, что навоз под ногами.
Лишь бы небо — по-прежнему в звездах.
Пусть смердят по низинам болота.
Лишь бы выше — распахнутый воздух.

Пусть бесплоден песок побережья.
Лишь бы дальше — зеленые кряжи.
Все леса и поляны на свете
начинаются с этого пляжа.

Время

Я нашел, как уберечься
от твоей печали,
время, горькое сегодня,
сладкое — вначале.
В глубь мелькнувшего мгновенья
Мною якорь брошен.
Связан якорною цепью
я отныне с прошлым.
Ветер времени бушует,
но его старанья
оторвать меня не могут
от воспоминанья.
Словно времени теченье
мне остановили.
Длится миг. И будет сниться
даже и в могиле.

ЛУИС БЕНИТЕС ИНГЛОТТ — LUIS BENITEZ INGLOTT (1895—1966)

Уроженец города Лас-Пальмаса. Поэт, прозаик, журналист. Автор книги «Поэзия внутреннего мира» («Poemas del Mundo Interior», Gran Canaria, 1965), откуда взяты публикуемые стихи.

ФЕРНАНДО ГОНСАЛЕС

Надежда

Шторм отступает — и надежда
родится из его разгрома.
Дождись победного полета
луча над кромкой окоема.
Так и душа стоит, зажмурясь,
и ждет назначенного часа...
Молчи и жди... Вскипает пена
Волною мысли седовласой —
учись у моря. Час настанет,
и, может быть, и полегчает.
Взгляни на море. Там белеют
уже не волны — крылья чаек.
Учись у моря. Не обманет,
хотя и голову морочит.
Ныряет, но не разобьется
корабль зари о рифы ночи!

Нелюбовь

Расколот о скалу ночную
былого брызнувший стеклярус.
Дохнули штормовые тучи,
пузы́ря мой тщедушный парус.

Подуло с моря? Или, может,
меня уносит в море ветер?
Не знаю. Знаю только: света
я не увижу на рассвете.

Мечту и сон какие тучи
затмили чернотой, закрыли?
Ты — птицей надо мной. Но вижу:
у птицы перебиты крылья.

ПЕДРО ПЕРДОМО АСЕДО

Островная родина

Канары, Канары,
какие слова:
Канарские острова!
Островная родина,
реки синевы.
Все, что мною пройдено,
проторили вы!

ФЕРНАНДО ГОНСАЛЕС — FERNANDO GONZÁLEZ (1901—1972)

Уроженец острова Гран-Канария. Автор многих поэтических сборников: «Рассветные песни» («Canciones del alba», 1918), «Костры в горах» («Hogueras en la montaña», 1924), «Часы без часовой стрелки» («El reloj sin horas», 1929), «Белые камни» («Piedras blancas», 1934) и др.

Публикуемые стихи взяты из книги «Избранные стихотворения» («Poesias Elegidas». Gran Canaria, 1966).

ПЕДРО ПЕРДОМО АСЕДО — PFDRO PERDOMO ACFDO (1897—1977).

Уроженец города Лас-Пальмаса. Автор поэтических сборников: «Краткая птица» («Ave Breve», 1948), «Бронзовый конь» («Caballo de bronce», 1953), «Вернуться — значит воскреснуть» («Volver es Resucitar», 1967), «Элегия капитану торгового судна» («Elegia del Capitan Mercante», 1971).

Публикуемые стихи взяты из трех последних сборников.

Ночная лодка

Мы струимся между
ликами луны:
меж луной небесной
и луной волны.
Зря напыжил город
бледные огни...
Полночь, обескрылев,
прячется в тени.

Печаль

Пронизан музыкой воздух,
наполненный тишиной.
Тебя я уже не слышу
и не говорю с тобой.

Уже не нужна синица
мечтавшим о журавле.
Я вижу, что снится туче,
ночующей на скале.

ПЕДРО ГАРСИА КАБРЕРА

Время моря

У моря иное время,
и ход его не похож
на тиканье механизма,
безжалостного,
как нож.
В скольжении рек,
тем паче —
в движениях скакуна,
стальная сквозит пружина,
которая взведена
на некое время...
Время
поэтому и течет,
что мы натянули нити,
ведя ему точный
счет.
А море, все нити спутав
в один голубой
клубок,
в котором вечность
мгновенна,
а миг, словно век,
глубок,—
впадать никуда
не хочет,
не знает, что значит
путь...
Не властны мы расстояньем
измерить морскую
суть.
Поверхностного чураясь,
живет оно глубиной.
Вскипает волна,
и время,
очерченное волной,
опять возвратится в бездну
ритмично-живой воды.
Что было, то сплыло...
Пена
свои заметет следы.
В замкнувшейся сфере
ритма
навечно завершено
рожденье его...

ПЕДРО ГАРСИА КАБРЕРА — PEDRO GARCÍA CABRERA (1905—1981).

Уроженец острова Гомера. Противник франкизма, долгие годы провел в фашистских концлагерях и тюрьмах. Автор четырнадцати поэтических книг, в том числе: «Убегающая прозрачность» («Transparencias fugadas», 1934), «День жаворонков» («Dia de alondras», 1951), «В четырех стенах» («Entre cuatro paredes», 1968) и др.
Публикуемые стихи взяты из сборников «Острие человеческого часа» («Hora punta del hombre». Las Palmas, 1970), «Острова, на которых я живу» («Las islas en que vivo». Santa Cruz de Tenerife, 1971).

И все же
рождается вновь оно.
Так сделалось время
морем.
Стал временем
океан.
Светает на параллели,
хоть смеркся меридиан.
Зло свищет
земное время
наточенною косой,
а время морское
пахнет
предутреннею росой.

Сплошная морская память
стирает следы руин —
грядущее и былое
едины
в тисках глубин.
Всегда творится
лишь н ы н е
гремучей пучины
дом.
Творение неделимо
на «до»,
«сейчас»
и «потом».

Ночь чёрных псов

Они оцепили молча
за полночь наш квартал.
Каждый чердак
затрясся.
Затрепетал
подвал.
К чему бы
ни прикасались,
все обращалось в прах.
В подъезды вселился
ужас.
В углах шевелился
страх.

Сочувствовавших, однако,
никто не назвал им.
Но
раскрыто на свет идеи
было одно
окно.

Этого им хватило.
Стала водой звезда.

Прилип к наковальне
молот.
Сиротствует борозда.

Ночь уничтожения

Перепонки порвать
не успели сирены.
Были взрывы вершин
беспощадно мгновенны.
Стены зданий себя
под собою простерли,
и сошлись острия
на трепещущем горле.
Все, что было землей,
стало пламенной ямой,
и в базальте сотлел
корень жизни упрямой.

Вся обуглилась мысль.
Все мечты обгорели.
С той поры все цветы —
словно язвы на теле.
С той японской поры
все сместилось на свете.
Вянут, словно цветы,
изъязвленные дети.
Стала с этой поры —
или вы позабыли? —
материнская грудь
тучей атомной пыли.

■

Переводчик выражает признательность профессору Мадридского университета Хуану Мануэлю Гонсалесу Мартину за содействие в подготовке настоящей публикации.

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

Тот кегельбан над Тибром

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

Без названия

От самого берега вверх по склону тянутся буйные зеленые заросли — главная особенность пейзажа. Из зелени выглядывают: справа — красный дом, над ним, прямо над его крышей, другой дом, поменьше — кирпичного цвета. Слева — почти скрытая деревьями крыша и желтый фасад, производящий странное впечатление: кажется, будто у него нет никакой опоры.

Я уверен, что у этой совокупности объемов есть своя история. Историй хватает везде, но здесь композиция слишком уж необычна, а объемы соединены слишком таинственной связью, чтобы за всем этим не крылось чего-то особенного. Расстояние между теми домами, что справа, и теми, что слева, не может не производить впечатление разлома. Свой особый смысл имеют и близость реки, и эти два плавучих причала, пустынных даже летом, и лодки, которые медленно поднимаются с моря и быстро уходят вниз, подхваченные течением.

«Люблю смотреть из одного и того же окна и видеть совсем разные картины» (да простит меня Эллиот).

Панорама, открывающаяся передо мной сегодня утром, уже не та, что вчера. Воды в реке прибавилось. За одну ночь норов реки переменился. Желтая вода несет на себе сухие ветки и коряги. Корни деревьев, густо разросшихся на дамбе, кажется, не выдержат, вот-вот поддадутся натиску воды и медленно расстанутся с землей — медленно, потому что течение пока еще не очень напористое.

В середине дня окна тех домов, что справа, открываются. Из них выглядывают девушки. В доме слева окна всегда закрыты. И все-таки за планками жалюзи заметно какое-то движение. Я смотрю в бинокль. Мне мерещатся чьи-то подглядывающие глаза. Показавшись на мгновение, они исчезают. Потом снова появляются и опять исчезают. Словно в этой грязной воде и воронках, засасывающих все, что проплывает поблизости, есть что-то непристойное...

С тоски

В одном из баров на площади Болоньи в Риме за мой столик, не спросив разрешения, садится девушка. Она очень взволнована. Рассказывает, как только что прямо у нее на глазах похитили человека: два парня, даже не пряча лиц, схватили какого-то прохожего и, втолкнув его в машину, умчались на большой скорости. Они были вооружены, и никто не смог ничего предпринять.

У девушки красивые темные глаза и странная манера смотреть. Смотрит на тебя, и вроде бы слышишь шелест. Выясняется, что она работает горничной у одной старой синьоры, бывшей преподавательницы истории. И живет той же жизнью, что

[1] Окончание. Начало см. в № 7.

ее семидесятилетняя хозяйка. Весь мир — за оконными стеклами, и ежедневно, поближе к вечеру, девушка совершает прогулку по этому миру, то есть по кварталу, в котором она живет. Когда она возвращается домой, хозяйка уже спит, и девушка с тоски принимается читать историю Италии.

Как-то на улице она останавливается поболтать с парнем примерно ее же возраста. Он не очень разговорчив. Но ей нравится. Однажды он робко признался, что и она ему небезразлична. В общем, девушка не устояла. Так ее затянуло в орбиту его жизни: терроризм, подполье, тюрьма, побег...

Все с тоски.

Денежная пустыня

В одном удивительно красивом месте я обнаруживаю среди зелени мертвого мужчину. Я иду по высокой траве и едва не спотыкаюсь о его тело. Самоубийца, скажут потом. Я не впервые вижу покойника, но прежде моей реакцией всегда было либо страдание, либо безразличие. А перед этим я не испытываю ни того, ни другого. Здесь что-то иное. В его мертвом теле сохранилась поразительная жизненная сила. Мне кажется, я слышу биение его пульса, угадываю его мысли, смятение чувств, толкнувшее его на такой шаг. Этот покойник близок мне, близок так, как никогда не был бы при жизни.

Очевидно, он умер недавно. Его кожа еще не приобрела характерной прозрачной бледности. Если мне когда-нибудь понадобится подсказать актеру позу умершего, я знаю теперь, как ее описать. Он лежит на боку, правая рука покоится на шее, пистолет валяется в траве, словно он отшвырнул его в тот самый последний миг, когда курок уже был спущен. Запоздалое раскаяние. Я бы сказал, что ничего в этом человеке не изменилось. Просто он вполне естественно перешел из одного состояния в другое. На правом виске у него маленькая дырочка — аккуратная, чистая, ни единой капли крови из нее не вытекло. Глаза открыты,— значит, он хотел умереть, глядя на что-то. Но на что? Линия, продолжающая этот взгляд, ведет к живой изгороди из кустов боярышника. Над изгородью возвышаются вязы, а среди вязов виднеется дом — часть розового фасада с темным окном посередине. Это окраина, за домом начинается город, Болонья. Городские шумы сюда не доходят. Зато очень отчетливы звуки, голоса, шумы, доносящиеся из дома или из комнаты, которой принадлежит это окно. Интересно, кто там живет? Умереть, глядя на окно: не покажется ли в нем женщина, умереть в тот самый момент, когда женщина выглянет, хотя она, возможно, даже услышав звук выстрела, не обратила на него внимания.

Нет, это не история несчастной любви. Тут все связано с деньгами. Деньги всегда вызывали у меня необычайное любопытство. Не интерес, а именно любопытство. Готовясь к работе над «Затмением», я видел, как на бирже всего за пару часов вылетали в трубу десятки миллиардов. По бесчеловечным и нелепым законам биржи всегда кто-нибудь проигрывает, но не всегда кто-то выигрывает. В Лас-Вегасе я наблюдал за женщиной, целый вечер простоявшей у игрального автомата: когда автомат наконец высыпал перед ней кучу пятидесятицентовиков, она ушла, даже не взяв их. Эта женщина ни на кого не смотрела. Мне бы хотелось поговорить с ней, но в Лас-Вегасе слова немногого стоят. Куда больше ценятся они здесь, у нас: порой даже дороже денег. В этом одна из особенностей моей профессии — говорить с людьми, давать им возможность высказаться, излить душу, выступить в роли главного действующего лица какой-нибудь трагедии.

Так вот, я вошел в этот дом, выглянул в то самое окно. Покойника уже унесли, лужайка опустела, над ней летали какие-то странные птицы. Рядом со мной стояла девушка лет двадцати четырех — младшая из двух женщин, с которыми я здесь познакомился, пытаясь распутать для себя эту историю. Вместе с покойником они станут персонажами этих моих заметок, а вернее — рассказа, так как мне пришлось несколько переработать собранный материал, на основе которого я хотел сделать фильм. Если от фильма отказываешься, подобный материал становится обременительным, и я решил изложить все на бумаге, чтобы свалить с души этот груз. В общем, здесь я выступаю в роли пишущего режиссера, а не писателя.

Меня поразила не столько сама история, сколько участвовавшие в ней люди. Их убожество, их животные инстинкты, их глупость, неумение жить. И в то же время —

безусловная логичность их поступков, делающая этих людей не только жалкими, но и трогательными. Зовут их Эмма, Ориелла, Леонардо.

Эмма. Тридцать шесть лет, красивое лицо с правильными чертами. В делах, относящихся к смерти мужа, использует свои связи и знакомства. Она не производит впечатления жадного человека, а если иногда и выказывает жадность, то, наверное, лишь потому, что ее это забавляет. Ее насмешливый нрав больше импонирует мужчинам, чем женщинам. Она умеет быть вызывающей и циничной, но в меру, и терпимее всего относится к отсутствию у людей предрассудков. Эмма ходит в ночные рестораны, иногда — в дискотеки. В одном из таких ресторанов она познакомилась с Леонардо. Эмма очень хорошо танцует, а во время танца любит сыпать цифрами, вести разговоры о векселях и сделках, которые она потом скрепляет неразборчивой подписью. Можете думать о ней что угодно, считать ее честной или обманщицей — ей это безразлично, все зависит от того, что ее в данный момент устраивает. Но когда разговор заходит о семье, о детях, Эмма начинает волноваться: семья, покой, говорит она, ей нужны больше всего на свете. Но это все слова. А на деле, с тех пор как она включилась в сферу мелких финансовых операций, между нею и остальным миром, где семья — норма, встала какая-то преграда. Образ ее жизни такую норму исключает. В девять утра она уже на ногах и занята до глубокой ночи. Весь распорядок ее дня зависит от назначенных деловых свиданий. Эмма затевает множество дел сразу, но если они не дают немедленного результата, выходит из игры. Как правило, результата этого она добивается с помощью других заинтересованных лиц, но главное для нее все же не столько сам результат, сколько приводящее к нему настоящее поэтическое озарение, та «нечаянная» поэзия, которую Поль Элюар противопоставляет поэзии намеренной.

Ест она очень мало, но хорошо. Одевается тоже хорошо, в соответствии с канонами буржуазной моды, хотя как будто и не придает нарядам такого уж большого значения. Но это неверно. Эмма очень следит за собой. Можно даже сказать, что она все время думает только о себе: ей нужно постоянно чувствовать себя в защитной оболочке (такой для зародыша служит чрево матери). Она создала себе удобный мир, она сама для себя целый мир. Вступить в него могут лишь избранные.

Ориелла. Я думаю, что покойный к числу таких избранных никогда не принадлежал. Но не делал из этого проблемы. Для проблем есть секретарша. Ориелла принимает свою роль чуть ли не с чувством вины. Она не отличается ни деловыми качествами, ни приятной внешностью. Это ей и самой известно. Зато она любит поговорить, что в их переменчивых отношениях оказывается ее силой. Чаще всего она говорит о вещах, которые ему никогда и в голову не приходили. Например:

— Представляешь, когда-то, миллионы лет тому назад, скорпионы жили в море!

Ориелла немножко знает английский. Берет уроки на курсах Берлица. Однажды утром она заходит в кабинет и заявляет, что вчера вечером выучила слово, очень подходящее к деньгам: zest.

— А что оно означает? — спрашивает Леонардо.

Оказывается, оно означает вкус, запах, аромат и еще что-то острое, жгучее. Вот уж о чем он никогда бы в жизни не подумал: выходит, деньги могут иметь вкус, запах. Для человека, живущего, как он, деньгами, покупающего и продающего их, словно обыкновенный товар, всегда, по его же словам, пользующийся спросом, это — откровение.

Ориелла ревнует Леонардо. Отношения, связывающие его с Эммой, обладают такой силой инерции, что распространяются и на то время, когда они не вместе. Практически присутствие Эммы всегда ощутимо в его конторе. Вексель с ее подписью, принадлежащая ей облигация, чек, выписанный на ее имя, записка с ее инициалами,— в общем, Эмма постоянно упоминается в разговорах. Девушка не знает ее, никогда даже не видела. Эмма всегда старалась избегать встречи. Может, поэтому она и вызывает у Ориеллы такое любопытство: девушка расспрашивает о ней, хочет узнать побольше. Она даже требует, чтобы он объяснил, какая разница между нею и той, другой, в постели и какие слова произносит Эмма в это время.

Когда я интересуюсь, что́ привлекательного находила она в покойном, Ориелла вместо одного ответа дает два.

— Он был настоящий мужчина,— говорит она. Казалось бы, достаточно и этого, но, подумав немного, словно стараясь припомнить что-то еще, девушка добавляет: — И

потом, он был искренним. Научился этому, имея дело с деньгами. Деньгам не соврешь, они сразу заметят.

Больше всего меня поражает логичность и конкретность ее суждений. Такая с виду рассеянная, несобранная, она единственная постигла самое себя, границы собственных возможностей, привела в соответствие с ними свои амбиции и уже на этой основе стала строить свои отношения с мужчиной. Ориелла старалась заставить его полюбить себя, но смерть сорвала ее планы. Теперь она не знает, как быть дальше.

— Я сделала большую ошибку,— говорит она,— отказавшись от денег, когда он ушел от меня в последний раз. Этим я подорвала свои акции. От денег никогда нельзя отказываться.

Леонардо давал ей деньги в качестве выходного пособия, и ее отказ вызвал у него раздражение, ибо вносил беспорядок в его расчеты: он чувствовал себя должником, а быть в долгу не любил. От своего отца он унаследовал очень ценный капитал — порядочность.

Леонардо. На все вопросы, которые задает ему Ориелла, он отвечает добродушно и снисходительно. Не сознавая, что в выигрыше оказывается он сам, так как вопросы эти доставляют ему гораздо больше удовольствия, чем ей — его ответы. Так бывает, когда мать купает ребенка и малыш кричит, пока она моет ему голову, но сразу замолкает, едва губка скользнет к его животику. Мать совершает это движение бессознательно, и в ее душе оно отождествляется с любовью. Удовольствие, которое испытывает Леонардо, слушая болтовню Ориеллы,— вот и вся его любовь. На большее он не способен, но и такой малости дать не умеет. Леонардо ничего не знает, ничего не понимает. Он делает дело. И делает лучше и успевает больше, когда он один, то есть в перерывах между моментами их близости. А поскольку делать дело для него означает зарабатывать деньги, он и зарабатывает их больше. Так ему легче сосредоточиться. Закрывшись у себя в комнате, он укладывается в постель — даже среди дня — и думает. О деле В этот момент в нем срабатывает хорошо отлаженный механизм, приводимый в действие врожденной хитростью и накопившимся за многие годы опытом. Какой-нибудь час или чуть больше — и все решено, так от уравнения к уравнению решается задачка.

Присутствие же Эммы вынуждает его к иной технике, к совместной работе, а он к ней не привык. Еще и потому, что Эмма, в отличие от него, не наделена тем острым чутьем, которое помогает ему в делах. Деньги хорошо всходят на выжженной земле, в тех духовных пустынях, где нет и песчинки — ведь под песком могут скрываться непредвиденные жизненные ресурсы: достаточно одного ночного дождя, чтобы они пустили ростки. Однажды я был свидетелем такого явления. Вечером прошла гроза, а на следующее утро, проснувшись, я увидел, что вся пустыня усеяна тюльпанами. Потрясающе. А вот пустыни денег — это пустыни камней, отшлифованных неумолимым ветром. Он сметает прочь мысли, чувства, радости.

Вот и все мои персонажи. Механика событий проста, как геометрическая теорема. Исходная ситуация типична для делового человека, который нанимает секретаршу и делает ее своей любовницей. Когда через год он встречает другую женщину и по-своему влюбляется в нее, то порывает с любовницей. Этого потребовала сама женщина.

— Я не хочу ей зла,— говорит она,— но неужели ты находишь приличным держать в конторе свою бывшую любовницу?

Этот отрезок истории их отношений не очень велик. Мне неизвестна причина разлада, приведшего к разрыву, предполагаю, что ею стала какая-то неудачная сделка. Знаю лишь, что, когда разрыв происходит, Леонардо ищет прибежища у Ориеллы, надеясь, что она сумеет утешить и скрасить его одиночество. Ему надо слышать хотя бы ее голос. А поскольку Леонардо человек практичный, то он возвращает ее на прежнее место, в контору. Второй отрезок тянулся дольше. Третий же был совсем коротким. Увольняя девушку, он неизменно выплачивал ей выходное пособие с учетом процента инфляции. До чего нелепы эти вечные сентиментально-денежные расчеты. Однако каждое примирение с Эммой открывает перспективу выгодного капиталовложения, предложенного ею. Что остается делать? Отказаться ему и в голову не приходит.

Последнее предприятие сопряжено с риском и требует тщательного обдумывания предстоящих действий. Дело выгорает. Оба, взбудораженные полученной прибылью,

даже верят, что к ним пришло счастье. На обратном пути они решают переночевать в модном курортном местечке. Но на дворе зима. Все закрыто, все облиняло. Белесое пенистое море, сырой асфальт, голые ветви деревьев. Обстановка так же банальна, как эти хмурые тучи, проносящиеся над ними. Несколько минут они молча смотрят, как на ветру бьется в окне летняя занавеска, прислушиваются к позвякиванию колечек о стекло. Занавеска то надувается пузырем, то опадает В конце концов они оказываются в ночном ресторане, где идет репетиция номеров к летнему сезону. Какой-то иранец поет заунывную, жалобную песню о письмах, не дошедших до адресата: «Ты говоришь, что посылала мне письма, но я их так и не получил. Я тоже посылал тебе письма, полные моих слез, их следы остались на строчках».

Вдруг Эмма начинает плакать. Он смотрит на нее, не испытывая ни боли, ни жалости. Возвратившись в отель, оба чувствуют себя такими разбитыми, несчастными. Возможно, так оно и есть. Поделив прибыль и подписав друг другу векселя, они расстаются.

Ориелла приводит одну любопытную подробность. Леонардо, как всегда после очередного разрыва с Эммой, приходит к ней. Но на этот раз она встречает его холодно, отчужденно. Разговор не получается. День дождливый, но светлый. На улице, прощаясь, они подают друг другу руки, то есть протягивают руки, но так и не пожимают их. Ориелла говорит, что смотрела в тот момент не на его лицо, а на эти руки, повисшие в воздухе и мокрые от дождя.

Когда мужчина остается наконец один со своими деньгами, которые ничем больше не пахнут, он действительно одинок. Слишком одинок.

Просто чушь

Место действия неопределенное. Любое совпадение с реальной действительностью случайно.

Главное действующее лицо — физик. Знающий, что такое мюон, адрон, лептон, и способный выразить их характеристики в терминах квантовой теории. Человек, весьма передовой во всем, что касается исследования невидимого мира, он обнаруживает поразительную отсталость, сталкиваясь с действительностью видимой, то есть с реальной жизнью. Насколько он открыт для нового и проницателен в науке, настолько он узколоб и банален в вопросах житейских, особенно когда дело касается непосредственно его семьи или круга людей, к которому он принадлежит. Живут они все на закрытой территории — на пятачке в несколько квадратных километров,— лишь спорадически вступая в контакт с внешним миром Живут рядом с циклотроном в небольших красивых коттеджах, тщательно соблюдая декорум, в атмосфере микрофизики, банальностей, граничащих с поэзией научных озарений и буржуазного тупоумия.

Рабочие и крестьяне, работающие на прилежащих к циклотрону землях, смотрят на этого физика и на его коллег как на неведомые существа. Больше всего их поражает, что говорят эти существа на одном с ними языке — простом и привычном — и пользуются обычными словами, чтобы выразить нечто такое, что с точки зрения здравого смысла просто чушь.

В чашечке лилии

«Дышать, окунув губы в чашечку лилии»...

Не помню, кто автор этой строчки, но, прочитав ее впервые, я подумал об одном старом-престаром письме, которое так и просится, чтобы его включили в эпистолярный фильм.

Надо бы объяснить, что я подразумеваю под термином «эпистолярный фильм», но здесь такое теоретическое отступление вряд ли будет уместным. Замечу лишь, что кино способно обострить чувство предполагаемого собеседника, то есть человека, которому адресовано письмо, и позволяет увидеть его или услышать.

Делая вид, будто она раскрывает свою душу, женщина, пишущая приводимые ниже строки, думает не столько о себе, сколько о мужчине, о том, как он воспримет письмо, как, возможно, ответит на него. Она сама провоцирует его реакцию. В общем, за строками письма мы видим скорее его, нежели ее. И поэтому, пока она пишет,

я бы держал под объективом кинокамеры адресата не меньше, чем отправителя. Чтобы чувствовать, как сталкиваются их голоса.

Дорогой мой.

Ты приходишь ко мне по воскресеньям — тем и кончается моя неделя. Я хочу сказать, что больше так продолжаться не может — слишком мучительно дожидаться конца недели, чтобы с понедельника начинать все снова. Я чувствую, как надежда покидает меня. Что делать? По-твоему, еще можно что-то сделать? Вчера вечером я легла в постель раньше, чем обычно, хотелось поплакать над собой, подумать, облегчить душу, да так и не сомкнула глаз. Мне никогда еще не приходилось видеть, как живет ночная комната. На столе стояла лилия, и комнату затопил ее аромат. В глубине чашечки цветка всегда таится тень, от которой сам он кажется еще белее. Я окунула губы в эту тень и вдыхала запах лилии до головокружения. Заснула я уже сегодня утром. Сегодня — понедельник.

Колесо

Женатый мужчина (детей нет) уже два года имеет любовницу. Жена все знает. Сколько раз она требовала положить конец этой двойной жизни. Муж обещал, просил потерпеть.

— Уверяю тебя, все пройдет. Ты же знаешь мой характер.

И так — два года. Мужчине лет сорок, он худощав, лицо у него необычайно выразительное, но движения неторопливые, вялые.

Жену зовут Патрицией. У нее белая кожа, светлые глаза, пухлые руки. Человек она вообще беспокойный, а теперь и подавно. Выносить всю эту историю с любовницей ей больше невмоготу, и однажды вечером она ставит перед мужем ультиматум:

— Либо она, либо я.

Поскольку муж никак не может принять окончательного решения, она от него уходит. Пока — в гостиницу. Он сам ее туда провожает.

Из гостиницы Роберто выходит удрученным. Он не знает, как отнестись к своему положению, что делать в первые часы неожиданного одиночества, как освободиться от этого гнетущего чувства собственной вины. И от горького осадка на душе, оставшегося после ночного переезда жены в гостиницу. Их семейная жизнь оставила о себе не так уж много приятных воспоминаний. Поделиться бы с кем-нибудь своими горестями, но кто захочет выслушивать среди ночи твои жалобы? Разве что любовница. Как лицо заинтересованное, она меньше всех подходит для этого, но выбора у него нет.

Придя к ней и заключив ее в объятия — такую сонную, нежную, он сразу же отдается страсти. Ольга — девушка с сияющими глазами и удивительно правильной формы носом. Все в ней кажется совершенным — от характера до замечательной способности оказываться всегда именно там, где ее и рассчитываешь увидеть: если ты ее ищешь в каком-то месте, она непременно там и будет. Ольга из тех женщин, само существование которых на свете приносит радость.

Роберто все ей рассказывает. Она воздевает руки, словно желая сказать своим жестом: я-то чем могу тут помочь? Однако жест этот уже сам по себе располагает к слезам, и по ее щекам медленно скатываются несколько слезинок. Роль, которую он и его жена отводят ей, Ольга отвергает. Она готова уйти с их дороги, отказаться от Роберто, а если нужно, то и вовсе не показываться ему на глаза. Зачем причинять кому-то страдания? От возбуждения лицо у нее раскраснелось, глаза сверкают. Собственное волнение еще больше распаляет Ольгу: в этом вся она.

— Если ты уйдешь,— говорит Роберто, глядя на нее жадными глазами,— я буду страдать.

Но когда на следующее утро он просыпается, впервые после женитьбы один, пережитое накануне нервное напряжение спадает, и на него наваливается ужасная тоска. Днем у него много дел. Плохо ли, хорошо ли, с ними он справляется, а вечером идет в гостиницу, к жене, которую застает в компании одной их общей приятельницы. Обе навеселе. Ему и раньше доводилось видеть их в таком состоянии: есть у них эта дурацкая привычка время от времени демонстрировать таким способом свою независимость.

— Могу я составить вам компанию? — спросил он однажды.

— Тебя только не хватало,— ответили ему.— Если мы будем пить не одни, какая же это независимость?

Патриция сидит на краю ванны, в которую ее только что стошнило. Струя зловония ударяет ему в нос. Приятельница сидит на полу в позе «полулотоса» и в руке, словно цветок, держит стакан. Увидев Роберто, она поднимается и выходит. Патриция начинает говорить заплетающимся языком:

— А ты знаешь... знаешь, что мне никогда не было двадцати лет? Когда я вышла за тебя, мне было восемнадцать, а теперь, пожалуйста, уже тридцать, и я одна.

Она совершенно убита и, обхватив руками его шею, всхлипывает: «Не оставляй меня... не оставляй!» И что-то лепечет, как прежде, когда она еще говорила ему «люблю». И он прижимает ее к груди, тоже как прежде, отчетливо сознавая, что все совсем не так, как было тогда. Ощущения силы, которое он открыл в себе, живя рядом с ней, больше нет. Теперь в нем говорит только совесть. Нужно успокоить жену, обещать, что он ее не покинет. Пусть только вернется домой.

Патриция отшатывается, словно ее толкнули. Нет, домой она не вернется до тех пор, пока он не оставит ту, другую. Что́ побуждает его ответить: ладно, все будет, как хочешь ты,— непонятно. Ни сожаления, ни тоски не испытывает он, наблюдая, как вновь начинает пускать ростки то, что естественным путем уже давно увяло. Возможно, он говорит «да» потому, что эта женщина для него как бы умерла, а волю мертвых надо уважать. А может, он просто чувствует, что надо поскорее прекратить этот спектакль, для которого у него нет готовых реплик. В общем, он заявляет, что сейчас же пойдет к Ольге и сообщит ей о своем решении.

В дверях он сталкивается с приятельницей, которой достаточно взглянуть на его лицо, чтобы угадать смысл этой сцены, понять, что произошло.

— Не делай глупостей, ничего уже не поправишь,— говорит она тихо. Вместо ответа Роберто наклоняется и целует ее. Такое между ними бывало: поцелуются — тем дело и кончалось.

У входа в дом под деревом Роберто ждут его родители. Роберто приходится придумывать какую-то причину, объясняющую отсутствие жены. Его родители очень любят Патрицию. На словах. В действительности она для них как бы не существует. Есть он, сын, а та, что живет рядом с ним, стала чем-то вроде дополнения к нему. Его мать — женщина очень занятая, она любит вмешиваться в чужие дела и вечно взбудоражена. Отца же ничьи дела не интересуют, и он спокоен. Свое отсутствие интереса к людям он возмещает разговорами. Сам себя слушает, сам себе доставляет удовольствие. Но у Роберто голова слишком забита собственными делами, чтобы выносить его мучительное празднословие.

— Мама, и как ты до сих пор его не убила? — спрашивает он, направляясь к двери.

Спустя четверть часа он уже у Ольги. У девушки такой вид, словно она только для того и живет, чтобы ждать его. Нежная, прекрасная, влюбленная — как всегда. Роберто в голову даже не приходит сказать ей то, что он собирался сказать и что обещал Патриции. Наоборот, беседа их развивается в совершенно противоположном направлении. Они даже обсуждают вопрос о женитьбе: оформить все можно, ну, скажем, в Мексике, тогда у них заодно получится и свадебное путешествие. Они проводят вместе всю ночь, проявляя беспечность, в которой, однако, ощущается какая-то нервозность, хотя сами они ее не замечают.

Проходит время. Матримониальные намерения крепнут. Роберто и Ольга видятся ежедневно, а по вечерам ходят иногда в ресторан. Однажды в ресторане Роберто встречает Патрицию: она пришла туда в компании каких-то жалких типов. Жена весело приветствует его, и он слишком поспешно отвечает ей, чтобы не выдать своего огорчения. Приходится вести Ольгу в другой ресторан, но вечер испорчен. Еще и потому, что Ольга допускает ошибку. Сегодня именины Роберто, и она, сев за стол, вынимает из сумки небольшой пакет и протягивает ему. Это подарок. Роберто вертит пакет в руках. Они живут вместе меньше года, и такой ситуации у них еще не было. Ольга не знает, что Роберто не нравится, когда ему делают подарки, поздравляют, он не любит говорить спасибо. Вот и теперь, не развернув пакета, он кладет

его в карман. И думает о Патриции, у которой есть собственная теория относительно психологии дара.

На следующий день Роберто отправляется к жене, думая, что она обиделась на него за вчерашнюю историю в ресторане, но Патриция спокойна и выглядит какой-то отчужденной, далекой. Он говорит ей об этом. Она смеется:

— Ты так считаешь потому, наверно, что сам смотришь на меня издалека.

Все дело в том, что она действительно старается отдалиться от Роберто, ибо уверена, что именно этого он от нее хочет.

Я часто задумывался над тем, как смешны бывают порой сентиментально-психологические ситуации, в которых мы оказываемся. И над тем, как нелегко строить т а к и е, а не другие дома, жить в них, любить именно т а к, а не иначе, на одном из этих гигантских (но по сравнению с чем?) шаров, повисших во вселенной.

Хотелось бы избежать банальных решений, то есть сообщить своему персонажу, Роберто, какой-то новый, мощный импульс, но моя история скользит по накатанному пути, он тянется издалека, еще из времен фильма «Ночь», своеобразным продолжением которого она должна была стать. Попробуй придать ей иное направление, и она может вылететь из колеи.

В общем, Роберто немного растерялся. Казалось бы, протяни руку и схвати, что́ тебе дают, воспользуйся удобным поводом, чтобы закрыть скобки, в которых заключена эта затянувшаяся история с Патрицией. Но он не делает этого и поступает совсем наоборот. Говорит жене, что все кончено, но не с ней, а с любовницей. Патриция пристально, скептически смотрит на него и говорит:

— Что ж, посмотрим.

Роберто довершает начатое:

— Хочешь доставить мне удовольствие? Позвони моей матери, вы так давно с ней не виделись.

Патриция не без колебания звонит. Свекровь желает видеть ее, и немедленно, она страшно занята, но все равно ждет ее, нет, их обоих у себя. Патриция пробует уклониться от столь тягостной встречи, но свекровь так настаивает, что приходится идти. Пока мать с невесткой беседуют, уединившись в спальне, Роберто остается с отцом, который тут же начинает говорить, говорить, говорить, а он слушает его, чувствуя, как его затягивает водоворот этих банальных истин, банальных настолько, что постепенно даже смысл отдельных слов исчезает. Чего нельзя сказать о голосе. Очень редко человеческий голос входит в нас и становится частью нас самих, как шум моря, например, к которому привыкаешь, который перестаешь замечать. Человеческого голоса не слышать невозможно. И Роберто начинает казаться, что он теряет рассудок.

Когда они выходят из дома, он совершенно измочален. Даже присутствие Патриции ему сейчас в тягость. Он должен побыть в одиночестве. Без Патриции, без Ольги. В одиночестве. Ощутить реальность собственного существования.

Словно прочитав его мысли, Патриция отстает от него на несколько шагов.

— Знаешь...— говорит она,— живи лучше с ней, послушай меня. Обо мне не беспокойся. Я как-нибудь устроюсь.

— Но я не хочу, чтобы ты как-то там устраивалась. Я хочу... я хочу... чтобы ты улыбнулась.

Он сует ей в руки деньги, много денег, и Патриция, сама не зная почему, улыбается.

По дороге домой Роберто начинает казаться, что у него вдруг ухудшилось зрение. Перед глазами темнота: в голове сплошная темень, и эта темень заливает все вокруг. Ему нетрудно догадаться, что мрак разлит в нем самом и именно туда обращен его взгляд, вовнутрь, на его собственную весьма неспокойную совесть. Что за подлость была — вселять надежду в Патрицию, лгать собственным родителям, обещать Ольге жениться на ней. Однако он чувствует, что делал все это из лучших побуждений. По-своему он даже был искренен со всеми и делал именно то, чего от него ожидали. Лгал же он только самому себе.

Придя к такому выводу, Роберто немного успокаивается. Но ненадолго. Ровно на столько, сколько нужно, чтобы восстановить в памяти фразу, вычитанную в какой-то книге и показавшуюся еще тогда чуть ли не пророческой: «Все возможно, кроме искренности».

Вечером он снова у любовницы. Он рассчитывал провести у нее несколько спокойных, дарящих радость часов, но тут вдруг выясняется, что Ольга уезжает. Ей надо навестить родных в маленьком городке на западном побережье. Она уже не раз туда ездила, и даже с ним, но Роберто почему-то об этом забыл. В нынешнем отъезде есть что-то новое. Это о т ъ е з д. Когда Ольга говорит ему о своем намерении, он опускает глаза и смотрит на часы. Ему вдруг понадобилось узнать время. А потом переводит взгляд на девушку.

— Ты это делаешь мне назло,— говорит он.

Ольга мягко улыбается. С такой же улыбкой на следующий день, перед тем как подняться в вагон, она позволяет ему обнять себя и поцеловать. Роберто испытывает неловкость и уходит, не дожидаясь отправления поезда. По той же причине он звонит ей не ночью, а лишь на следующее утро. Ольга куда-то вышла. Роберто не расстраивается, так как знает, что она сама позвонит, как только вернется. Но Ольга не подает признаков жизни. Он снова пробует дозвониться вечером, потом несколько раз — ночью. Роберто не сможет уснуть, если не поговорит с ней. А поскольку разговор не состоялся, он действительно не спит.

Городок, в который он приезжает, еще в оцепенении раннего утра. Это одно из множества итальянских местечек, совершенно на Италию не похожих. Для тех, кто много путешествовал, такие городки безлики.

Роберто не торопится. К Ольге идти еще рано. Теперь, когда он от нее совсем близко, можно погрузиться в обычную апатию. Он садится за столик бара, терраса которого устроена прямо на причале, заказывает кофе с молоком и, чтобы не терять времени, пишет открытку жене. Отпивая из чашечки кофе, он разглядывает местность.

Перед ним море и часть пляжа с пальмами, мелким белым песком и редкими кустами. Песок уходит под воду почти незаметно, не утрачивая своей белизны, потому что вода совсем прозрачна. С одной стороны среди пиний виднеются дома, с другой — торчит какой-то странный красноватого оттенка скалистый выступ, по которому можно судить, какое здесь дно. Следов вулканической деятельности не заметно, кругом одни только эрозионные формы, скальные образования непонятного происхождения. И нефть. Да, вон там, в открытом море, виднеется одна из обычных для здешнего пейзажа плавучих вышек. В какие-то древние времена, ну, скажем, в среднем эоцене, в результате тектонических сдвигов в подземных бассейнах, образовавшихся на земном шаре, остались огромные скопища рыб. Миллиарды и миллиарды рыб, от которых забродившая морская вода превратилась в нефть. Под настилом причала вода больше похожа на настоящее море, хотя она здесь неподвижна, словно в пруду. Виднеются ярко-зеленые водоросли, такие же плоские, как сама его поверхность, как все остальное.

Это пейзаж, пребывающий в состоянии покоя.

Во время съемок сцены к фильму «Забриски-Пойнт», когда самолет идет на бреющем полете и едва не задевает машину, в которой сидит девушка, нам пришлось совершить вынужденную посадку. Это был маленький самолет с неубирающимся шасси, и летели мы на нем впервые. Обычно мы пользовались самолетом «Чесна-177», значительно более маневренным и с выпускающимся шасси. То ли пилот забыл, что он не на «Чесне», то ли он что-то напутал в расчетах, но только мы зацепили крышу автомобиля, смяв ее в лепешку, и тяжело ранили моего ассистента, сидевшего в машине вместе с актрисой. Удар был совсем слабым. Я обернулся, глянул вниз, увидел колесо, катившееся рядом с автомобилем, и спросил Джима, пилота, почему, если мы задели крышу, у машины отлетело колесо.

— Не у машины оно отлетело,— ответил Джим,— а у нас. Это наше, переднее.

Оказывается, у нас одним колесом стало меньше. Предстояла вынужденная посадка. Была опасность, что самолет скапотирует и, загоревшись, взорвется. В кабине нас было трое — главный оператор, пилот и я. Первый побледнел и сидел молча. Второй старался рассмотреть моего ассистента, распростертого на дороге и казавшегося мертвым (Джим думал, что так оно и есть, и был в отчаянии: прощай, карьера пилота гражданской авиации и т. д.). Он курил одну сигарету за другой, приглаживал волосы, делал еще какие-то ненужные жесты — машину в это время он вел, очевидно, ногами. Пилот нам попался замечательный.

А я был спокоен. Не знаю уж почему. Оснований для этого у меня не было никаких. Я только спросил у Джима, сколько у нас шансов выпутаться из этой истории.

— Fifty-fifty [1],— ответил он.

И все-таки я был спокоен. Настолько спокоен, что начал выбрасывать за борт все, что нам было уже не нужно (кроме кинокамеры), чтобы облегчить машину. И открыл дверцы: так удобнее было выпрыгивать. Целый час мы летели над песчаной взлетно-посадочной полосой маленького аэродрома в Долине Смерти. Надо было сжечь все горючее и дождаться прибытия машины «скорой помощи», врача, пожарников и не знаю кого еще. Я видел, как мои сотрудники, технический персонал, рабочие собрались в самом конце посадочной полосы, чтобы присутствовать при нашей попытке приземлиться. Многие забрались на крыши автомобилей. Я обратил внимание на то, что снимать эту сцену никто не собирался.

В то же время я смотрел на простиравшийся под нами пейзаж. Я хорошо его знал — каждый день ведь его видел — и теперь, не находя в нем ничего нового, думал, что, поскольку пейзаж остается прежним, с чего бы вдруг меняться нам и из живых превращаться в мертвых? От этого вполне естественного нежелания верить в худшее я даже улыбнулся. Действительно, в знакомом пейзаже было все то же, что и в другие дни, за исключением одной детали — крошечного колеса, которое сначала было под брюхом нашего самолета и которого теперь не стало.

Вот и Роберто спокоен и смотрит на знакомый ему пейзаж, в котором заключена та же неизбывная жизненная сила, что и в прежние его приезды. Все то же самое. За исключением одной детали — маленького колесика, которого больше нет. Только Роберто об этом не знает. Тысячи горожан просыпаются, чтобы начать свой день. Кроме одной женщины. Она погибла в автомобильной катастрофе.

Когда Роберто приходит к ней домой, ему говорят, что надо идти в больницу. В больнице он видит ее отца — энергичного, моложавого мужчину. Впечатление такое, будто несчастье стряслось не с ним, а с кем-то из его друзей, и ему теперь приходится всем этим заниматься. Ольга умерла накануне, и ее тело уже кладут в полированный гроб. В тот момент, когда могильщики собираются завинтить последний шуруп, Роберто чувствует невыносимое, сжимающее горло отчаяние и страшную пустоту. Да, страдание — это пустота, которую никогда уже не заполнить. Он делает над собой усилие, и ему удается не заплакать. С этого момента на него наваливается страшное безразличие.

В тот же вечер он возвращается в свой город. Дома он находит записку от Патриции, которая просит его прийти к ней как можно скорее. Патриция? Что нужно Патриции? Держа записку двумя пальцами, он поднимает ее, разглядывает на свет несколько коротких строчек на тонкой бумаге, потом рвет на мелкие клочки. И разжимает пальцы. Обрывки бумаги медленно падают и неслышно ложатся на пол.

Три дня

Помню зеленый луг, красноватого цвета дом, в траве — площадку из прокаленных солнцем кирпичей. И девушку, залитую солнечным светом. Таким же нордическим, как она сама. Я никогда ее раньше не видел, но она улыбнулась мне до того естественно, что я тоже заулыбался, но тотчас посерьезнел и спросил, не хочет ли она поселиться со мной. На лице ее отразилось глубокое удивление. Правда, не такое глубокое, какого заслуживал мой слишком уж прямолинейный вопрос.

Потом она действительно поселилась со мной. И мы прожили вместе три дня. Три дня глубокого удивления.

И снова диалоги

Иногда я останавливаюсь, чтобы послушать разговор двух незнакомых мне людей. Нередко слова до такой степени подходят к лицам тех, кто их произносит, что просто невозможно не задуматься. Думаю же я почти всегда о фильмах. Из таких вот диалогов сюжеты возникают сами собой.

[1] Пятьдесят на пятьдесят *(англ.)*.

I

— Что ты делаешь в наших краях?

— Да хочу купить тут один участок.

— Как Джулия?

— Говорят, болеет.

— А где участок-то?

— За церковью, километрах в двух. Почему бы тебе ее не навестить? Ей так плохо. Хоть порадуется.

— Да, надо зайти. Сколько гектаров?

— Двадцать. Под застройку.

— А цена какая?

— Если пойдешь, скажи, что она мне дорога́, несмотря ни на что. Пятнадцать тысяч двести.

— Подходяще. Конечно, скажу.

Оба замолкают. Похоже, задумались. О Джулии? Об участке?

II

— И что это вам приспичило?

— Вы только не мешайте. Я уже поднял цену до 110, но ничего, прибавят еще, прибавят!

— А какая, по-вашему, окончательная цена? Короче, сколько может стоить такой участок?

— Я же сказал: 110 миллионов.

— Это мы уже слышали. Но должна быть у участка реальная стоимость с учетом размеров, местонахождения, количества деревьев.

— Все станет ясно, когда появится покупатель. И потом, нужно еще разобраться. Человек, желающий построить там, скажем, виллу и провести в ней остаток жизни, потому что ему нравится это место, за ценой не постоит.

— Так, ладно. Ну а если человек хочет взять его целиком под застройку?

— То есть для перепродажи?

— Да.

— Вы имеете в виду какой-нибудь кемпинг или что-то в этом роде?

— Вот-вот, я имею в виду человека, который хочет построить кемпинг.

— Ну, тут все зависит...

— От чего?

— Одно дело, если все уже готово и деньги выкладывают на бочку. Другое дело...

— Вы можете мне сказать «да» или «нет»?

— А почему вы хотите услышать это от меня?

— Потому что вы — посредник. Сколько бы вы дали за него сами?

— У меня и лиры за душой нет.

— Ну а если бы деньги у вас были? Если бы у вас была кругленькая сумма?

— Вы имеете в виду мой собственный капитал или ссуду, взятую в банке?

И так далее.

Побыть вместе...

Мужчина и женщина в ресторане на берегу моря. Красное шипучее вино, хлеб домашней выпечки и салями. Салями цвета вина — только поэтому они ее и едят.

В зал входит собака и направляется к столу, за которым сидят мужчина и женщина. Оглядевшись, собака замечает хозяйку. Она знает, что хозяйка не любит, когда она путается под ногами у клиентов, и поворачивает назад, к дверям. Здесь она и остается. Когда хозяйка уходит в кухню, собака возвращается. Она понимает: главное — только прикинуться послушной.

Мужчина и женщина понемногу пьянеют. Они решили напиться. Для них перестают существовать и полупустой зал, и хозяйка, и собака, и даже море. Весь мир сократился до размеров скатерти — метр в длину, метр в ширину. Мир этот бел. Многое для них ясно и без слов, и потому разговор вертится вокруг бифштексов и домашней лапши, к которым они так и не притронулись, да троих мужчин, только что вошедших в ресторан (двое толстых, один худой). Они говорят о своих руках, о том, какое положение занимают их руки на скатерти, то есть в мире.

Но пора двигаться, пора снова в путь.

У выхода они замешкались. Им кажется, что в двери никак не пройти. Женщину действительно пошатывает, и она со смехом плюхается на ближайший стул. Собака наблюдает за ней. Нельзя ронять свое достоинство перед собакой, говорит мужчина.

Пошел дождь. Мелкий дождик, капли которого рассеивает легкий ветер. Женщина упирается лбом в мокрую крышу машины и стоит так несколько мгновений. Что-то тяжелое, серое, по форме напоминающее облако, виднеется у нее за спиной. Когда женщина поднимает лицо, мужчина замечает, что она плачет. Или смеется. Или смеется и плачет одновременно. Вся их история настолько понятна, что нет нужды о ней распространяться. Мужчина тоже начинает смеяться, но в глазах у него слезы. Ох уж это проклятое сходство характеров, таких одинаково непримиримых и делающих их отношения невозможными. Мужчина и женщина, напрасно созданные друг для друга.

Слышно, как кто-то кричит: «Вера!» — и добавляет ругательство.

Мужчина и женщина переглядываются. Она перестает плакать или смеяться и как-то очень по-женски садится в машину. Мужчина, посмотрев на нее, садится тоже. Он чувствует себя просветленным и сильным. Включает мотор, нажимает на педаль акселератора. Машина, взревев, трогается с места, оставляя на мокром асфальте следы покрышек.

Так должен был начинаться фильм. Нет, пожалуй, это вообще весь фильм. Уложить все действие в полтора часа, которые они провели за столом,— вот чего я хотел. Показать царившую за столом атмосферу напряженной эйфории. Это фильм, у которого было начало и, пожалуй, не будет конца.

Я всегда спрашивал себя, обязательно ли давать финал всем историям — литературным, театральным или кинематографическим. Стоит ограничить историю четкими рамками, и она может в них погибнуть, если только не дать ей другого измерения, если не сделать так, чтобы ее внутреннее время получило выход во время внешнее, туда, где находимся мы, герои всех историй. Туда, где нет ничего законченного.

Дайте мне новые финалы, сказал как-то Чехов, и я перепишу вам всю литературу.

С тридцать седьмого этажа над Центральным парком

Звуковая дорожка
к фильму о Нью-Йорке

Основной звуковой фон — непрерывный, глухой, мрачный — уличное движение. И еще один шум, не такой постоянный — ветер. Он налетает порывами, и в промежутках я слышу, как он гудит вдалеке, встречая на своем пути другие небоскребы. На каждый порыв ветра верхняя часть здания, где нахожусь я, отвечает вибрацией, при этом я испытываю странное чувство, словно мой мозг на мгновение замирает и перестает что-либо воспринимать.

Прерывистый, короткий и слабый вой сирены. Два гудка клаксона. Грохот — сначала удаляющийся, потом приближающийся, его обгоняет внезапный нетерпеливый порыв ветра. Трамвай.

Шесть часов утра.

Опять грохот, сначала присоединяющийся к тому, первому, затем перекрывающий его. Легкий хлопок — где-то очень далеко. Снова ветер: поднимаясь снизу, из пустоты, он распространяется вширь и вот-вот всколыхнет весь неподвижный воздух, но нет, стихает. Опять напоминает о себе трамвай. Нет, не трамвай, теперь уже ясно — автомобиль. А вот это, пожалуй, мотоцикл, но звук сразу меняется, что такое — не знаю. Грузовик, еще один грузовик. Две-три промелькнувшие машины, выхлопные трубы — как орган, их звучание модулируется очень изящно. Мгновение полнейшей тишины, даже страшно становится. Грузовик. Где-то совсем близко, словно мы на втором этаже. Но он быстро затихает. Скрежет. Пароходный гудок, протяжный, печальный. Ветра больше нет. Сирена все еще воет. Основной шумовой фон и вой сирены. Звон колокола, захлебнувшийся, неудачный. Как в деревенской церкви. Может, это вовсе не колокол, а удар по железу. Еще один. Два. Яростный рев мотора, набирающего обороты, очень короткий. Во внезапно наступившей тишине издалека все

еще доносится завывание сирены. А вот отголосок тех металлических ударов. Грузовик с ревущим мотором несется, похоже, прямо к моему окну. В действительности это самолет. Все шумы — клаксоны, сирены, грузовики — усиливаются, потом постепенно затихают. Да нет, вот опять грохот и опять пронзительный вой сирены. Назойливый, но будоражащий воображение, кажется, будто видишь горизонт.

Шесть часов пятнадцать минут.

Все прежние шумы сохраняются и слышатся отчетливо один за другим — полный набор. Короткое затишье. Остаются основной фон и неизменная сирена. Очень далеко — резкий гудок клаксона. И опять клаксон — здесь, внизу, сдержанный. По одной из дальних улиц на огромной скорости проносится автомобиль, я бы сказал — европейской марки. Ветер слегка похлопывает по стене — одиночный порыв сразу перекрывается натужным ревом грузовика. И опять грузовик, но у этого рев более ровный — видно, мотор еще новый, можно различить даже его такты, по мере удаления машины сливающиеся в один звук. Оказывается, то был вовсе не грузовик, а еще один самолет. Нет, не самолет — гул неудержимо нарастает и внезапно сникает, так и оставшись для меня неясным. Все та же назойливая сирена и чье-то насвистывание (как это может быть?), но яростный лай клаксона сразу же заглушает его. Грохот досок, сбрасываемых на другие доски. И очень отчетливо скрип лебедки, постукивание зубцов шестеренок. И все-таки это не лебедка, так же как то непрерывное завывание — не сирена. Снова доски и еще что-то металлическое. Глухой, едва различимый удар, оставляющий, однако, протяжный отголосок в воздухе. Что-то вроде робкой музыкальной ноты, сразу же обрывающейся. Автомобили — один, второй, третий — фьють-фьють-фьють...

Навстречу им другие машины — рокот моторов у них разный. Самолет, вылетающий, кажется, прямо из-за небоскреба и скрывающийся так же внезапно, как и появился. Превосходный, очень подходящий к моменту рев автомобильного мотора — проносится мимо и затихает, знакомый, умиротворяющий. Две дрожащие ноты. Порыв ветра.

Половина седьмого.

Ветер, ветер. Вновь неистовый ветер носится, шныряет между небоскребами и дерзко обрушивается на парк. Клаксон, как пощечина, заставляет его смолкнуть. Ветра больше нет. В тишине удар колокола и неизменная сирена, только тоном выше. То был не колокол, просто мой итальянский слух воспринял этот звук именно так. Доски — резкий хлопок, словно выстрел. Шум проходящего состава — по-видимому, надземная дорога. Колокол звучит снова — протяжно, почти как сирена. Но сразу же перестает. Только заявил о себе — и конец. У остальных звуков тоже короткая жизнь, они рождаются и умирают за несколько мгновений. Основной фон приобретает, я бы сказал, организованный характер: он, как замаскированное войско, наступает, надвигается — плотный, готовый на все во имя утверждения своего безраздельного господства. Все очень близко, можно различить по отдельности ветер, автомашины, самолет, железо и сирену, которые ведут решительное наступление на отель-небоскреб. Сейчас вперед вырвался грохот чего-то железного, но гул самолета его заглушает, и теперь слышен только он один. Тишина. Битва окончена. Этому маленькому бунту кладет конец авторитарный окрик клаксона. Удары по дереву. Пауза. Снова удары. Совершенно ясно: перетаскивают с места на место доски. А вот что-то похожее на готовый захлебнуться пулемет. Он стреляет по машинам, и те вынуждены остановиться. Опять сирена, больше похожая на настоящую. Звук катящейся повозки, но это не повозка, а ветер, задувший сильнее, но не настолько, чтобы заглушить самолет. Автомобили. Вроде бы пушечный выстрел — без эха. Дробные металлические удары, доносящиеся как бы с разных уровней. Яростный порыв ветра, яростный грузовик, яростная надземная железная дорога. Два удара разной тональности. Гул нарастает, но сразу же прекращается, словно наткнувшись на возобновившийся грохот. Возникают еще какие-то отчетливые шумы, определить которые я не могу, удивительно долгий гудок клаксона, он все не замирает и никогда не замрет окончательно. Я в этом уверен, хотя сам перестаю его слышать. А вот эти всхлипы сирены уже при последнем издыхании. И действительно, очередной порыв ветра их забивает, а вверх, по вертикали, несется «грузовик». Но тут же падает вниз, ветер подхватывает его и уносит. Что-то вроде колокольчика. Голос. Впервые человеческий голос.

Семь часов.

Завывает сирена, как бы желая мне напомнить, что она еще здесь, хотя стала

почти незаметной — настолько она неизбывна. Взвизгивают скаты тормозящей машины. Гулкий шум в каком-то переходе.

Половина девятого.

Солнце уже поднялось, но шумы не изменились. Только прибавился еще один: неприятный грохот отбойных молотков — сносят какое-то здание. Он далеко, но время от времени благодаря ветру слышится отчетливо. Остальные шумы все те же. Свист — заливистый, грустный, повторяющийся, словно несущий в себе какую-то весть, свист с претензией на артистизм. Громко ревущая машина — не автомобиль, а что-то другое, производящее много шума. И вдалеке — отбойные молотки. Только теперь все это громче, чем прежде. По мере того как становится светлее, шум возрастает. Слышнее и ветер, моторы автомашин. И даже сирена. Только клаксоны стали реже: это говорит о том, что на дорогах появились люди, хорошо знающие правила уличного движения и подающие звуковые сигналы лишь в крайнем случае. У них нет лишних денег на штрафы, да и к порядку их приучили — тут они немножко сродни немцам. Я вижу их в этом смутном гуле, слившихся в одну сплошную массу: глаза, одинаково устремленные на дорогу, одинаковые жесты, одинаковые дети в медленно ползущих лимузинах. Гул, не осмеливающийся взорваться. Словно самолет вдруг замер в небе, в чистом и прозрачном небе этой по-весеннему мягкой зимы.

Утро и вечер

Давайте представим себе фильм, в котором рассказывается о двух днях жизни человека. О дне его рождения и дне смерти. История, судя по началу, должна была развиваться в определенном направлении, но, как показал эпилог, пошла совсем другим путем, очень далеким от намечавшегося. Далеким даже географически.

Давайте представим себе фильм, в котором есть утро и вечер, но нет напряженности времени, пролегшего между ними.

Не ищи меня

День, когда ушла Марта, не такой, как другие. Уход Марты — событие неповторимое и необратимое, из тех, что остаются в памяти навсегда. Вдобавок все в этот день как-то нескладно. Дождь и солнце. Солнца не видно, откуда оно светит, непонятно, но светит, и очень сильно. Дождь тоже очень сильный. Солнечный ливень. Окна в гостиной открыты, и солнечный свет проникает в комнату и скользит по полу с той же скоростью, что и тени облаков, медленно. А вот дождь остается по другую сторону подоконников.

Больше всего его поражает звук собственных шагов в полупустой квартире, едва различимое эхо, преследующее его повсюду. Раньше такого не было. Все прежние звуки ушли, как ушла жена, как ушел грузовик с частью мебели. Ушли звуки, пришло безмолвие.

Он всегда стремился к тому, чтобы иметь как можно меньше привычек. А вот привычки к шуму избежать не удалось. Слушать он начал с детства, с того дня, как на спор точно сказал, сколько пробило на часах дальней-предальней колокольни, и выиграл. То, что слух у него не такой, как у всех, было открытием для него самого. Оно сразу же повлекло за собой другое, самое главное — он открыл для себя чудесные свойства звуков. Почему, если ударить железом о железо, возникают слышимые колебания? И почему эти колебания, возникнув, затухают, а не распространяются в воздухе до бесконечности? Как наш мозг, воспринимая эти колебания, превращает их в звук? Вообще, что значит с л ы ш а т ь? В школе ему говорили, что цвета не имеют четко выраженных свойств. А звуки имеют. С тех пор он начал настраивать свое время по звукам. У каждого часа дня они свои. Сначала это было привычкой, потом стало и работой — сидеть целый день перед пультом с сорока восемью каналами, меморизатором, синтезатором и так далее, погрузившись в плотную и неотступную стихию звуков, являющуюся для молодежи непременным атрибутом нашего времени.

Даже телефон звонит теперь по-другому. Почти вызывающе. Это не Марта. Какой-то тип спрашивает адрес, чтобы послать ему...

— Ради бога, ничего мне не посылайте.

А потом, через час, когда он выходит из ванной комнаты, куда зашел без всякой надобности, снова звонок. Вот теперь она. Первая мысль: откуда она звонит? Он

спрашивает, но Марта не хочет сказать. Вторая мысль: где же я буду ее искать, когда она положит трубку?

Все доводы Марты во время этого телефонного разговора сводятся к одному: сегодня или завтра, не все ли равно? Ведь они знали и столько раз говорили друг другу, что такой день наступит. Ведь знали? Так что же?.. А ничего. Знать, то есть время от времени смутно представлять себе что-то такое — это одно, а оказаться перед фактом — совсем другое. Факты беспощадны, им нет дела до нас, до наших чувств, до наших страданий. До его чувства бессилия, до его полного душевного краха. Вот что странно — краха именно его души, а не их отношений.

Пять минут длился разговор. И вот он снова один в своей полупустой квартире, а перед ним вся его жизнь, холодная, словно и не его вовсе, а чья-то чужая.

Как могло случиться, что только теперь он вспомнил о ребенке? Должно быть, это из-за тишины, из-за отсутствия связанных с ним шумов: криков, отчаянного рева, грохота брошенных и падающих вещей, неуклюжего топота, жужжания игрушек, от которых уже на следующий день остаются одни остовы. И его имени, выкрикиваемого пронзительным голосом, внезапно и без всякого повода. Еще ребенок научился щелкать языком и, гордясь этим умением, делал это всякий раз, когда ловил на себе чей-нибудь взгляд. Да, теперь уже не скажешь, как, бывало, в праздники, что из-за этого бедлама ты потерял день. Не будет ощущения потери.

Он никогда не сожалел о том, что у него нет детей. И вдруг оказался с ребенком на руках — в буквальном смысле этого слова — и, не зная, что с ним делать, принялся изучать его, словно какой-нибудь малоинтересный учебник. Кто любит детей, обязательно сумеет найти что-то хорошее в любом малыше. Он же в этом нескладном тельце, в этих жестах, продиктованных непостижимой для него логикой, в этих усеченных словах — «обус» вместо «автобус», «моко» вместо «молоко» (ребенок вечно шлепался и вместо «бах!» говорил «бак!», а иногда даже «банк!». От кого он мог научиться этому слову? «От тебя, конечно,— смеясь, отвечала Марта,— о банке в этом доме говоришь только ты!») — во всем этом он не находил ничего забавного и трогательного — одно беспокойство и отчаянная безвкусица. Для Марты же все было таким, как и должно быть, нормальным. Она держалась и разговаривала с малышом, как со взрослым. Никаких сюсюканий, никакой слащавости, которыми обычно грешат матери маленьких детей.

Стоя перед окном с закрытыми глазами, он слушает дождь, который вскоре прекращается, и чувствует веками, как исчезает солнечный свет. Марте была хороша любая погода. Ясный день и ненастье, туман, дождь, снег и даже когда вообще не погода, а невесть что.

Марта — молодая женщина, у которой в прошлом пустота, да и в будущем, по-видимому, ничего, кроме пустоты. У нее будущее матери, на долю которой остались одни лишь зрелые мысли. Она ни в чем не сомневается, не задает вопросов, да и к чему, собственно? Все ее помыслы сосредоточены только на сыне.

А ведь это и его сын, о чем он постоянно твердил себе, прислушиваясь к ребенку. Однажды, когда узы кровного родства показались ему слабее, чем когда-либо, он даже закричал об этом вслух. Но звуковая дорожка сына, фальшивая и назойливая, действует сильнее доводов рассудка. Это маленькое существо вносит дисгармонию в его жизнь, противоречит ей. Сам он, в общем, доволен тем, как наступает пора его зрелости: так спокойно и ровно прибывает вода в реке во время разлива. Сын же стоит как бы поперек течения. Однажды ночью ему вдруг пришла в голову мысль: а что, если этот ребенок не имеет к нему никакого отношения? Мысль абсурдная, но, как нередко бывает именно с абсурдными мыслями, она очень скоро превращается в тупую уверенность. И вот с ненавистной ему самому педантичностью он начинает выискивать подтверждения своей идеи. Шпионит за сыном. Ждет, не оставят ли быстротечные годы знакомых черточек, признаков, которые, как он считает, присущи его собственному характеру, его внешности. Не найдя и тени сходства, он чувствует, что сын ему чужой, и начинает презирать его. И ребенка и мужчину, в которого тот когда-нибудь превратится. Обоих. С этого момента он старается его избегать. Дома он силится не думать о ребенке, находящемся где-то в соседних комнатах, мысленно отождествляя его присутствие с шумом уличного движения.

В это же время он безотчетно становится заботливее и нежнее в отношениях с

Мартой, не понимая, что забота и любовь, отнятые у ее сына, отняты и у нее. И потому она отдаляется.

Однажды днем к дому подходит грузовик, на него грузят кое-какую мебель, два чемодана, и Марта уезжает.

Не сказав ни слова, чуть ли не тайком. А почему — она спустя час объясняет ему по телефону. В любой другой момент он бы знал, что ей ответить. Но когда ты один в этой пустоте, наполненной эхом твоих слов, говорить трудно. И оба умолкают. Четыре минуты диалога, одна минута молчания. Заблаговременная дань последнему прости.

Весь фильм — история об этих пяти годах и этих пяти минутах. В название можно было бы вынести последние слова, сказанные ею по телефону: «Не ищи меня».

ПАСКУАЛЕ КЕССА

Подпись: Антониони[1]

Три названия: «Тот кегельбан над Тибром», «Четверо в море» («Экипаж»), «Очарованные горы». Первое относится к книге, выпущенной издательством «Эйнауди». Второе — к фильму, съемки которого еще впереди. Третье — к коллекции картин (всего их 50), экспонировавшихся на Венецианской биеннале 1983 года. Что между ними общего? Имя автора: Микеланджело Антониони.

Об Антониони-режиссере начиная с 1950 года (когда на улице Монтенаполеоне толпа любопытных наблюдала за съемками фильма «Хроника одной любви») мы знаем все. Что касается Антониони-писателя, то этот его талант угадывался в сюжетах и сценариях снятых им фильмов: издательство «Эйнауди» регулярно, на протяжении многих лет, их публикует. А вот об Антониони-художнике не было известно совершенно ничего. Ничто не говорило о его способности изображать эти пенящиеся морские валы или багровые закаты. Как же родились его картины? Где и когда они написаны? А главное, влияет ли на наше отношение к Антониони то обстоятельство, что теперь мы знаем его не только как отличного писателя, но и как художника?

Перед нами новый тип мастера: это не только высокопрофессиональный художник-интеллектуал, но и вольный художник-мастеровой. Кино, литература, живопись стали для него неразрывным целым. На семьдесят втором году жизни («Возраст здесь ни при чем»,— недовольно замечает Антониони) режиссер, писатель и художник соединились в одном лице.

Теперь-то легко можно поверить, что поначалу, то есть лет пятьдесят тому назад, молодой Антониони собирался реализовать свои способности не в кинематографе, а в живописи. Но, как видим, этого не случилось. Несмотря на то, что Антониони получил экономическое образование и всегда отдавал предпочтение классикам кино, начал он творческую деятельность с документальных лент (таких, как «Люди с реки По», снятой в 1943 г.); свои первые художественные картины («Хроника одной любви») он создал позднее, и лишь много позже мы узнали такие его шедевры, как «Приключение», «Ночь», «Блоу-ап»... Но режиссер навсегда сохранил свою любовь к возне с красками, к изображению на маленьких кусочках картона абстрактных картинок... А в один прекрасный день — когда именно, Антониони сказать не желает — ему пришла в голову блестящая идея: пантографировать эти микрокартины.

На словах все получается довольно просто: главное — хороший фотоувеличитель, с помощью которого маленькие картинки многократно увеличиваются. И тогда эти крошечные сгустки красок превращаются в прекрасные безбрежные просторы, в голубые горы, в залитые ослепительным солнцем пустыни...

Когда смотришь на них издали, на память приходят зимние пейзажи японского художника Сэссю или окруженные пенящимися водоворотами рифы кисти немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха. А если разглядывать их с близкого расстояния, красочные пятна как бы смещаются, являя собой абстракцию. Здесь тот же прием, что и в «Блоу-ап»: в фильме фоторепортер Томас смог раскрыть преступление, все увеличивая и увеличивая фотоснимок до тех пор, пока не установил истину.

Обо всем этом Антониони говорить не хочет: «Мои собственные мысли мне прекрасно растолковал Джулио Карло Арган во вступительной статье к каталогу моих картин».

Антониони — собеседник уклончивый. Фразы у него сжатые, ответы сдержанные, лаконичные. Но постепенно напряженность спадает, и он начинает как бы размышлять вслух о своей работе, о фильмах — тех, что предстоит сделать, и тех, что уже сделаны, о технике своей «живописи». И заранее подготовленные вопросы становятся ненужными. Антониони говорит о себе сам, и его рассказ можно разделить на семь «эпизодов». Вот они.

[1] «Эуропео», 3/IX 1983.

Ремесло писателя

— Нет, если хорошенько подумать, я, пожалуй, не могу считать себя настоящим писателем. Ну да, я, конечно, «пишу» и потому отношусь к этому делу с чувством социальной ответственности... Только я не из тех писателей-романтиков, которые работают спонтанно. Я пишу и переписываю, что-то выбрасываю, что-то сохраняю, от чего-то отказываюсь, что-то обретаю... Если бы я вздумал опубликовать все, что мне довелось написать, можно бы составить не один том. Однажды я даже начал сочинять роман. Дело было в 1942 году. Я сидел в Ницце и дожидался, когда начнутся съемки фильма Марселя Карне, с которым я работал в качестве помощника режиссера. А вот пьесы — самые настоящие пьесы — я начал писать с молодых лет, еще когда учился в Ферраре. Что-то в духе театра Пиранделло... Видите ли, когда я пишу, то, как правило, отвлекаюсь. Настоящий же писатель умеет держать себя в узде, даже если речь идет просто о пунктуации. А у меня и пунктуация не вполне профессиональная: вы не найдете у меня, например, ни единой точки с запятой. Почему? Потому что мне этот знак антипатичен.

Фильм, который можно читать

— В общем, я чувствую себя не столько писателем, сколько пишущим режиссером. Тридцать три рассказа, вошедшие в книгу «Тот кегельбан над Тибром»,— это те же фильмы, но не снятые, а написанные. В кино не всегда можно делать то, что тебе хочется. Чтобы снять какую-нибудь историю, нужны деньги. Очень много денег. А чтобы рассказать фильм, не требуется почти никаких затрат. Вот так и родилась эта книга, родилась сама по себе, как «реванш» тех историй, которые остались на бумаге и никогда не станут фильмами. За исключением одной. В книге это рассказ «Четверо в море», а фильм будет называться «The crew», что означает «Экипаж». В нем рассказывается о богатом американском промышленнике Тауэрсе. День, когда ему исполняется пятьдесят лет, он отмечает прогулкой на своей роскошной яхте со случайным экипажем, состоящим из трех подонков. Шторм, гроза, штиль... в какой-то момент матросы ополчаются против Тауэрса, начинается игра в кошки-мышки. Потом, когда матросы сходят на землю, Тауэрс тайком следует за ними: ему хочется узнать, кто они, какова их судьба.

Кино — это дорого

— В роли Тауэрса я всегда видел Роберта Дюваля. Будем надеяться, что продюсеры посчитаются с этим моим желанием. Роль самого отпетого из троих матросов я поначалу рассчитывал поручить Аль Пачино. Ему эта история понравилась, но ничего у нас не вышло. Из-за денег? Не исключено. А может, Аль Пачино опасался, что его роль не будет достаточно выделяться на фоне остальных ролей. И тогда мне пришла в голову идея пригласить Джека Николсона, с которым я снимал фильм «Профессия: репортер». Но он показался мне слишком постаревшим. Подумывал я и о Сильвестро Сталлоне и о Ричарде Джири. В конце концов я решил остановиться на Жераре Депардье: пусть это будет французский матрос, живущий в Америке. Почему такая неопределенность? Дело в том, что мировое кино становится все вульгарнее и дорожает прямо пропорционально своей вульгарности. Такой фильм, как этот, например, в Европе стоил бы 5 миллионов долларов. Давайте посмотрим, как обстоят дела в Америке: к исходной сумме 8 миллионов долларов сразу же следует прибавить долю посредников. Получается 9 миллионов долларов. Затем экземпляры надо размножить — сумма возрастает до 15 миллионов. Ну и реклама. В результате — 18 миллионов долларов или 27 миллиардов лир. А ведь только для того, чтобы окупились средства, вложенные в производство, кассовые сборы от моего фильма должны дать сумму по меньшей мере вдвое большую: 55 миллиардов лир. Вы считаете, что фильм Микеланджело Антониони ее соберет? Да, верно, «Метро-Голдвин-Майер» ассигновала один миллиард шестьсот миллионов лир на организацию проката и рекламу фильма «Профессия: репортер» (на итальянском языке). Верно, что кассовые сборы от «Блоу-ап» на сегодняшний день составляют 40 миллионов долларов. Но верно и то, что другого такого случая в моей карьере не было. В наше время только вульгарные поделки вроде американских «Звездных войн» могут выиграть войну финансовую.

Профессия: режиссер

Вот главная забота режиссера: «Удастся ли найти продюсера, который даст возможность передать мою историю в образах?» С этого и начинается наша работа. И с течением времени я стал замечать за собой способность сознательно менять «почерк» в зависимости от того, какому продюсеру я намерен предложить свой фильм. Карло Понти? С ним я сделал «Блоу-ап», «Профессия: репортер», «Забриски-Пойнт». Ему нужно было сразу же выложить увлекательный сюжет, а потом можно было подсунуть любые тонкости. Он очень чувствительный продюсер и просто влюблялся в картины, которые хотел выпустить. Только нельзя было давать ему время на размышления, так как чувствительность у него очень быстро уступала место суровым финансовым выкладкам. В отношениях с моим последним продюсером Джорджо Ночелле (финансировавшим фильм «Идентификация женщины») тоже нужно напирать на чувства.

И все-таки приходится опасаться его финансового размаха. Ну кто еще? Ах да, Дино Де Лаурентис, продюсер моего фильма «Проба», в котором играла Сорейя. Де

Лаурентис предпочитал прямолинейные сюжеты, элементарную литературную основу. Именно это я ему и давал. Только раз, работая с одним швейцарским продюсером, я не написал сюжета, а просто рассказал свою историю. Но рассказал так плохо, что в конце концов сам же и не захотел делать эту картину. Нет, не умею я рассказывать фильмы!

Художник-мастеровой

— Арган, представляя мои картины, писал: «Сегодня кино — такая же система, какой некогда были изящные искусства. В системе кино Антониони предпочитает быть пленником, а не хозяином...» В этом смысле я чувствую себя таким же кустарем, какими были ученики в мастерских великих художников. Так, например, мне довелось сделать значительную часть одного из фильмов Латтуады [1] и способствовать созданию серии «романских» фильмов за счет и во славу Гуидо Бриньоне[2]. Это я снимал «Под знаком Рима» (1953 или 1954 г.): первый итальянский фильм, давший баснословные кассовые сборы. Я помню, как Бриньоне на смертном одре говорил мне: «Твои фильмы очень отличаются от моих. Прошу тебя, пожалуйста, не прикасайся к сценариям». И я, храня верность этой заповеди, снял фильм, ни в чем не отступая от сценария. А когда я попадался на глаза исполнительнице главной роли и она спрашивала: «Но что же я должна изображать в этой сцене?», я отвечал учтиво: «Ничего, синьора». Что еще я мог ей сказать?

Pictor optimus[3]

— Гоген говорил: «Кило синьки синее, чем полкило». Каждый раз, когда мне приходит на ум эта фраза, я вспоминаю о неудаче, постигшей меня во время работы над фильмом «В мягкой манере», который я так и не смог сделать. События должны были происходить в джунглях. Я побывал в разных местах — на Филиппинах, в Конго... Должен признаться: джунгли скучны и однообразны — не только потому, что туда не пробивается свет и там нет разных световых планов, глубины, но еще и потому, что зеленый цвет там везде одинаковый. Джунгли совершенно не фотогеничны. И вот в проект контракта я включил пункт о приобретении энного количества красок. Да-да, я хотел раскрасить джунгли. Когда Карло Понти узнал об этом, все дело расстроилось. А жаль.

Профессия: художник

— Идеал в моем представлении — возможность заглянуть невооруженным глазом в микрокосм. Этим и объясняется появление на свет моих пантографированных микрокартин. Пока еще на моем пути стоит одна трудность технического порядка. Я имею в виду невозможность проникнуть в мир ультрамалых вещей. А если нам и удастся туда проникнуть, может ли наше присутствие его изменить? Не знаю, ставил ли перед собой такие проблемы Микеланджело Буонаротти. Но я не думаю, чтобы они могли волновать художника в узком значении этого слова. А какого же? Чтобы лучше объяснить свою мысль, я процитирую здесь строки из статьи Аргана: «Свою главную задачу в кинематографе Антониони видит не в том, чтобы превратить его в средство распространения образов, отштампованных промышленным способом и готовых для массового потребления, а в том, чтобы создавать свой уточненный и сложный язык общения со зрителями, язык, культурными корнями которого остаются живопись и поэзия».

■

[1] Речь идет о фильме А. Латтуады «Буря» (1958).

[2] Г. Бриньоне умер во время съемок фильма «Под знаком Рима», и Антониони снимал его, отказавшись от авторства. В датировке он ошибся, картина снималась в 1958 г.

[3] Здесь: художник-творец *(лат.)*.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Кристина Хофленер

РОМАН

Перевод с немецкого Н. БУНИНА

Даже сон в этом новом мире какой-то другой — непробудный, одуряющий, как наркоз, не сон, а полное забытье. Утром Кристина долго не может очнуться, никогда еще ее сознание не погружалось в такие недра забытья, и она вытаскивает его оттуда медленно, с трудом, частицу за частицей. Первое восприятие — неясное чувство времени. Сквозь закрытые веки брезжит свет: значит, в комнате светло, уже день. И мгновенно за неясное ощущение времени цепляется страх (он не покидает ее и во сне): только бы не проспать! Только бы не опоздать на работу! В подсознании автоматически разматывается ставшая привычной за десять лет цепочка мыслей: сейчас затрещит будильник... только бы опять не заснуть... надо вставать, вставать, вставать... быстро, к восьми на работу, надо еще затопить плиту, сварить кофе, сходить за молоком, за булочками, прибраться, сменить матери повязку, что-то приготовить на обед, что еще?.. Что-то еще надо сегодня сделать?.. Да, заплатить лавочнице, она вчера напоминала... Только бы не заснуть, сразу встать, как зазвенит... Но что же он сегодня... почему так долго молчит?.. может, испортился, или забыла завести... почему не трезвонит, ведь уже светло... Господи, неужели проспала, сколько же сейчас: семь, восемь или девять?.. Может, люди уже собрались у почты и ругаются, как в тот раз, когда мне нездоровилось, хотели в дирекцию жаловаться... а ведь теперь столько служащих сокращают... Не дай бог проспать... Въевшийся за многие годы страх опоздать на службу, словно крот, подрывает подземье сознания и так мучительно терзает его, что последняя тонкая оболочка сна рвется, и Кристина открывает глаза.

Ее взгляд испуганно блуждает по потолку: где, где это я?.. Что... что случилось со мной?.. Вместо привычной, закоптелой, паутинно-серой мансардной крыши с коричневыми балками — над ней белоснежный потолок, мягко обрамленный золоченым багетом. И откуда вдруг столько света в комнате? Будто за ночь прорубили еще одно окно. Где я? Где? Кристина переводит растерянный взгляд на свои руки. Но они лежат не как обычно, на старом, заштопанном коричневом одеяле из верблюжьей шерсти, одеяло вдруг тоже стало новым — легким, пушистым, синим, с вышитыми красноватыми цветами. Нет — первое движение: это не моя кровать! Нет — второе движение, Крис-

Продолжение. Начало см. в № 7, 1985.

тина приподнялась: это не моя комната, и — третье, резкое движение, полностью осмысленный взгляд, и она вспомнила все: отпуск, свобода, Швейцария, тетя, дядя, роскошный отель! Ни страха, ни обязанностей, ни службы, ни будильника, ни времени! Никакой плиты, никого не надо бояться, никто не ждет, никто не торопит: жестокие жернова, которые десять лет перемалывают ее жизнь, впервые остановились. Здесь можно (какая чудесная, мягкая, теплая постель!) еще полежать, не спеша на встречу с дневным светом, ожидающим за складчатыми гардинами, наслаждаясь покоем души и тела. Можно беззаботно снова закрыть глаза, помечтать, лениво потянуться, принадлежать по праву самой себе. Можно даже (она вспомнила, что говорила тетя) нажать на эту вот кнопку у изголовья, под которой изображен крохотный, будто на почтовой марке, официант; надо всего лишь протянуть руку, и — о чудо! — через две минуты в номер постучат, дверь откроется, и почтительно войдет официант, катя перед собой забавную коляску на резиновых колесиках (Кристина любовалась такой же у тети), и предложит — на выбор — кофе, чай или шоколад в красивой посуде и с белыми камчатными салфетками. Завтрак появляется сам по себе, не надо молоть кофейные зерна, разжигать огонь в плите, ежась от холода в шлепанцах на босу ногу, нет, все доставляется готовым — с белыми булочками, золотистым медом и другими яствами вроде вчерашних, все, как на сказочной скатерти-самобранке, подано к постели, не надо никаких хлопот и стараний. Или можно нажать на другую кнопку, где на латунной табличке изображена горничная в белой наколке; тихо постучав, она впорхнет в комнату, в черном платье и ослепительном переднике, и спросит, что угодно сударыне: открыть ли ставни, отдернуть или задернуть гардины, приготовить ли ванну? Сто тысяч желаний можно иметь в этом волшебном мире, и все они будут исполнены в мгновение ока. Здесь все можно захотеть и сделать, но тем не менее хотеть и делать отнюдь не обязательно. Можно позвонить или не позвонить, можно вставать или не вставать, можно снова заснуть или просто лежать с открытыми или закрытыми глазами, отдавшись потоку ленивых, добрых мыслей. Или можно вообще не думать, просто блаженствовать, ощущая, что время принадлежит тебе, а не ты — времени. Ты не крутишься в мчащемся колесе часов и секунд, а скользишь вдоль времени, как в лодке по течению, убрав весла. И Кристина лежит, мечтая и наслаждаясь новым ощущением, и в ушах у нее приятный шум, будто далекий звон воскресных колоколов.

Нет — она энергично поднимается с подушек,— предаваться мечтам здесь некогда! Нельзя расточать это бесподобное время, где каждое мгновение одаряет тебя нежданным удовольствием. Мечтать можно будет потом, дома, месяцы и годы ночи напролет на дряхлой, скрипучей деревянной кровати с жестким матрацем и за испачканным чернилами казенным столом, пока крестьяне в поле, а над головой неумолимо, вечно тикают стенные часы, словно по комнате педантично вышагивает постовой: там лучше грезить, чем бодрствовать; спать здесь, в этом божественном мире,— расточительство. Последнее усилие — и Кристина соскакивает с постели; пригоршня холодной воды на лоб, на шею — и она сразу взбодрилась; теперь быстро одеться — ах, какое же мягкое это белье, как оно шелестит. Ее кожа со вчерашнего дня уже забыла это новое ощущение, и вот она опять наслаждается ласкающим прикосновением нежной материи. Но не стоит долго задерживаться из-за этих маленьких радостей, хватит медлить, быстрее, быстрее, прочь из комнаты, куда-нибудь, чтобы вволю размяться, надышаться, насмотреться, всем существом, всеми порами, каждой клеточкой еще сильнее почувствовать, как ты счастлива, свободна, что это жизнь, настоящая жизнь! Она торопливо натягивает свитер, нахлобучивает шапку и опрометью сбегает по лестнице.

Коридоры отеля еще сумеречны и пустынны в этот холодный ут-

ренний час, лишь внизу в холле служители, сняв куртки, чистят пылесосами ковровые дорожки; ночной портье сначала угрюмо и с удивлением оглядывает слишком раннюю гостью, потом сонным жестом приподнимает фуражку. Бедняга, значит, и тут нелегкая служба, канительная работа за гроши, и тут надо вставать и приходить вовремя!.. Ах, незачем об этом думать, какое мне дело, ни о ком сейчас не хочу знать, хочу быть только наедине с самой собой, только с собой, вперед на воздух! По ее векам, губам и щекам словно кто-то провел ледышкой, прогнав остатки сна. Черт возьми, ну и холодина здесь в горах, до костей пробирает, поживее надо шагать, разогреться, прямо по дороге, куда-нибудь она приведет, все равно куда, ведь здесь все ново и чудесно.

Стремительно шагая, Кристина только теперь замечает неожиданное утреннее безлюдье. Толпа, наводнявшая вчера в полдень все дорожки, сейчас, в шесть утра, кажется, еще упакована в огромных каменных коробках отелей, даже ландшафт, смежив веки, скован каким-то хмурым магнетическим сном. В воздухе ни звука, угасла такая золотистая вчера луна, исчезли звезды, померкли краски, окутанные туманом скалистые кручи бледны и тусклы, как холодный металл. Только у самых вершин встревоженно толпятся густые облака; какая-то невидимая сила то растягивает их, то теребит, порой от плотной массы отделяется белое облако и большим комком ваты всплывает в прозрачную высь. И чем выше оно поднимается, тем сочнее окрашивает загадочный свет его зыбкие контуры, выделяя золотую кромку: приближается солнце, оно уже где-то за вершинами, его еще не видно, но в неспокойном дыхании атмосферы уже ощущается его живительное тепло. Итак, наверх, ему навстречу. Может, прямо вот по этой извилистой дорожке, посыпанной гравием, как в саду, подъем здесь, кажется, нетрудный; и в самом деле, идти можно, шагается легко; не привыкшая к такой ходьбе Кристина с радостным изумлением ощущает, как послушно пружинят ноги в коленях, как дорожка с плавными поворотами и легчайший воздух словно сами несут ее в гору. До чего же быстро от такого штурма разогреваешься. Она срывает с себя перчатки, свитер, шапку: хочется не только губами и легкими, но и кожей впитывать обжигающую свежесть. Чем быстрее она идет, тем увереннее и свободнее становится шаг. Однако не пора ли передохнуть — сердце гулко колотится в груди, в висках стучит,— и, остановившись, она секунду-другую с восторгом смотрит вниз: леса стряхивают туман со своих прядей, дороги белыми лентами рассекают пышную зелень, блестит кривая, как турецкая сабля, река, а напротив, меж зубцами вершин, наконец-то внезапно прорвался золотой поток утреннего солнца. Великолепно! Кристина в восторге от зрелища, но азарт восхождения, охвативший ее, не терпит перерыва; вперед! — исступленно подгоняет барабан в груди, вперед! — требуют набравшие темп мышцы, и, опьяненная порывом, она карабкается все дальше и дальше, не зная, сколько времени уже прошло, как высоко забралась, не ведая, куда ведет тропа. Наконец, примерно через час, добравшись до смотровой площадки, где выступ горы закругляется наподобие рампы, она валится навзничь в траву: хватит! Хватит на сегодня. У нее кружится голова, подергиваются и пульсируют веки, жгуче саднит обветренная кожа, но странно: несмотря на все эти болезненные ощущения, несмотря на суматошную встряску, ей хорошо, она испытывает какое-то новое, неведомое удовольствие, как никогда, чувствует себя юной и полной жизни. Она даже не подозревала, что сердце может с такой силой проталкивать кровь по жилам, которые податливо пропускают ее буйно-веселый поток, никогда еще не ощущала так остро легкость и упругость своего тела, как именно в эти минуты, когда им овладела безмерно сладостная хмельная усталость. Открытая горячему солнцу и порывам чистого горного ветра, овевающего ее со всех сторон, погрузив паль-

цы в студено-душистый альпийский мох, Кристина то созерцает облака в невообразимой лазури, то скользит взглядом по развертывающейся внизу панораме; она лежит словно оглушенная, грезя и бодрствуя одновременно и наслаждаясь необычайным приливом душевных сил и стихийной мощью природы. Она лежит так час или два, пока солнце не начинает обжигать ей губы и щеки. Поднявшись, она поспешно набирает букет из еще скованных холодом веточек и цветов — можжевельник, шалфей, полынь,— между листьями которых шуршат кристаллики льда, и устремляется вниз. Сначала она идет, соблюдая осторожность, размеренным туристским шагом, однако сила инерции при спуске понуждает ноги бежать вприпрыжку, и Кристина отдается этому сладостно-жуткому притяжению глубины. Все резвее, все шаловливее, все отважнее скачет она с камня на камень; будто подхваченная ветром, с развевающимися волосами и раздувающейся юбкой, веселая, уверенная в себе, готовая петь от избытка счастья, она вихрем летит вниз по серпантину.

Перед отелем в назначенный час — девять утра — молодой инженер-немец, одетый по-спортивному для утренней партии в теннис, ждет тренера. Сидеть на сырой скамейке еще холодно, ветер то и дело запускает свои острые ледяные когти под белую полотняную рубашку с открытым воротом; поэтому он энергично шагает взад и вперед, вертя ракеткой, чтобы разогреть руки. Черт возьми, где же тренер, неужели проспал? Инженер нетерпеливо поглядывает по сторонам. Случайно взглянув на горную дорожку, он замечает вверху нечто диковинное, нечто яркое, кружащееся, похожее издали на пестрого жучка, который странными прыжками несется вниз. Гм, что это? Жаль, нет бинокля. Но оно быстро приближается — яркое, пестрое, окрыленное. Сейчас разглядим. Инженер приставляет ладонь козырьком ко лбу: вниз по горной дорожке кто-то летит сломя голову, кажется, женщина или молодая девушка; размахивает руками, волосы развеваются; поистине, будто ее несет ветром. Черт возьми, как неосторожно... бежать со всех ног по серпантину... сумасшедшая... да, а все-таки здорово это у нее получается, лихо. Инженер невольно делает шаг-другой навстречу, чтобы получше увидеть бегунью. Девушка напоминает богиню утренней зари: развевающиеся волосы и взмахи рук, как у менады, вся — смелость и порыв. Лицо еще нельзя рассмотреть — мешает скорость движения и восходящее солнце за ее спиной. Но ей все равно же не миновать теннисного корта, если она направляется в отель, здесь — ее финиш. Она все ближе и ближе, он уже слышит, как разлетаются мелкие камешки из-под ног, слышит ее шаги на последнем повороте, а вот и она сама.

Вбежав на площадку, Кристина резко останавливается, чтобы не налететь на человека, который нарочно встал на пути. От внезапной остановки волосы взметнулись назад, юбка обтянула ноги. Испуганная, запыхавшаяся, она стоит перед ним почти вплотную. И вдруг разражается смехом. Она узнала своего вчерашнего партнера по танцам.

— Ах, это вы,— облегченно вздыхает она.— Извините, я чуть было вас не сшибла.

Он молчит, глядя с удовольствием, даже с восхищением на девушку с обветренными щеками, вздымающейся от частого дыхания грудью, еще распаленную головокружительным спуском с горы. Отдающий должное спорту, он любуется этим воплощением молодости и энергии. Улыбнувшись, он наконец говорит:

— Здóрово! Вот это темп. За вами не угонится ни один здешний проводник. Но...— он опять смотрит на нее, пристально, одобряюще, с улыбкой,— если б у меня была такая же юная и стройная шея, я бы постарался как можно дольше не ломать ее; вы обращаетесь с собой чертовски неосторожно! Вам повезло, что это видел я, а не ваша тетя.

Но главное, такие экстравагантные утренние прогулки вы не должны совершать в одиночку. Если вам понадобится более или менее опытный провожатый, то нижеподписавшийся предлагает свои услуги.

Он снова пристально смотрит на нее, и она чувствует, что смущается под его неожиданным откровенно мужским взглядом. С таким страстным восхищением на нее не смотрел еще ни один мужчина, этот взгляд проникал до глубины души, оставляя какое-то новое, радостное беспокойство. Чтобы скрыть смущение, она показывает букет:

— Взгляните-ка на мою добычу! Нарвала совсем свежих, ну разве не чудо?

— Да, роскошные цветы,— отвечает он напряженным голосом и смотрит поверх букета ей в глаза.

Она все больше смущается от этого настойчивого, чуть ли не назойливого внимания.

— Простите, мне пора к завтраку, боюсь, я уже опоздала.

Поклонившись, инженер освобождает ей дорогу, но Кристина безошибочным женским инстинктом чувствует, что он смотрит ей вслед; ее тело невольно напружинивается, шаг становится легким. Не только крепкий аромат горных цветов и пряный воздух будоражат кровь, но и заставшая ее врасплох встреча: она впервые осознала, что кому-то нравится, что она желанна.

И когда она, еще взволнованная, входит в гостиницу, воздух в холле кажется ей спертым, стены, потолок, одежда вдруг начинают давить на нее. В гардеробе она сбрасывает шапку, свитер, пояс — все, что стесняет, жмет ее, душит, она охотно сорвала бы сейчас с себя всю одежду. Сидящие за столиком пожилые супруги с изумлением взирают на свою племянницу, которая стремительно пересекает зал, щеки у нее пылают, ноздри трепещут, и вся она кажется более высокой, здоровой, ловкой, чем вчера. Она кладет перед тетей букет альпийской флоры, еще влажный от росы, усыпанный пестрыми блестками тающих ледяных кристалликов.

— Вот, нарвала для тебя, лазила на гору... не знаю, как она называется, сходила просто так... Ах,— Кристина глубоко вздыхает,— до чего же это чудесно.

Тетя любуется ею:

— Ну, чертенок! Сразу из постели в горы, не позавтракав! Вот с кого пример брать, это получше всяких массажей. But look, Энтони, ты только взгляни, ее просто не узнать. От одного воздуха какие щеки стали. Да ты вся пылаешь, дитя мое! Ну говори же, говори, где ты побывала.

И Кристина рассказывает, даже не замечая, как быстро, как жадно и неприлично много она при этом ест. Масленка, блюдечки с медом и джемом опустошаются на глазах; дядя, показывая на хлебницу, подмигивает улыбающемуся кельнеру, чтобы тот добавил вкусных хрустящих булочек. Но Кристина, увлеченная рассказом, совершенно не замечает, что оба посмеиваются над ее аппетитом, она лишь чувствует, как приятно горят щеки. Расслабившись, беззаботно откинувшись на спинку плетеного кресла, она жует, болтает, смеется, добродушные лица внимательных слушателей вдохновляют ее все больше и больше, пока наконец она внезапно не обрывает свой рассказ, широко раскинув руки:

— Ах, тетя, мне кажется, там я впервые узнала, что значит дышать.

За бурным началом следуют и другие события, столь же увлекательные и радостные. В десять часов — она еще сидит за столиком, в хлебнице ни одной булочки, горный аппетит все подчистил — является генерал Элкинс в спортивном костюме строгого покроя и зовет ее на обещанную автопрогулку. Учтиво пропустив даму вперед, он сопровождает ее к своей машине — фешенебельная английская марка, сверкающий лак и никель; да и шофер под стать автомобилю — свет-

логлазый и тщательно выбритый, ну просто вылитый джентльмен. Генерал усаживает гостью, укутывает ей колени пледом, затем, еще раз почтительно сняв шляпу, занимает место рядом. От этих учтивых манер Кристина немного теряется, она чувствует себя обманщицей перед генералом с его подчеркнутой, почти смиренной вежливостью. «Да кто ж я, думает она, что он со мной так обращается? Господи, если бы он знал, где я обычно торчу, пришпиленная к старому казенному стулу на почте, и где должна заниматься постылой одуряющей работой!» Но вот нажата педаль, и нарастающая скорость прогоняет всякие воспоминания. С ребяческой гордостью она замечает, как на узких улицах курорта, где мотор еще вынужден сдерживать свою силу, прохожие любуются роскошной машиной, которая даже здесь выделяется своей маркой, как они почтительно и чуть завистливо поглядывают на нее, Кристину, полагая, что она владелица. Генерал Элкинс показывает ей окрестности и, будучи географом по образованию, невольно увлекается подробностями, как все специалисты, однако девушка слушает так прилежно, так внимательно, что это доставляет ему явное удовольствие. Его несколько холодное, по-английски замкнутое лицо постепенно теплеет, а чуть суровые складки у тонкогубого рта смягчаются доброй улыбкой, когда он слышит ее непринужденные «ах» или «прелесть» и наблюдает, как она вертится, бросая восхищенные взоры направо и налево. Время от времени он с легкой грустью поглядывает сбоку на это оживленное лицо, и его сдержанность отступает перед бурными восторгами юности. Словно по ковру, мягко и бесшумно мчится, убыстряя ход, машина, ни единого хрипа, ни стука не слышится в ее металлической груди при малейшем напряжении на подъеме, гибко и послушно выписывает она самые лихие виражи; ускоренный темп замечаешь лишь по тому, как сильнее и сильнее свистит воздух, и к уверенному ощущению безопасности примешивается упоение скоростью. Все темнее становится долина, все суровее сдвигаются скалы. Наконец, показывается просвет, и шофер тормозит.

— Перевал Малоя,— объявляет Элкинс и с неизменной учтивостью помогает ей выйти из машины.

Вид в глубине великолепен; причудливо петляя, дорога водопадом устремляется вниз; чувствуется, горы здесь утомились, им не хватает сил громоздить новые вершины и ледники, и они бросаются вниз, в далекую необозримую долину.

— Там, на равнине, начинается Италия,— показывает Элкинс.

— Италия,— изумляется Кристина,— так близко, неужели так близко?

В ее голосе звучит столько жадного любопытства, что Элкинс невольно спрашивает:

— А вы там не были?

— Нет, никогда!

И это «никогда» сказано с таким жаром и горечью, что в нем слышна вся затаенная тоска о несбыточном: я никогда, никогда ее не увижу. Она тут же спохватывается, что голосом выдала себя, что ее спутник может догадаться о ее сокровенных мыслях, о том, что она бедна, и неловко пытается перевести разговор, смущенно спросив:

— Вы, конечно, знаете Италию, генерал?

Он серьезно, чуть грустно улыбается:

— Где меня только не носило. Я трижды объехал вокруг света, не забывайте, я — старый человек.

— Ну что вы! — испуганно протестует она.— Как вы можете говорить такое!

Испуг ее до того неподделен, протест до того искренен, что у шестидесятивосьмилетнего генерала неожиданно теплеют щеки. Такой пылкой, такой увлеченной он, вероятно, в другой раз ее не увидит и не услышит. Его голос невольно смягчается:

— У вас молодые глаза, мисс ван Боолен, поэтому вам все видится моложе, чем оно есть на самом деле. Возможно, вы правы. Надеюсь, я действительно еще не так стар и сед, как мои волосы. Чего бы я не отдал, чтобы еще раз увидеть Италию впервые.

Он снова смотрит на спутницу, в его взгляде вдруг проступает какая-то покорная робость, которую пожилые мужчины нередко испытывают перед молодыми девушками, как бы прося снисхождения за то, что сами уже не молоды. Кристина необычайно тронута этим взглядом. Она вдруг вспоминает своего отца, старого, согбенного, вспоминает, как любила иногда ласково погладить его седые волосы и как он, подняв голову, смотрел на нее добрыми благодарными глазами.

На обратном пути лорд Элкинс говорит мало, выглядит задумчивым и немного взволнованным. Когда они подъезжают к отелю, он с неожиданной для него живостью выскакивает из машины, чтобы опередить шофера и помочь выйти спутнице.

— Я очень признателен вам за чудесную прогулку,— говорит он, прежде чем она успевает открыть рот и поблагодарить его,— уже давно не получал такого удовольствия.

За столом Кристина с восторгом рассказывает тете, каким генерал Элкинс был добрым и любезным. Та участливо кивает:

— Хорошо, что ты его немножко рассеяла, он в жизни перенес много горя, жена у него умерла еще в молодости, когда он был с экспедицией в Тибете. Четыре месяца он продолжал писать ей каждый день, так как весть о смерти еще не дошла к нему, и когда вернулся, то нашел кипу своих писем, нераспечатанных. А его единственный сын погиб, немцы сбили его самолет под Суассоном, причем в тот же день, когда самого генерала ранило. Теперь он живет один в своем огромном замке возле Ноттингема. Понятно, что он почти беспрерывно путешествует, стремится убежать от воспоминаний. Только не вздумай заговорить с ним о его семье — сразу прослезится.

Кристина взволнованно слушает. Ей и в голову не приходило, что в этом блаженном мире тоже существуют беды (судя по собственной жизни, она полагала, что здесь все должны быть счастливы). Ей захотелось подойти сейчас к этому старому человеку, который с таким достоинством несет свое горе, и пожать ему руку. Она невольно смотрит в другой конец зала. Он сидит там, по-солдатски прямо, в полном одиночестве. Случайно взглянув в ее сторону, он встречается с ней глазами и чуть заметно кланяется. Она поражена его одинокостью в этом просторном, сверкающем светом и роскошью зале. В самом деле, она должна заботливо относиться к такому доброму человеку.

Но как мало остается времени, чтобы подумать о каждом в отдельности, оно слишком быстротечно здесь, слишком много неожиданного обрушивается на нее, увлекая веселым вихрем; нет такой минуты, которая не одарила бы ее новой радостью. После обеда тетя с дядей уходят к себе в номер передохнуть, а Кристина располагается на террасе в одном из удобных мягких кресел, чтобы наконец спокойно посидеть и мысленно еще раз насладиться пережитым. Но едва она, облокотившись, начинает медленно, со сладостной мечтательностью перебирать картины насыщенного дня, как перед ней уже стоит вчерашний партнер по танцам, все примечающий инженер-немец, протягивает ей сильную руку — «Вставайте, вставайте!»— его друзья хотят познакомиться с ней. В нерешительности — она еще побаивается всего нового, однако страх прослыть неучтивой перевешивает — Кристина уступает и направляется с ним к столу, за которым сидит оживленная компания молодых людей. К ужасу девушки, инженер представляет ее каждому как фройляйн фон Боолен; фамилия дяди, произнесенная с немецким «фон» вместо голландского «ван», кажется, вызвала у всех особое уважение — Кристина замечает это по тому, как господа почтительно поднимаются,— вероятно, звучание двух этих слов невольно вызывает в их памяти фамилию богатейшего семейства Германии — Крупп фон Боолен.

Кристина чувствует, что краснеет: боже мой, ну что он говорит?! Но у нее не хватает духу поправить его, нельзя же перед этими незнакомыми учтивыми людьми уличить одного из них во лжи и заявить: нет, нет, я не фон Боолен, моя фамилия Хофленер. Так она с нечистой совестью и легкой дрожью в кончиках пальцев допускает непреднамеренный обман. Все эти молодые люди — веселая игривая девушка из Мангейма, врач из Вены, сын директора какого-то французского банка, немного шумный американец и еще несколько человек, фамилии которых она не разобрала,— явно заинтересовались ею: каждый задает ей вопросы, и разговаривают, собственно, только с ней. В первые минуты Кристина смущена. Всякий раз, когда кто-нибудь называет ее «фройляйн фон Боолен», она слегка вздрагивает, как от укола, но постепенно ей передается задор и общительность молодых людей, она рада быстро возникшему доверию и в конце концов втягивается в непринужденную болтовню; ведь все так сердечно относятся к ней, чего же бояться? Потом приходит тетя, радуется, видя, что ее подопечную хорошо приняли, добродушно улыбается, подмигивая племяннице, когда ту величают «фройляйн фон Боолен», и наконец уводит ее на прогулку, пока дядя, как обычно в послеобеденные часы, дуется в покер.

Неужели это действительно та самая улица, что и вчера, или же распахнувшаяся душа видит светлее и радостнее, чем стесненная? Во всяком случае, дорога, которой Кристина уже проходила, но как бы с шорами на глазах, кажется ей совсем новой, вид вокруг ярче и праздничнее, будто горы стали еще выше, малахитовая зелень лугов гуще и сочнее, воздух прозрачнее, чище, а люди красивее, их глаза светлее, приветливее и доверчивее. Все со вчерашнего дня утратило свою необычность, чуть горделиво оглядывает она массивные корпуса отелей, так как знает теперь, что лучший из них тот, в котором живут они, к витринам присматривается уже с некоторым понятием, изящные, надушенные женщины в автомобилях больше не кажутся ей столь неземными, принадлежащими какой-то другой, высшей касте, после того как она сама проехалась в роскошной машине. Больше она не ощущает себя чужеродной среди других и смело ступает легким, упругим шагом, невольно подражая беззаботной походке стройных спортсменок.

В кафе-кондитерской они делают привал, и тетя еще раз изумляется аппетиту Кристины. То ли это действие разреженного горного воздуха, то ли бурные эмоции — химическое горение тканей, после которого надо восстановить силы, так или иначе она шутя уплетает за чашкой какао три-четыре булочки с медом, а потом еще пирожные с кремом и шоколадные конфеты; ей кажется, что она могла бы вот так и дальше, без конца, есть, говорить, смотреть, наслаждаться, будто все-все, по чему она чудовищно изголодалась за долгие-долгие годы, нужно возместить, предаваясь именно этой грубой, плотоядной усладе. Временами она ощущает на себе мужские взгляды, которые скользят по ней приветливо и вопрошающе; она инстинктивно напрягает грудь, кокетливо откидывает голову, ее улыбающиеся губы с любопытством встречают их любопытство: кто вы, кому я нравлюсь, и кто же я сама?

В шесть часов, покончив с новыми покупками (тетя обнаружила, что племяннице не хватает всяких мелочей), они возвращаются в отель. Щедрая дарительница, которую все еще забавляет разительная перемена в состоянии ее подопечной, хлопает ее по руке:

— Вот теперь ты, пожалуй, сможешь избавить меня от одной тяжкой обязанности! Не струсишь?

Кристина смеется. Что здесь может быть тяжкого? Здесь, в этом благословенном мире, где все делается играючи.

— Не воображай, что это так просто! Тебе предстоит войти в логово льва и осторожно вытащить Энтони из-за карточного стола. Предупреждаю: осторожно, а то, когда ему мешают, он, бывает, ры-

чит, и довольно сердито. Но уступать нельзя, врач велел, чтобы он принимал таблетки за час до еды, не позже, в конце концов, резаться в карты с четырех до шести в душной комнате более чем достаточно. Значит, так: второй этаж, номер сто двенадцатый, это апартаменты мистера Форнемана, винный трест. Постучишь и скажешь Энтони, что пришла по моему поручению, он все поймет. Может, сначала и поворчит, хотя нет, на тебя не поворчит! Тебя он еще послушает.

Кристина берется за поручение без особого восторга. Если дядя любит играть в карты, почему именно она должна его беспокоить! Но возражать не осмеливается и, подойдя к нужному номеру, тихо стучит. Господа, сидящие за прямоугольным столом с зеленой скатертью, на которой виднеются странные квадраты и цифры, удивленно поднимают глаза: молодые девушки, видно, редко сюда вторгаются. Дядя, поначалу изумившись, смеется во весь рот:

— О, I see[1], тебя подослала Клер! Вот на что она тебя подбивает! Господа, это моя племянница! Жена велела ей сообщить, что пора кончать; предлагаю (он вынимает часы) еще ровно десять минут. Ты не возражаешь?

Кристина неуверенно улыбается.

— Ладно, на мой страх и риск,— важно заявляет Энтони, не желая ронять своего авторитета.— Молчи! Садись-ка сюда и принеси мне счастье, что-то не везет сегодня.

Кристина робко присаживается чуть позади него. Она ничего не понимает в том, что здесь происходит. Один из игроков держит в руке какую-то продолговатую штуку — не то лопатку, не то совок,— берет с нее карты и при этом что-то говорит; потом круглые целлулоидные фишки — белые, красные, зеленые, желтые — странствуют по столу туда-сюда, передвигаемые маленькими граблями. В общем, это скучно, думает Кристина, богатые, знатные господа играют на какие-то кругляшки. И все же она испытывает некоторую гордость оттого, что сидит здесь, в широкой тени дяди, рядом с людьми, несомненно, могущественными, это видно по их массивным перстням с бриллиантами, по золотым карандашам, по твердым чертам лица и энергичным движениям, да и по кулакам тоже — чувствуется, как такой кулак может грохнуть по столу, словно молот на заседании; Кристина почтительно оглядывает одного за другим, совершенно не обращая внимания на непонятную ей игру, и неожиданный вопрос дяди застает ее врасплох.

— Ну что, взять?

Кристина успела усвоить, что тот, которого называют банкометом, играет один против всех, стало быть ведет крупную игру. Посоветовать дяде взять? Охотнее всего она бы прошептала: «Нет, ради бога, нет!»— лишь бы не брать на себя ответственность. Но ей стыдно показаться трусихой, и она нерешительно лепечет:

— Да.

— Ладно,— смеется дядя.— Под твою ответственность. Выигрыш пополам.

Снова начинается перебрасывание карт, она ничего не понимает, но ей кажется, что дядя выигрывает. Его движения становятся живее, из горла вылетают какие-то странные булькающие звуки, он выглядит чертовски довольным. Наконец, передав дальше лопатку с картами, он поворачивается к ней:

— Ты поработала отлично. За это справедливо поделимся, вот твоя доля.

Из своей кучки фишек он отбирает две желтые, три красные и одну белую. Смеясь, Кристина берет их без каких-либо размышлений.

— Еще пять минут,— предупреждает господин, перед которым лежат часы.— Вперед, вперед, без скидок на усталость.

Пять минут проходят быстро, все встают, собирают фишки, об-

[1] Понятно *(англ.)*.

менивают их. Кристина, оставив свои кругляшки на столе, скромно ждет у двери. Дядя у стола окликает ее:

— Ну а твои chips?[1]

Кристина подходит к нему в недоумении.

— Обменяй же их.

Кристина по-прежнему ничего не понимает. Тогда дядя подводит ее к господину, который, бегло взглянув на фишки, говорит: «Двести пятьдесят пять»— и кладет перед ней две стофранковые купюры, одну пятидесятифранковую и тяжелый серебряный талер. Девушка растерянно оглядывает чужие деньги на зеленом столе, потом с удивлением смотрит на дядю.

— Бери же, бери,— чуть ли не сердито говорит он,— ведь это твоя доля! А теперь пошли, не то опоздаем.

Кристина испуганно зажимает в непослушных пальцах купюры и серебряную монету. Она все еще не верит. И, придя к себе в номер, снова и снова разглядывает как с неба свалившиеся радужные прямоугольные бумажки. Двести пятьдесят пять франков — это (она быстро пересчитывает) примерно триста пятьдесят шиллингов; четыре месяца, треть года, ей надо работать, чтобы набралась такая огромная сумма, каждый день торчать в конторе с восьми до двенадцати и с двух до шести, а здесь никакого труда, десять минут — и деньги в кармане. Неужели это правда и справедливо ли? Непостижимо! Но банкноты действительно хрустят в ее руках, они настоящие и принадлежат ей, так сказал дядя, ей, ее новому «я», этому непонятному другому «я». Столько денег сразу в ее распоряжении еще не бывало. Чуть дрожа, со смешанным чувством — и боязно и приятно,— она прячет шуршащие бумажки в чемодан, словно краденые. Ибо совесть ее не может постигнуть того, что эта уйма сомнительных денег, тех самых денег, которые она дома с педантичной бережливостью откладывает по грошам, монетку за монеткой, достается здесь как бы дуновением ветерка. Страх, будто она совершила святотатство, тревожным ознобом пронизывает все ее существо до самых глубин подсознания, что-то в ней мучительно ищет объяснения, но времени на это нет, пора одеваться, выбрать платье, одно из трех роскошных, и снова туда, в зал, опьяняться новыми чувствами, переживаниями, с головой окунуться в жгуче-сладостный поток расточительства.

Бывает, что в фамилии заключена таинственная сила превращения; на первых порах она кажется случайной и не обязывающей, подобно кольцу, надетому на палец, но, прежде чем сознание обнаружит ее магическое действие, она врезается в кожу и срастается с духовной сущностью человека, влияя на его судьбу. Поначалу Кристина отзывается на свою новую фамилию со скрытым озорством («Если б вы знали, кто я! Нет, не узнаете!»). Она носит ее легкомысленно, как маску на карнавале. Но вскоре, забыв о неумышленном обмане, она как бы обманывает самое себя и становится той, за кого ее принимают. Если в первый день она еще испытывала неловкость, прослыв не по своей воле богачкой с аристократической фамилией, а на другой день это уже тешило ее самолюбие, то на третий и четвертый все воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Когда кто-то спросил, как ее имя, ей показалось, что Кристина (дома ее звали Кристль) не очень созвучно заимствованному титулу, и она не без нахальства ответила: «Кристиана». И вот отныне за всеми столиками, во всем отеле ее называют Кристианой фон Боолен; так ее представляют, так с ней здороваются, она привыкла к новому имени и фамилии без сопротивления, как привыкла к светлой просторной комнате с полированной мебелью, к роскоши и легкой жизни в отеле, к вполне естественному наличию денег и ко всему, сложен-

[1] Фишки *(англ.)*.

ному из разнообразных цветков, дурманящему букету соблазнов. Если бы сейчас кто-нибудь вдруг назвал ее «фройляйн Хофленер», она вздрогнула бы как сомнамбула и рухнула с вершины своей иллюзии, настолько она сжилась с новой фамилией и уверовала, что она теперь другая, уже не та, прежняя.

Но разве она действительно не стала другой за эти несколько дней, разве высокогорный воздух не очистил, а разнообразное и обильное питание не обогатило ее кровь новыми, здоровыми клетками? Бесспорно, Кристиана фон Боолен выглядит иначе, она моложе, свежее, чем ее сестра Золушка, почтарка Хофленер, и вряд ли похожа теперь на нее. Бледная, почти пепельного оттенка кожа сделалась под горным солнцем смуглой, посадка головы горделивой, в новых нарядах изменилась и походка, движения стали мягче и женственнее, шаг свободней, вся осанка исполнилась чувства собственного достоинства. Постоянные прогулки на лоне природы поразительно освежили тело, танцы сделали его гибким, и вот открылся источник сил; внезапное пробуждение молодости, когда пылко бьется сердце, вздымается грудь, и в тебе все бродит, бурлит, пенится, и ты беспрестанно стремишься испытать себя, вкушая еще неизведанную, могучую радость жизни. Сидеть на месте, за покойным занятием, Кристина уже не может, ей все время хочется куда-то выезжать, резвиться, она вихрем носится по комнатам, всегда чем-то увлеченная, подстегиваемая любопытством, то там, то здесь, то в дверь, то из дверей, то вниз, то наверх, и по лестнице она никогда не ходит шагом, а скачет через две ступеньки, словно боится что-то упустить, куда-то не поспеть. Ее руки все время жаждут к кому-то или к чему-то прикоснуться, так сильна в ней потребность поиграть. приласкать, поблагодарить; порой она даже одергивает себя, чтобы невзначай не вскрикнуть или не расхохотаться. И такая исходит от нее сила молодости, что как бы волнами передается окружающим, и любого, кто приблизится к ней, тут же затягивает в круговорот веселья и озорства. Там, где она, всегда смех и шум, там тотчас начинают подзадоривать друг друга, любой разговор сразу оживляется звонкими голосами; едва появляется она, всегда задорная, с шуткой, всегда светящаяся счастьем, то не только дядя с тетей, но и совершенно незнакомые люди благосклонно поглядывают на ее безудержную веселость. В гостиничный холл она влетает словно камень, разбивший окно; позади еще крутится от сильного толчка вращающаяся дверь, маленького боя, который хотел ее придержать, Кристина хлопает по плечу перчаткой, в два приема срывает с себя шапку, стаскивает свитер, все жмет, стесняет ее стремительное движение. Потом беспечно останавливается перед зеркалом, поправляет платье, встряхивает взъерошенной гривой, все готово, и в еще довольно растрепанном виде, с пылающими от ветра щеками направляется к какому-нибудь столику — она уже со всеми перезнакомилась,— чтобы рассказывать. У нее всегда есть о чем рассказать, всегда у нее есть новое приключение, всегда все было замечательно, чудесно, неописуемо, всем она горячо восхищается, и даже самому постороннему слушателю ясно: человек не в силах вынести переполняющее его чувство благодарности, если не поделится им с другими. Она не пройдет мимо собаки, не погладив ее, каждого малыша посадит себе на колени и приласкает, для любой горничной или официанта у нее найдется приветливое слово. Если кто-нибудь сидит хмурый или безучастный, она тут же растормошит его добродушной шуткой, она любуется каждым платьем, с восхищением разглядывает всякое кольцо, фотоаппарат и портсигар, смеется над любой остротой, все блюда находит превосходными, каждого человека — хорошим, какую угодно беседу — занимательной: все, все без исключения великолепно в этом высшем, в этом бесподобном свете. Никто не может устоять перед ее страстными порывами доброжелательства, каждый, общаясь с ней, невольно попада-

ет в излучаемое ею силовое поле добра, даже у ворчливой тайной советницы, вечно спящей в кресле с подлокотниками, теплеют глаза, когда она наводит на Кристину лорнет, портье здоровается с ней особенно любезно, накрахмаленные официанты предупредительно пододвигают ей стул, и, между прочим, пожилым, более строгим людям, нравится столь сильное проявление радостной и впечатлительной натуры. Кто-то, конечно, покачивает головой по поводу ее наивных и экзальтированных выходок, но в целом Кристина встречает благожелательное отношение, и по прошествии трех-четырех дней все — от лорда Элкинса до последнего мальчика-лифтера — выносят единодушный приговор, что фройляйн фон Боолен милейшее, обворожительное создание, «charming girl». Всеобщую симпатию к себе она воспринимает как утверждение своего права быть и находиться здесь, среди этих людей, и чувствует себя от этого еще счастливее.

Личный интерес к ней и склонность к ухаживанию проявляет наиболее откровенно человек, от которого она менее всего смела ожидать такого поклонения,— генерал Элкинс. С нежной и трогательной неуверенностью мужчины, давно перешагнувшего критический полувековой возраст, он по-стариковски робко все время ищет удобного случая побыть возле нее. Даже тетя замечает, что тон его костюмов стал светлее, моложе, а галстуки ярче, она полагает также (а может, и ошибается?), что седина на его висках, очевидно искусственным способом, исчезла. Под разными предлогами он часто подходит к их столику, ежедневно присылает обеим дамам в номер — чтобы не привлекать лишнего внимания — цветы, приносит Кристине книги на немецком, специально для нее купленные, главным образом о восхождении на Маттерхорн, потому лишь, что она как-то в разговоре спросила, кто первым покорил эту вершину и об экспедиции Свена Гедина в Тибет. Однажды утром, когда из-за внезапного дождя отменились все прогулки, он уселся с Кристиной в углу холла и начал показывать ей фотографии своего дома, парка, собак. Причудливый высокий замок, пожалуй еще норманнских времен. По стенам круглых боевых башен вьется плющ, внутри просторные залы с атлантами и старомодными каминами, семейные портреты в рамах, модели кораблей. Наверное, жить там зимой, одному, тоскливо, подумала она, и, словно угадав ее мысли, он говорит, показывая на снимок своры охотничьих псов:

— Если б не они, я бы совсем один остался.

Это первый намек на смерть жены и сына. Кристина чуть вздрагивает, заметив, как его взгляд застенчиво скользит по ее лицу (он тут же опять смотрит на фотографии). Зачем он все это мне показывает и почему так странно, словно боится, спрашивает, понравилось ли бы мне в таком вот английском доме, неужели он, богатый, знатный, хочет этим намекнуть... Нет, она даже не смеет додумать. Откуда ей, неопытной, знать, что этот лорд, этот генерал, который кажется ей почти небожителем, сейчас охвачен малодушием стареющего мужчины, не уверенного, можно ли ему на что-то еще рассчитывать, и боящегося показаться смешным в роли жениха, что он ждет хотя бы малейшего знака от нее, какого-нибудь одобряющего слова; но откуда ей понять, что происходит в его душе, когда она сама в себе толком не разобралась? Она воспринимает эти намеки как знак особой симпатии, со страхом и радостью одновременно, не решаясь в них поверить, а он между тем терзается, пытаясь правильно истолковать ее смущение и уклончивость. После каждой встречи с ним она чувствует себя весьма озадаченной, иной раз ей кажется, по выражению его робкого взгляда, что он действительно хочет просить ее руки, но тут же ее сбивает с толку его внезапно вернувшаяся холодность (ей и невдомек, что пожилой человек заставил себя сдержаться). Надо

бы во всем разобраться: что он от меня хочет, возможно ли это? Надо бы все продумать и выяснить все до конца.

Но когда, как? Когда здесь можно подумать, разобраться, ведь ей и времени на это не дадут. Стоит только появиться в холле, как ее тут же подхватывает кто-либо из их веселой банды и тащит куда-нибудь: на экскурсию, фотографироваться, играть, болтать, танцевать, то и дело раздается «алло! ау!» и пошло, и поехало. Целый день трещит и сверкает этот фейерверк праздной суеты, всегда находится какое-нибудь занятие — покурить, посмеяться, что-нибудь погрызть, посоревноваться в спорте, и она, не противясь, включается в круговерть, если один из молодых людей крикнет: «Фройляйн фон Боолен!» — ну как ответишь «нет», если они такие милые, эти молодые, здоровые парни и девушки, ведь она прежде не знала такой молодежи, всегда беспечной, веселой, всегда красиво и по-новому одетой, всегда с шуткой на устах, с деньгами в кармане и с новой забавой в голове; стоит только им собраться, как граммофон зовет танцевать или машина уже стоит наготове и в нее набиваются по пять-шесть человек, да так, что не повернешься, ничего, все молодые, и мчатся шестьдесят, восемьдесят, сто километров в час. А то сидят, развалившись, закинув ногу на ногу, в баре, с сигаретой в зубах, потягивая коктейли, лениво переговариваясь, ничем себя не утруждая; каких только историй, забавных и щекотливых, тут не услышишь, все это так просто делается, так чудесно расслабляет, и Кристина, как бы обретя новое дыхание, наслаждается этой бодрящей атмосферой. Порой она ощущает внезапные, словно зарницы в крови, приливы тепла, особенно вечерами на танцах или когда в темноте молодой человек вдруг решительно обнимет ее; приятельские отношения в их среде не лишены ухаживания, только оно иное — более откровенное, смелое, плотское, такое ухаживание ее, непривычную, иной раз пугает; например, когда в полумраке машины чья-нибудь твердая ладонь ласково погладит ее колено или когда на прогулке ее держат под руку нежнее, чем полагается. Однако другие девушки, американка и немка из Мангейма, относятся к этому терпимо и в крайнем случае лишь дружески шлепают по пальцам, когда те становятся слишком нахальными; да и зачем ломаться, ведь, в конце концов, и так, наверное, заметно, что инженер ведет себя с ней все настойчивее, а маленький американец деликатно пытается заманить ее на прогулку в лес. Она не уступает ни тому, ни другому, однако все же чуточку гордится новым, впервые испытанным чувством: что она желанна и ее теплое, обнаженное, нетронутое тело под одеждой — нечто, что мужчины хотят осязать, ощущать, чем жаждут насладиться. Сколько их, чарующе элегантных незнакомцев, возбужденным роем окружает ее, она чувствует все это как тонкий дурман из неведомых пьянящих эссенций, постоянно кружащий ее голову; очнувшись на мгновение, она с ужасом вопрошает себя: кто я? Да кто же я такая?

Кто же я такая? И что они во мне находят? — изо дня в день спрашивает она себя, все больше недоумевая. Каждый день ей оказывают новые и новые знаки внимания. Едва она просыпается, как горничная приносит цветы от лорда Элкинса. Вчера тетя подарила ей кожаную сумку и прелестные золотые часики, незнакомые силезские помещики, супруги Тренквиц, пригласили ее погостить к себе домой, маленький американец тайком положил ей в сумочку миниатюрную золотую зажигалку, которой она так восхищалась. Немочка из Мангейма относится к ней нежнее родной сестры, вечерами она прибегает к Кристине в номер с шоколадными конфетами и они болтают до полуночи. Инженер танцует почти всегда только с ней. Что ни день, людей вокруг нее прибавляется, и все так милы, сердечны, обходительны; ее нарасхват приглашают в машину, в

бар, на танцы, ни на час, ни на минуту не оставляют одну. И опять она с недоумением спрашивает себя: кто же я такая? Годами люди проходили мимо меня по улице и никто не обращал внимания на мое лицо, годами я сижу в деревне и никто ничего не подарил мне и не заинтересовался мною. Может, это оттого, что все там бедны, может, люди от бедности такие усталые и недоверчивые или во мне вдруг появилось что-то, что и прежде было, да только не показывалось? Может, я действительно красивее, чем смела вообразить, и умнее, и симпатичнее и только не решалась поверить в это? Кто я, кто же я такая?

Она беспрестанно задает себе этот вопрос в те редкие мгновения, когда удается побыть одной, и вот тут с ней происходит нечто странное, чего сама она понять не в силах: ее появившаяся было уверенность вновь сменяется неуверенностью. В первые дни она лишь удивлялась и поражалась тому, что все эти незнакомые люди, знатные, нарядные и обаятельные, принимают ее как свою. Но теперь, почувствовав, что она особенно нравится, что больше других, больше, чем эта рыжеволосая, сказочно одетая американка, больше, чем веселая, блистающая остроумием немочка из Мангейма, возбуждает любопытство, симпатию и пристальный интерес у мужчин, Кристина вновь ощущает тревогу. Что им от меня надо? — спрашивает она себя, все больше волнуясь в их присутствии. Странно: дома она не интересовалась мужчинами, во всяком случае они никогда не вызывали у нее волнения. Ни разу не шевельнулась у нее какая-нибудь тайная мысль или пробудились эмоции при виде неотесанных провинциалов с их ручищами, которые лишь после пива обретают иногда кое-какую ловкость, с их грубыми, вульгарными шутками и наглостью. Ничего, кроме физического отвращения, она не испытывала, когда какой-нибудь подвыпивший парень, встретив ее на улице, громко чмокал губами вслед или расточал ей слащавые комплименты на почте. Но вот молодые люди здесь, гладко выбритые, с маникюром, изысканными манерами, они умеют так весело и непринужденно говорить о самых пикантных вещах, а их руки могут быть такими нежными даже при самом мимолетном прикосновении. Вот эти молодые люди порой вызывают у нее какое-то совсем иное волнение и интерес. Она даже замечает, что ее собственный смех вдруг звучит как-то иначе или она вдруг отодвигается в испуге. Как-то беспокойно чувствует она себя в этой только с виду дружеской, но на деле весьма небезопасной компании, а рядом с инженером, который столь явно и настойчиво ее домогается, у нее начинается нечто вроде легкого, хотя и сладостного головокружения.

К счастью, Кристина редко остается с ним наедине, обычно здесь же находятся две-три женщины, и в их присутствии она чувствует себя увереннее. Иногда, очутившись в затруднении, она краешком глаза подглядывает, как обороняются другие в подобной ситуации, и невольно учится у них всякого рода уловкам — притворно обидеться или, весело рассмеявшись, сделать вид, что не заметила слишком дерзкой вольности,— а главное, искусству вовремя уклониться, когда соседство становится опасным. Но даже без мужчин она тепрь острее чувствует атмосферу, особенно когда болтает с Карлой, немочкой из Мангейма, которая с совершенно непривычной для Кристины прямотой говорит на самые щекотливые темы. Студентка химического факультета, умная, с хитринкой, озорная, чувственная, однако умеющая владеть собой в последний момент, видит своими пристальными черными глазами все, что происходит вокруг. От нее Кристина узнает о всех закулисных делишках в отеле: о том, что ярко накрашенная девица с вытравленными пергидролем волосами, оказывается, вовсе не дочь французского банкира, а его любовница, и хотя у них две комнаты, но вот ночью...

Карла сама слышала, ее номер рядом... А у американки было на пароходе что-то со знаменитым немецким киноактером, там три американки заключили между собой пари, кто его подцепит... А вон тот майор-немец — гомосексуалист, горничная кое-что слышала об этом от лифтера; будто рассуждая о вполне естественных, само собою разумеющихся вещах, без малейшего возмущения, девятнадцатилетняя студентка непринужденным тоном выбалтывает двадцативосьмилетней всю скандальную хронику. Кристина, стесняясь удивляться, чтобы не выдать свою неопытность, слушает с любопытством и лишь искоса поглядывает на эту юную, очень живую девушку со смешанным чувством ужаса и восхищения. Ее худенькое тельце, думает Кристина, должно быть, испытало уже кое-что, чего я не знаю, иначе она не говорила бы с такой уверенностью. И от невольных мыслей о всех этих вещах в нее опять вселяется тревога. Иногда у нее даже возникает ощущение, будто в ней открылись тысячи новых крохотных пор, через которые проникает тепло, так бывает с ней во время танцев — кожа вдруг горит, и кружится голова. Что со мной? — спрашивает она себя, в ней пробудилось любопытство к себе, жажда узнать, кто она такая, и после открытия этого нового мира открыть самое себя.

Пролетают еще три, четыре дня, целая бурная неделя. В ресторане за обедом сидит облаченный в смокинг Энтони с женой и ворчит:

— Мне уже надоела ее неаккуратность. Ну, первый раз, ладно, с каждым случается. Но шататься целыми днями и заставлять других ждать — это невоспитанность. Черт возьми, что она, собственно, о себе думает!

Клер успокаивает его:

— Господи, ну что ты хочешь, молодежь сейчас вся такая, ничего не поделаешь, послевоенное воспитание, только и знают гулять да развлекаться.

Энтони со злостью швыряет вилку на стол:

— К черту эти вечные развлечения. Я тоже был молод и тоже повесничал, но не позволял себе переходить рамки приличия, да и не мог позволить. Те два часа в день, когда твоя фройляйн племянница благоволит почтить нас своим присутствием, она обязана соблюдать пунктуальность. И еще попрошу об одном: растолкуй ей, наконец, вразумительно, чтобы она не таскала каждый вечер к нашему столу всю свою ораву; меня нисколько не интересует ни этот тупой немец с арестантской стрижкой и прусской картавостью, ни ироничный еврейчик с надеждами на служебную карьеру, ни эта девчонка из Мангейма, которая выглядит так, будто ее взяли напрокат в баре. Невозможно даже почитать газету, вечно вокруг шум и гам, ну какая я им, соплякам, компания? Сегодня, во всяком случае, прошу оставить меня в покое, и если хоть один из их горластой банды сядет за мой стол, я посшибаю все рюмки.

Клер не возражает ему прямо, когда видит, что у него на лбу вдруг начинают пульсировать синие жилы; а злит ее, в сущности, то, что она вынуждена признать его правоту. Ведь вначале она сама же подталкивала Кристину в этот круговорот, ей доставляло удовольствие смотреть, как ловко примеряла наряды ее манекенщица, как преображалась в них,— это смутно напоминало Клер собственную молодость и восторг, какой она испытала, когда впервые, шикарно разодетая, отправилась со своим покровителем в ресторан Захера. Но, в самом деле, за последние два дня Кристина утратила всякое чувство меры: в своем упоении она помнит только себя и свое головокружительное блаженство, она, например, не замечает, что в вечерний час дядя начинает клевать носом, не замечает, даже когда тетя настойчиво повторяет: «Пойдем, уже поздно».

Лишь на секунду угомонившись, она отвечает: «Да, тетя, конечно, еще только один танец, я его обещала, только один». И уже в следующую секунду она все забыла, не заметила даже, что дяде надоело ждать и он встал из-за стола, не пожелав ей спокойной ночи, она и не подумала, что он может рассердиться; да и можно ли вообще сердиться и обижаться в этом чудесном мире! Для нее просто непостижимо, что не все шалят и резвятся, не все охвачены азартом веселья, не все пылают от восторга, когда у нее голова идет кругом. Впервые за свои двадцать восемь лет она открыла себя, и это открытие настолько опьянило ее, что она забыла о существовании других людей.

Вот и сейчас, в горячке, крутясь волчком, она врывается в ресторан, бесцеремонно стаскивает на ходу перчатки (ну кому здесь может что-то не понравиться?), весело кричит двум молодым американкам «хэллоу» (кое-чему она выучилась), направляется через весь зал к тете и, нежно обняв ее сзади за плечи, целует в щеку. Лишь после этого восклицает с легким испугом:

— О, вы уже давно начали? Извините!.. Я же говорила им, Перси и Эдвину, что на их убогом «форде» за сорок минут до отеля не доехать, как ни пыхти! А они еще со мной спорили... Да, кельнер, подайте мне оба блюда сразу, чтоб я догнала... Значит, инженер сам был за рулем, он замечательно водит, но я-то заметила, что старая колымага больше восьмидесяти не выжимает, вот «роллс-ройс» лорда Элкинса совсем другое дело, а какие у него рессоры... Впрочем, по правде говоря, я тоже виновата, потому что сама пробовала вести, чуточку, Эдвин, конечно, был рядом... это совсем легко... знаешь, дядя, когда научусь, я тебя первого повезу, не бойся, что с тобой, дядя? Ты ведь не сердишься, что я чуть-чуть опоздала, нет?.. Клянусь, это не по моей вине, я же им сразу сказала, что за сорок минут не доехать... нет, полагаться можно только на себя... Пирожки — просто объеденье... Господи, как пить хочется!.. Ах, кто бы знал, до чего у вас хорошо. Завтра днем опять собираются, кажется до Ландека, но я сказала, что не поеду, надо же с вами погулять, в самом деле, никакого покоя нету...

Ее болтовня похожа на фейерверк. Лишь через некоторое время, вконец истощившись, Кристина замечает, что ее вдохновенный рассказ встречен упорным, холодным молчанием. Дядя неподвижным взглядом уставился на корзинку с фруктами, будто апельсины интересуют его больше, чем ее болтовня, а тетя нервно поигрывает ножом и вилкой. Ни один не произносит ни слова.

— Ты на меня не сердишься, дядя? — спрашивает Кристина.

— Нет,— ворчит он,— только давай поторапливайся.

Это вырвалось у него с таким раздражением, что Кристина мгновенно притихла, как побитая собачонка. Она опустила глаза, разрезанное яблоко испуганно положила на тарелку, губы у нее задрожали. Тетя, сжалившись над ней, задает отвлекающий вопрос:

— А что слышно от Мэри? Дома все благополучно? Давно уже хотела тебя спросить.

Кристина бледнеет еще больше, ее охватывает дрожь. Господи, ведь она совсем забыла об этом! Уже целую неделю торчит здесь и даже не задумалась, что до сих пор не получила ни одного письма, то есть иногда мысль об этом мелькала, и она все собиралась написать, но опять закружилась, завертелась. У нее сжалось сердце.

— Сама не понимаю, пока что из дому нет ни строчки. Может, письмо затерялось?

Теперь уже лицо тети строго вытягивается.

— Странно,— говорит она,— очень странно! Но, может быть, это потому, что тебя здесь знают только как мисс ван Боолен и письма для Хофленер лежат у портье невостребованными? Ты у него спрашивала?

— Нет,— выдыхает Кристина в тихом отчаянии.

Она четко помнит, что раза три или четыре намеревалась спросить, но ее куда-то увлекали и она опять забывала.

— Извини, тетя, минутку! — Она вскакивает из-за стола. — Сейчас узнаю.

Энтони опускает газету, он все слышал. И гневно смотрит ей вслед.

— Вот тебе пожалуйста! Мать тяжело больна, сама нам говорила и даже не поинтересовалась, только порхает целыми днями! Теперь ты видишь, что я прав.

— Просто не верится,— вздыхает тетя,— за восемь дней ни разу не справиться, и ведь знает, каково там дома. А вначале так тревожилась, со слезами на глазах рассказывала, как ей было страшно оставлять мать одну. Просто невероятно, до чего она изменилась.

Тем временем Кристина вернулась. Уже иными, мелкими шажками, растерянная, сконфуженная, подошла к столу и, сжавшись, словно ожидая заслуженного удара, села в широкое кресло. Действительно, у портье лежали три письма и две открытки; каждый день Фуксталер с трогательной заботливостью сообщал подробные сведения, а она — боже, стыд-то какой! — лишь однажды наскоро черкнула карандашом одну-единственную открытку из Челерины. Ни разу она больше не взглянула на любовно начерченную, красиво заштрихованную карту, которую преподнес ей добрый, надежный друг, она вообще не вынимала его маленький подарок из чемодана; непроизвольно стремясь забыть свое прежнее «я», она забыла все, что стояло за Кристиной Хофленер,— мать, сестру, друга.

— Ну что,— спрашивает тетя, увидев, что письма в дрожащей руке племянницы еще не вскрыты,— не собираешься их читать?

— Да, да, сейчас,— бормочет Кристина.

Она послушно разрывает конверты и, не посмотрев на число, пробегает глазами ровные, аккуратные строчки. «Сегодня, слава богу, немного лучше»,— сообщает Фуксталер в одном письме и в другом: «Поскольку я Вам клятвенно обещал, уважаемая фройляйн, достоверно писать о самочувствии Вашей почтенной матушки, должен, к сожалению, сообщить, что вчера мы были обеспокоены. Волнение в связи с Вашим отъездом вызвало небезопасное возбужденное состояние...» Она лихорадочно листает дальше: «После инъекции наступило некоторое успокоение, и мы надеемся на лучшее, хотя опасность повторного приступа полностью не исключена».

— Ну,— спрашивает тетя, заметив волнение Кристины,— как себя чувствует Мэри?

— Хорошо, вполне хорошо,— говорит она, смутившись,— то есть маме опять было неважно, но все прошло уже, она кланяется вам, а сестра целует вам руку и очень благодарит вас.

Но она сама не верит тому, что говорит. Почему мать не написала ни строчки своей рукой, думает она, может, послать телеграмму или попробовать дозвониться к нам на почту, сменщица наверняка все знает. Во всяком случае, надо сейчас же написать, господи, какой стыд. Она не осмеливается поднять голову, чтобы не встретиться взглядом с тетей.

— Да, тебе, пожалуй, надо написать им поподробнее,— говорит тетя, словно угадав ее мысли. — И передай самый сердечный привет от нас обоих. Кстати, сегодня после ужина мы не останемся в холле, а сразу пойдем к себе. Энтони очень устает от этих ежевечерних сборищ. Вчера вообще не мог заснуть, а ведь, в конце концов, он приехал сюда отдыхать.

Почувствовав скрытый упрек, Кристина пугается. Она сконфуженно подходит к Энтони.

— Пожалуйста, дядя, не обижайся на меня, я даже не подозревала, что тебя это утомляет.

Сердитый пожилой человек, смягчаясь от ее покорного тона, примирительно ворчит:

— А, чего там, мы, старики, всегда плохо спим. Разок-другой мне, конечно, интересно повеселиться с вами, но не каждый же день. Да ты теперь и без нас обходишься, тебе своей компании хватает.

— Нет, нет, я с вами.

Она провожает дядю к лифту, ведя его под руку так бережно и заботливо, что тетя постепенно оттаивает.

— Ты должна понять, Кристль,— говорит она в лифте,— никто не собирается лишать тебя развлечений, но и тебе полезно хоть раз как следует выспаться, иначе переутомишься и весь твой отпуск пойдет насмарку. Передохни от своей карусели, вреда не будет. Посиди спокойно в комнате, напиши письма. Откровенно говоря, не годится, что ты всегда разъезжаешь одна с этими людьми, к тому же я не в восторге от твоих приятелей. Предпочла бы видеть тебя с генералом Элкинсом, чем с этим молодчиком бог весть откуда. Поверь, лучше тебе побыть сегодня дома.

— Хорошо, тетя, обещаю,— покорно соглашается Кристина.— Ты права, теперь сама вижу. Понимаешь, так получилось, что... не знаю почему... меня вдруг завертело, закружило, может, это от воздуха и прочего. Но я рада, что сегодня отдохну, спокойно разберусь во всем, напишу письма. Сейчас же иду к себе, обязательно. Спокойной ночи!

Тетя права, конечно, думает Кристина, отпирая дверь своего номера, она желает мне только добра. В самом деле, зря я так закрутилась, к чему эта спешка, ведь еще есть время, восемь-девять дней, пошлю, в конце концов, телеграмму, что заболела, и попрошу продлить отпуск, вряд ли откажут, я же еще ни разу не была в отпуске и ни одного рабочего дня не пропустила. В дирекции поверят, да и заместительница будет только рада. Какая здесь чудесная тишина в комнате, снизу ни звука не долетает, наконец-то можно опомниться, спокойно подумать. Да, надо же прочитать книги, которые мне дал лорд Элкинс... нет, сначала письма, ведь я пришла ради них. Стыд какой, за неделю ни строчки ни маме, ни сестре, ни доброму Фуксталеру, и заместительнице надо послать открытку с видом, так уж полагается, да и детям сестры обещала. И что-то обещала еще, но что... господи, совсем запуталась, что кому наобещала... ах да, инженеру, что завтра утром поедем вместе на прогулку. Нет, вдвоем с ним ни в коем случае, только не с ним, и потом, завтра я же должна быть с дядей и тетей, нет, с ним вдвоем больше не поеду... Тогда надо отменить, может, быстренько сбегать вниз и сказать ему, чтобы не ждал напрасно... Но я обещала тете, нет, не пойду... Можно, впрочем, позвонить портье, чтобы передал ему... да, лучше всего позвонить. Нет, не годится... Еще подумают, что я заболела или сижу под домашним арестом, и вся компания меня засмеет. Лучше черкну ему записку, ага, так лучше, а заодно отправлю письма, чтобы портье прямо утром сдал на почту... Черт... где же тут почтовая бумага?.. Папка пустая, ничего себе, в таком роскошном отеле... Вообще-то позвоню горничной, она принесет... но можно ли вызывать ее в такой час, после девяти, кто знает, вдруг они уже спят, а я трезвоню из-за каких-то листков бумаги, даже смешно... нет, пожалуй, сбегаю вниз и возьму в конторке... Только бы не наткнуться на Эдвина... Тетя права, не надо было его так близко подпускать... Неужели он с другими так же ведет тебя, как сегодня со мной, в машине... все время гладил по коленкам, не пойму, как это я могла допустить... Надо было отодвинуться или оттолкнуть его... мы же знакомы всего несколько дней. Но меня будто парализовало... ужас какая вдруг слабость охватывает, совсем безвольной становишься, когда мужчина вот так прикасается... даже не представляла себе, что вдруг все силы теряешь... Ин-

тересно, у других женщин так же... нет, в этом ни одна не признается, хотя и держатся развязно, и уж такие истории рассказывают... Что-то мне надо было все же сделать, иначе он подумает, что я каждому позволяю хватать себя... или вообразит еще, что сама напрашиваюсь... Жуть, по всему телу мурашки бегали, с головы до пяток... если он так с молоденькой девушкой сделает, представляю себе, она совсем голову потеряет... а как он мне руку сжимал, ужас... ведь у него совсем тонкие пальцы и ногти холеные, как женские, никогда таких у мужчин не видела, но когда он хватает, словно клещи... неужели он так с каждой... Наверное, с каждой... надо обязательно понаблюдать за ним, когда будет танцевать... Ужасно, когда ничего не понимаешь, любая другая в моем возрасте уже во всем этом разбирается и знает, как держаться... Впрочем, Карла рассказывала, как здесь всю ночь двери хлопают... ой, надо закрыть на задвижку... Если бы они честно себя вели, а не просто вокруг да около... знать бы, как это с другими бывает, неужели их тоже захватывает до умопомрачения... Со мной такого никогда не было! Хотя нет, было, года два назад, какой-то элегантный господин заговорил со мной на Веринг-герштрассе, очень похожий на Эдвина, такой же высокий, подтянутый... ничего в этом особенного не было, пригласил, ну поужинала бы с ним... ведь все так знакомятся. Но тогда я боялась, что поздно вернусь домой... всю жизнь не могла отделаться от этого дурацкого страха, считалась со всеми, с каждым... а время уходит, у глаз уже морщинки... Другие, те были умнее, лучше разбирались... В самом деле, ну какая девушка будет торчать в комнате одна, когда внизу свет, веселье... лишь потому, что дядя устал... Ни одна не запрется так рано... а который теперь час?.. Девять, всего девять... нет, наверняка не усну... так вдруг жарко стало... да, открою окно... хорошо как обдувает... вот только бы не простудиться... Ах, опять этот дурацкий страх, вечно будь осторожнее, берегись... Зачем, для чего?.. господи, какое блаженство, прохлада, словно нагишом стоишь и ветерок по всему телу гуляет... а зачем я, собственно, надела красивое платье, для кого?.. все равно сижу в комнате, никто не увидит... Может, все-таки сбегать вниз?.. Надо же взять бумаги или прямо написать там, в конторке... Ничего особенного в этом нет... Брр, какой холодище, пожалуй, закрою окно... И что теперь, рассиживать в кресле?.. Чепуха, сбегаю вниз, сразу согреюсь... А вдруг меня увидит Элкинс или еще кто и завтра расскажут тете?.. Ну и что... Скажу, относила письма портье... и возразить нечего... я же внизу не останусь, только напишу два письма и сразу вернусь... Да, а где пальто? Ах нет, зачем пальто, ведь я задерживаться не буду, разве что цветы взять... нет, они от Элкинса... Ну и пусть, зато подходят к платью... Может, на всякий случай пройти мимо тетиной двери, взглянуть, не спит ли... Ерунда, к чему это?.. Я же не школьница... Вечно этот дурацкий страх! Спрашивать разрешения, чтобы отлучиться на три минуты, чепуха какая... Ладно, пойду...

Торопясь и робея, будто наперегонки с собственной нерешительностью, она сбегает по лестнице.

Из холла, бурлящего людьми и танцевальной музыкой, ей действительно удалось незаметно прошмыгнуть в комнату, где к услугам постояльцев есть все письменные принадлежности. Первое письмо готово, второе вот-вот будет закончено. В эту минуту на ее плечо опускается чья-то рука.

— Вы арестованы. Куда запряталась — надо же ухитриться. Целый час шарю по всем углам, всех расспрашиваю, где фройляйн фон Боолен, надо мной уже смеются, а она тут затаилась, как зайчишка в кустах. Подъем, марш-марш!

За спиной ее стоит высокий, стройный мужчина, и опять она с дрожью ощущает его роковую хватку. Кристина бессильно улыбается, испуганная его внезапным появлением и в то же время польщен-

ная, что за полчаса он успел соскучиться по ней. Но у нее еще есть силы для обороны:

— Нет, сегодня я танцевать не могу, занята. Надо еще написать письма, чтобы отправить с утренним поездом. И потом, я обещала тете, что вечером никуда не выйду. Нет, нет, ни в коем случае. Она очень рассердится, если узнает, что я спускалась в холл.

Делиться секретами всегда опасно, ибо, доверяя секрет постороннему, ломаешь барьер между ним и собой. Ты чего-то лишаешься и тем самым даешь ему преимущество. И правда, страстный, настойчивый взгляд сменяется доверительным:

— Ага, удрали! Без увольнительной. Не бойтесь, не наябедничаю. Но уж теперь, после того как я с ног сбился по вашей милости, я вас так просто не отпущу, и не мечтайте. Сказавший «а» должен сказать и «б». Раз вы пришли сюда без разрешения, то без оного и с нами останетесь.

— Да вы что?! Это невозможно. Вдруг тетя придет. Нет, нет, исключено!

— А мы сейчас документально установим, почивает ваша тетушка или нет. Вы знаете, где их окна?

— Но при чем тут?..

— Очень просто: если в окнах темно, значит, тетя спит. А если уж человек разделся и лег в постель, то он не будет специально вставать, чтобы проверить, послушно ли ведет себя племяшечка... Господи, сколько раз мы удирали из интерната! Хорошенько смажешь ключи от комнаты, от ворот дома и в одних носках крадешься по коридору, по лестнице... Такой вечерок казался в семь раз веселее, чем официально дозволенный... Итак, вперед, в разведку!

Кристина невольно улыбнулась. Как легко и просто решаются здесь все проблемы, любые трудности! Словно проказнице-девчонке, ей вдруг захотелось провести за нос слишком уж суровых стражей. Только не торопись уступать, подсказывает ей внутренний голос.

— Ничего не получится, у меня нет с собой пальто. Не могу же я вот так, на мороз.

— Найдется замена. Минутку.— Он бежит в гардероб и возвращается со своим мягким, ворсистым полупальто.— Пожалуй, подойдет, надевайте.

Но ведь я должна... думает Кристина и тут же забывает о том, что она, собственно, должна,— ее руку уже всунули в мягкий рукав, так что сопротивляться теперь вроде поздно,— и она, кокетливо посмеиваясь, закутывается в чужое мужское пальто.

— Нет, не через парадный подъезд,— говорит он с улыбкой,— вот сюда, в боковую дверь, сейчас мы прогуляемся под тетиным окошком.

— Но только на минутку,— говорит она и, едва ступив в темноту, ощущает, как он уверенно взял ее под руку.

— Так где окна?

— На третьем этаже, слева, вон та угловая комната с балконом.

— Темно, совершенно темно, ура! Ни малейшего просвета, дрыхнут вовсю. Так, слушать мою команду: сначала — назад, в холл!

— Нет, ни в коем случае! Если меня увидит лорд Элкинс или кто еще, завтра же передадут дяде с тетей, а они и без того на меня сердиты. Нет, я пойду к себе.

— Ну тогда еще куда-нибудь, в бар, в Санкт-Морице. На машине доедем за десять минут, там вас никто не знает и, стало быть, никто не проболтается.

— Да вы что?! Ничего себе придумали! А если кто-нибудь увидит, как я сажусь с вами в авто,— да весь отель две недели только об этом и будет судачить.

— Не беспокойтесь, предоставьте это мне. Разумеется, вам не подадут машину к парадному подъезду, где уважаемая дирекция отеля

водрузила дюжину трескучих дуговых ламп. Пройдите по этой лесной дорожке шагов сорок, вон туда, в тень, через минуту я подкачу к вам, а через пятнадцать будем в баре. Все, договорились.

И вновь Кристина подивилась тому, как легко здесь все решается. Ее сопротивление наполовину поколеблено.

— Как у вас все просто...

— Просто или не просто, но так оно есть, и так мы сделаем. Я пойду заведу машину, а вы ступайте вперед.

Она еще раз, уже слабее, робко подает голос:

— Но когда же мы вернемся?

— Не позднее полуночи.

— Честное слово?

— Честное слово.

Честное слово мужчины всегда служит женщине перилами, за которые она цепляется перед тем, как упасть.

— Ну хорошо, я полагаюсь на вас.

— Держитесь левой стороны, где нет фонарей, и выходите к шоссе. Через минуту я подъеду.

Шагая в указанном направлении (и почему я так его слушаюсь?), Кристина вдруг подумала: ведь я должна была... должна была... но больше ей ничего не приходит в голову, она не может припомнить, что, собственно, была должна, ибо ее уже захватила новая игра; закутавшись в чужое мужское пальто, она крадется, как индеец в зарослях, ведь это опять что-то новое, небывалое, ни на что не похожее в ее прежней жизни. Лишь несколько мгновений ждет она в тени деревьев, и вот два вспыхнувших луча, словно щупы, пробуя дорогу, двинулись вперед и посеребрили ели, возле которых она стоит; шофер, очевидно, уже заметил ее, так как слепящие фары сразу погасли и массивная черная машина, шурша, затормозила около нее. Тактично погасли и лампочки внутри салона, в непроглядной тьме светился только крохотный синеватый кружочек спидометра.

Во внезапно наступившей после яркого света черноте Кристина ничего не может различить, но тут открывается дверца автомобиля, чья-то протянутая рука помогает ей войти, и дверца захлопывается,— все это происходит фантастически быстро и захватывающе, будто в кино; не успела она перевести дух и вымолвить хоть слово, как машина резко трогает с места, Кристина невольно откидывается назад и попадает... в объятья. Она противится, испуганно показывая на спину шофера, который этаким монументом застыл за рулем,— она стесняется свидетеля, а с другой стороны, чувствует себя благодаря его присутствию защищенной от любой крайности. Но мужчина, сидящий рядом, не отвечает ни слова. Она лишь ощущает, что ее горячо и настойчиво обнимают, ощущает его ладони на своих пальцах, плечах, груди, а вот уже и его рот — жаркий, влажный — жадно ищет ее губы, и те постепенно поддаются властному напору. Неосознанно она ждала и желала всего этого — этих крепких до боли объятий и лавины поцелуев, обжигающих ее плечи, шею, щеки, а то, что в присутствии свидетеля приходится вести себя тихо, почему-то лишь усиливает упоение этой пылкой игрой. Закрыв глаза, безвольно и бессловесно, она всем существом отдается ненасытным губам, впивающим ее дыхание и слабые стоны, и впервые с наслаждением познает страсть поцелуев. Сколько это длится, она не замечает, все происходит словно вне пространства и времени и сразу резко обрывается, когда шофер, дав предупредительный гудок, въезжает на освещенную улицу и останавливается у бара большого отеля.

Кристина вылезает из машины, растерянная, сконфуженная, быстро оправляет смятое платье и растрепавшиеся волосы. Она смущенно оглядывается — не заметил ли кто, но нет, никто не обратил на нее внимания в полутемном переполненном баре. Ее учтиво проводят к столику. И вот ей открывается нечто новое: какой непроницаемой

тайной может быть жизнь женщины, как под маской светских манер можно ловко скрыть даже самое страстное возбуждение. Она никогда не поверила бы, что, еще пылая от его поцелуев, сможет вот так открыто, спокойно, сдержанно сидеть возле него и вести непринужденную беседу с его хорошо выглаженной манишкой, а ведь несколько минут назад эти губы впивались в нее, касаясь стиснутых зубов, ее сжимали в бурных объятиях, и ни один человек здесь об этом даже не догадывается. Сколько женщин вот так же притворялись передо мной, подумала она со страхом, сколько из тех, кого я знала дома и в деревне. Все были двуличными, пяти-двадцатиличными, все вели жизнь открытую и тайную, а я, доверчивая дура, еще ставила их, скромниц, себе в пример. Кристина почувствовала, как под столом к ее ноге многозначительно прижалось его колено. Она тотчас взглянула ему в лицо, будто увидев его впервые,— загорелое, энергичное, с резкими чертами и властным ртом под тонкими усиками, и ощутила его пытливый, проникающий взгляд. Все это невольно вызвало в ней чувство гордости. Этот сильный, мужественный человек хочет меня, меня одну, и никто об этом не знает, только я.

— Потанцуем? — спрашивает он.

— Да,— соглашается она, и это «да» значит гораздо больше.

Впервые ей мало танца, умеренное соприкосновение — лишь нетерпеливое предчувствие более страстных и безудержных объятий; она вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать себя.

Кристина поспешно выпивает один коктель, второй, охлаждая губы, горячие то ли от полученных поцелуев, то ли от тех, которых она еще жаждет. Наконец, ей надоело сидеть среди толпы.

— Пора домой,— говорит она.

— Как ты хочешь.

В первый раз он говорит ей «ты», это действует на нее как нежный толчок в сердце, и, войдя в машину, она, само собой разумеется, падает в его объятия. Поцелуи теперь прерываются настойчивой речью. Она должна заглянуть к нему, всего на часок, ведь их номера на одном этаже, никто не увидит, вся прислуга уже спит. Его страстные мольбы проникают в нее словно огонь. Еще успею отбиться, думает она в полузабытьи, захлестнутая жаркой волной, и лишь молча внимает словам, которые впервые в жизни слышит от мужчины.

Ее доставляют на то же место, откуда увезли. Так же неподвижна, как и прежде, спина шофера, когда Кристина выходит из машины. Она в одиночестве направляется к отелю — фонари у подъезда уже потушены — и быстро проходит через вестибюль; она знает, что он наверняка следует за ней, уже слышит его шаги по лестнице: он легко, по-спортивному прыгает через две ступеньки — вот уже совсем близко.

Сейчас догонит, чувствует она, и ее вдруг охватывает дикий, безумный страх. Она пускается бегом, оставляя преследователя позади, влетает в дверь и молниеносно запирает задвижку. И, упав в кресло, блаженно переводит дух: спасена!

Спасена, спасена! Кристина все еще дрожит: еще немного — и было бы поздно, ужас до чего я стала слабой, неуверенной, любой мог бы взять меня в такую минуту, такого со мной никогда не бывало. Ведь всегда держала себя в руках... ужас как от этого нервничаешь, ну просто вся расстраиваешься. Счастье, что хватило сил добежать до комнаты и что успела запереться, а то бог знает что бы еще случилось.

Она проворно раздевается в темноте, сердце у нее громко стучит. И даже потом, когда она, закрыв глаза и расслабленно вытянувшись, лежит в мягкой теплыни пуховиков, по ее телу все еще пробегает дрожь постепенно затихающего волнения.

Глупости, и чего я так перепугалась, на самом деле? Двадцать восемь лет и все берегусь, отказываю, не решаюсь, все чего-то боюсь, жду. Зачем беречь себя, для кого? Ну ладно, в те страшные годы и отец, и мать, и я — все берегли, жалели, экономили, а другие в это время наслаждались жизнью; я никогда не могла решиться ни на что, и какова же награда за все? Так вот увянешь, состаришься и умрешь, не пожив и ничего не узнав, дома опять начнется жалкое прозябание, а здесь есть все, и надо это брать, а я боюсь, запираю дверь, берегусь, как девчонка, глупая трусиха, дура... дура? Может, все-таки открыть задвижку, может... нет, нет, не сегодня. Ведь еще уйма времени, целая неделя, восемь чудесных, бесконечных дней! Нет, больше не буду такой дурой, такой трусихой, надо взять все, всем насладиться, всем-всем...

Вытянув руки, с улыбкой на губах, словно раскрывшихся для поцелуя, Кристина засыпает, не ведая, что это ее последний день, ее последняя ночь в этом высшем свете.

Тот, кто переполнен радостью, не наблюдателен: счастливцы — плохие психологи. Только беспокойство предельно обостряет ум, только ощущение опасности заставляет быть зорче и проницательнее. А Кристина и не догадывалась, что с некоторых пор ее присутствие здесь стало кое для кого причиной беспокойства и опасности. Та сама девушка из Мангейма, энергичная и целеустремленная Карла, чью приятельскую откровенность она доверчиво принимала за чистосердечную дружбу, была крайне озлоблена триумфальным успехом Кристины в обществе. До приезда этой американской племянницы инженер бурно флиртовал с ней и даже намекал на серьезные намерения — возможно, женитьбу. Но ничего окончательного сказано не было, не хватило, пожалуй, нескольких дней и одного подходящего часочка для решающего объяснения. Тут появилась Кристина, что оказалось весьма некстати, ибо с этой поры интерес инженера переметнулся на Кристину: то ли на его расчетливый ум повлиял ореол богатства и аристократическое имя, то ли искрометная веселость девушки и излучаемые ею волны счастья,— во всяком случае, немочка из Мангейма с ревнивым чувством завистливой школьницы и озлобленной женщины поняла, что ей дали отставку. Инженер танцевал теперь почти только с Кристиной и каждый вечер сидел за столиком ван Бооленов. И соперница рассудила, что если она не хочет его упустить, то пора принять экстренные меры. К тому же охотничьим инстинктом тертая девица уже давно почуяла, что в восторженности Кристины кроется что-то странное, не свойственное светскому обществу, и, пока все остальные пленялись обаянием непосредственной натуры, Карла решила проверить свои подозрения.

Начала она с того, что стала шаг за шагом навязываться в задушевные подруги. Днем, на прогулке, она нежно брала Кристину под руку и рассказывала о себе всякие интимности, мешая правду с ложью, чтобы выудить из той что-либо компрометирующее. Вечерами она приходила к ничего не подозревающей девушке в номер, присаживалась к ней на кровать, гладила ее руку, и Кристина, жаждущая осчастливить весь мир, принимала эту сердечную привязанность с благодарным восторгом и откровенно отвечала на все вопросы, не замечая ловушек; она инстинктивно уклонялась лишь от таких, которые касались ее сокровенной тайны. Например, когда Карла поинтересовалась, сколько у них в доме служанок и сколько комнат, Кристина сказала, что теперь, из-за болезни матери они живут в сельской местности в полном уединении, раньше, конечно, было иначе. Однако любопытная недоброжелательница все крепче цеплялась за мелкие ошибки и постепенно нащупала уязвимое место, а именно: что эта пришлая особа, которая своим сверкающим платьем, жемчужными бусами и ореолом богатства грозила затмить ее в глазах Эдвина,

происходит на самом деле не из богатой среды. Кристина невольно оплошала в некоторых деталях светской жизни: она не знала, что в поло играют верхом на лошадях, не знала названий наиболее популярных духов, как «Коти» и «Убиган», не разбиралась в ценах автомобилей, никогда не бывала на скачках; десять или двадцать подобных промашек показали, что она плохо осведомлена в этой области. Скверно обстояло и с образованием по сравнению со студенткой-химиком: ни гимназии, ни языков, то есть Кристина сама чистосердечно признала, что несколько слов и фраз по-английски, выученных в школе, давным-давно забыты. Нет, с элегантной фройляйн фон Боолен что-то не так, надо будет копнуть поглубже. И маленькая интриганка взялась за дело со всей энергией и хитростью юной ревнивицы.

Наконец (два дня ей пришлось говорить, слушать и выслеживать) сыщица ухватилась за ниточку. По роду своих занятий парикмахерши любят поговорить; когда работают только руки, язык редко молчит. Проворная мадам Дювернуа, чей парикмахерский салончик являлся одновременно и главным рынком новостей, колоратурно рассмеялась, когда Карла во время мытья головы справилась о Кристине.

— Ah, la nièce de madame van Boolen, — серебристый смех разливался колокольчиком,— ah, elle était bien drôle à voir quand elle arrivait ici...[1]

У нее была прическа как у деревенской девушки, толстые косы, собранные в пучок шпильками, железными, тяжелыми, мадам Дювернуа даже не знала, что в Европе еще изготовляется такое уродство, две шпильки лежат где-то в ящике, она сохранила их как историческую редкость.

Это был уже вполне четкий след, и маленькая стервочка почти со спортивным азартом двинулась по нему. Он привел к этажной горничной Кристины. Ловкий подход и чаевые развязали горничной язык, и вскоре Карла разузнала все: что Кристина приехала с одним плетеным чемоданчиком, что всю одежду и белье ей срочно купила или одолжила госпожа ван Боолен. Мангеймская студентка выведала малейшие детали, вплоть до зонтика с роговой ручкой. А поскольку злонамеренному человеку всегда везет, она случайно оказалась рядом с Кристиной, когда та осведомлялась у портье о письмах на имя Хофленер; тонкий, нарочито небрежный вопрос и неожиданное разъяснение, что фамилия Кристины вовсе не фон Боолен.

Этого было достаточно, даже с излишком. Пороховой заряд был готов, Карле оставалось лишь правильно подвести запальный шнур. В холле день и ночь, как на посту, сидела вооруженная лорнетом тайная советница Штродтман, вдова знаменитого хирурга. Ее кресло-коляска (старая женщина была парализована) считалось общепризнанным агентством светских новостей, последней инстанцией, которая решала, что допустимо, а что нет; этот разведывательный центр в тайной войне всех против всех работал круглосуточно с фанатичной точностью. К нему и обратилась коварная студентка, чтобы срочно и ловко сбыть ценный груз; разумеется, она притворилась, что делает это из самых добрых побуждений: какая очаровательная девушка эта фройляйн фон Боолен (то есть так ее, кажется, называют в здешнем обществе), да ведь, глядя на нее, нипочем не скажешь, что она из самых низов. И как, в сущности, замечательно со стороны госпожи ван Боолен, что она по доброте выдает эту продавщицу, или кто она там, за свою племянницу, шикарно разодела ее в свои платья и пустила в плавание под чужим флагом. Да, американцы в сословных вопросах мыслят демократичнее и великодушнее нас, отсталых европейцев, которые все еще играют в «высший свет» (тайная советни-

[1] А, племянница мадам ван Боолен. О, она выглядела очень забавно, когда пришла сюда... *(франц.)*

ца вскинула голову, как бойцовый петух), где в конечном счете котируются не только платье и деньги, но образование и происхождение. Естественно, не обошлось без веселого описания деревенского зонтика, и вообще все вредоносно-забавные детали были вверены в надежные руки. В то же утро эта история начала циркулировать по отелю, обрастая, как и всякий слух, всевозможным сором и грязью. Одни говорили, что американцы, мол, часто так делают: возьмут и выдрессируют какую-нибудь машинистку в миллионерши, лишь бы досадить аристократам,— есть даже какая-то пьеса на эту тему; другие утверждали, что она, вероятно, любовница старика или его жены, короче говоря, дела пошли блестяще, и в тот вечер, когда Кристина, ни о чем не ведая, совершала эскападу с инженером, она стала во всем отеле главным предметом обсуждения. Разумеется, каждый, не желая отстать от других, заявлял, что тоже приметил в ней много подозрительного, никто не хотел оставаться в дураках. А так как память охотно прислуживает желаемому, то каждый, кто еще вчера чем-то восхищался в Кристине, сегодня находил это же смешным. И пока она, убаюканная юными грезами о счастье и улыбаясь во сне, продолжала себя обманывать, все уже знали о ее невольном обмане.

Тот, о ком пущен слух, всегда узнает об этом последним. Кристина не чувствует, что она шагает по холлу под перекрестным обстрелом язвительных и шпионящих взглядов. Доверчиво присаживается на самое опасное место, к госпоже тайной советнице, не замечая коварных вопросов — изо всех углов сюда уже направлены любопытные уши,— которые задает ей старая дама. Она почтительно целует седовласой неприятельнице руку и отправляется, как договаривалась, с тетей и дядей на прогулку. Здороваясь по пути со знакомыми, она опять-таки не замечает их легких ухмылок — а почему бы людям не быть в хорошем настроении? Коварство встречает светлый, радостный взор безмятежных глаз, излучающих праведную веру в доброту мира.

И тетя поначалу ничего не замечает; правда, ей в это утро кое-что показалось неприятным, но о причине она не догадалась. В отеле живет супружеская пара силезских помещиков Тренквиц, которые строго придерживаются феодальных правил, общаясь только с высшими классами и безжалостно игнорируя третье сословие. Для ван Бооленов они сделали исключение, во-первых, потому, что те — американцы (то есть своего рода аристократы), вдобавок не евреи, и еще, пожалуй, потому, что завтра должен приехать их второй по старшинству сын Харро, чье имение тяжко обременено закладными и для кого знакомство с американской наследницей может оказаться отнюдь не бесполезным. На десять часов утра они условились с госпожой ван Боолен о совместной прогулке и вдруг (после информации, поступившей от агентства советницы) без каких-либо объяснений передали в половине десятого через портье, что, к сожалению, прийти не могут. Однако, вместо того чтобы объяснить свой запоздалый отказ и хотя бы извиниться, они, проходя в обед мимо столика ван Бооленов, лишь сухо поздоровались.

— Странно,— с подозрением проворчала госпожа ван Боолен, весьма щепетильная в вопросах светского тона.— Чем мы их обидели? Что тут стряслось?

И опять странно: в холле после обеда (Энтони отправился вздремнуть, Кристина писала письмо) никто к ней не подошел. Ведь обычно к ней подсаживаются поболтать Кинсли или другие знакомые, а сейчас словно по уговору все остались за своими столиками, и она сидит одна-одинешенька в глубоком кресле, поражаясь, что никто из приятелей не показывается, а чванный Тренквиц даже не намерен извиниться.

Наконец кто-то подходит, но и он сегодня не такой, как всегда: весь натянутый, чопорный, генерал Элкинс. Как-то странно прячет глаза под усталыми покрасневшими веками, а ведь обычно у него прямой, открытый взгляд, что это с ним? Он чуть ли не церемонно кланяется.

— Вы позволите присесть подле вас?

— Ну конечно, милорд. Что за вопрос?

Она снова удивлена. Он так скованно держится, пристально разглядывает носки своих башмаков, расстегивает сюртук, поправляет складки на брюках. Странно, что с ним? — думает она. Будто готовится произнести торжественную речь.

Но вот старый генерал решительно поднимает тяжелые веки, открыв ясные, светлые глаза, это действительно похоже на всплеск света, на сверкание клинка.

— Дорогая миссис Боолен, мне хотелось бы обсудить с вами кое-что приватное, здесь нас никто не услышит. Но вы должны позволить мне быть вполне откровенным. Я все время раздумывал, как бы вам на это намекнуть, но в серьезных делах намеки не имеют смысла. Когда говоришь о личных и неприятных вещах, надо быть ясным и откровенным вдвойне. Так вот... я чувствую, что мой долг как друга — сказать вам, ничего не скрывая. Вы позволите?

— Ну разумеется.

Видимо, разговор этот дается старому человеку все же не очень легко, он делает еще небольшую паузу — вынимает из кармана курительную трубку и тщательно набивает ее. Причем его пальцы — от возраста или волнения? — почему-то дрожат.

Наконец, подняв голову, он четко произносит:

— То, что я хочу вам сказать, касается мисс Кристианы.

И снова умолкает.

Госпожа ван Боолен слегка испугана. Неужели мужчина, которому почти семьдесят лет, полагает всерьез... Она уже обратила внимание, что Кристина очень занимает его, неужели это зашло так далеко, что он... но лорд Элкинс, устремив на нее пытливый взор, спрашивает:

— Она действительно ваша племянница?

Госпожа ван Боолен чуть ли не оскорблена.

— Разумеется.

— И ван Боолен ее настоящая фамилия?

Вопрос застает госпожу ван Боолен врасплох.

— Нет, нет... она же *моя* племянница, а не мужа, она дочь моей сестры в Вене... Но позвольте, лорд Элкинс, вы ведь наш друг, что означает этот вопрос?

Англичанин сосредоточенно разглядывает трубку, его, кажется, чрезвычайно заинтересовало, равномерно ли горит табак, и он как следует уминает его пальцем. Затем, не меняя согбенной позы и почти не разжимая тонких губ, говорит, словно обращаясь к своей трубке:

— Видите ли... Здесь вдруг возник весьма странный слух, будто... и я почел своим дружеским долгом выяснить, в чем суть дела. После того как вы сказали, что она действительно ваша племянница, вопрос для меня исчерпан. Я был убежден, что мисс Кристиана не способна на ложь, меня лишь... ну, понимаете, здесь болтают довольно странные вещи.

Госпожа ван Боолен, побледнев, ощутила дрожь в коленях.

— Что... скажите откровенно... что говорят?

Трубка, кажется, постепенно раскурилась, вспыхнул алый кружочек.

— Вы знаете, общество вроде здешнего, которое в сущности является случайным, всегда ригористичнее, чем общество постоянное. Этот двуличный болван Тренквиц, например, считает для себя оскор-

бительным сесть за один стол с человеком, у которого нет ни дворянского происхождения, ни денег; кажется, именно он и его супруга больше всех орали по вашему адресу: мол, вы позволили себе подшутить над ними — нарядили какую-то мещаночку в шикарные платья и представили ее им под чужим именем как *даму*... будто этот чурбан понимает, что такое настоящая дама. Полагаю, мне не надо подчеркивать, что глубокое уважение и большая... очень большая... искренняя симпатия, которую я питаю к мисс Кристиане, ничуть не уменьшатся, если она в самом деле происходит... из неимущих кругов... пожалуй, у нее никогда бы не было того изумительного чувства радости и благодарности, если б она была избалована роскошью, как этот тщеславный сброд. Так что я лично не усматриваю абсолютно ничего в том, что вы по доброте одарили ее своими платьями, и если я вообще спросил вас, насколько все это верно, то лишь затем, чтобы беспощадно пресечь гнусную болтовню.

Госпоже ван Боолен страх теперь уже перехватил горло, ей пришлось трижды вздохнуть, прежде чем она нашла силы спокойно ответить:

— У меня нет никакого основания, милорд, скрывать от вас что-либо о происхождении Кристины. Мой зять был очень крупный коммерсант, один из самых уважаемых и богатых в Вене (тут она сильно преувеличила), однако в войну, как многие наиболее порядочные люди, он потерял состояние. Семье его пришлось несладко, но из гордости они предпочли работать, нежели пользоваться нашей поддержкой. Вот так случилось, что Кристина теперь на государственной службе, в post office[1]. Надеюсь, это не позор?

Генерал Элкинс с улыбкой поднимает глаза, выпрямляет спину, ему явно легче.

— Вы спрашиваете человека, который сам провел сорок лет на государственной службе. Если это позор, то я разделяю его с вашей племянницей. Теперь, когда мы ясно высказались, давайте хорошенько подумаем, что делать. Я сразу понял, что все их злобные наветы — гнусная ложь, ведь с годами редко полностью ошибаешься в людях, это одно из немногих преимуществ старости. Взглянем на вещи трезво: боюсь, что положение мисс Кристианы будет отныне нелегким, нет ничего мстительнее и коварнее малого круга людей, которому хочется казаться знатным обществом. Такой спесивый олух, как Тренквиц, еще лет десять не простит себе, что был любезным с какой-то почтовой служащей, это будет донимать старого дурака хуже зубной боли. Не исключено, что и остальные будут допускать по отношению к вашей племяннице бестактности, по меньшей мере холодность и неприязнь она почувствует. Мне хотелось бы помешать этому... ведь я, как вы, наверное, заметили, очень ценю мисс Кристиану... очень... и я был бы счастлив избавить ее, такую доверчивую, от разочарований.

Лорд Элкинс умолк и задумался, его лицо опять вдруг становится старым и мрачным.

— Но удастся ли мне защитить ее надолго... этого я обещать не могу. Это зависит от... обстоятельств. Во всяком случае, я желаю наглядно показать чванным господам, что ценю ее больше, чем их денежную знатность, и что тот, кто позволит себе какую-нибудь грубость по отношению к ней, будет иметь дело со мной. Есть шутки, которых я не терплю, и пока я здесь, пусть эти шутники поостерегутся.

Он резко поднимается, решительный, молодцеватый, каким госпожа ван Боолен никогда его не видела.

— Вы позволите,— спрашивает он учтиво,— пригласить сейчас вашу племянницу на автопрогулку?

— Ну конечно.

Поклонившись, он направляется — госпожа ван Боолен прово-

[1] Почтовое ведомство, контора *(англ.)*.

жает его озадаченным взглядом — к конторке, щеки у него порозовели, как от сильного ветра, кулаки сжаты.

Что он задумал? Госпожа ван Боолен смотрит ему вслед словно загипнотизированная.

Кристина, занятая письмом, не слышит его шагов. Он видит склоненную над столом голову, красивые светлые волосы, видит облик девушки, которая пробудила в нем давно угаснувший пыл. Бедняжка, думает он, совсем беззаботная, ни о чем не знает, а ведь они, выбрав момент, нападут на тебя, и никто тебе не поможет. Он легко дотрагивается до ее плеча.

Кристина удивленно оглядывается и тотчас встает: она всегда, с момента знакомства, испытывает потребность оказывать этому необыкновенному человеку видимые знаки почтения. Он с усилием заставляет себя улыбнуться:

— Я к вам с просьбой, милая фройляйн Кристиана. Мне сегодня что-то нездоровится, с самого утра болит голова, не спится, не могу читать. И я подумал, может, на свежем воздухе станет лучше, проедусь куда-нибудь на машине, и, пожалуй, будет совсем хорошо, если вы составите мне компанию. Ваша тетушка разрешила пригласить вас. Так что, если вы согласны...

— Ну конечно... с удовольствием... это для меня честь...

— Тогда пойдемте.

Он церемонно предлагает ей руку. Кристина удивлена и немного сконфужена, но как можно отказаться от такой чести! Твердо, уверенно и неторопливо лорд Элкинс идет с ней через весь холл. На каждого встречного он бросает зоркий быстрый взгляд, что обычно ему несвойственно; всем своим видом он явно грозит: не трогайте ее! Всегда любезный, приветливый, он проходит мимо других молчаливым серым силуэтом, так что его едва замечаешь, но сейчас он с вызовом пристально смотрит в каждый встречный зрачок. Все сразу поняли демонстративность этого шествия рука об руку.Тайная советница виновато уставилась на них, Кинсли почти с испугом поздоровались, увидев, как бесстрашный, убеленный сединами паладин, холодно поглядывая, шагает с молодой девушкой; она — гордая и счастливая, не подозревающая ничего дурного, он — с жесткой командирской складкой у рта, словно идущий во главе полка в атаку на окопавшегося противника.

Когда они выходят из отеля, у дверей их случайно встречает Тренквиц и, растерявшись, здоровается. Лорд Элкинс подчеркнуто скользит мимо него, поднимает руку и, не донеся ее до шляпы, небрежно опускает, словно отвечая на угодливый поклон официанта. Жест, полный крайнего презрения, это похоже на пощечину. Он сам открывает дверцу автомобиля и, сняв шляпу, помогает Кристине войти; с таким же почтением он в свое время помог сесть в машину невестке английского короля, когда она прибыла с визитом в Трансвааль.

Госпожа ван Боолен испугалась тактичного сообщения лорда Элкинса гораздо сильнее, чем это было заметно по ней, ибо он, не подозревая того, задел самое больное ее место. Глубоко в сумраке сознания, где запрятано то, в чем признаешься себе наполовину и что хочется забыть, в том подземелье, куда собственное «я» соскальзывает лишь против воли, с содроганием, так вот там у Клер ван Боолен, давно обуржуазившейся заурядной дамы, затаился многолетний неискоренимый страх, который изредка оживает в кошмарных снах: страх, что раскроется ее прошлое. Ибо тридцать лет назад, когда хитроумно удаленная из Европы манекенщица Клара, встретив ван Боолена, собралась за него замуж, у нее недостало мужества признаться этому честному, но несколько ограниченному человеку, из какого мутного источника явился небольшой капитал, который она отдала в качестве своего приданого. Она, не задумываясь, совра-

ла ему, что эти две тысячи долларов унаследовала от деда, и доверчивый влюбленный муж за все годы супружеской жизни ни на минуту не усомнился в правдивости ее слов. При его флегматичном добродушии опасаться было нечего, но чем выше поднималась Клер по социальной лестнице, тем больше и больше пугала ее навязчивая мысль, что из-за какой-нибудь глупой случайности, неожиданной встречи, анонимного письма может вдруг всплыть давнишняя история. Поэтому она годами с маниакальным упорством избегала встреч с соотечественниками. Когда муж хотел представить ей какого-нибудь компаньона или заказчика из Вены, она уклонялась от беседы и, как только научилась бегло говорить по-английски, отказалась понимать немецкий. Она решительно прервала переписку с родными, ограничиваясь даже в самых важных случаях краткими телеграммами. Однако страх не уменьшался, напротив, чем прочнее она чувствовала свое положение в американском обществе, чем больше приспосабливалась к его строгим обычаям, тем чаще нервничала, боясь, что случайные, небрежно брошенные слова раздуют в пламя опасную искру, тлеющую под золой забвения; стоило какому-нибудь гостю упомянуть за столом, что он долгое время жил в Вене, и она не спала всю ночь, ощущая жжение этой искры в груди. Потом грянула война, которая одним махом отодвинула все былое в недосягаемую, почти мифическую даль. Газеты и журналы тех лет истлели, у людей появились иные заботы и темы для разговоров; все миновало, все забылось. Подобно тому как осколок снаряда постепенно инкапсулируется в ткани — поначалу он еще причиняет боль при смене погоды, но со временем теплая плоть перестает ощущать его как что-то инородное,— так и она, ведя здоровый образ жизни, богатая, счастливая, забыла о щекотливом эпизоде своей молодости; мать двух сыновей-молодцов, временами помощница мужу в делах, член филантропического союза, вице-президент общества содействия вышедшим на свободу заключенным, она пользовалась уважением и почетом во всем городе; ее долго сдерживаемые честолюбивые замыслы смогли наконец воплотиться также в новом доме, где охотно бывали самые знатные семейства. Но главным было то, что постепенно она сама забыла о грехе молодости. Наша память подкупна, она идет на поводу у желаемого, и намерение мысленно устранить какую-то неприятность медленно, но верно осуществляется; манекенщица Клара окончательно умерла в безупречной супруге торговца хлопком ван Боолена. Она настолько забыла о том эпизоде, что, едва сойдя на европейский берег, немедленно отправила сестре письмо с приглашением повидаться. Теперь же, когда из непостижимого коварства начали расследовать происхождение ее бедной племянницы, почему бы и не предположить, что заодно поинтересуются ею самой и станут выяснять ее происхождение? Страх — как кривое зеркало, в котором любая случайная черта отражается чудовищно увеличенной и карикатурно четкой, и воображение, стоит только его подстегнуть, выискивает несуразнейшие варианты. Самое абсурдное вдруг видится ей вполне возможным, и она с ужасом задумывается: в ресторане отеля за соседним столиком сидит какой-то старый господин из Вены, директор коммерческого банка, лет семидесяти или восьмидесяти, по фамилии Лёви. Клер внезапно припоминает, что девичья фамилия жены ее умершего покровителя как будто тоже была Лёви...что, если она сестра или кузина этого директора?.. Ведь он (а старики любят поболтать о скандальных историях времен своей молодости) по какому-нибудь намеку легко может вмешаться в разговоры. Клер даже похолодела от этой мысли, а страх продолжал коварно нашептывать: старик Лёви необычайно похож на жену ее покровителя, такие же мясистые губы, такой же крючковатый нос... Доведя себя чуть ли не до бредового состояния, Клер уже не сомневается, что Лёви — брат той женщины и, конечно, узнает бывшую манекенщицу,

разворошит старую историю, на радость Кинсли и Гугенгхаймам, а на следующий день Энтони получит анонимное письмо, которое разом перечеркнет тридцать лет благополучного брака.

Клер ухватилась за спинку кресла, ей показалось, что она теряет сознание; но тут же с силой отчаяния оттолкнулась от кресла. Ей стоило большого напряжения пройти мимо столика Кинсли и любезно поздороваться. Те дружески улыбнулись в ответ по американскому стереотипу, который она сама тоже давно усвоила. Но навязчивый страх внушает Клер, что Кинсли улыбнулись как-то иначе — коварно, иронически, вероломно что-то затаив; неприятным показался ей даже взгляд мальчика-лифтера и то, что встретившаяся в коридоре горничная случайно не поздоровалась с ней. Обессиленная, словно ей пришлось пробираться по глубокому снегу, Клер наконец распахнула спасительную дверь.

Ее супруг, только что поднявшийся после сиесты, стоит перед зеркалом и причесывается; воротник расстегнут, подтяжки переброшены через плечо, лицо еще помятое от лежания.

— Энтони,— говорит она, переводя дух,— нам надо кое-что обсудить.

— Ну что там еще? — Смазав бриолином гребешок, он расчесывает волосы на пробор, стараясь сделать это с геометрической точностью.

— Кончай, пожалуйста.— Ее терпение иссякло.— Надо спокойно все продумать. Дело очень неприятное.

Давно привыкший к темпераментным излияниям своей супруги, флегматик ван Боолен, как всегда, не склонен горячиться и принимать опрометчивые решения.

— Так уж очень? — спрашивает он, по-прежнему глядя в зеркало.— Надеюсь, не депеша от Дикки или Элвина?

— Нет. Да прекрати же наконец! Одеться потом успеешь.

— Ну? — Энтони кладет расческу и покорно усаживается в кресло.— Что там?

— Случилось ужасное. Кристина то ли вела себя неосторожно, то ли совершила еще какую глупость, короче — все открылось, весь отель судачит об этом.

— А что, собственно, открылось?

— Ну как же — с платьями! Что она носит мои платья, что приехала сюда обыкновенной продавщицей, а мы разодели ее с головы до ног и выдаем за благородную даму... чего только не болтают... Теперь ты понимаешь, почему Тренквицы избегают нас... конечно, их взбесило, ведь они на что-то рассчитывали со своим сыном и думают, что мы им наврали... Теперь мы оказались в неловком положении перед всем отелем. Что-то натворила эта недотепа! Боже, какой позор!

— Почему позор? У всех американцев есть бедные родственники. Мне и в голову не придет разглядывать в лупу племянников Гугенгхаймов, Роски или этих Розенштоков, которые из Ковно; держу пари, вид у них куда беднее. Не понимаю, почему должно быть позорным, если мы ее прилично одели.

— Потому...— нервничая, Клер повышает голос,— потому, что они правы, ведь сразу видно, если кто-то пришелся здесь не ко двору, не из их общества... ну, тот, кто не умеет вести себя так, что незаметно, откуда он... Это ее вина; если б она не повела себя вызывающе, держалась так же скромно, как вначале, то никто ничего бы не заметил... Но она все время носится туда-сюда, всегда лезет вперед, хочет быть везде первой, во все ей надо вмешаться, со всеми переговорить... С каждым готова подружиться... и неудивительно, что у всех, в конце концов, возникает вопрос: кто она такая, собственно, откуда, и вот... и вот в результате скандал. Все только о ней говорят и потешаются над нами... болтают ужасные вещи.

Энтони весело смеется:

— Пусть болтают... мне это безразлично. Она славная девушка и нравится мне, несмотря на все. Бедная она или нет, никого не касается. Я никому здесь не должен ни цента, и мне наплевать, считают они нас знатными или нет. Если мы кому-то не по нраву, пусть пеняет на себя.

— А вот мне совсем не безразлично, да, да! — Клер, сама того не замечая, говорит еще громче и пронзительнее.— Я не потерплю, чтобы обо мне сплетничали, будто я одурачила всех и выдала бедную Золушку за герцогиню. Не позволю, чтобы какой-то Тренквиц вел себя со мною по-хамски: мы его приглашаем, а он посылает к нам портье вместо того, чтобы лично извиниться. Нет, я не собираюсь ждать, пока все отвернутся от нас, этого мне не надо. Видит бог, я приехала сюда ради удовольствия, а не для того, чтобы злиться и нервничать. Нет уж, увольте.

— И что же,— он слегка зевнул, прикрыв рот рукой,— ты предлагаешь?

— Уехать!

— Как? — Грузный, невозмутимый, он прямо подскакивает в кресле, будто ему отдавили ногу.

— Да, уехать, завтра же, с утра. Они заблуждаются, если думают, что я стану ломать перед ними комедию, объяснять, что и почему, а в конце концов еще и извиняться... Будь это еще другая публика, а не такие, как Тренквиц и ему подобные... Здешнее общество меня так и так не устраивает, исключая лорда Элкинса, это какое-то случайное сборище, сплошная скука и серость, и уж перемывать мне косточки не их ума дело. Кроме того, я здесь неважно себя чувствую, две тысячи метров высоты не для меня, я вся изнервничалась, ночами не сплю... ты, конечно, не замечаешь этого, ложишься и тут же засыпаешь, мне бы твои нервы, всю неделю мечтаю выспаться. Мы уж три недели здесь — более чем достаточно! Что касается девочки, мы выполнили свой долг по отношению к Мэри с избытком. Мы ее пригласили, она отдохнула и повеселилась, даже слишком, и хватит. Мне не в чем себя упрекнуть.

— Но куда... куда же ты собираешься?

— В Интерлакен! Там не так высоко, к тому же там Линсеи, с которыми мы так хорошо провели время на пароходе. Очень милые люди, в самом деле, не то что эта разношерстная компания... кстати, позавчера я получила от них письмо, зовут нас. Если рано утром выедем, к обеду уже будем с ними.

Энтони еще сопротивляется:

— Вечно у тебя все вдруг! Ну зачем ехать в такую рань? У нас же есть время!

Но вскоре он уступает. Он всегда уступает, зная по долгому опыту, что Клер, если чего-то сильно хочет, непременно добивается своего, и всякое сопротивление — лишь напрасная трата сил. Вдобавок ему все равно. Тот, кто находит отдых в самом себе, не слишком остро воспринимает окружающий мир; сидит ли он за покером с Линсеями или с Гугенхаймами, называется ли гора за окном Шварцхорн или Веттерхорн, а отель «Астория» или «Палас», старому флегматику в сущности безразлично, ему лишь бы не спорить. Прекратив борьбу, он терпеливо слушает, как Клер по телефону отдает распоряжения портье, поглядывает, забавляясь, как она поспешно вытаскивает чемоданы и с непонятным азартом укладывает одежду, потом он закуривает трубку и отправляется на карточную игру; тасуя и сдавая карты, он больше не думает ни об отъезде, ни о жене и менее всего о Кристине.

В то время как в отеле и чужие люди, и родственники Кристины возбужденно обсуждают ее появление и необходимость отъезда, серый автомобиль лорда Элкинса бороздит ветреную синеву высокогорной долины; ловко и отважно спускаясь по белому серпантину в Нижний Энгадин, он приближается к Шульс-Тараспу. Пригласив девушку,

лорд, собственно говоря, намеревался публично взять ее под свою защиту и после недолгой прогулки привезти назад; но, видя ее рядом с собой, оживленную, разговорчивую, с беззаботными глазами, в которых отражалось все небо, он решает, что нет смысла укорачивать ей, да и себе радостные часы, и потому велит шоферу ехать дальше и дальше. Не надо торопиться, узнать все равно успеет, думает старик, с неодолимым чувством нежности поглаживая ее руку. Вообще-то стоило бы предупредить ее заранее, осторожно, исподволь подготовить к тому, чего ей следует ждать от этого общества, чтобы внезапное охлаждение к ней причинило меньшую боль. Он как бы невзначай намекает на злобный характер тайной советницы и тактично предостерегает о коварстве приятельницы-немочки; но наивная, доверчивая душа со всем пылом юности заступается за своих лютых врагов: она же такая добрая, старая советница, принимает такое искреннее участие во всем, а немочка из Мангейма — лорд Элкинс и не подозревал об этом,— какая она смышленая, веселая, остроумная, просто она, видимо, робеет в его присутствии. И вообще, все здесь такие чудесные, веселые, такие доброжелательные к ней. Кристине, в самом деле, порой даже совестно за то, что ей все это досталось.

Старик сосредоточенно разглядывает кончик своей трости. Со времен войны у него сложилось суровое мнение о людях и нациях: он обнаружил, что все они эгоистичны и не задумываются о том, что бывают несправедливы к другим. В кровавом болоте Ипра и в известняковом карьере под Суассоном (где погиб его сын) навсегда погребен идеализм его юности, воспитанный на лекциях Джона Стюарта Хилла и его учеников, веровавших в моральную миссию человечества и духовный расцвет белой расы. Политика вызывает у него отвращение, равнодушная атмосфера клуба и натянутость официальных банкетов опротивели ему. После смерти сына он избегает новых знакомств; в собственном поколении его злит упрямое нежелание признать правду и неспособность жить новым временем, а не довоенным, молодое же поколение раздражает своим легкомыслием и нахальным всезнайством. Встретив Кристину, он впервые опять почувствовал, что у человека есть вера, есть неуловимая и святая благодарность только за саму молодость, и, общаясь с ней, понял, что разочарование в жизни, которое с болью испытывает одно поколение, остается, к счастью, непонятным и недействительным для последующего и с каждой новой юностью переживается заново. «Она поразительно умеет быть благодарной за самое малое,— думает он радостно, и ему, как никогда еще, страстно, мучительно захотелось погреться возле живительного огонька и, кто знает, быть может, удержать его для себя.— Несколько лет я смогу ее оберегать,— думает он,— и она, возможно, никогда или только когда-нибудь узнает о подлости общества, которое пресмыкается перед именитым и презирает бедного. Ах,— он любуется, как, по-детски приоткрыв рот и зажмурившись, она глотает свистящий горный воздух,— еще хотя бы несколько лет молодости, и с меня хватит». И пока она, снова повернувшись к нему, весело болтает, он слушает ее лишь краем уха, обдумывая с внезапно охватившей его решимостью, как бы поделикатнее в этот час, который может и не повториться, завести речь о совместном будущем.

В Шульс-Тараспе они выпили чаю. Потом, сидя на парковой скамейке, лорд Элкинс осторожно, обиняками, приступил к делу. В Оксфорде у него две племянницы, примерно ее возраста, если она захочет приехать в Англию, то сможет пожить у них; ему доставит удовольствие пригласить ее к ним, ну а потом, если, конечно, ей не будет в тягость общество старого человека, он будет счастлив показать ей Лондон. Правда, он не уверен, есть ли у нее возможность вообще покидать Австрию, не связана ли она чем-нибудь дома, он имеет в виду: душевно связана. Вопрос поставлен ясно. Однако Кристина в своей восторженности не поняла его. О нет, ей очень хочется по-

смотреть мир, и Англия, говорят, замечательная, она так много слышала об Оксфорде с его гребными гонками, ведь нет другой страны, где так любят спорт, где так прекрасно быть молодым.

Лицо старика омрачилось. Ни слова она не сказала о нем самом. Думала только о себе, о своей молодости. Решимость снова покинула его. Нет, думает он, это преступно — заточить молодое существо, в котором жизнь бьет ключом, в древний замок, к старому человеку. Нет, не дожидайся отказа, не будь смешным! Простись с этим, старик! Не воротишь! Поздно!

— Не пора ли нам вернуться? — спрашивает он изменившимся вдруг голосом.— Боюсь, ваша тетушка будет беспокоиться.

— Хорошо,— отвечает она и с восторгом добавляет: — Ах, было так чудесно, здесь все так бесподобно красиво.

Он садится в машину рядом с ней; на обратном пути старик больше молчит, грустя о ней, грустя о себе. Но она не догадывается, что происходит в нем, и не подозревает, что произойдет с ней; раскрасневшиеся щеки подставлены свистящему ветру, ясный взгляд устремлен на пейзаж.

Когда они вышли из машины, в отеле только что прозвучал гонг. Благодарно пожав почтенному человеку руку, Кристина бежит наверх переодеться: теперь это уже стало у нее привычкой. В первые дни занятие туалетом всякий раз вызывало страх, напряжение, озабоченность и в то же время было веселой, волнующей игрой. Всякий раз она дивилась в зеркале какому-то новому, наряженному существу, в которое неожиданно преображалась. Теперь же для нее быть каждый вечер красивой и элегантной — нечто само собой разумеющееся. Несколько движений — платье легкой цветной волной стекает по тугой груди, уверенный мазок по красным губам, волосы откидываются назад, шаль набрасывается на плечи, и она готова, в заемной роскоши она чувствует себя столь же естественно, как в собственной коже! Еще один взгляд через плечо в зеркало: хорошо! Довольна! И она мчится к тете звать ее на ужин.

Но, открыв дверь, она в изумлении застывает: в комнате, отличавшейся педантичным порядком, царит полнейший хаос, на полу раскрытые чемоданы, на стульях, на кровати, на столе разбросаны шляпы, туфли и всевозможная одежда. Тетя в домашнем халате, склонясь над чемоданом, пытается коленом закрыть упрямую крышку.

— Что... что случилось? — удивляется Кристина.

Тетя намеренно не поднимает глаз и с раскрасневшимся лицом продолжает ожесточенно давить на чемодан. Пыхтя и чертыхаясь, она отвечает:

— Мы... о черт!.. Ты закроешься или нет?.. Мы уезжаем.

— Да?.. Почему? — Рот у Кристины невольно открывается.

Тетя еще раз бьет по замку, наконец он защелкнулся. Тяжело дыша, она распрямляется.

— Да, Кристль, жаль, конечно, я тоже огорчена! Но ведь я с самого начала говорила Энтони, что он плохо перенесет высокогорье. Для пожилых людей это не годится. Днем у него опять был приступ астмы.

— Боже мой! — Кристина устремляется навстречу старику, который, ни о чем не подозревая, выходит в эту минуту из смежной комнаты. Дрожа от испуга, она с пылкой нежностью берет его за руки.— Как ты себя чувствуешь, дядя? Тебе лучше? Господи, если б я знала, никуда бы не поехала! Но сейчас ты хорошо выглядишь, честное слово, тебе лучше, да?

В полной растерянности он смотрит на нее: испуг ее неподделен. Она совершенно забыла о себе. И еще не осознала, что должна уезжать. Только одно поняла: что добрый старый человек болен. И испугалась за него, не за себя.

Энтони, как всегда невозмутимый и уж совсем не хворый, испытывает неловкость от столь искреннего опасения за его здоровье и ласкового участия. Он начинает догадываться, в какую отвратительную комедию его втянули.

— Ну что ты, деточка,— бурчит он (черт побери, почему Клер все валит на меня?),— ты же знаешь Клер, она вечно преувеличивает. Я чувствую себя вполне здоровым, и, если б от меня зависело, мы бы остались.— И, скрывая досаду на жену, поставившую его в ложное, не совсем еще понятное ему положение, он почти грубо добавляет: — Клер, да брось ты наконец эту возню с чемоданами, будь они прокляты, время еще есть. Давай посидим спокойно последний вечер с нашей доброй девочкой.

Клер тем не менее продолжает возиться и молчит, видимо опасаясь неизбежных объяснений. Энтони в свою очередь (пусть сама выпутывается, я тут ни при чем) сосредоточенно смотрит в окно. Между обоими, как нечто ненужное и тягостное, молча и растерянно стоит Кристина. Что-то случилось, она это чувствует, что-то, чего она не понимает. Ярко сверкнула молния, Кристина с бьющимся сердцем ждет грома, а его все нет и нет, но ведь он должен быть. Она не осмеливается спросить, боится подумать, однако каждым нервом чувствует: случилось что-то скверное. Может, они поссорились? Может, плохие вести из Нью-Йорка? Что-то на бирже, какие-нибудь дела, банкротство, об этом сейчас каждый день пишут газеты. Или у дяди действительно был приступ и он молчит только, чтобы меня не тревожить? Стою как истукан и не знаю, что мне тут делать. Но ничего не меняется, по-прежнему молчание, молчание; тетя продолжает суетиться, дядя беспокойно шагает взад-вперед, а в груди Кристины гулко колотится сердце.

Вот оно — избавление! — раздается стук в дверь. Входит коридорный, за ним второй с белой скатертью, салфетками и приборами. К удивлению Кристины, они убирают со стола курительные принадлежности, покрывают его скатертью и расставляют приборы.

— Ты знаешь,— говорит наконец тетя,— Энтони решил, что будет лучше поужинать сегодня в номере. Терпеть не могу эти бесконечные прощания и расспросы — куда, надолго ли, кроме того, я почти все свое упаковала, и смокинг Энтони уже в чемодане. Да и спокойнее нам здесь, уютнее, не правда ли?

Официанты вкатывают столик на колесах и подают кушанья из горячих никелированных кастрюль. Когда эти выйдут за дверь, думает Кристина, должны же мне, в конце концов, все объяснить. Она робко поглядывает на лица близких ей людей: дядя, низко склонившись над тарелкой, усердно орудует ложкой, тетя выглядит бледной и смущенной.

И вот она говорит:

— Ты, наверное, удивлена, Кристль, что мы так быстро решились. Но у нас в Америке все делается quick [1], это одна из хороших привычек, которые там приобретаешь. Главное — не затягивать то, к чему не лежит душа. Не идет какое-то дело — бросай его, начинай новое; неуютно тебе на этом месте — собирай чемоданы, уезжай куда-нибудь еще. Вообще-то я не хотела тебе говорить, потому что видела, как ты здесь превосходно отдохнула, но мы уже давно неважно себя чувствуем, я все время плохо сплю, а Энтони... не выносит этого разреженного воздуха. Да еще вот неожиданно телеграмма пришла сегодня от наших друзей из Интерлакена, ну, мы и решили: съездим туда на несколько деньков, а потом еще в Экс-ле-Бен. Да, у нас... понимаю, тебе это в диковинку... все делается quick.

Кристина наклоняется над тарелкой: лишь бы не смотреть сейчас тете в глаза! Что-то покоробило ее в тоне, в лихости болтовни: в каждом слове звучала какая-то фальшь, какая-то неестественная бодрость.

[1] Живо, проворно *(англ.)*.

За этим наверняка что-то кроется, чувствует Кристина. Должно еще что-то последовать — и следует.

— Конечно, лучше всего, если б ты могла поехать с нами,— продолжает тетя, отделяя от пулярки крылышко.— Но Интерлакен, думаю, тебе не понравится, это не место для молодых людей, и еще вопрос: стоит ли тебе мотаться на два-три денька, которые остались от отпуска, не пойдет ли насмарку вся твоя поправка. Здесь ты замечательно отдохнула, чистый, свежий воздух пошел тебе весьма впрок... да, я всегда говорю, для молодежи ничего нет лучше высокогорья, надо, чтобы Элвин и Дикки разок сюда приехали, а вот для старых, изношенных, отбарабанивших сердец Энгадин-то и не годится. Да, конечно, мы были бы очень рады, ведь Энтони очень к тебе привязался, но, с другой стороны, туда семь часов и обратно семь, для тебя это многовато, в конце концов, на следующий год мы опять сюда приедем... Разумеется, если ты хочешь с нами в Интерлакен...

— Нет, нет,— отвечает Кристина, вернее, отвечают ее губы, машинально, как продолжают считать вслух под наркозом, когда сознание уже давно отключилось.

— Я даже думаю, тебе лучше поехать прямо домой, отсюда есть один необычайно удобный поезд — я справлялась у портье,— отходит около семи утра, завтра вечером будешь в Зальцбурге, а послезавтра дома. Представляю, как мать обрадуется, дочка такая загорелая, посвежевшая, юная, в самом деле, выглядишь ты роскошно, и лучше всего, если ты довезешь себя в таком отдохнувшем виде домой.

— Да, да,— еле слышно капают два слога с губ Кристины. И зачем она еще сидит здесь? Ведь оба явно хотят отделаться от нее, и поскорее. Но почему? Что-то случилось, что-то наверняка случилось. Она машинально продолжает есть, ощущая в каждом куске привкус какой-то горечи, и думает только об одном: «Я должна сейчас что-нибудь сказать, что-нибудь такое легкое, небрежное, чтобы только не показать, что сердце обливается слезами и горло сжимает от обиды, и сказать это как бы между прочим — холодно, равнодушно».

Наконец ей приходит на ум:

— Я принесу сейчас твои платья, мы их сразу уложим.— И она поднимается из-за стола.

Но тетя спокойно усаживает ее обратно.

— Не стоит, деточка, время еще есть. Третий чемодан я уложу завтра. Оставь все у себя в номере, горничная принесет.— И, внезапно устыдившись, добавляет: — Впрочем, знаешь, одно платье, красное, оставь себе, да, мне оно больше не нужно... оно так идет тебе... ну и, конечно, мелочи — свитер, белье, это само собой разумеется. Только два других, вечерних, понадобятся мне еще для Экс-ле-Бен, там, знаешь, непрерывная смена туалетов, кстати, изумительный отель, говорят... и для Энтони, надеюсь, там будет лучше, теплые ванны, и дышать гораздо мягче, и..

Тетя говорит без умолку. Сложное для нее препятствие преодолено. Кристине деликатно внушено, что завтра ей надо уехать. Теперь все опять вошло в привычную колею и покатилось легко, без помех, она весело рассказывает одну за другой разные скандальные истории, приключившиеся в отелях, в поездках, рассказывает об Америке, а Кристина, храня тягостное молчание, с большим трудом выдерживает этот поток крикливо-равнодушной болтовни. Скорее бы конец. И вот, воспользовавшись краткой паузой, она встает.

— Не хочу вас больше задерживать. Пусть дядя отдохнет, да и ты устала от сборов. Может, чем-нибудь помочь тебе?

— Нет, нет.— Тетя тоже поднимается.— Осталась ерунда, сама управлюсь. Да и тебе лучше сегодня лечь пораньше. Ведь вставать-то, думаю, часов в шесть придется. Не обидишься, если мы не проводим тебя на вокзал, а?

— Нет, что ты, зачем же, это ни к чему,— глухим голосом отвечает Кристина, глядя в пол.

— Напишешь мне, как дела у Мэри, правда? Сразу напиши, когда приедешь. Ну а в будущем году, как договорились, опять увидимся.

— Да, да,— говорит Кристина. Слава богу, теперь можно и уходить. Еще один поцелуй дяде, который почему-то до крайности смущен, поцелуй тете, и она — быстрее прочь, быстрее! — идет к двери. Но тут в последний момент, когда она уже взялась за ручку, ее догоняет тетя. Еще раз (и это заключительный удар) страх ударил ее молотом в грудь.

— Кристль, ты сразу же пойдешь к себе, да? Ляжешь и как следует выспишься. Вниз больше не ходи, не то... понимаешь, не то завтра с утра все набегут прощаться... а мы этого не любим... Лучше просто уехать, без долгих церемоний, потом можно послать открытки... а то всякие букеты, проводы... терпеть не могу этого. Значит, вниз ты не пойдешь, сразу в постель. Обещаешь?

— Да, да, конечно,— отвечает Кристина еле слышно и закрывает дверь.

И только по прошествии нескольких недель она вспомнит, что, прощаясь, не сказала им ни слова благодарности.

Едва Кристина закрывает за собой дверь, остатки самообладания покидают ее. Словно подстреленный зверек, который, прежде чем рухнуть замертво, делает по инерции еще несколько нетвердых шагов, так и она, опираясь о стену, плетется до своей комнаты и там падает в кресло, обессиленная, окаменевшая. Она не понимает, что́ с ней случилось. Почти оглушенным сознанием она ощущает только боль от коварно нанесенного удара, но не ведает, кто его нанес. Что-то произошло, что-то совершилось против нее. Ее выгоняют, и она не знает почему.

Она изо всех сил пытается размышлять. Но мозг остается оглушенным. Что-то там смутное, оцепеневшее не дает ответа. И то же оцепенение вокруг нее — стеклянный гроб, еще более страшный, чем темная сырая могила, потому что в нем издевательски яркий свет, ослепительная роскошь, язвительный комфорт и — тишина, леденящая тишина, и никакого ответа на кричащий в ее душе вопрос: «Что я сделала? Почему они прогоняют меня?» Невыносимо думать об этом, выдерживать нестерпимую тяжесть в груди, словно на нее навалился весь гигантский дом со своими стенами, балками, огромной крышей, с четырьмя сотнями жильцов, и еще этот ядовито-ледяной белый свет, и кровать с вышитым пуховым одеялом, зовущая ко сну, и мебель, располагающая к безмятежному отдыху, и зеркало, манящее счастливый взгляд; ей кажется, что она окоченеет, если останется сидеть в этом кресле, или начнет вдруг в приступе ярости бить стекла, или расплачется навзрыд, в голос, так что переполошит весь отель. Нет, надо бежать отсюда! Бежать! Куда... Она не знает. Но главное — прочь отсюда, из этого жуткого удушающего безмолвия.

И внезапно, сама не зная, чего хочет, она вскакивает и выбегает в коридор; позади качается распахнутая дверь, и в свете люстры бесцельно блистают друг перед другом латунь и стекло.

Она спускается по лестнице, как сомнамбула. Обои, картины, ступеньки, перила, вазы, лампы, постояльцы, официанты, горничные — все предметы и лица призрачно плывут мимо. Кое-кто из встречных удивлен: с ней здороваются, а она не замечает. Но взгляд ее незрячий, она не сознает, что́ видит, куда идет и чего хочет, только ноги с необъяснимым проворством несут ее вниз по лестнице.

Оборвался какой-то контакт, который обычно разумно регулирует ее действия, она идет без всякой цели, только вперед, вперед, гонимая невыразимым, безотчетным страхом. У дверей в холл она вдруг резко останавливается; что-то пробуждается в ее сознании, она вспоминает, что здесь танцуют, смеются, весело проводят время, и тут же спрашивает себя: зачем? Зачем я сюда пришла? И об этот вопрос разбивается сила, гнавшая ее вперед. Кристина чувствует, что не может сделать больше ни шагу, но едва она останавливается, как внезапно начинают шататься стены, ковер убегает из-под ног, бешено качаются люстры, описывая какие-то круги. Я падаю, мелькает в ее сознании, падаю. Инстинктивно она хватается за портьеру и сохраняет равновесие. Однако ноги ее не слушаются. Прижавшись всем телом к стене, то открывая, то закрывая глаза, она стоит в оцепенении, тяжело дышит и не может двинуться с места.

В эту минуту инженер-немец, направлявшийся к себе в номер за фотографиями, которые хотел показать одной даме, увидел прижавшуюся к стене странную фигуру, застывшую, с неподвижным, невидящим взглядом; в первое мгновение он не узнал Кристину. Но затем в его голосе вновь зазвучал прежний развязно-игривый тон:

— А-а, вот вы где! Чего ж не заходите в холл? Или выслеживаете какую-нибудь тайну? Но почему... что... что с вами?

Он изумленно уставился на нее.

При первом звуке его голоса Кристина вздрогнула, будто сомнамбула, которую неожиданный оклик поразил словно выстрел. Испуганно вытаращенные глаза, высоко взметнувшиеся брови, рука, заслонившая лицо, как от удара.

— Что с вами? Вам нездоровится?

Кристина пошатнулась, но он успел поддержать ее. В глазах у нее потемнело. Однако, ощутив его руку, человеческое теплое прикосновение, она сразу оживилась.

— Мне надо поговорить с вами... немедленно... только не здесь... не при посторонних... я должна поговорить с вами наедине.

Она не знает, что должна ему сказать, ей необходимо поговорить, поговорить хоть с кем-нибудь, выкричаться.

Зная ее обычно спокойный голос, инженер несколько озадачен столь изменившимся тоном. Вероятно, она больна, размышляет он, ее уложили в постель, поэтому и не пришла, а после решила все-таки спуститься тайком... у нее наверняка жар, по блеску глаз видно. Или истерический припадок, чего только с женщинами не насмотришься... в любом случае прежде всего успокоить, успокоить, не дать ей почувствовать, что считаешь ее больной, делать вид, что согласен на все.

— Ну конечно, с удовольствием, фройляйн,— говорит он ей, как ребенку,— только, пожалуй (лучше, чтобы нас не видели)... пожалуй, выйдем на улицу... на свежий воздух... Вам станет легче... Здесь в холле ужасно жарко топят...

Прежде всего успокоить, успокоить, думает он и, взяв ее под руку, как бы случайно нащупывает на запястье пульс, чтобы проверить, есть ли жар. Нет, рука холодна как лед. Странно, думает он, еще более озадаченный, очень странно.

Перед отелем высоко покачиваются яркие фонари, слева темнеет лес. Там, под деревьями, она стояла вчера, но ей кажется, это было тысячу лет назад, ни одна кровинка в ней не вспоминает об этом. Он осторожно ведет ее туда (лучше, где темно, кто ее знает, что с ней), она безвольно подчиняется. Сначала отвлечь, размышляет он, говорить о чем угодно, не пускаться ни в какие дискуссии, болтать просто так, это успокаивает лучше всего.

— Здесь куда приятнее, не правда ли?.. вот, накиньте мое пальто... ах, какая чудесная ночь... взгляните на звезды... до чего же глупо, что мы целыми вечерами торчим в отеле.

Но дрожащая девушка не слышит его. Что звезды, что ночь, она чувствует только самое себя, только свое, годами заглушаемое, подавляемое «я», которое внезапно, в муках, взбунтовалось и разрывало ее грудь. И тут она, совершенно помимо воли, с ожесточением хватает его за руку.

— Мы уезжаем... завтра... совсем... больше я никогда сюда не приеду, никогда... вы слышите, никогда... нет, я этого не вынесу... никогда больше... никогда...

У нее жар, думает с беспокойством инженер, ее всю трясет, она больна, надо срочно вызвать врача. Пальцы Кристины с еще большей силой впиваются в его руку.

— ...Но почему... не понимаю, почему я так внезапно должна уехать... что-то, видимо, случилось... но что, не знаю. Еще днем они были так милы со мной и ни слова об этом не говорили, а вечером... вечером сказали, что завтра я должна уехать... завтра утром... немедленно, а почему не знаю... почему так вдруг — гонят... гонят... словно выбрасывают в окно ненужную вещь... не понимаю, просто не понимаю... что могло случиться?..

Ах вот что, инженеру все становится ясно. Как раз незадолго до этого ему сообщили сплетни о ван Бооленах, и он невольно испугался: ведь чуть не сделал ей предложение! Теперь он понял, что дядя с тетей в спешном порядке отсылают бедняжку, чтобы она в дальнейшем не причиняла им неудобств. Гром грянул.

Только не поддаваться, быстро соображает он, не связываться. Отвлекать и отвлекать! Он начинает говорить вокруг да около: мол, это, наверное, не окончательно, ее родственники, возможно, еще передумают, и на будущий год...

Но Кристина совсем не слушает и не думает, она хочет избавиться от переполняющей ее боли, она протестует во весь голос, резко, неистово, топая ногой, как беспомощный ребенок в гневе.

— Но я не хочу! Не хочу... Не поеду сейчас домой... что мне там делать, я там больше не выдержу... нет... я там погибну, сойду с ума... Клянусь вам, я не могу, не могу, не хочу... Помогите мне... Помогите!

Это крик утопающего, пронзительный и уже полузадушенный, голос внезапно захлебывается в потоке слез, она сотрясается в безудержных рыданиях.

— Не надо,— просит он, растроганный против своей воли.— Не плачьте! Не надо!

И чтобы успокоить, машинально привлекает ее к себе. Она податливо и как-то вяло и грузно приваливается к его груди. В этой податливости нет радости, только бесконечное изнеможение, невыразимая усталость. Ей хочется всего лишь прислониться к живому человеку, чтобы чья-нибудь рука погладила ее по голове, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной, такой ужасно одинокой и отверженной. Постепенно она успокаивается, судорожные рыдания переходят в тихий плач.

Инженеру весьма неловко. Он, посторонний мужчина, стоит здесь в тени деревьев, всего в двадцати шагах от отеля (в любую минуту их могут увидеть, кто-то пройдет мимо), и держит в объятиях плачущую девушку, ощущая теплое колыхание прильнувшей к нему груди. Его охватывает жалость, а жалость мужчины к страдающей женщине всегда проявляется в нежности, пусть и невольной. Только бы успокоить, думает он, только бы успокоить. Левой рукой (за правую Кристина все еще держится, чтобы не упасть) он, как гипнотизер, гладит ее по голове. Потом, наклонившись, целует волосы, затем виски и, наконец, дрожащие губы. И тут у нее бессвязно вырывается:

— Возьмите меня с собой, заберите меня... Уедем отсюда... куда хотите... куда хочешь... только чтобы не возвращаться... не возвра-

щаться домой... я этого не выдержу... Куда угодно, только не домой... Увезите, куда вам захочется, на любое время... Только увезите! — В лихорадочном возбуждении она трясет его, словно дерево.— Возьми меня с собой!

Инженер испуган. Надо прекратить, думает этот человек практического ума, быстро и решительно прекратить. Как-нибудь подбодрить и отвести в отель, а то дело становится неприятным.

— Да, деточка,— говорит он.— Конечно, деточка... не нужно только спешить... мы все непременно обсудим. До утра есть еще время подумать... может быть, ваши родственники тоже сожалеют и примут иное решение... завтра нам все покажется яснее.

— Нет, не завтра, нет! — настаивает она.— Завтра я должна уехать, рано утром, совсем рано... Они выпроваживают меня... отправляют, как почтовую посылку, срочную, быстро, быстро... А я не позволю, чтобы меня вот так отсылали... не позволю...— И, вцепившись в него еще крепче: — Возьмите меня с собой... сейчас же... сейчас... помогите мне... я... я больше не вынесу.

Пора кончать, размышляет инженер. Только ни во что не ввязываться. Она не в своем уме, не сознает, что говорит.

— Да, да, деточка,— гладит он ее по голове,— само собой разумеется, понимаю... мы обо всем сейчас там поговорим, не здесь, здесь вам нельзя больше оставаться... Вы можете простыть... без пальто, в тонком платье... Идемте, сядем в холле...— Он осторожно высвобождает свою руку.— Ну пойдемте, деточка.

Кристина пристально смотрит на него. Она вдруг сразу перестала всхлипывать. В состоянии охватившего ее отчаяния, когда рассудок не способен что-либо воспринимать, она не расслышала, что он говорит, и ничего не поняла, но ее тело почувствовало, что теплую нежную руку боязливо убирают. Тело первым поняло то, что с испугом только сейчас уловил инстинкт, а за ним осознал и мозг: этот человек покидает ее, он струсил, он опасается, что все здесь хотят ее отъезда, все. Опьянение прошло, она очнулась. Собравшись с духом, она сухо и отрывисто говорит:

— Благодарю. Благодарю, я дойду сама. Извините за это минутное недомогание, тетя права, высокогорный воздух на меня плохо действует.

Он хочет что-то сказать, но Кристина, повернувшись к нему спиной, уходит. Лишь бы не видеть больше его лицо, никого больше не видеть, никого, прочь, прочь, не унижаться больше ни перед кем из этих высокомерных, трусливых, сытых людей, прочь, прочь, ничего у них не брать, никаких подарков, не заблуждаться на их счет, не позволять им себя обманывать, никому из них, никому, прочь, прочь, лучше околеть, лучше сдохнуть где-нибудь в темном углу. Она входит в обожаемый отель, в любимый холл и, проходя мимо людей, как мимо каких-то наряженных, размалеванных фигур, испытывает лишь одно: ненависть. К нему, к каждому здесь, ко всем.

Всю ночь Кристина неподвижно сидит у стола. Мысли угрюмо кружат вокруг одного и того же: все кончено. Острой, отчетливой боли нет, осталась лишь какая-то оцепенелость, но что-то с ней самой происходит, она смутно ощущает подобие боли, как ощущают на операционном столе в первую минуту анестезии жгучее прикосновение ножа, рассекающего тело. Ибо пока она сидит, уставившись взглядом в стол, с ней происходит то, что не осознается еще оцепеневшим рассудком: другое, поддельное существо, та нереальная и все же реальная фройляйн фон Боолен, жившая девять сказочных дней, сейчас в ней отмирает. Она еще сидит в комнате, принадлежащей той, другой, и телесная оболочка ее пока что другая — с ниткой жемчуга на застывшей шее, с ярким мазком кармина на губах, облаченная в любимое, почти невесомое вечернее платье, но вот уже

легкий озноб пробегает от него по коже, оно кажется чужеродным на ней, как простыня на трупе. Ничто здесь, ничто из этого высшего, счастливого мира больше не подходит к ней, все опять, как и в первый день, чужое, полученное взаймы. Рядом стоит кровать с чистым, отглаженным бельем, с нежными пуховиками — тепло и нега в цветочках, но Кристина не ложится в постель: она больше не принадлежит ей. Блестит мебель, тихо дышит ковер, но все это окружение из латуни, шелка и стекла она больше не воспринимает как свое, как перчатку на руке и жемчуг на шее,— все принадлежит той, другой, той убитой «двойнице», Кристиане фон Боолен, каковой она больше не является и тем не менее остается. Вновь и вновь пытается она отделиться от своего искусственного «я», возвращаясь к настоящему, заставляет себя думать о матери, больной или уже мертвой, но как ни насилует она себя, ей не удается вызвать в душе ни тревогу, ни боль; лишь одно чувство переполняет ее — злоба, глухая, судорожная, бессильная злоба, которая не может вырваться наружу и ропщет взаперти, беспредельная злость — она не знает на кого — на тетку, на мать, на судьбу, злость человека, которого обидели. Истерзанной душой она чувствует только, что у нее что-то отняли, что из счастливой, окрыленной она снова должна превратиться в ползающую по земле слепую гусеницу; что-то миновало, и миновало безвозвратно.

Всю ночь сидит она на деревянном стуле, окаменев в своей злости. Сквозь обитые двери до ее слуха не доносятся звуки другой жизни, продолжающейся в этом доме,— безмятежное дыхание спящих, стоны любовников, кряхтение больных, беспокойные шаги страдающих бессонницей; сквозь закрытую балконную дверь она не слышит предрассветного ветра, овевающего сонный дом, она ощущает только себя, свою одинокость в этой комнате, этом доме, этом мире, себя — кусочек живой трепетной плоти, еще теплый, как отрубленный палец, но уже бессильный и бесполезный. Идет жестокое медленное умирание, частица за частицей застывает в ней и отмирает, а она сидит недвижно, будто вслушиваясь в себя, когда же, наконец, перестанет стучать в ней горячее сердце ван Боолен.

Спустя тысячу лет наступает утро. Слышно, как в коридорах начала уборку прислуга, как садовник шаркает граблями по гравийным дорожкам; начинается неизбежно реальный день, конец, отъезд. Пора собирать вещи и съезжать, пора стать прежней — почтовой служащей Хофленер из Кляйн-Райфлинга — и забыть ту, чье дыхание маленькими незримыми волнами касалось здесь утраченных отныне драгоценностей.

Поднимаясь со стула, Кристина почувствовала огромную усталость, руки и ноги одеревенели: четыре шага до стенного шкафа показались ей путешествием с одного континента на другой. С немалым усилием открыв дверцу, она испугалась: словно труп повешенной качалась там невзрачная, белесая юбка из Кляйн-Райфлинга с ненавистной блузой, в которой она приехала. Снимая ее с вешалки, Кристина вздрагивает от омерзения, точно прикоснулась к какой-то гнили: и в эту мертвую шкуру Хофленер она снова должна влезть! Однако выбора нет. Она быстро сбрасывает вечернее платье, и оно, шурша, как шелковая бумага, соскальзывает по бедрам, затем откладывает в сторону одно за другим остальные платья, белье, свитер, жемчужные бусы — десяток-два очаровательных вещиц; только явные подарки берет с собой — горстка, легко уместившаяся в жалком плетеном чемоданчике.

Все готово! Она еще раз внимательно оглядывается вокруг. На кровати валяются вечерние платья, бальные туфли, пояс, розовая сорочка, свитер, перчатки — все в таком диком беспорядке, словно призрачную фройляйн фон Боолен взрывом разнесло на сотни кусочков.

С отвращением взирает Кристина на остатки призрака, которым была она сама. Затем проверяет, не забыла ли чего-нибудь из того, что принадлежит ей. Нет, больше ничего ей не принадлежит: здесь, на этой кровати, будут спать другие, другие будут любоваться в окно на золотой пейзаж, а в зеркало — на свое отражение, она же никогда больше, никогда! Это не прощание, это своего рода смерть.

Коридор был еще пуст, когда она вышла со старым чемоданчиком в руке. Машинально направилась к лестнице. Но тут же подумала, что бедно одетая Кристина больше не вправе спускаться по этой парадной лестнице с ковровой дорожкой и окантованными латунью ступеньками; лучше она скромно сойдет по железной винтовой, что возле уборной для прислуги. Внизу в сумеречном, наполовину убранном холле дремавший ночной портье настороженно приподымается. Что это? Какая-то девица, заурядно, а вернее, плохо одетая, с убогим чемоданом, явно стесняясь, украдкой пробирается к выходу, не поставив его в известность. Так не пойдет! Он проворно догоняет ее и загораживает дверь.

— Куда изволите спешить?

— Я уезжаю семичасовым поездом.

Портье озадачен: он впервые видит, чтобы постоялец этого отеля, к тому же дама, собственноручно нес багаж на вокзал. Почуяв неладное, он спрашивает:

— Позвольте узнать... из какого вы номера?

Теперь Кристина догадывается, в чем дело. Портье принял ее за мошенницу, что ж, он, пожалуй, прав, разве она не такая? Но она не обижается, напротив, даже испытывает какое-то горькое удовлетворение от того, что ее, гонимую, еще подхлестывают, ее, униженную, еще оскорбляют. Чем больше неприятностей, чем больше огорчений — тем лучше!

Совершенно спокойно она отвечает:

— Я Кристина Хофленер. Снимала номер двести восемьдесят шесть за счет моего дяди, Энтони ван Боолена, номер двести восемьдесят один.

— Минуточку, пожалуйста.

Портье освобождает проход, однако не спускает глаз с подозреваемой (она это чувствует), чтобы та не удрала, пока он листает книгу записей. Неожиданно его тон меняется; следует поспешный поклон и — очень вежливо:

— О, милостивая барышня, прошу прощения, теперь вижу, дневной портье, оказывается, был уведомлен об отъезде... я только потому подумал, что вы так рано... и... барышня не понесет же чемодан сама, машина доставит его вам за двадцать минут до отправки поезда. А сейчас пройдите, пожалуйста, в столовую, барышне вполне хватит времени, чтобы позавтракать.

— Нет, мне больше ничего не надо. Прощайте!

Она выходит, не оглядываясь на удивленного портье, который, качая головой, возвращается за свою конторку.

«Мне больше ничего не надо». Она почувствовала себя лучше от этих слов. Ничего и ни от кого. С чемоданом в одной руке, с зонтиком в другой, устремив напряженный взгляд на дорогу, она идет на станцию. Горы уже освещены, беспокойно толпятся облака, вот-вот покажется синева, божественная, несказанно любимая энгадинская лазурь, но Кристина, сгорбившись, упрямо смотрит только на дорогу: ничего больше не видеть, ни от кого больше не брать милостей, даже от бога. Ни на что больше не заглядываться, не напоминать себе, что отныне и навеки эти горы предназначены для других; спортивные площадки, игры, отели с их сверкающими комнатами, грохот лавин и дыхание лесов — все для других и ничего для нее, никогда больше, никогда! Отвернувшись, она проходит мимо теннисных кортов, где — она знает — и сегодня будут состязаться в ловкости дру-

гие — легкие, загорелые, в ярко-белых спортивных костюмах; идет мимо еще закрытых магазинов с тысячами сокровищ (для других, для других!), мимо отелей, рынков и кондитерских, идет в своем дешевом пальто, со старым зонтиком, к поезду. Прочь, прочь. Только бы ничего больше не видеть, только бы ни о чем больше не вспоминать.

На станции она прячется в зале ожидания третьего класса; здесь, в вечном третьем классе, одинаковом по всему миру, с деревянными скамьями и убогим однообразием, она чувствует себя уже наполовину дома и, когда подъезжает поезд, торопливо выходит: никто не должен ее здесь видеть, не должен узнать. Но тут — не галлюцинация ли это? — она вдруг слышит: «Хофленер, Хофленер!» Кто-то, бегая вдоль вагонов, выкрикивает (возможно ли!) ее фамилию, ее ненавистную фамилию. Она задрожала. Неужели над ней хотят поиздеваться и на прощание? Но голос отчетливо повторяется, тогда она выглядывает из окна вагона: на перроне стоит портье и машет телеграммой. Он просит извинения, телеграмма пришла еще вчера вечером, но тот портье не знал, кому ее передать, а ему только сейчас стало известно, что фройляйн уезжает. Кристина вскрывает конверт: *«Внезапное ухудшение, приезжайте немедленно, Фукталер»*. И вот поезд трогается... кончено. Все кончено.

У каждого материала есть свой предел выносливости, сверх которого он больше не сопротивляется нагрузке; этому непреложному закону подвластна и человеческая душа. Радость может достигнуть такой степени, когда любая добавка становится уже неощутимой, так же — горе, отчаяние, уныние, отвращение и страх. Наполненная до краев чаша не приемлет больше ни капли.

Так Кристина, прочтя телеграмму, не огорчилась. Она, конечно, понимала, что должна бы испугаться, встревожиться, однако, несмотря на бодрствующий мозг, чувство не включилось, не восприняло известия, не отозвалось. Обследуя больного с парализованной ногой, врач проверяет иглой чувствительность омертвевшей ткани; больной видит иглу и знает, что она острая, жалящая; вот-вот она вонзится, будет больно, очень больно, и он уже весь сжался, готовясь стерпеть муку. Но жгучая игла входит в мышцу, а нерв не реагирует — ткань мертва, и больной с ужасом осознает, что его нога стала совершенно нечувствительной, что в нем, живом и теплом, угнездилась уже частица смерти. Такой вот ужас от своего равнодушия испытывает Кристина, вновь и вновь перечитывая телеграмму. Мать больна, состояние ее наверняка безнадежно, иначе бережливые родственники не потратились бы на срочную телеграмму. Возможно, и умерла, даже вполне вероятно. Но при этой мысли (которая еще вчера повергла бы ее в отчаяние) ничто не шелохнулось в ее душе, ни слезинки не выкатилось из глаз. Она оцепенела, и эта оцепенелость словно распространилась на все вокруг. Она не слышит ритмичного стука колес, не замечает, что на скамье напротив сидят краснощекие мужчины, жуют колбасу и смеются, она не видит, что горы за окном то вырастают до облаков, то съеживаются в цветистые холмики, и подножия их омываются белоснежным горным молоком — будто на рекламных картинках, которые она по дороге из дому воспринимала как живые и которые теперь окоченели перед ее неподвижным взглядом. И только на границе, побеспокоенная вошедшим таможенником, она очнулась, ей вдруг захотелось выпить горячего. Чтобы хоть немножко оттаять, избавиться от невыносимой окоченелости, сдавившей горло, вздохнуть полной грудью, наконец выстонать все, что наболело.

В станционном буфете Кристина выпивает чашку чая с ромом. И тотчас блаженное тепло разливается в крови, оживляя даже застывшие клеточки мозга; она опять способна думать, и у нее мелькает мысль, что надо бы телеграфировать домой о приезде.

— Направо, за углом,— говорит ей буфетчик. Да, да, она вполне успеет.

Кристина подходит к окошку. Матовое стекло опущено. Она стучит. За перегородкой слышатся медленные шаркающие шаги, стекло, звякнув, поднимается.

— Что вам угодно? — ворчливо спрашивает мрачная женская физиономия в очках с железной оправой.

Кристина медлит с ответом, настолько она поражена видом женщины. Ей показалось вдруг, что дряхлая, костлявая старая дева с потускневшими глазами, с пергаментными руками, которая механически протягивает ей бланк,— это она сама лет через десять, двадцать; точно в каком-то дьявольском зеркале перед ней предстал призрак ее собственной старости. Непослушными пальцами она еле держит ручку. «Это я, такой я стану»,— неотступно думает она и украдкой косится на тощую коллегу, которая с карандашом в руке терпеливо ждет, склонившись над столом,— о, как знакомы ей эта поза и эти минуты, пропавшие втуне, крадущие радость и счастье, каждая из них приближает старость, превращая тебя в такой вот изнуренный призрак.

Волоча ноги, Кристина возвращается к поезду. Ей будто приснился кошмарный сон: она увидела себя в гробу на катафалке и с криком ужаса проснулась в холодном поту.

(Окончание следует)

Критика

К. РЕХО

СУД ПАМЯТИ

Хиросима и современная японская литература

Городские часы Хиросимы бьют не в полдень, а в восемь пятнадцать утра — время взрыва над городом первой атомной бомбы. Тревожный набат взывает к миллионам людей, чтобы они не забывали того рокового мига...

За четыре десятилетия накопилось огромное количество книг, повествующих о человеческих судьбах, искалеченных адской молнией того дня. Они составили 15 томов серии «Литература трагедии атомной катастрофы», вышедшей в Токио в 1983 году. В японском литературоведении возник и специальный термин «гэмбаку бунгаку» — «литература трагедии атомной катастрофы». Содержание «гэмбаку бунгаку», конечно, не исчерпывается творчеством японских писателей. К теме Хиросимы обращаются прогрессивные писатели Запада и Востока, в том числе и советские литераторы: писал о Хиросиме известный казахский прозаик Габит Мусрепов; тепло встречено читателями произведение Романа Кима «Девушка из Хиросимы». «Тень человека» назвал книгу стихов о Хиросиме поэт Михаил Матусовский.

К 40-летию трагедии Хиросимы издательством «Художественная литература» подготовлен сборник, куда включены лучшие произведения японских писателей об атомной катастрофе в переводах на русский язык.

Хиросима — это символ, который живет в душе каждого современного художника, небезразличного к судьбам планеты. Создавая произведения о ней, прогрессивные писатели выходят на линию острой идейной борьбы в литературе и искусстве нашего времени.

Первые произведения о хиросимской трагедии создавались в еще дымящейся «атомной пустыне», среди развалин, на обрывках газет. В числе переживших атомную катастрофу в Хиросиме была писательница Ёко Ота [1]. Три ночи провела она под открытым небом среди трупов. Потом ей удалось выйти из «мертвой зоны», она нашла приют в деревне, на чердаке крестьянского дома. И здесь был написан очерк «Город трупов» — о первых трех днях после взрыва атомной бомбы. Ёко Ота ставит вопрос: неизбежна ли была хиросимская трагедия, можно ли оправдать действия американской военщины, применившей атомную бомбу в Хиросиме, а затем в Нагасаки,— и не находит оправдания чудовищной жестокости. Атомная бомба была сброшена после того, как война, по сути дела, кончилась. Писательница подводит читателя к выводу, что атомный шантаж понадобился США для того, чтобы запугать силы демократии и установить свою гегемонию в послевоенном мире. Неудивительно, что книга была запрещена оккупационными властями как сочинение, направленное против интересов США.

Другой японский писатель, Такаси Нагаи, увидел в «адском громе» божественное предначертание («Колокол Нагасаки», 1949). «Муки Нагасаки были необходимы для искупления вины перед Всевышним за все грехи японской военщины. Это было великое жертвоприношение на алтарь мира» [2]. Но, несмотря на религиозную проповедь примирения со свершившимся, и эта книга объективно обличала преступление американской военщины.

Тенденция социально-философского осмысления трагедии Хиросимы заметно усиливается в японской литературе 60-х годов. К тому времени город возродился из руин, новые кварталы озарились сверкающими огнями неоновых реклам. Послевоенная Хиросима расцвела на прибылях от

[1] «Иностранная литература» первой познакомила советского читателя с творчеством Ёко Ота, опубликовав на русском языке рассказ «До каких пор» в № 3 за 1955 год. *(Здесь и далее прим. автора.)*

[2] Такаси Нагаи. Нагасаки-но канэ. Токио, 1949, с. 175.

войны в Корее. В городе, считавшемся символом мира, выросли арсеналы, военные заводы, выполняющие американские заказы.

Но по мере восстановления города все более углублялась пропасть между жертвами атомной бомбы и остальным его населением: не было работы для «атомных калек», молодые люди из Хиросимы и Нагасаки не годились и в качестве женихов и невест — от них могут родиться уроды. Постепенно «атомные парии» стали жить в отдельном селении, «среди своих», влача нищенское существование. Так возникло своеобразное гетто. Но в Японии издавна существует другое гетто — «токусю бураку» («особое поселение»), где живет низшая каста «нечистых» — «эта». Они выполняют всю грязную работу (убой скота, выделка кож), их стараются держать подальше от города. Когда-то им были запрещены браки за пределами касты, жить они могли только в специально отведенных поселках. Сто лет назад дискриминация «эта» была официально снята, но по существу ничего не изменилось. Взрыв атомной бомбы, казалось бы, снес кастовые перегородки. Беженцы из центра Хиросимы и Нагасаки нашли приют в поселках «эта», не пострадавших от взрыва. В свою очередь предприимчивые люди из «эта» проникли в город, чтобы открыть там свое дело. Однако, когда в городе восстановился порядок, ожили и кастовые предрассудки.

В повести «Комья земли» (1963) Мицухару Иноуэ рассказал о страшной драме, которая разыгралась в двух «особых поселениях» в заливе Сасэбо. Юноша из поселения «атомных парий» изнасиловал девушку и, уходя, пригрозил: «Помалкивай, а то я всем скажу, кто ты такая. Ты «эта»!» Мать несчастной отправилась в соседний поселок, чтобы увидеть насильника, но ее даже не впустили в дом — она из «отверженных». И женщина бросает гневные слова обличения: «Если мы «эта», то вы тоже «эта», только худшего сорта. В нас течет здоровая кровь, а ваша гниет, и так будет из поколения в поколение...»

Мицухару Иноуэ показал «адский круг», созданный не только взрывом чудовищной бомбы. Атомная трагедия сплелась в его повести с драматической нелепостью буржуазной действительности. Но кошмарному облику капиталистического мира он не противопоставляет ничего позитивного. Взаимоотношения всех персонажей развиваются в атмосфере конфликтов, вражды. Людей не объединяет даже сходное бедственное положение. «Атомные парии», жертвы милитаризма в свою очередь приносят страдания другим, таким же отверженным из касты «эта».

Нельзя отказать писателю в умении передать запуганность, отрешенность человека-жертвы от всего окружающего. Но верно схваченные психологические и бытовые детали используются для того, чтобы создать впечатление универсальности отчуждения. Герои повести «Комья земли» — разобщенные люди, мучительно воспринимающие окружающий мир, неизменно пребывающие в состоянии полного отчаяния. Это «комья земли», которые легко раздавить. В мире существуют лишь одинокие, заброшенные люди, не способные к проявлению человеческой солидарности. Писатель настойчиво внушает читателю мысль о том, что надежды на счастье иллюзорны.

Роман Иосиэ Хотта «Суд» (1963) свидетельствует о том, что искусство не может существовать вне времени, вне политики и норм морали. Художественное решение темы Хиросимы — это, по сути, и исследование современной японской действительности. В этом романе, переведенном в 1969 году на русский язык, поставлена проблема моральных и психологических последствий войны. В мировой печати много писалось о судьбе американского летчика Клода Изерли, участника атомного налета на Хиросиму, о том, как он, терзаемый муками совести, посылал извинительные письма и деньги сиротам Хиросимы и добивался, чтобы его заключили в тюрьму, а власти упрятали его в сумасшедший дом. Иосиэ Хотта призвал Клода Изерли (в романе — Пол Рибот) на суд собственной совести. Ни закон, ни вера в бога не могут снять с души Пола бремя войны. Содеянное преследует его как наваждение. Его вера — совесть: «Это говорю я, убивший в мгновение ока двести тысяч человек, я, никогда не желавший никого убивать... Нет на земле другой веры, кроме моей».

Пытаясь найти дорогу к людям, в отчаянной борьбе с собой, со своим страшным одиночеством, Пол делает ставку на Хиросиму. Город, бывший причиной его душевного недуга, должен его вылечить. Пол едет в Хиросиму, направляется к эпицентру — «адскому кругу», созданному чудовищной бомбой. Проходя по мосту, он останавливается и видит на дне реки скелет детской руки... Сознание пронзает мысль: «Значит, это сделал я!» Суд совести вынес приговор. Жизненный круг для Пола замкнулся. Он должен умереть в Хиросиме, которую когда-то уничтожил.

Человек, причастный к преступлениям в Хиросиме, Освенциме, Нанкине, даже если он выполнял чей-то приказ, не в состоянии обрести прежнее «я». Отвергнутый «богом, историей, народом», убийца, которого не карает закон, неминуемо предстанет перед беспощадным судом собственной совести, утверждает Иосиэ Хотта.

В 1966 году вышла повесть Масудзи Ибусэ «Черный дождь». Толчком к ее написанию послужил дневник племянницы друга, умершей вскоре после свадьбы от лучевой болезни. В повести нет открытой публицистичности, прямой и страстной апелляции к общественному мнению, характерных для произведений Ёко Ота, нет и той острой постановки нравственных проблем, которая свойственна роману Иосиэ Хотта. Некоторые японские критики, противопоставляя повесть «Черный дождь» другим произведениям о Хиросиме, якобы страдающим публицистическими «излишествами», видят в ней воплощение принципа деидеологизации искусства. Например, Дзюн Это писал: «Я впервые прочитал произведение, где автор взглянул на взрыв атомной бомбы глазами, не затуманенными идеологией» [1]. В этом суждении отражена тенденция японской буржуазной критики

[1] «Бунгэй нэнкан», Токио, 1967, с. 61.

всемерно пропагандировать так называемое «незаинтересованное» искусство. Подобный подход разделяет и американский специалист по японской литературе Эдвард Сейденстикер. В статье «Мой взгляд на современную японскую литературу» он, отзываясь о повести Масудзи Ибусэ как о первом в японской литературе по-настоящему художественном произведении о Хиросиме, высказывает мысль кощунственную, но разделяемую, к сожалению, не им одним: «Книги, написанные раньше, страдали излишней многословностью и сентиментальностью. Их авторы впадали даже в самодовольство, вызывая к себе неприязнь. То, что они являются представителями народа, подвергшегося крещению атомной бомбой, дает им право чуть ли не гордиться каким-то моральным превосходством» [1].

Сильную сторону повести Масудзи Ибусэ Сейденстикер усматривает в том, что в ней якобы совершенно отсутствует авторская позиция по отношению к изображаемым явлениям. Однако внимательное изучение творческой манеры Ибусэ показывает несостоятельность подобных утверждений.

Внешний сюжет в повести не играет никакой роли: вроде бы ничего не происходит — герои заняты переписыванием дневников, изредка обмениваются малозначительными фразами. В дневниках героя, Сидзума, и его племянницы Ясуко — очевидцев атомного взрыва того дня — действительно нет обличительного пафоса, писатель избегает публицистической интонации. Но объективная манера Ибусэ не имеет ничего общего с объективизмом и равнодушием. Это лишь кажется, что авторского голоса нет. Воскрешая прошлое, Ибусэ находит в нем такие выразительные детали, что воспроизведенная им картина потрясает читателя.

Чтобы создать дневник хиросимской трагедии, писатель, по его собственному признанию, изучил все с ней связанное: газетные статьи, воспоминания очевидцев, их дневниковые записи, медицинские карты жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки, стенограммы различных митингов... Но повесть не теряется в подробностях событий. В цепи частностей вырисовывается время и история. Вот, например, в полуразрушенной лавке труп девушки. На обугленном теле — чистое платье. В предсмертной агонии она прикрыла чужим платьем нагое изуродованное тело. Деталь останавливает читателя, приковывает на миг его внимание, потому что тяготеет к смысловому и образному расширению, смыкаясь с основным замыслом произведения, служа ему.

В 60-х годах некоторым японским критикам казалось, что военная беллетристика отошла в прошлое, что она бесперспективна. Тем более примечательно, что в 1971 году, когда вышел роман Такэхико Фукунага «Остров смерти» [2], известный писатель Отохико Кага назвал его в числе лучших произведений современной японской литературы, подчеркнув, что трагедия Хиросимы, несомненно, неиссякаемая для этой литературы тема.

Уже японское название романа — «Синосима» — по созвучию напоминало читателю о Хиросиме. Для героини романа, молодой художницы Мотоко Моэги, время остановилось в тот страшный день атомного взрыва. Мир навсегда утратил живые краски, лишился логических связей. В восстановленной Хиросиме жизнь опять бьет ключом, но ее глаза видят кошмары того дня. На улицах и в ночных барах — всюду ей мерещатся скелеты. Свое мироощущение она выразила в картине «Остров»: на холсте — тень смерти, она вызывает ощущение конца всего живого.

Правда, Мотоко отчаянно борется за жизнь, хочет любить. Наедине с собой она говорит: «Я живу потому, что всем существом своим восстаю против смерти, сопротивляюсь ей».

Однако, сопротивляясь смерти, Мотоко не может отделаться от сознания собственного бессилия. Она уверена: никакая политика, никакая религия, да и борьба за мир не способны излечить келоид души тех, кто испытал хиросимскую катастрофу. Мотоко замыкается в себе и выбирает смерть.

Главная тема «Острова смерти» — незаживающие раны души. Человек, бывший очевидцем ужаса Хиросимы, корчащейся в агонии атомной смерти, даже если он остался жив, не может вернуться к нормальной человеческой жизни.

Изображая душевные муки Мотоко «изнутри», Фукунага часто переплетает авторскую речь с внутренними монологами героини, что углубляет психологический анализ. Трагическая судьба Мотоко показана не сугубо личной, единичной судьбой. Она типична. Повседневно, час за часом память о том дне разрушает человека. Американская бомба, сброшенная на Хиросиму, продолжает убивать и сегодня, сейчас.

В романе Фукунага много смертей. Но содержание его не сводится к мысли о неизбежности тотальной гибели. Большое место в нем занимают раздумья автора о миссии современного художника. Один из героев «Острова смерти» — начинающий писатель Сома Канаэ. С ним связана тема обретения художником главного смысла творчества, собственного пути в искусстве. Уподобляя небо некоему зеркалу, способному отражать и соединять души живых и мертвых, Сома утверждает, что именно в этом «зеркале» он обретает связь времен и причащается великой человеческой содидарности. Для него понять душу мертвых — значит осознать и значение существования живых. «Мои книги,— рассуждает он,— это творческий акт встречи с ушедшими от нас. Вернее сказать — превращение смерти в деяние».

В этих словах автор, видимо, выразил собственное понимание смысла писательского труда. Современный художник должен стремиться творить жизнь из смерти («превратить смерть в деяние»), воссоздавать целое из обломков гармонии, будущее — из прошлого.

Подобно Такэхико Фукунага, другой японский прозаик, Макото Ода, поясняя свою авторскую позицию, писал в статье «Смысл мученической смерти», что постоянная память о погибших на бессмысленной войне является отправной точкой его

[1] «Уми». Токио, 1969, № 7, с. 169.

[2] Под таким названием роман вышел в Киеве на украинском языке.

существования как писателя. Современный художник не может, не должен замкнуться в сфере отвлеченных понятий и надмирной красоты. Напротив, он должен трезво, аналитически исследовать действительность.

Макото Ода находит новый аспект темы атомной катастрофы.

В 1981 году вышел его роман «Хиросима» (русский перевод 1985 г.). Макото Ода обозначил заглавие не привычной иероглификой, а латиницей, давая понять, что слово это сегодня имеет интернациональное звучание. В центре книги — американец Джо, военный летчик, попавший в плен к японцам во время налета на город Курэ. 6 августа он находился в Хиросиме, в лагере пленных, и сгорел вместе с тысячами японцев. Американец стал жертвой американской атомной бомбы. Атомная бомба уничтожает тела и души не только врагов, но и своих, утверждает автор.

Примечательна и другая мысль, выраженная в книге: милитаризм ставит людей во враждебные отношения друг с другом. Война резко меняет жизнь американцев японского происхождения, калечит их судьбы и психику: после Пёрл-Харбора их преследуют в США как потенциальных шпионов. Во время первой мировой войны персонаж романа, Тадзири, добровольно вступил в американскую армию, сражался под Верденом, потерял правую руку. А его соотечественник Наката — эмигрант из Хиросимы — оставался верноподданным японцем, никогда не расставался с фотографией императорских особ. Но оба они стали для американцев «желтыми дьяволами» — «дзэп» и были насильно угнаны в резервацию, созданную специально для японцев в раскаленной пустыне Калифорнии.

Сын Наката, Томи, которого в школе называют «японским шпионом», после долгих раздумий решает вернуться на родину, чтобы стать «настоящим японцем». Однако, оказавшись в Японии, охваченной шовинистическим угаром, он тоже не находит места в жизни: сверстники называют его теперь «американским шпионом» и издеваются над ним. И вот тогда, усвоив психологию однокашников, цепенеющих перед военным идолом, он не только научается защищать себя любыми средствами, но и в свою очередь издевается над ними. С сарказмом высмеивает писатель нелепости поведения людей, ослепленных манией милитаризма.

В романе действуют не только японцы и американцы, но и корейцы, китайцы, малайцы... Вместо обещанного «сопроцветания» народов Азии японская военщина принесла им неисчислимые страдания. А атомное пожарище не пощадило ни белых, ни желтых — все стали жертвами.

Трагические дни войны Макото Ода сопоставляет с горестным и тревожным настоящим. Действие переносится в наше время, в палату благотворительной американской больницы. Здесь у негритянского доктора Уинслоу лечатся старик-индеец, рабочий, заболевший раком легких в результате многолетнего труда на урановых шахтах, бывший сержант морской пехоты, стыдящийся своего боевого ордена, полученного за участие в грязной войне во Вьетнаме, и индейский мальчик-урод, родившийся от зараженных радиацией родителей. Все они больны безнадежно, и у них возникает идея отомстить тем, кто повинен в их страданиях, кто опять угрожает миру ядерной катастрофой. Подвернулся удобный случай: в Вашингтон приехал японский император Хирохито для дружеской встречи с американским президентом. Пациенты и доктор-негр решают подняться на вертолете над Белым домом и сбросить на головы президента и его гостя пораженную радиацией землю. Однако вертолет, потеряв управление, падает, и все члены экипажа гибнут. Потом, правда, выясняется, что это был лишь сон старого рабочего-индейца, но смысл притчи глубок и поучителен: акт справедливого возмездия виновным в трагедии Хиросимы должен быть осуществлен простыми людьми. По мнению Ода, веками действовавший порядок надо перестроить так, чтобы «энергия снизу» вершила судьбы современного мира. Только эта великая энергия может остановить руку атомных убийц.

Тема хиросимской трагедии в японской литературе неизбежно приобретает антиядерный характер.

Нельзя, однако, не заметить и того, что идеологическая реакция оказывает на современных японских писателей значительное влияние. Разбирая роман Юкио Мисима «Прекрасная звезда» (1962), критик Окуно в свое время заявил: «Роман этот изменил прежнее соотношение политики и литературы. В центре романа — обитатель космоса, желающий гибели землянам, и автор сочувствует ему. Возможно, писатель сам страстно желает ядерной войны и конца человечества. Позволительно ли это человеку? Думаю, что да, во всяком случае в искусстве. Художник ничем не ограничен, он абсолютно свободен от всякой моральной ответственности. В мире искусства можно одобрить... убийство, садизм, рабство, фашизм и уничтожение цивилизации... У литературы нет обязанности служить человеческому счастью, демократии, политике, движению за мир» [1]. Сегодня подобные «идеи» находят немало сторонников в Японии.

В августе 1978 года — в очередную годовщину разгрома японского милитаризма — в редакции популярного журнала «Бунгакукай» («Литературный мир») был устроен «круглый стол», на который были приглашены писатели родившиеся после войны и заявившие о себе в 70-е годы. Что они думают о войне, о современном состоянии японской литературы? — эти вопросы были в центре внимания участников беседы, которая называлась «Наша позиция в литературе». Приведем отрывки из нее, весьма характерные для понимания сути реакционных идей, распространенных в сегодняшней Японии.

«Накагами. Повесть Такахаси («Сентябрьское небо» — *К. Р.*) рассказывает об искусстве фехтования на мечах. Ее герой слаб и беспомощен, а автор хочет, чтобы он стал сильным и могущественным... В социальном плане такое стремление ведет нас к гитлерюгенду. Читая повесть, я по-

[1] «Бунгаку», Токио, 1963, № 6, с. 13—14.

нял, что мы по-прежнему хотим войны... Мне кажется, что война и гитлерюгенд решат все вопросы.

Такахаси. Но я не думал о подобных вещах.

Такасиро. Сейчас многие хотят войны. Только одни этого еще не осознали, а другие, хотя и осознали, открыто пока не признаются. И странно, что наша литература не замечает этого... Погрузившись в мелочи жизни, она отстала от запросов времени и только и умеет кричать: «Мир! Мир!»

Накагами. Произведения о трагедии Хиросимы и Нагасаки приносят огромный вред, они отражают лишь настроения раскаивающихся японцев, осуждающих минувшую войну... Подумать только! В сборнике рассказов Кёко Хаяси «Стекло Нагасаки» современная девушка говорит: «Отец, я стала жертвой войны...» Такие «книги жертв» трогают читателей, вызывают у них сладкие слезы. Все это ловкие проделки...»

Трудно сказать, чего больше в подобных рассуждениях: психопатии или слабоумия. Все это звучит кощунством, оскорблением памяти погибших и тех, кто ценой жизни сохранил верность гуманистическим идеалам. «Война оздоровляет искусство», «Война — здоровье мира» — эти лозунги фашистского культуртрегерства свидетельствуют о том, что в Японии сегодня наметились тревожные тенденции.

Молодой писатель Накагами утверждает, что японские литераторы должны изображать войну не только с точки зрения жертв, но и с позиции убийц. Проблема моральных и психологических последствий войны меньше всего волнует таких, как Накагами, ибо злодеяния японской военщины для них — лишь естественное проявление человеческого инстинкта, влечения к злу.

Возрождение милитаризма вновь, как и в предвоенные годы, остро ставит перед художником вопрос о месте в борьбе за сохранение и защиту жизни на земле. Война или мир? Эта дилемма ныне проводит пограничную линию между писателями, стоящими на разных идеологических позициях. Милитаристским мечтам Накагами противостоит творчество японских писателей, для которых тема мира — одна из самых актуальных. Гуманизм современной литературы, как никогда, неотделим от борьбы за то, чтобы великие достижения человеческого гения не обернулись атомным кошмаром. Этой мыслью пронизаны рассказы сборника «Стекло Нагасаки» (1978) Кёко Хаяси — писательницы, еще школьницей испытавшей ужас атомной бомбардировки. Все ее произведения связаны с трагедией атомного взрыва. Она пишет о себе, о сверстницах, судьба которых искалечена чудовищной бомбой того дня («Встреча однокурсниц» [1]). Помнить о прошлом призывает суд памяти. Не случайно каждое новое произведение Кёко Хаяси вызывает негодование сторонников забвения милитаристского прошлого.

Для нынешней идеологической ситуации в Японии весьма характерна и дискуссия между видными критиками — Сюго Хонда и Дзюн Это, привлекшая внимание японской общественности в конце 70-х годов. Она печаталась на страницах крупнейших газет «Асахи» и «Майнити».

Дзюн Это утверждал, что послевоенная литература Японии якобы зашла в тупик из-за неправильного истолкования Потсдамской декларации. Он пытается представить дело так, будто безоговорочную капитуляцию приняла лишь армия, но не японское государство как таковое. Оно согласилось на капитуляцию при условии сохранения статус-кво монархического правления. Игнорирование этого факта, утверждает Дзюн Это, привело к тому, что развитие послевоенной Японии шло по ложному пути демократических преобразований, и в результате произошел «разрыв цепи» многовековой истории японской государственности. Лютой ненавистью к какой бы то ни было либерализации проникнуты его статьи. Послевоенная литература Японии, выросшая на почве «ложной демократии», утверждает Дзюн Это, была всего лишь «пустоцветом».

Возражая ему, Сюго Хонда справедливо упрекал оппонента в антидемократизме, в заведомом намерении оклеветать любые демократические преобразования послевоенной Японии. Он вскрыл несостоятельность «теории», рассматривающей капитуляцию страны вне связи со строем, порожденным милитаризмом и поставленным ему на службу. «Мы испытали чувство облегчения после военного поражения своего государства и поэтому были полны решимости построить новую Японию на мирной и демократической основе»,— пишет Сюго Хонда. Именно в этой решимости видит он плодотворное начало в развитии литературы послевоенного периода. Заявление Дзюна Это, будто послевоенная литература была «пустоцветом», с возмущением было встречено и Кэндзабуро Оэ, который категорически опровергает его в статье «Преодолеет ли литература послевоенную критику» (1978). Иронизируя над Дзюном Это, читающим отходную по «умершей» литературе послевоенной Японии, он приводит примеры произведений, созданных после войны и явившихся выдающимися достижениями японской литературы. Среди них немало книг о трагедии Хиросимы.

Хиросима является ныне пробным камнем, на котором проверяется верность японской литературы гуманистическим идеалам. Перед лицом ее не выдерживает испытания так называемое «незаинтересованное» искусство. Соприкасаясь с ней, вынуждены определить свою гражданскую позицию даже те писатели, которые старались быть вне политики.

Дорога японской литературы к мировому читателю лежит не через отказ служить демократии и счастью человека, но через приверженность принципам гуманизма, в частности, и через осмысление своей высокой миссии — воссоздать образ многострадальной Хиросимы во имя жизни на Земле, во имя осознанной ненависти всех живущих к войне, во имя того, чтобы Хиросима и Нагасаки были последними городами, испытавшими атомный кошмар.

[1] Рассказ публикуется в этом номере, см. с. 3.

С. ЧАКОВСКИЙ

ФОЛКНЕР В МОСКВЕ

Среди американских писателей, чье творчество обрело «вторую жизнь» на русском языке, в соприкосновении с историческим и художественным опытом советского читателя,— таких как Д. Лондон, Т. Драйзер, С. Льюис, Э. Хемингуэй, Д. Стейнбек, Э. Колдуэлл — Уильям Фолкнер выдвинулся в последние 15—20 лет на особое место. Об огромной популярности этого еще недавно малоизвестного у нас писателя свидетельствуют и тиражи его книг (более трех миллионов экземпляров на русском и восьми других национальных языках СССР) и то, что из списка новинок они едва ли не в тот же день перекочевывают в разряд библиографических редкостей.

«Их знание Фолкнера поразительно!» [1]— под этим и подобными заголовками, цитатами из выступлений известных американских литературоведов, ряд газет и журналов США поместил в прошлом году материалы, рассказывающие об их поездке в СССР. Впрочем, предшествовавшие этой поездке контакты советских и американских специалистов по творчеству Фолкнера привлекли значительное внимание прессы США. Более 50 периодических изданий — в том числе и ведущих, таких как «Интернэшнл геральд трибюн», «Нью-Йорк таймс», «Ю. Эс. Эй тудей», «Чикаго трибюн», «Филадельфия инкуайрер» — так или иначе освещали ход совместной работы Центра по изучению культуры Юга США при Миссисипском университете в Оксфорде и Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

Чем объяснить такой интерес? Очевидно, частично и тем, что, будучи специальными по своей научной сути, встречи, которые на протяжении двух лет происходили на родине Фолкнера, а прошлым летом в Москве, по-своему затрагивают и те социальные, политические, нравственные проблемы, от разрешения которых в немалой степени зависит развитие отношений между нашими двумя странами и народами.

Наше мнение о важности международного диалога работников культуры неизменно и хорошо известно. Отрадно, что его разделяют и многие американцы. О необходимости взаимопонимания, о роли писателей и критиков в сближении народов говорилось, в частности, в приветственном письме видного общественного деятеля США А. Гарримана участникам московского симпозиума, посвященного творчеству У. Фолкнера.

Пожалуй, эта встреча сто́ит того, чтобы теперь, уже с некоторой временно́й дистанции, рассказать о ней подробнее.

Даже в самые неблагоприятные для международных контактов времена ИМЛИ им. А. М. Горького оставался «каналом связи» между деятелями культуры Советского Союза и трезво мыслящими писателями, критиками, литературоведами западных стран. Весьма интенсивно развивались и развиваются в последние годы и контакты с учеными США. От творчества классиков —

[1] «Oxford Eagle», Monday, July 30, 1984.

ЧАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1949 г.)
Советский литературовед, кандидат филологических наук, автор статей по литературе США и работ по теории литературы.

А. С. Пушкина и У. Уитмена — до литератур народов СССР и «малых» народов Америки — вот диапазон проблем, обсуждаемых на регулярных рабочих встречах. В рамках темы «Русско-американские литературные отношения XVIII—XIX веков» ведется подготовка к изданию первого советско-американского коллективного труда. А 25 июня 1984 года в старинном особняке на улице Воровского, в главном зале ИМЛИ собрались американские и советские исследователи творчества Уильяма Фолкнера — почти современника, но уже классика, фигуры, как принято выражаться, «сложной и противоречивой», но столь же ключевой для литературы XX века.

Накануне, в «Шереметьеве», девушка, служащая аэропорта, еще раз просмотрела список прибывших и сказала по-английски: «Все в порядке. Но где же мистер Фолкнер?» На лицах американских профессоров появилась несколько озадаченная улыбка. Мы поспешили с объяснением: «Уильям Фолкнер и литература Юга США» — название симпозиума. Что касается самого писателя, то он, к сожалению...»

«Неужели вы подумали, что я не знаю, кто такой Фолкнер? Я читала его книги — «Особняк», «Деревушка»... Жаль, что он умер, не побывав в Москве».

Конечно, жаль.

В 1958 году госдепартамент предложил Фолкнеру присоединиться к группе американских писателей, собиравшейся в Советский Союз. Он «долго и всерьез» (по авторитетному свидетельству его биографа Дж. Блотнера) обдумывал это предложение. И в конце концов решил не ехать. Почему? То, что Фолкнер не сочувствовал коммунизму, факт хрестоматийный. Но сам он, влюбленный, как известно, в Достоевского, Толстого, Чехова и Гоголя, объяснил свой отказ по-иному: поскольку этих классиков нет в живых и «их России» больше не существует, он не видит специального повода отправляться в столь дальнее путешествие. Блотнер назвал это «консерватизмом мышления» [1]. Вероятно, он прав. Важно, однако, другое. «Консерватизм мышления», составляющий не только личную особенность Фолкнера, но и едва ли не наиболее устойчивую, «родовую» черту американского Юга, писатель преодолевал в своих лучших произведениях — ни на минуту не переставая при этом быть южанином и американцем. Помноженное на силу таланта, это и сделало его художником мирового класса. В том числе и благодаря его книгам преодолевают «консерватизм мышления» (возведенный ныне по злой, чтобы не сказать убийственной, иронии истории в ранг американской государственной политики) земляки и духовные наследники Фолкнера. В немалой степени способствуют тому, по их собственному признанию, и контакты с советскими литературоведами — контакты, которые еще недавно многим на Юге США казались «проблематичными», если не вовсе относящимися к области фантастики.

Вспоминается в этой связи такой по видимости чисто бытовой эпизод.

В кафе на центральной площади Оксфорда (того, что в штате Миссисипи) к участникам фолкнеровской конференции подошел молодой человек и, пытаясь скрыть смущение за напускной развязностью, поинтересовался, что, собственно, привело их в такую «глушь». Получив разъяснение, он спросил: «А кто такой Фолкнер?» — «Великий американский писатель». «Где он жил?» — «Здесь, в Миссисипи. Милях в пяти отсюда». Парень с облегчением вздохнул: «Тогда ясно, почему я о нем не слыхал. Сам-то я из Калифорнии, тут — на студенческих каникулах. А вы откуда будете?» — «Из Советского Союза».— «Разыгрываете?» — «Нет».— «Это просто невероятно». Он присвистнул и сдвинул на затылок воображаемую ковбойскую шляпу.

Не будем пускаться в рассуждения о том, кто, что и как читает в Америке. Вопрос этот больной и сложный — страна библиотек, признаваемых одними из лучших в мире, сражается с «функциональной неграмотностью». Важно здесь, пожалуй, другое. Наш собеседник «прослышал» бы о Фолкнере, если бы при въезде в город его встречал аршинный плакат: «Добро пожаловать в Фолкнерленд», на центральной площади разыгрывались бы сцены со стрельбой из произведений писателя, а в магазинах продавалось виски «Старина Билл». Иначе получается сплошной обман рефлексов американского обывателя. Но именно этим «рефлексам» всю жизнь героически пытался противостоять Фолкнер. На том же стоят и хранители его памяти — центр по изучению культуры Юга США и Миссисипский университет.

Знакомство с американскими коллегами началось в 1982 году, когда устроители ежегодной конференции предложили тему — «Уильям Фолкнер. Международные перспективы». Она привела в Оксфорд — грозящий расплавиться в «августовском свете» десятитысячный городок в окраинном южном штате — представителей десяти стран и четырех континентов. «Они,— как напишет об этом позже один из организаторов,— приехали за тысячи миль, чтобы ответить на вопросы: «Читают ли в их странах Фолкнера? Пользуется ли он популярностью? Почему случилось так, что нашего Уильяма Фолкнера, который писал о «клочке родной земли величиной с почтовую марку», понимают во всем мире?» [1]».

Можно предположить, что ответы представителей Франции (претендующей, и не без основания, на «открытие» Фолкнера, как и на открытие ранее другого южанина — Э. По), Японии, где завершается издание самого полного и текстологически совершенного на сегодня 28-томного собрания сочинений писателя, или, скажем, Англии, где Фолкнера, как и вообще американских авторов, с удивительным упорством «не читают», были в той или иной степени известны устроителям конференции заранее. Наши ответы предугадать было сложнее: информация о литературной жизни в СССР, попадающая в американскую печать, скудна и, как правило, тенденциозна, а прямые

[1] Blotner Joseph. Faulkner. A Biography. N. Y., Random House, 1984, p. 650.

[1] Faulkner: International Perspectives. University Press of Mississippi, Jackson, 1984, p. VII.

контакты слишком редки. Говоря о популярности Фолкнера в СССР, о миллионных тиражах его книг, об эволюции их читательского и критического восприятия, о проблемах дальнейшего изучения творчества писателя, какими они видятся советским ученым, ни А. Ващенко, ни автор этих строк не предполагали, что сообщают некие сенсационные сведения.

Похоже, однако, что дело обстояло именно так. Достаточно сказать, что отчет о поездке впору было составлять из газетных заголовков: «Произведения Фолкнера популярны в Советском Союзе — утверждают ученые», «Русские говорят: деревенская тема у Фолкнера и его общечеловеческие моральные поиски понятны и близки советским читателям», «Советские ученые обвиняют администрацию США в том, что она препятствует культурному обмену», «Советские ученые разделяют энтузиазм исследователей Фолкнера» и так далее.

Последовало новое приглашение в Оксфорд — на X юбилейную конференцию, которая состоялась в августе 1983 года. Ее тема — «Уильям Фолкнер: новые пути изучения творчества». Советскую делегацию возглавил П. Палиевский. По окончании конференции, собравшей еще более многочисленную международную аудиторию, была достигнута договоренность о проведении московского симпозиума, намечены планы дальнейшего сотрудничества между Центром по изучению культуры Юга США и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького.

Такова ближайшая, «внешняя» предыстория московской встречи. «Внутренняя» куда более сложна и охватывает десятилетия, вобравшие в себя эволюцию творчества писателя, работу нескольких поколений критиков, переводчиков и читателей.

Это история «обнаружения» Фолкнера на собственной родине и в мире, «обнаружения человека» (по выражению Д. Затонского) в центре его художественной вселенной; превращения полузабытого провинциального автора «темных» книг в нобелевского лауреата, а спустя всего двадцать лет после смерти — в признанного классика американской литературы. История прочтения его на родине Достоевского и Толстого (которых он чтил столь высоко), в стране, которую он — сказать надо прямо — не знал и не понимал, но которая захотела понять его.

Наше знакомство с творчеством Фолкнера протекало преимущественно в «обратном» хронологическом порядке — от «Особняка», написанного в 1959 году и переведенного в 1961 году, к более ранним, внешне радикально отличным от него, но столь же принципиальным для фолкнеровского художественного канона романам 20—30-х годов — «Шум и ярость» [1], «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!». Это, конечно, наложило отпечаток на специфику восприятия, однако, при всех издержках чтения «с конца» (а в какой-то степени и благодаря ему), лишь заострило те главные вопросы, которые должен был решать читатель и критик. Несмотря на различие идейных и методологических позиций, представлений о критериях художественной ценности и несхожесть терминологии, эти вопросы с самого начала занимали серьезных исследователей творчества Фолкнера — и американских и советских.

Не умаляя заслуг американского литературоведения, проделавшего начиная с 40-х годов огромную текстологическую и комментаторскую работу, показавшего связь творчества Фолкнера с историческими и литературными традициями американского Юга, необходимо отметить, что эти вопросы решались им преимущественно «прагматически», имея в виду задачи интерпретации конкретного текста, часто в отрыве один от другого. «Учась читать» Фолкнера — в том числе и у таких американских критиков, как М. Каули, У. Бек, К. Брукс, у Р. П. Уоррена, тоже писавшего о Фолкнере,— советские исследователи стремились к самостоятельному истолкованию прочитанного в контексте совершенно иных идеологических, историко- и теоретико-литературных представлений.

В 50-е годы появляются работы, в которых сделана попытка преодолеть схематизм более ранних определений. Не претендуя на окончательность выводов, эти статьи Е. Романовой и И. Кашкина открывали новые грани все еще достаточно «загадочного» явления, привлекали к нему внимание читателей и критиков.

Подлинное «открытие» Фолкнера в СССР происходит в 60—70-е годы. В критических выступлениях этого периода доминирует проблема эволюции творческого метода писателя (сформулированная в названии известного доклада П. Палиевского «Путь Фолкнера к реализму» и получившая дальнейшую разработку в статьях и главах монографий М. Мендельсона, Я. Засурского, Т. Мотылевой). Если в начале 60-х годов преимущественное внимание уделялось позднему творчеству Фолкнера (прежде всего трилогии о Сноупсах), то во второй половине 60-х и в 70-е годы развивается стремление к диалектическому и целостному исследованию его художественного наследия. Статьи и монографии Н. Анастасьева, Б. Грибанова, Д. Затонского, А. Зверева, Г. Злобина, В. Костякова, М. Ландора, Ю. Палиевской, А. Савуренок, А. Старцева и многих других позволяют говорить о возникновении советской школы фолкнероведения.

Уже по меньшей мере десятилетие творчество Фолкнера занимает лидирующее положение как тема мировой англо-американистики (уступая по количеству ежегодных публикаций лишь творчеству Шекспира). Процессы, происходящие в фолкнероведении, ярко отражают некоторые общие тенденции. Суть же этих тенденций в литературоведении США, если говорить обобщенно и по необходимости упрощая, можно определить двумя словами: разочарование и поиски. Разочарование в формалистических доктринах «новой критики», в невыполненных «революционизирующих» обещаниях струк-

[1] «Иностранной литературе» принадлежит честь первой публикации на русском языке таких принципиально важных в творчестве У. Фолкнера романов, как «Особняк» (1961, № 9—12) и «Шум и ярость» (1973, № 1, 2). Печатались в «ИЛ» также романы «Осквернитель праха» (1968, № 1, 2), «Реквием по монахине» в драматургическом переложении А. Камю (1970, № 9) и рассказы «Победа» (1956, № 1), «Дым» (1957, № 12) и «Поджигатель» (1958, № 8). *(Здесь и далее прим. автора.)*

туралиэма и семиотики; осознание необходимости надежной методологии, которая позволила бы выйти из порочного круга эмпиризма и эклектики.

В поисках ответов на «неизбежные» вопросы о связи литературы и действительности американские исследователи все чаще обращаются и к нашему опыту. «Мы слишком близко стоим к деревьям, чтобы разглядеть лес. Подобный диалог выводит к новым горизонтам понимания явления»,— так ответил У. Феррис, глава американской делегации, на вопрос о том, в чем он видит пользу поездки в Москву [1].

Пожалуй, успех любой международной научной встречи определяется тем, в какой степени удается ее участникам создать атмосферу диалога — не обмена декларациями, но стремления понять логику и «язык мышления» другой стороны. Московский симпозиум был примечателен уже тем, что и в самом выборе и в развитии тем докладов советские и американские участники стремились полнее учесть научные интересы друг друга. Не скрывали различий во взглядах, однако и не упорствовали в них из соображений «престижа», в ущерб подлинному решению поставленных вопросов.

Мы постарались ознакомить наших американских коллег с позицией советских исследователей по возможно более широкому кругу проблем. Представление об их разнообразии могут дать уже названия прочитанных докладов и сообщений: «Фолкнер и литературные традиции американского Юга» (Н. Анастасьев), «Индейская» символика в произведениях У. Фолкнера» (А. Ващенко), «Фолкнер и кино» (Я. Засурский), «Фолкнер. Собрание рассказов» (А. Зверев), «Проблемы перевода произведений Фолкнера на русский язык» (М. Коренева), «Гуманизм Фолкнера» (А. Николюкин), «Фолкнер и Достоевский» (Т. Морозова), «Художественное время у Фолкнера» (Е. Стеценко), «Фолкнер-наездник: репортаж о дерби в Кентукки» (Д. Урнов), «Поэтика Фолкнера: ранние «неудачные» романы» (С. Чаковский).

Не меньшим тематическим разнообразием отличались и выступления американских делегатов.

Пожалуй, самый большой интерес у советских участников симпозиума вызвали три основных доклада американских коллег, которые были посвящены связям творчества У. Фолкнера с традициями его родного края — Юга США. Интерес наш был обусловлен как объективной важностью этих традиций для понимания художественного мира писателя, так и их исторической и национальной спецификой. Здесь трудно обойтись книжным знанием, нужен «взгляд изнутри», которого порой не хватает не только иностранцам, но и американцам, живущим «к северу от Потомака». Именно такой взгляд был представлен в работах земляков Фолкнера: Э. Харрингтона, видного исследователя творчества Фолкнера, бессменного директора ежегодной конференции в Миссисипи, писателя, сценариста; Н. Полка, известного критика и текстолога, члена редколлегии журнала «Фолкнер», и У. Ферриса, директора Центра по изучению культуры Юга США, литературоведа, этнографа, фольклориста.

Что представляет собой родина Фолкнера — штат, названный в честь великой реки, образующей «остов нации»? [1]

По большинству показателей экономического преуспеяния, культуры и прогресса, отвечает Э. Харрингтон, Миссисипи во времена Фолкнера, как и сегодня, едва ли не наиболее отсталый штат в стране. Тем не менее «в пересчете на душу населения» этот штат дал Америке больше хороших писателей, чем любой другой.

Действительно, факт этот весьма примечателен. Из Миссисипи наряду с Фолкнером вышли такие художники с мировыми именами, как Теннесси Уильямс, Ричард Райт и Юдора Уэлти... Перечисление выдающихся фигур «американского масштаба» включило бы в себя еще десяток имен прозаиков, поэтов и драматургов: Старк Янг, Уокер Перси, Элизабет Спенсер, Шелби Фут, Барри Ханна, Патрик Смит и другие. Если же замечанию Харрингтона придать расширительный смысл, тем более что Миссисипи, по его мнению, это «последний оплот духа Юга вообще, высшее, подчас крайнее выражение присущих ему черт», то заслуги этого края перед американской и мировой литературой XX века будут выглядеть еще внушительнее. Ведь и Р. П. Уоррен, Т. Вулф, Т. Капоте, У. Стайрон, Ф. О'Коннор, Ш. Э. Грау, К. Маккаллерс, К. Э. Портер — южане не просто по рождению, но по органически воспринятым идейным и художественным традициям, претворенным в их творчестве.

Каковы же культурные предпосылки того художественного расцвета, который пережила литература Юга начиная с 20-х годов нашего столетия? Положение не лишено парадоксальности.

Всем известна шутка Марка Твена, которой он ответил на появившееся в газете сообщение о его смерти, продолжает Харрингтон. Так вот, в отличие от этого сообщения, сообщения о неграмотности в Миссисипи «сильно преувеличенными» не назовешь. Говорят, Фолкнер в этой связи заметил: «В Миссисипи люди книг не читают, они их пишут». Ну и, конечно, почти столь же часто упоминается его замечание (в письме к Джоан Уильямс), в котором он с удивлением вспоминает о написанных им книгах, называя себя «человеком, необразованным в сколько-нибудь формальном смысле, никогда не имевшим не то что литературных, но даже вполне грамотных друзей».

Все это, замечает Харрингтон, не совсем соответствует действительности. Неграмотность распространена, но главным образом среди негритянского населения штата — «прискорбное положение, которое многие из нас, подобно Фолкнеру, пытаются исправить, посвятив этому значительную часть жизни». В то же время Миссисипский университет в Оксфорде (созданный по образцу знаменитого Оксфордского в Англии — отсюда и название города) — один из лучших в стране.

Культурная жизнь в Миссисипи, рассказывает Харрингтон, в основном сводящаяся

[1] «Clarion-Ledger», Sunday, April 22, 1984.

[1] Таким определением открывается «Жизнь на Миссисипи» М. Твена.

к литературной, сильно напоминает английскую: небольшая привилегированная группа, которая читает и пишет, образует своеобразный клуб. Все и всё друг о друге знают. Существует культурное общение и поддержка. Фил Стоун и Старк Янг помогали Фолкнеру. Он в свою очередь поощрял Юдору Уэлти, Ричарда Райта и Шелби Фута. Поэтому нельзя согласиться с тем, что у Фолкнера не было «не то что литературных, но даже вполне грамотных друзей». Не приходится удивляться и тому, что он был знаком с новейшими литературными течениями, даже если бы и не жил в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Париже. Его художественное видение в значительной степени было сформировано чтением Библии, Сервантеса, Шекспира, Диккенса, Бальзака, Конрада, Толстого, Достоевского, Мелвилла, Готорна и других. Безусловно, Фолкнер не избежал и литературных влияний модернизма. Тем не менее именно реальная жизнь в Миссисипи оказала на творчество Фолкнера решающее воздействие.

Способ ведения рассказа у Фолкнера и его отношение к неграм непосредственно обусловлены традициями Миссисипи. Другой широко известный фактор воздействия на его творчество — отрезвляющий моральный эффект поражения Юга в Гражданской войне и длительного периода угнетения негров.

Возможно, замечает Харрингтон, хотя это не более чем предположение, не претендующее на научность, столь большое число прекрасных прозаиков появилось в Миссисипи еще и потому, что хорошая проза основана на живом воспроизведении обстановки, характера и действия. Можно предположить, что во времена Фолкнера жителям Миссисипи (где и сегодня можно найти людей, не вполне убежденных, что земля круглая, и серьезно сомневающихся в том, что человек действительно побывал на Луне) было легче избежать той патины абстракций, которой современная наука покрыла наши чувства, притупила ощущения...

В докладе Н. Полка развивается одна из тем, упомянутых Харрингтоном,— проблема отношения Фолкнера к неграм. Проблема далеко не частная. Фактически утвердившийся на американской земле уже в первой половине XVII века институт рабства находился в разительном противоречии с теми демократическими идеалами, которые декларировались при создании американской республики. В 60-е годы XIX века он, как известно, привел к кровопролитному столкновению Севера и Юга, к Гражданской войне, с которой, собственно, и ведет свое летосчисление современная Америка. Переживание поражения в этой войне, осмысление его моральных уроков в значительной степени послужили для писателя-южанина той школой «страдания», из которого, по известной мысли Достоевского, рождается настоящая литература. Если для Харрингтона Миссисипи — это физический и психологический «locus», определивший характерную атмосферу романов Фолкнера, то для Полка это историческое перекрестье противоречивых идей и нравственных представлений, сыгравших столь значительную роль в становлении общественного и художественного самосознания Юга.

Как человек и гражданин, Фолкнер достаточно недвусмысленно определил свою позицию, не только решительно выступив против сегрегации негров (за что был подвергнут травле в консервативной южной прессе), но и пожертвовав денежную часть Нобелевской премии в фонд неимущих черных студентов Миссисипского университета. В то же время некоторые его публичные высказывания конца 50-х годов повергли в замешательство многих земляков Фолкнера — как черных, так и белых. В 1957 году в интервью английскому журналисту Р. Хоу он произнес печально знаменитую фразу: «Если дело дойдет до драки, то я буду сражаться на стороне Миссисипи против Соединенных Штатов, даже если при этом придется стрелять в негров на улицах». Сам Фолкнер впоследствии жестоко осудил себя, назвав подобные заявления «глупыми и опасными» и сказав, что они «не придут в голову ни одному человеку, находящемуся в трезвом уме». Тем не менее, замечает Полк, в этих словах — сколь бы ошибочной и несправедливой ни была их буквальная трактовка — сконцентрированы некоторые существенные черты мировоззрения Фолкнера.

Фолкнер, говорит Полк, как и все мы, был продуктом своего времени и среды, что, естественно, не могло не найти отражения в его произведениях.

Желая обнаружить в книгах Фолкнера последовательное осуждение расизма, продолжает Полк, критики нередко схематизируют его героев-негров, навязывая им те или иные клишированные, главным образом положительные, «функции». Подобный взгляд, по мысли исследователя, подсказан куда более коварной формой расизма, чем открытая ненависть, поскольку он дегуманизирует негритянские персонажи, предполагая, что они должны быть «неграми» прежде всего. Между тем ни один герой Фолкнера, к какой бы расе он ни относился, не бывает только плохим или только хорошим, но представляет собой невероятно сложное сочетание социальных, исторических, экономических, психологических и политических сил, превращающих индивидуума в то, что он есть. В этой способности — впервые в американской литературе — показать негра как самобытного и сложного индивидуума Полк видит одно из высших проявлений гуманизма Фолкнера.

Что же касается утверждения человеческого достоинства негра, изображения негритянского характера, заключает Полк, то было ли это сделано кем-нибудь и когда-нибудь с большей убедительностью и глубиной, чем Фолкнером в романах «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!», «Сойди, Моисей»?

Трудно не согласиться с Полком. Однако, отдавая должное яркости воплощения негритянских персонажей в произведениях Фолкнера, нельзя упускать из виду и другое — их принципиальную, «внутреннюю» служебность. Строго говоря, и в «Авессаломе, Авессаломе!», и в «Свете в августе» действует не столько реальный негр, сколько «негритянская проблема», тяготеющая

над Югом трагическим проклятьем. Даже там, где негр, по видимости, выдвинут на передний план действия (Дилси в «Шуме и ярости», Лукас Бичем в «Осквернителе праха» и «Огне и очаге», Нэнси Мэннигоу в «Реквиеме по монахине» и в рассказе «Когда наступает ночь»), он все же является прежде всего другим «я», воплощением больной совести белого протагониста. Обнаружение человечности негра, неожиданное и страшное не только для белых Компсонов, но и для самой черной героини рассказа «Когда наступает ночь» (на котором останавливается Полк и с которого, кстати, началось знакомство советского читателя с творчеством Фолкнера в 1934 году), заявлено безусловно сильно, но лишь как «вопрос», как тема. Разработал ли ее до конца Фолкнер в своем творчестве? Вероятно, нет: исторически эта миссия легла на плечи негритянской литературы США. Фолкнер же был одним из тех писателей, которые объективно подготовили ее столь впечатляющий расцвет в XX веке.

Значительное место в работе симпозиума было уделено проблемам поэтики Фолкнера. В насыщенном интересными наблюдениями докладе У. Феррриса рассматривался вопрос о роли фольклорного наследия в становлении его характерной повествовательной манеры.

Современная критика, замечает Феррис, рассматривает творчество У. Фолкнера почти исключительно в контексте известных литературных традиций. Подобный анализ необходим и правомерен, однако он должен быть дополнен исследованием фольклорных источников его творчества. Связь между фольклорными и литературными традициями, подчеркивает исследователь, характерна для американской литературы от Твена до Фолкнера.

Обращаясь к анализу известного эпизода «Пятнистые лошадки» из романа «Деревушка», Феррис восстанавливает не только его литературную (произведения Харриса, Биллингса, Лонгстрита), но и живую фольклорную генеалогию. Он, в частности, знакомит нас с Рэем Ламом — восьмидесятичетырехлетним торговцем мулами из Миссисипи, возможным прототипом героя романа Пата Стэмпера. Записанные У. Феррисом рассказы Рэя Лама проливают свет на некоторые внутренние связи творчества Фолкнера с современной ему жизнью в Миссисипи и способствуют пониманию повествовательной специфики его произведений.

Стиль потока сознания, считает У. Феррис, играет существенную роль в произведениях Фолкнера, которые в представлении читателя ассоциируются с тяжеловесными, бесконечными предложениями, рассказами в рассказах о разветвленных семьях, отношения между которыми раскрываются по ходу повествования. Литературоведы возводят этот стиль к Джеймсу Джойсу. Его творчество, конечно, оказало влияние на Фолкнера. Однако не менее важным источником влияния была и фольклорная традиция. В устных рассказах Рэй Лам, конечно же и не помышляя об употреблении самого этого термина, прибегает к форме потока сознания. Его предложения, как и сами истории, не имеют конца, рассказы вплетены в рассказы, как в прозе Фолкнера. У слушателя создается впечатление, что, пока Лам жив, его рассказ будет продолжаться; подобно биению человеческого сердца, этот непрекращающийся рассказ постоянно утверждает силу человеческого духа.

Фолкнер, подчеркивает в заключение Феррис, был чрезвычайно чуток и восприимчив к народной культуре своего края. Это обязывает нас изучать рассказы Рэя Лама столь же внимательно, как и произведения Джеймса Джойса.

Методологическое значение этого вывода в истолковании творчества У. Фолкнера — в полемике с критиками «книжной», причем преимущественно модернистской ориентации,— представляется нам весьма существенным.

Джозеф Блотнер, автор двухтомной биографии Фолкнера, издатель и комментатор его писем и интервью, рассказал о работе над новым изданием своего фундаментального труда. Его доклад так и назывался — «Переписывая биографию Фолкнера». Впрочем, прервем изложение докладов: в будущем году они должны быть опубликованы полностью в СССР и в США. Заметим лишь, что сопредседатели симпозиума П. Палиевский и У. Феррис выразили взаимное удовлетворение научным уровнем представленных работ, заявили о своем намерении продолжать и расширять сотрудничество между ИМЛИ им. А. М. Горького и Центром по изучению культуры Юга США. Об этом же говорилось в письме, направленном американской делегацией академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР М. Храпченко.

Работа симпозиума, разнообразные связанные с ним мероприятия вызвали значительный интерес советских средств массовой информации. Они освещались в телевизионной программе «Время», в передачах Всесоюзного радио, в газетах «Советская культура» и «Московские новости». К началу работы симпозиума было приурочено и открытие в Москве, в Библиотеке иностранной литературы, совместной советско-американской выставки книг, фотодокументов и рукописей посвященной жизни и творчеству Уильяма Фолкнера. Советская часть экспозиции включала первые издания произведений У. Фолкнера, в том числе книги «Солдатская награда», «Шум и ярость» и другие, переводы романов классика американской литературы на русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, эстонский и другие языки народов нашей страны.

Во время открытия выставки состоялась церемония передачи И. Т. Хольтсманом уникальных материалов его частной коллекции нашей стране.

Дар Ирвина Хольтсмана, видного представителя деловых кругов США, страстного библиофила, знатока и ценителя творчества Фолкнера,— свидетельство уважения к советским читателям, критикам и переводчикам американской литературы. Об этом он говорил, в частности, на встрече в редакции журнала «Иностранная литература», где вместе с другими членами американской делегации был принят заместителем главного редактора К. Чугуновым.

Две недели пребывания наших американских коллег в СССР пролетели до обидного быстро, хотя и вместили в себя немало: научные дискуссии, встречи с писателями, критиками, деятелями кино (не только в Москве, но также в Ленинграде и Тбилиси), посещения музеев и театров, знакомство — пусть беглое — с повседневной советской жизнью, о которой в Америке, увы, распространяют столько небылиц.

Каковы же впечатления американских ученых? Энн Эбоди, заместитель директора Центра по изучению культуры Юга США, в интервью по возвращении на родину сказала: «Советские люди знают больше о творчестве лауреата Нобелевской премии из Миссисипи, чем значительная часть жителей его родного штата» «Советских людей,— добавил Эванс Харрингтон,— привлекает вера Фолкнера в силу человеческого духа. Центральный вопрос для писателей XX века — существует ли в человеке некое начало, не подверженное разрушению? Фолкнер — один из немногих великих писателей XX века, который отвечал на этот вопрос утвердительно: «Я отказываюсь принять конец человека» [1].

Конечно, среди великих писателей XX века Фолкнер был вовсе не одинок в гордом отказе примириться с будто бы фатально предрешенной судьбой человека и человечности. Впрочем, к обсуждению этого принципиального вопроса мы еще надеемся вернуться — и на очередной конференции в Миссисипи, и на следующем советско-американском симпозиуме. Уже определена его тема — «Фолкнер и Шолохов», время и место проведения (лето 1986 года, Москва и Ростов-на-Дону).

Профессиональная, обоюдная, научная ценность подобных дискуссий очевидна. Не менее весомо и их общекультурное, в самом широком смысле слова гуманитарное значение. Перерастая академические рамки, они могут стать важным фактором углубления взаимопонимания между народами СССР и США.

[1] The Southern Register, Fall 1984, vol. III, No 2, p. 7.

◆

Советская литература за рубежом

АВСТРИЯ

Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Мама и нейтронная бомба». Издательство «Цзольнай».

Поэма ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО «Владимир Ильич Ленин». Издательство «Глобус».

Повесть АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «Ювенильное море». Издательство «Ульштайн».

Сказка КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Доктор Айболит». Издательство «Шёнбрунн-ферлаг».

ВЕНГРИЯ

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Меньший среди братьев». Издательство «Европа».

«О-кэй, американский роман» БОРИСА ПИЛЬНЯКА. Издательство «Магветё».

Повести АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Каникулы Кроша» и «Приключения Кроша». Издательство «Мора».

Рассказ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «Инструктор по плаванию». Издательство «Европа».

ДАНИЯ

Роман АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА «Дерево в центре Кабула». Издательство «Спутник».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Улитка на склоне». Издательство «Доместо».

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Старик». Издательство «Спутник».

ПОЛЬША

Роман ВЛАДИМИРА МАЛИКА «Шелковый шнурок». Издательство «Выдавнитство любельске».

Повесть АРКАДИЯ МИНЧКОВСКОГО «Странные взрослые». Издательство «Искры».

Стихи и песни БУЛАТА ОКУДЖАВЫ. Издательство «Выдавнитство литерацке».

Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Солдат и мальчик». Издательство «Искры».

Роман ПЕТРА ПРОСКУРИНА «Имя твое». Издательство «К и В».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «ПИВ».

Н. ЛИТВИНЕЦ

НАШ ДРУГ ОТТО ШТАЙГЕР

Буржуазная критика не балует своим вниманием швейцарского писателя Отто Штайгера. Не так уж часто рецензируются в периодике новые его книги, да и в солидном, с золотым тиснением многостраничном фолианте «Выдающиеся личности Европы. Швейцария» (своего рода швейцарском «Who is Who», выпущенном в 1974 году, когда Отто Штайгеру шел уже седьмой десяток) писателю не нашлось места рядом с многочисленными генеральными директорами, адвокатами, президентами корпораций, главными редакторами, национальными, правительственными и прочими советниками. Впрочем, можно предположить, что сам Отто Штайгер не испытывал сожалений по этому поводу. Солидные фолианты с золотым тиснением, как правило, пылятся на книжных полках, а вот штайгеровские книжки читают уже несколько десятилетий подряд все новые поколения читателей.

Читают книги Отто Штайгера и в нашей стране. Знакомство это началось еще в 1957 году, когда в «Издательстве иностранной литературы» вышел в переводе на русский язык роман Отто Штайгера «Портрет уважаемого человека». Затем, в 1966 году, читатели наши познакомились еще с одним романом писателя — «Год в одиннадцать месяцев» И наконец, в этом году в издательстве «Радуга» выходит большая книга писателя на русском языке, сборник избранных его произведений, дающий представление о том, что сделано Штайгером за все эти годы для развития швейцарской словесности, о собственных его поисках и свершениях.

Книга — визитная карточка писателя. О нем самом, о его жизни она расскажет лучше, чем самый подробный очерк в наисолиднейшем справочном издании. Вот перед нами новая повесть писателя, изданная в 1984 году,— «Экзамен на незрелость» («Экоферлаг», Цюрих). К содержанию ее мы еще вернемся, а пока заглянем на последнюю страницу суперобложки. Здесь под портретом писателя обычно помещаются краткие сведения о нем и его творчестве. Самое основное и самое важное. Итак, Отто Штайгер, род. в 1909 году, живет в Цюрихе. Автор пятнадцати романов, среди них...

Автор пятнадцати романов...

Это и в самом деле так. Отто Штайгер — неутомимый труженик в литературе, и широкий творческий диапазон, обилие книг, написанных всегда «по-штайгеровски», с сердцем и душой, с болью за человека и стремлением улучшить далекий от совершенства мир — все это результат огромного, повседневного писательского труда, без которого Отто Штайгер не мыслит собственной жизни.

А жизнь его складывалась нелегко. Родился Штайгер в небольшом местечке не-

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор ряда статей по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ, занимается также художественным переводом.

подалеку от Туна. Семья была буржуазная, респектабельная, отец сызмальства готовил сына к академической карьере и в мечтах уже видел его доктором философии. Однако совершенно неожиданно, никого не спросясь, несостоявшийся доктор удирает во Францию, работает там на заводе, приобретает множество друзей среди французских рабочих, там же, в Париже, заканчивает образование, подрабатывая где и как придется.

Через пять лет Штайгер возвращается в Швейцарию с твердым намерением стать писателем. Но целиком отдаться писательскому труду оказывается невозможно, приходится совмещать его с преподавательской деятельностью, работать урывками, ночами, по воскресеньям. «Я не могу позволить себе роскошь творческих кризисов и душевных метаний, мне нельзя сослаться на головную боль в ветреные дни или просто на нерабочее настроение. И даже максимально используя свободные от службы часы, продумывая по дороге домой и из дома те или иные сюжетные ходы, я живу в ощущении постоянного цейтнота»,— так говорил о своем труде Штайгер. Но, несмотря ни на что, работал, работал много и упорно. В 1939 году он закончил первый свой роман — «Они делают вид, что живут». Социально-критическая направленность романа не устраивала солидное буржуазное издательство, куда Штайгер принес рукопись, кое-что потребовали изменить, писатель отказался, и роман вышел несколько лет спустя уже в другом издательстве. Второй роман — «И все кончается миром» — вышел в свет в 1949 году в Тюбингене. Социально-разоблачительный пафос молодого писателя пришелся предприимчивому западногерманскому издателю весьма кстати в то время — роман неплохо разошелся, однако сам Штайгер не получил за него ни гроша. И продолжал писать.

Наибольший успех среди ранних произведений писателя выпал на долю «Портрета уважаемого человека» (1952). Не будет преувеличением сказать, что в тихой, умеренной Швейцарии роман этот произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Впрочем, бомба была «замедленного действия», и разорвалась она не сразу, а только после того, как роман Штайгера перевели и издали в Советском Союзе в 1957 году. Но сначала о самом романе.

Кто же он, этот «уважаемый человек», владелец процветающей фабрики и доходных домов, роскошной виллы неподалеку от Цюриха и небольшого домика в горах, член всевозможных советов и комиссий, полковник в отставке и, несмотря на свои шестьдесят, интересный еще мужчина, вполне способный нравиться женщинам?

Не спеша, уверенными, крупными мазками набрасывает писатель этот портрет, давая читателю время проникнуть в суть характера героя, постичь жестокую логику «отмирания души». Поначалу он даже не вызывает столь уж резкой антипатии, этот Растиньяк двадцатого века, изо всех сил стремящийся вырваться из более чем скромных обстоятельств, в которые поставлен от рождения, подняться хоть на пару ступенек выше по социальной лестнице. И начинает он свое восхождение в общем-то честно, стремясь выучиться, набраться как можно больше знаний и умений, дабы использовать потом все это в собственной деловой карьере. Мелкие подлости пока не в счет — это всего лишь способ выжить, удержаться любым способом «на плаву». Но проходит время, и не такой уж безобидный юношеский прагматизм оборачивается во имя той же карьеры подлостями уже по большому счету, выдающими душу холодную и циническую. Жестокие законы конкурентной борьбы, требующие умения работать локтями, толкнуть падающего, распространяются и на личную жизнь героя: основанный на голом расчете второй брак не приносит ему семейного счастья, зато позволяет сделать решающий шаг к богатству, настоящему и столь вожделенному. Здесь портрет, рисуемый Штайгером, обретает бесспорно сатирические черты: нравственная деградация «уважаемого человека» становится все ощутимей.

Мы застаем героя «на вершине», в момент, когда казалось бы достигнув всего желаемого, он может спокойно и уверенно доживать оставшийся ему на земле срок. Но дал уже трещину построенный им вокруг себя, незыблемый лишь на первый взгляд мир богатства и душевного комфорта: самоубийство доведенной до отчаяния жены лишает «уважаемого человека» внутренней опоры, заставляет по-новому взглянуть на собственную жизнь. И теперь он видит ее в истинном, неприглядном свете. Нельзя безнаказанно творить зло, отодвигая «на потом» добро и любовь,— таков основной пафос штайгеровского романа. Ужасна поэтому смерть «уважаемого человека» в окружении внешне скорбящих, но чуждых ему людей, под любопытным взглядом сына, которому не терпится скорее прибрать к рукам солидное отцовское наследство.

Конечно, ранний роман Штайгера не свободен был и от недостатков — писатель ведь только начинал свой путь в литературе. Слишком выступало порою на первый план дидактическое начало, не очень оправданно было внутренне нравственное перерождение героя, слегка размытыми казались рядом с ним второстепенные персонажи. И все-таки главное достоинство книги отдельные ее недостатки перекрывали: за портретом «уважаемого человека» явственно вставал портрет общества, главной движущей силой которого является страсть к наживе.

Теперь о несколько неожиданном резонансе, который получил роман «Портрет уважаемого человека» уже потом. Факт издания его в Советском Союзе не прошел незамеченным. А когда вслед за этой публикацией Отто Штайгер впервые посетил нашу страну и вывез самые добрые впечатления, вокруг его имени поднялась явно недоброжелательная шумиха. В результате Штайгер был вынужден уйти с поста председателя Союза швейцарских писателей. Однако все дальнейшее его творчество только закрепило за ним репутацию автора актуального, «острого», не боящегося

изображения серьезных социальных и нравственных конфликтов.

Восемь лет спустя, в 1960 году, выходит в свет роман «Путешествие к морю», явившийся своего рода «зеркальным отражением» «Портрета уважаемого человека». Писатель словно пытается создать нравственный антипод «уважаемому человеку», и тогда возникает новый тип героя, которому суждено было пройти по многим штайгеровским книгам, включая и самые недавние. Это чудак, бессребреник, способный отличить подлинные ценности от мнимых, добрый, бескорыстный, а потому воспринимаемый окружающими как человек «с приветом», «не от мира сего». Для героя «Путешествия к морю» подобная реакция ближних находит и вполне конкретное проявление: его водворяют в сумасшедший дом, где он и рассказывает врачу в течение нескольких сеансов историю собственной жизни. Рассказ этот, то размеренно неторопливый, то сбивчивый, путаный, с неизбежными лирическими отступлениями, и составляет сюжетную канву романа.

Неглупый, доброжелательный врач клиники для душевнобольных давно уже понял зыбкую относительность понятий «нормальное» и «ненормальное» в обществе, которое по самому устройству своему нельзя считать нормальным, здоровым и разумным. Вот почему пациент, совершавший с точки зрения обывательской морали самые невероятные, «ненормальные» поступки, представляется ему человеком вполне здоровым, чего нельзя сказать об окружающем его обществе. Герой Штайгера и впрямь совершает поступки, казалось бы, противоречащие здравому смыслу: год ухаживает за девушкой, год покорно позволяет принимать себя в ее доме как жениха, согласен даже ежемесячно откладывать деньги на свадьбу на обзаведение хозяйством и вдруг, когда будущая его семейная жизнь расписана и просчитана уже до мелочей, неожиданно заявляет о намерении совершить путешествие к морю, которого никогда не видел. Паломничество к морю затягивается, герой бродяжничает, встречается с самыми разными людьми, странствует вместе с цирком, чуть было не становится дельцом, разворачивая вместе с предприимчивым компаньоном широкомасштабное производство улыбчивых садовых гномов, после смерти компаньона пытается любым способом избавиться от ненужного ему доходного предприятия, сознательно играет на разорение, хочет даже подарить фабрику рабочим (вот тут-то в окружающих и закрадывается сомнение, в своем ли он уме), снова отправляется бродяжничать и оказывается в конце концов в клинике для душевнобольных. Сложная, причудливая биография. Впрочем, если свести все к нравственной, человеческой первооснове, поступки героя окажутся просты и естественны, как и побудительные их мотивы. Но мир, где обычные человеческие проявления — доброта, участие к ближнему, бескорыстие, мечта о прекрасном — воспринимаются как душевная патология, как резкое и кричащее отклонение от нормы, такой мир безумен уже по самой природе своей.

В «безумном, безумном, безумном мире» живет и Виктор Дефонта, герой романа «Год в одиннадцать месяцев». Подкупающий своей моральной чистотой и честностью, молодой коммивояжер в чем-то сродни вольтеровскому Кандиду: он искренен в своих поступках, убежден, что в жизни неизбежно побеждает добро. Виктор, как и полагается благородному рыцарю, спасает юную, красивую девушку, упавшую по неосторожности с моста. Тем самым жизнь его обретает новый смысл. Девушка Марина, естественно, влюбляется в своего спасителя не менее страстно, чем спаситель в нее, и на горизонте маячит уже перспектива счастливого брака с маленьким уютным хозяйством и множеством симпатичных ребятишек. Однако радужная эта будущность на время отодвигается, юные герои сталкиваются с сегодняшними проблемами.

Купание в холодной февральской воде имело для Виктора Дефонта, помимо знакомства с Мариной, еще одно жизненно важное последствие. В больнице, куда он угодил, заболев воспалением легких, Виктор знакомится с «ратником божьим» Михаэлем. Нехитрое учение Михаэля имеет весьма условное отношение к религии, зато безошибочно соотносится с нравственной позицией любого по-настоящему доброго, хорошего человека. Сводится оно всего к трем истинам: «не лги», «возлюби ближнего», «будь миротворцем». Истины эти находят незамедлительный отклик в чистой душе Виктора, и вот уже новообращенный «ратник божий» строит в соответствии с ними собственную жизнь. И хотя принципы эти просты, руководствоваться ими в повседневности оказывается весьма непросто. Виктор не раз попадает в сложные ситуации, но исповедуемой вере не изменяет: говорит всегда только правду, что для коммивояжера совсем не легко, старается возлюбить ближнего и по мере сил способствовать миру на земле. Последнее и оказывается главной пружиной сюжета.

Ибо в вымышленной стране, где живет Виктор, назревает военный конфликт с соседней Драпонией. Политики и генералы уже сладострастно предвкушают грядущую войну, промышленники подсчитывают будущие прибыли. Однако в маленькой деревушке Фарн, расположенной вблизи от границы с Драпонией, никто и не помышляет о войне. Живущих по ту сторону границы драпонцев не очень-то жалуют, но воевать... Обитатели Фарна, в том числе Марина и ее отец, глава сельской общины, заняты проблемами куда более насущными, повседневными. И когда солдаты начинают строить на границе с Драпонией бетонные укрепления, проходящие прямо по богатым фарнским пастбищам, Виктору-миротворцу приходит в голову гениальная и одновременно чрезвычайно простая идея: совет общины единогласно принимает постановление, запрещающее войну на территории Фарна.

Нет необходимости доказывать, сколь актуально звучат сегодня гротескно-комические главы, рассказывающие, как подхвачена была инициатива фарнцев простыми людьми по всей стране и какой переполох она вызвала среди генералов и промышленников. В самом начале шестидесятых годов в благополучной Швейцарии писатель

удивительно чутко уловил важнейшую проблему современности, проблему сохранения мира. Хитроумные фарнцы, объявившие свою деревушку первой «зоной мира» на европейском континенте, сегодня нашли бы сотни тысяч, миллионы единомышленников во всех частях света. В доброй и мудрой притче Штайгера все кончается хорошо: стремившееся развязать войну правительство низложено, и фарнцы, ставшие отныне самыми большими друзьями с жителями соседней драпонской деревни, празднуют победу. Писатель рисует картину утопическую, однако полную глубокого внутреннего смысла. Страстный антивоенный пафос, деятельное утверждение добра не могут не вызвать ответной реакции читателя, а мягкий юмор, с каким повествует писатель о своих героях,— доброй его улыбки.

Роман Штайгера написан был в новом, необычном для него жанре «комической параболы». Другой роман этого времени — «Начать все сначала» (1962) — выдержан, напротив, в традициях «жесткого реализма». Трагическая история неудавшейся жизни, горькая притча о том, как одно преступление неизбежно порождает другое, грустный рассказ о женском одиночестве, о несостоявшемся счастье и о готовности пойти ради этого счастья на все, даже на самое страшное, прочитывались бы, возможно, совсем по-другому, не будь в основе романа исповеди главной героини, исповеди горькой, жесткой и беспощадной. Неприметная дурнушка Саломея Кресье не чиста душой и не чиста в своих помыслах. Ради денег она лжет, ради денег приносит в жертву стареющему развратнику свою молодость, ради денег совершает преступление. И жестоко расплачивается за все. Богатство не приносит истосковавшейся женской душе любви, не приносит даже простого человеческого участия и тепла. В одиночестве, наедине лишь со своими мыслями будет искупать Саломея Кресье свой грех. «Если бы можно было начать сначала, прожить честнее и достойнее» — лейтмотив романа.

Отто Штайгер пишет просто. Современный зарубежный читатель успел привыкнуть к ребусам, что предлагаются ему нередко в виде художественного текста, к моральному релятивизму, выдаваемому порой за высшую сложность человеческих отношений, к алогичному построению сюжета, к запутанной головоломной фразе. А вот в книгах Штайгера разгадывать, как правило, ничего не надо, авторская позиция очевидна, да автор и не прячет собственную оценку происходящего, напротив, он сознательно стремится убедить читателя в том, в чем глубоко убежден сам. При этом, однако, никакого морализаторства: писатель как бы растворяется в своих героях и их устами, их образами доказывает собственную правоту. Сознательная реалистичность прозы Штайгера, прозрачность ее языка делают ее доступной самому широкому читателю. Но отнюдь не невзыскательному, примитивному потребителю чтива так называемой «массовой культуры». Проза Штайгера легко читается и в то же время заставляет думать, это литература, ждущая читательского понимания и участия, сознательно делающая на это понимание ставку и потому равно доступная искушенному и неискушенному уму. Вот почему даже там, где мы имеем дело с произведением, задуманным и написанным не без известного стилистического и сюжетного «изыска», проза Штайгера сохраняет главные свои качества — прозрачность и достоверность.

Роман «Жить, будто тебя нет», опубликованный в 1980 году, именно такое «усложненное» произведение. Здесь словно сходятся воедино многие сюжетные линии, разрабатывавшиеся в предшествующих книгах писателя. Вновь встречаемся мы с отрешенным от жизни чудаком, искренним, честным и добрым человеком, которого на сей раз зовут Бенджамином Штабом. Судьба его «не задалась» изначально, тем не менее он находит в себе силы эту судьбу принять, не роняя человеческого достоинства. В Бенджамине Штабе много от простодушного Виктора Дефонта из романа «Год в одиннадцать месяцев», от безымянного «путешественника к морю» и еще от других дорогих автору персонажей. Зато глава семейства Бойтлеров, куда в качестве зятя попадает Бенджамин и откуда готовит побег в течение долгих семи лет, словно сошел со страниц романа «Портрет уважаемого человека», сын же его Эрнест, мятущийся молодой человек, задыхающийся в душной атмосфере «благопристойного» дома, напоминает героев штайгеровских книг для юношества. Все эти линии сплетаются в довольно запутанный сюжетный узел, и только жизнеописание Бенджамина Штаба, которое тот создает в ожидании встречи с главным врачом клиники для душевнобольных, проливает свет на истинную подоплеку происходивших событий. Создавая «жизнеописание», Бенджамин Штаб одновременно судит себя.

Да, Бенджамин Штаб — искренний, чистый человек, который всегда стремится поступать по совести, по внутреннему убеждению. Так, он отказывается отбывать очередные два месяца в казарме во время ежегодных военных сборов, будучи твердо убежден, что никто не угрожает маленькой Швейцарии и ей вовсе ни к чему иметь столь сильную, содержащуюся в постоянной боевой готовности армию. Даже два тюремных заключения, последовавших одно за другим, а также запрет властей работать учителем (своего рода швейцарский вариант западногерманских «запретов на профессии») не смогли поколебать Бенни в его решении. А вот женитьба на Эдит, дочери преуспевающего фабриканта Бойтлера, выставляет героя не в столь уж безупречном свете, это понимает и он сам. Ни внешняя привлекательность Эдит сама по себе, ни деньги ее родителей, взятые опять же сами по себе, не заставили бы Бенни вступить в брак. Но сочетание того и другого оказалось для него роковым. Семь лет унизительной моральной и материальной зависимости выдержал Бенни в доме Бойтлеров. Семь лет по грошам, экономя на выдаваемых ему на обед и проезд мизерных суммах, копил он на побег из «золотой клетки». Но и новая жизнь не сложилась.

Жизнеописание Бенджамина Штаба создается в тот момент, когда, перепробовав

разные варианты существования, он, наконец, останавливается на самом приемлемом для себя: тихое, размеренное прозябание в клинике для душевнобольных, где не нужно ни к чему стремиться, ни о чем сожалеть, только наблюдать, как уходит время. Ситуация, прямо противоположная той, что изображена была двумя десятилетиями раньше в романе «Путешествие к морю». Оба героя живут в безумном мире. Но если у героя «Путешествия к морю» оставались еще кое-какие иллюзии, надежда добраться до моря, сесть на песок и помечтать о любимой, если ради этой надежды он и стремился *вырваться* из клиники, куда упекли его неведомые доброхоты, то у Бенджамина Штаба нет уже ни прекрасной мечты, ни каких-либо иллюзий, и с клиникой для душевнобольных у него совсем другие отношения — он мечтает туда *попасть* по собственной воле, чтобы там дожить остаток дней своих. Страшен мир, где у нормального, доброго, честного человека остается только такое убежище, но еще более страшен мир, который даже такого убежища ему предоставить не может. Вместо этого за несовершенное ограбление Бенджамин Штаб попадает в тюрьму и в конце концов привыкает к тамошнему существованию, привыкает «жить, будто тебя нет».

Разумеется, можно было бы упрекнуть Штайгера в том, что герой его слишком уж пассивен. Будучи хорошим по сути человеком, не желающим приспосабливаться к безнравственному в основе своей обществу, он не находит в себе сил ему противостоять, обрекает себя на добровольное затворничество. Впрочем, далеко не все штайгеровские персонажи такие. Иной подход к жизни у героев юношеских книг, они-то активны и как раз стремятся что-то делать. Но здесь мы переходим уже в другую область творчества писателя, которая в нашей краткой справке «на супере» обозначена так:

...а также многочисленных книг для юношества...

Первая из «юношеских повестей» писателя — «Поймать вора» — вышла в свет в 1974 году. Зарубежные критики о повестях Штайгера, написанных для молодого читателя, упоминают обычно вскользь, мимоходом, как о некоем побочном продукте писательского ремесла. Пренебрежение это неоправданно, ведь как автор «книг для юношества» Штайгер имеет собственное писательское лицо, собственный круг проблем. Да и написаны штайгеровские «книги для юношества» явно не для одного только юношества, но и для взрослых тоже, они обращены ко всем, кто чувствует себя ответственным за души молодых, за будущий облик мира. «...Ибо из подростков,— так кончается роман Ф. М. Достоевского «Подросток»,— созидаются поколения».

Простая, казалось бы, история: группа старшеклассников из столичной гимназии отправляется вместе с учителем на каникулы в горы, здесь приключается неприятное происшествие, из «общего котла» пропадают деньги, местный полицейский, не долго думая, наводит их на след возможного похитителя, и вот уже начинается азартная игра «в погоню», заканчивающаяся весьма трагически и нелепо.

Как и принято в книжках для молодых читателей, все в итоге образуется: деньги найдутся, учащиеся постараются загладить вину перед невинно пострадавшим человеком, учитель снова обретет подорванный было авторитет. На неприятном событии поставят точку. Но долго еще не смогут поставить эту точку в душе юные участники происшедшего, долго еще будут прокручивать они в памяти два самых трудных пока в их жизни дня, долго еще судом совести будут судить себя и учителя, в первую очередь, конечно же, себя. Мальчишеские души оказываются способными на подобный суд, и это вселяет надежду на будущее.

Однако есть во всей этой истории еще один виновник, которого надо судить судом более строгим. Штайгер не указывает на него впрямую, но благодаря общему строю повествования именно он выступает по прочтении на первый план — это «общество вседозволенности», разлагающее молодые души, заражающее их жестокостью и цинизмом. Насмотревшись боевиков заокеанского происхождения, где рекою льется кровь и открыто утверждается право кулака, право сильного, штайгеровские мальчишки, запрограммированные на непременную поимку вора ленивым полицейским, тут же включаются в новую для них игру, «охоту за человеком», не подозревая о возможных ее последствиях.

Как много, оказывается, жестокости успели впитать эти юные, несложившиеся души, как многому успели их научить учителя да отнюдь не добрый окружающий мир. Сцена, где озверевшая орава мальчишек набрасывается с палками на беззащитного, поверженного наземь человека, безусловно, самая сильная в повести. И как много говорит читателю образ учителя, спокойно наблюдающего эту сцену со стороны, учителя, не имеющего после этого права так называться и уж тем более чему-то учить юных своих воспитанников. К счастью, кое-чему учит их в итоге сама жизнь.

Заслуживает упоминания и другая повесть из этого ряда — «Купленное молчание» (1979). Здесь в центре повествования вполне «взрослый» нравственный конфликт совести и денег, за которые в современном «обществе потребления» можно, как выясняется, купить все что угодно, даже ложные свидетельские показания. Восемнадцатилетний Эрих Барт — сын известного всей округе «того самого Барта», владельца нескольких доходных отелей и председателя местной общины. Никогда ни в чем не испытывая недостатка, Эрих тем не менее очень несчастлив в благополучном доме своего отца. Стянув как-то ключи от родительского «мерседеса», он вместе с приятелем отправляется в соседний городок, чтобы там повеселиться со знакомой девушкой. На обратном пути Эрих сбивает человека, ехавшего на мопеде, и в страхе бежит с места происшествия. Однако приходится все рассказать отцу. Мгно-

венно у того созревает план подкупа свидетелей. Ошеломленный, слушает Эрих, как соглашаются дать ложные показания и даже взять на себя часть вины его друзья, соблазненные большой суммой денег. Казалось бы, Эрих и его семья прекрасно выпутываются: прискорбное происшествие никак не скажется на карьере Бартов, на их положении в поселке. И только сам Эрих находит в себе мужество разрушить стену «купленного молчания». Он отправляется в полицию, чтобы сказать правду. Ему, как говорит невестка, важнее «научиться уважать самого себя».

Немного наивная, слегка дидактичная, как это, впрочем, и положено книгам воспитывающим, повесть Штайгера пронизана мыслью о добре и справедливости. Мы не знаем, как дальше сложится судьба Эриха Барта. Но в один из решающих моментов своей жизни он, собрав мужество, повел себя достойно, а это уже немало в мире, где за деньги, как выясняется, можно купить не только соответствующий товар, но и человеческую душу.

...прекрасный рассказчик...

Пришла пора упомянуть и о Штайгере-новеллисте. У писателя несколько сборников коротких рассказов, и — удивительно — они словно открывают нам еще одну грань творчества Штайгера, высвечивая его с новой, неожиданной стороны. Писателю великолепно удаются небольшие сатирические миниатюры, обнажающие некую парадоксалистскую игру ума, сталкивающие и противопоставляющие самые разные, невероятные даже способы существования персонажей, нарочито обнажающие их обывательскую суть.

Ничего особенного не происходит в рассказах Штайгера. С нетерпением ожидает смерти мужа жена — она мечтает начать новую жизнь и приценивается уже к небольшому домику в горах, где смогла бы жить по соседству с подругой; бойкая девица из «хорошего дома» выходит замуж, подчиняясь финансовым соображениям отца, и цинично насмехается при этом над чувствами своего мужа; тупые обыватели из захолустного городка легко попадаются на удочку заезжему мошеннику; одинокий человек мечтает познакомиться с девушкой, которую регулярно видит в автобусе по пути на работу; богач, страдающий от недостатка общения, угощает в кафе случайного соседа, чтобы рассказать ему свою жизненную историю, но тот, так и не дослушав, уходит,— как живо выписаны человеческие характеры в этих миниатюрах, как лаконично, одной-двумя фразами умеет Штайгер воссоздать яркий портрет, точно обрисовать ситуацию. И даже элементы фантастики, гротеска не разрушают ощущения жизненности, исходящего от «малой прозы» Штайгера. Фантастичной оказывается ситуация, в которую попадают герои, но не сам характер.

Лаконизм, мастерское владение сатирическим ключом, точность деталей, речевой характеристики персонажей — важнейшие особенности штайгеровской «малой прозы». И пусть сюжеты отдельных рассказов развились потом в повести или романы, рассказы Штайгера существуют сами по себе, это самостоятельная — и весьма ценная — часть его творчества.

Выдержанный экзамен на зрелость

Вернемся, однако, к повести, с которой мы начали рассказ об Отто Штайгере. Она интересна по многим причинам: и потому, что это одно из самых недавних произведений писателя, и потому, что здесь воспроизводятся многие линии прежних штайгеровских книг и автор словно пытается дать ответ на старые, издавна мучившие его вопросы. Впервые стремится он показать людей активных, действующих, по-своему пытающихся противостоять жизни. Впрочем, желание «что-то делать» приходит к главному герою повести лишь после определенных событий. А до той поры мелкий служащий небольшой торговой фирмы, одинокий чудак, мирно проводит свои дни то в комфортабельной цюрихской квартире, слишком большой для одинокого человека, то в ветхом, но уютном загородном домишке, случайно доставшемся ему в наследство. Так бы и текла спокойно и неторопливо его жизнь, если бы не вторгся в нее внезапно незнакомец по имени Эрвин Волькер, человек необычной судьбы, бродяга и аутсайдер, нашедший в себе силы «выйти из игры», сказать «нет» бездушному буржуазному истеблишменту.

Насквозь промокший под сентябрьским дождем, с нуждающимся в починке велосипедом на плечах, появляется Эрвин поздним вечером в мирном загородном домике героя. Поев и отогревшись, он чувствует потребность рассказать свою увлекательную жизненную историю. Отнюдь не бедный, преуспевающий даже человек, служащий солидной и весьма уважаемой фирмы, Эрвин постоянно ощущал никчемность собственного бытия. Случай помог ему подняться по служебной лестнице. Не потому, что у него были какие-то особые достижения,— просто установленный в фирме компьютер допустил ошибку, в результате чего Эрвин оказывается консультантом без консультируемых, владельцем роскошного служебного кабинета, а позже еще и доверенным лицом высокого шефа, пользующимся особым его расположением. Казалось бы, все, чего можно пожелать «маленькому человеку». К тому же в жизни его появляется Моника, худенькая официантка из служебной столовой, симпатии которой он добивается быстро, хотя и не без труда.

И все-таки Эрвин решается бросить все и уйти. Он хочет снова начать удивляться. «Удивляться разным ситуациям. Удивляться жизни. Самому себе». Засидевшись допоздна за задушевной беседой, новые знакомые много узнают друг о друге. Возможно, они стали бы добрыми друзьями не завершись этот вечер трагически: Эрвин отправляется спать, но на узкой ветхой лесенке, ведущей на второй этаж, ему не удается удержать равновесие, он падает вниз, причем довольно неудачно, так что Бланку не остается ничего другого, как вызвать «скорую помощь», а после, по на-

стоянию врачей, еще и полицию. Пришедший на короткое время в сознание Волькер просит Бланка передать Монике имеющиеся у него в наличии деньги, а их оказывается немало. Затем Волькер «выбывает из игры» уже окончательно.

Искусственность приема здесь очевидна. Но мы понимаем, почему необходимо было автору убрать Волькера: ведь не он, а скромный, незаметный Бланк главный герой повести. Штайгеру важно проследить, что происходит в душе уставшего от жизни, погрязшего в повседневной бюргерской рутине сорокатрехлетнего человека, когда он вдруг осознает возможность жить иначе, возможность «вырваться», покончить с набившим оскомину мещанским бытием. Бланк словно ощущает прилив новых жизненных сил, мелькнувшую на мгновение подленькую мыслишку оставить деньги себе и ничего больше не предпринимать он отвергает как недостойную и мерзкую. Он разыскивает Монику в Цюрихе, хотя это совсем не просто: ведь он не знает ни ее фамилии, ни названия фирмы. Моника оказывается именно таким добрым, чутким человеком, встретить которого мечтал Бланк всю жизнь. Тонкая и так легко могущая разорваться нить соединяет двух одиноких людей, дарит им — особенно Бланку — высокое чувство сопричастности судьбе ближнего.

Так в незамысловатом, немножко даже «придуманном» сюжете проступает второй, философско-этический план. Для чего живет человек? Кому нужно отчужденное, равнодушное прозябание, на которое обрекает его современное «общество потребления»? Как сберечь душу живую, не дать ей омертветь, отпасть за ненадобностью? Это вопрос не только недавней повести, это вопрос всего творчества писателя.

Сорокатрехлетний Бланк выдержал «экзамен на незрелость». Да, да, именно на незрелость, ибо зрелый бюргер, конечно же, не предложит случайно встреченной неустроенной девушке бросить все, уехать куда угодно, продать дом и многие ненужные вещи, «рискнуть» начать новую жизнь, основанную на близости двоих, доброте и участии. Разумеется, выход, предлагаемый писателем его героям, можно принять с оговорками. Бегство от общества — это ведь еще не решение его проблем, да и этика любви к ближнему нуждается в серьезных социальных коррективах. И все-таки сам писатель свой экзамен с честью выдерживает, как выдерживал его не раз до этого. Взволнованная, эмоциональная критика общества, преуспевающего, сытого и вполне благополучного внешне, но невыносимо равнодушного к людям внутри, точное владение словом, высокая простота повествования, гуманизм и действенное утверждение добра — все это не может не вызывать интерес и симпатию к творчеству этого неутомимого, постоянно размышляющего швейцарского прозаика, друга нашей страны.

В 1980 году Отто Штайгер снова посетил Советский Союз. Помню разговор в издательстве, помню, с какой светлой надеждой говорил писатель о выходе на русском языке «большой» его книги. В ближайшее время сборник Штайгера появится на прилавках книжных магазинов. И думается, писатель обретет в нашей стране не только множество новых читателей, предпочитающих «литературу для души», литературу серьезную и одновременно добрую, чистую, но и множество новых друзей.

В 1984 году Отто Штайгеру исполнилось 75 лет. Но и по сей день он активно работает в литературе. Приходят сообщения о выходе новых его книг, о новых творческих замыслах. Штайгер движется вперед по собственному пути, и хочется от души пожелать ему еще много добрых и хороших книг.

◆

Культура и современность

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Собственно говоря, им — этим словом подсудимого — не открылось, а завершилось заседание административного суда в городке Швебиш-Гмюнд. Но слово это своей весомостью, искренностью, убежденностью поистине стало началом, новым стартом антивоенных выступлений в ФРГ, в особенности символических блокад американских ракетных баз на ее территории.

«Меня, как и сотни других участников антивоенного движения, обвиняют в «принуждении», которое выразилось в том, что мы на несколько минут задержали американские военные автомашины, направлявшиеся к ракетной базе в Мутлангене,— говорил со скамьи подсудимых в феврале 1985 года известный западногерманский ученый и писатель Вальтер Йенс; его речь, запротоколированная в судебном отчете, обошла всю печать ФРГ. — *Почему я участвовал в символической блокаде ракетной базы? — продолжал Вальтер Йенс.— Со всей отчетливостью я осознал опасность для дела мира, которая заключается в американских военных доктринах и концепциях, в том непреложном факте, что размещаемое в ФРГ оружие первого удара — ракеты «Першинг-2» — предназначено для реализации агрессивных планов... Слишком мало людей в нашей стране понимает, что государство, потерявшее двадцать миллионов жизней в последней войне, не может не испытывать к нам недоверие...»*

Мужественная речь писателя перед судьями — веха на нелегком пути западногерманской интеллигенции, искавшей и ищущей ответа на мучительные вопросы современности: кто и что угрожает миру? С кем вы, мастера культуры? Ретроспективный взгляд на вещи позволяет увидеть немало подобных вех.

В конце 1978 года Союз писателей ФРГ, входящий в профсоюз работников полиграфической и бумажной промышленности, провел в Саарбрюккене свой очередной съезд под гётевским девизом — «поэзии и правды».

«В начале было слово... Многие писатели в нашей стране все яснее осознают силу этого слова, сказанного на тему, которая волнует всех,— говорил мне после саарбрюккенского съезда известный поэт и публицист, президент Демократического культурбунда ФРГ Петер Шютт. — *Наша встреча показала, что передовая литература страны все активнее обращается к злободневным проблемам не только внутренней, но и международной жизни. Наряду с резолюциями, требовавшими преградить путь мутному потоку неонацистской литературы, отменить антиконституционные локауты против забастовщиков и позорную практику «запретов на профессии», участники конгресса приняли документы, в которых говорилось о необходимости пресечь планы производства нейтронной бомбы, достичь конкретных результатов на переговорах о сокращении и запрещении ядерного оружия, о разоружении».*

Между Саарбрюккеном 1978 года и Мюнхеном 1981-го лежали не только три года и 440 километров. В минувшее время было впрессовано событие, которое поистине стало рубежом в политической, общественной и культурной жизни страны: решением натовского совета ФРГ была уготована роль главной стартовой площадки для американского ядерного оружия первого удара. Ответом на этот зловещий план стал опубликованный в конце лета 1981 года в баварской столице документ, который состоял всего из 14 печатных строк, но который концентрировал в себе гнев и надежды, решимость и чувство солидарности мастеров слова на всем Старом континенте.

«Человечество хотят приучить к преступной мысли будто ограниченная атомная война возможна — с помощью новых ракет, нейтронных бомб, крылатых ракет и т. д. Мы выступаем против этого. С по-

мощью ядерного оружия невозможна никакая ограниченная война: она уничтожила бы весь мир... Нет ничего важнее, чем сохранить мир!» —

говорилось в принятом в Мюнхене по инициативе Союза писателей ФРГ «Обращении европейских писателей» за мир и разрядку, против гонки вооружений. Под призывом сразу же поставили подписи ведущие западногерманские литераторы — Зигфрид Лец, Генрих Бёль, Мартин Вальзер, Макс фон дер Грюн, Гюнтер Грасс, Бернт Энгельман, Гюнтер Вальраф и многие другие.

Почему? Чего ожидали они от этого жеста?

Короткая беседа в Дортмунде с Максом фон дер Грюном:

«Первой и самой непосредственной причиной, по которой я подписал обращение, был страх, обыкновенный человеческий страх за свою судьбу, за судьбу близких и знакомых, за судьбу всех людей... Синонимом слова «писатель» я считаю слово «современник». Это значит, что литератор должен видеть вокруг себя весь политический ландшафт, и, коль скоро ему предоставлены широкие возможности публичного обращения со своим словом к людям, он должен делать это честно и громко!»

Художник и писатель Клаус Штэк слывет весьма «неудобным» для властей ФРГ. Его едкие плакаты, направленные против милитаризма и реваншизма, толстосумов и держиморд от государственной власти, десятки раз запрещались, облагались штрафами и даже срывались со стен выставок вполне респектабельными господами, облеченными полномочием депутатов бундестага от ХДС и ХСС. Звоню в старинный университетский город Гейдельберг, где живет Клаус Штэк.

«Суть писательского призыва проста и ясна,— говорит он.— В ситуации, когда гонка вооружений, в том числе и ракетно-ядерных, приобрела столь гигантские масштабы, необходимо решительно действовать всем, а значит, и мастерам культуры. Когда вы мне позвонили, я только что закончил дискуссию со студенческой молодежью Гейдельберга, с которой говорил о тех же проблемах. Они волнуют сегодня всех».

«Я подписал не только «Обращение европейских писателей», но и Крефельдское воззвание миролюбивой общественности «Атомная смерть угрожает всем нам. Никаких ядерных ракет в Европе!» —

— сказал мне в Мюнхене баварский литератор, бывший в свое время председателем Союза писателей ФРГ и депутатом бундестага от СДПГ Дитер Латтман.

— Все больше людей отказываются верить в то, что увеличение числа ракет на нашей территории якобы повышает нашу безопасность... В новом, небывалом по размаху движении сторонников мира ФРГ участвуют сотни тысяч людей — представители всех политических партий и беспартийные, активисты профсоюзов, деятели церкви, пацифисты».

А прославленный «человек-театр» — драматург, режиссер, актер, музыкант, певец, руководитель ганноверского «Театер ан дер Бульт» Дитрих Киттнер — поступил так, как мог поступить только он: подписав «Обращение европейских писателей», он тут же позвонил в министерство финансов ФРГ и невинно поинтересовался, какую часть западногерманского бюджета составляют военные расходы. Услышав от чиновника ответ: «19,2 процента», он переспросил: «Вы не ошибаетесь? По моим данным, значительно больше» — и продолжал, приведя чиновника на другом конце провода в состояние полного замешательства:

«Пусть будет по-вашему. В таком случае я уменьшаю свои налоговые отчисления государству ровно на 19,2 процента и буду переводить ежемесячно соответствующую сумму на закрытый банковский счет, который разморожу в тот день, когда ФРГ официально объявит об отказе от дальнейшего выполнения натовского решения и территория моей страны будет очищена от ядерного оружия!»

Через полтора месяца после опубликования «Обращения европейских писателей» под ним стояли подписи почти 2,5 тысячи известных литераторов, оно было поддержано почти всеми союзами писателей европейских стран. Об этом сообщил тогдашний председатель Союза писателей ФРГ Бернт Энгельман на пресс-конференции, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне по случаю традиционной Международной книжной ярмарки.

После пресс-конференции, на которой, конечно же, нашлось несколько репортеров от шпрингеровских «Вельт» и «Бильд», талдычивших о «влиянии Москвы» на «Обращение европейских писателей», о его «одностороннем требовании разоружения США», об «угрозе с Востока», мы долго разговаривали с Бернтом Энгельманом. О силе писательского слова, которое может нести и добро и зло; об идеологии ненависти, расизма, национализма, которой особенно легко и глубоко пропитывается так называемая массовая культура; об уроках истории, которую здесь, в ФРГ, многие пытаются переписать, другие — начисто забыть, а большинство не знает вовсе... Немало мыслей, высказанных Энгельманом в том разговоре на книжной ярмарке, я прочел год спустя в его публицистической «Белой книге о мире».

«В последнее время,— сказал тогда Бернт Энгельман, а затем написал в предисловии к своей «Белой книге о мире»,— у нас, к счастью, весьма часто цитировался Бертольт Брехт, который говорил о некогда великом Карфагене, что тот вел три войны и после третьей исчез с лица земли; стоит отметить, что Карфаген вовсе не желал третьей войны, он был вовлечен в эту третью войну против своего желания — и полностью разрушен».

«Белая книга» (1982) Энгельмана — антивоенная публицистика, страстная, бескомпромиссная. Иногда она тороплива, словно писатель опасается быть лишенным слова в обществе «свободы и демократии»

(позже это все-таки произойдет: в апреле 1984 года в результате массированной и целенаправленной кампании Бернт Энгельман уйдет с поста председателя Союза писателей ФРГ). Вот лишь беглое перечисление глав книги: «Держава, охраняющая нас, и ее президент», «Враг на Востоке и страх перед русскими», «Германская мания величия — что за ней?», «Осмотрительность Вашингтона от Хиросимы до...», «О «нехватке» бомб, ракет, танков», «Победа возможна — какой ценой?», «Насколько независимо ФРГ?», «Наше терпение подходит к концу...»

Листаю страницы и словно слышу голос Энгельмана, размышляющего, сомневающегося, убеждающего себя и других, гневно протестующего, как было в том разговоре на франкфуртской книжной ярмарке:

«Истина состоит в том, что никто не мог заранее предвидеть этого явления: ни инициаторы Крефельдского форума, ни средства массовой информации, ни партии, представленные в бундестаге, и уж никак не федеральное правительство. Никто из них даже не предполагал, сколько силы, оказывающей влияние на политику, таится в движении за мир. Насколько широко оно распространено, не знает никто. Но оно вселило новую надежду в миллионы людей...»

Новый небывалый всплеск антивоенного движения в ФРГ принесла «горячая осень» 1983 года с незабываемым днем 22 ноября, когда Бонн был темно-зеленым от непроницаемых кордонов полиции, когда бундестаг, вопреки воле подавляющего большинства населения ФРГ, дал зеленый свет установке «Першингов-2» и крылатых ракет и когда в ответ над столицей взвыли сверлящие мозг сирены тревоги (охранка так и не нашла смельчаков, включивших этот сигнал протеста).

Эта осень нашла отражение и в демократической публицистике ФРГ.

«Я участвовал в движении Сопротивления Гитлеру и его войне: кто сказал, что оно сделалось необходимостью только тогда, когда фашистский террор обрел государственный статус и когда военные приготовления были уже завершены? Тогда, как и теперь, залогом успеха были два условия: действовать своевременно и общими силами. Вместо того чтобы следовать этим условиям, мы медлили и занимались выяснением разницы между социал-демократами и коммунистами, членами профсоюза и христианами, марксистами и пацифистами до тех пор, пока не очутились все вместе в фашистских концлагерях, перед строем эсэсовцев»,—

так говорил на митинге в «ракетном городке» Нёй-Ульме известный писатель и публицист Оскар Нойман. Об этом же Оскар Нойман написал на страницах мюнхенского журнала «Кюрбискерн», соиздателем которого является уже долгие годы.

Он говорил и писал о том, как пыталась и пытается реакция подорвать, расколоть движение за мир, убеждая иезуитски, что «этому движению будет легче найти свой путь без коммунистов». Он напоминал о кощунственных заявлениях генерального секретаря правящей партии ХДС и федерального министра Хайнера Гайслера, будто «пацифизм тридцатых годов был повинен в создании Освенцима» (в канун 40-летия разгрома гитлеровской Германии этот деятель публично объявил: «Нет никакого повода праздновать победу коммунизма над национал-социализмом. Вот если бы коммунизм исчез с лица земли, тогда другое дело...»). Оскар Нойман предупреждал, что правые силы все беспардоннее будут шельмовать своих политических противников, именуя членов партии «зеленых» «организаторами хаоса» и «недостойными демократии», профсоюзы — «поддающимися проникновению коммунистов», а социал-демократов — «пятой колонной Москвы» и «фактором риска для безопасности».

В том же «Кюрбискерне» приоткрыта еще одна страница героического сопротивления сторонников мира ФРГ «Першингам-2» и крылатым ракетам: журнал опубликовал политический памфлет прозаика и поэта Вернера Дюррзона под названием «Три письма в дополнение к «Аристиппу» Виланда» — изящные и тонкие современные вариации на темы романа в письмах «Аристипп», принадлежавшего перу немецкого писателя эпохи Просвещения Кристофа Мартина Виланда (1733—1813). Злободневность памфлета Вернера Дюррзона станет очевидной при его «наложении» на сегодняшнюю политическую реальность ФРГ. Проследим возникающие аналогии.

...Древнегреческий философ Аристипп, путешествуя по стране, рассказывает в письмах друзьям о событиях, свидетелем которых он стал. В посланиях Дамоклу он, приверженец борьбы с тиранией, описывает восстание «друзей свободы». Дамокл же пытается удержать Аристиппа от «неразумных» действий.

...По заснеженному, скованному первыми морозами полю шли люди. Цепочками и колоннами, группами и в одиночку. Они приближались к огромным виткам колючей проволоки, которой было перепоясано поле. За колючим поясом стояли плотные зеленые шеренги полицейских, водометы готовились ударить по людям жгутами ледяной воды. Над полем ревели вертолеты федеральной пограничной охраны.

Все это я видел в 1983—1984 годах в городке Мутланген — таком маленьком, что отыскать его можно лишь на картах земли Баден-Вюртемберг. Крохотный Мутланген стал символом главного противоборства в общественной жизни ФРГ: там, на холмах Швабии, покрытых бесчисленными виноградниками, началось размещение батареи из девяти «Першингов-2» — первой на западногерманской территории. И там же первые живые цепи встали на пути американских военных транспортеров, которые с ревом волокли в Мутланген ядерное оружие первого удара.

«...Дорогой Аристипп, меня все же удивляет перемена в твоих взглядах. Ты, последователь Сократа и решительный противник Платона, чья жизненная цель — не добродетель и совершенство, но наслаждение и минутная радость; ты, сделавший или по крайней мере хотевший сделать познание как бы способом искусства

жить, то есть искусства брать от жизни как можно больше наслаждений, хотя бы и с помощью разума; ты, дорогой Аристипп, вдруг подвергаешь себя таким неудобствам, отказываешься от купания и бритья, постели и женщины, от вина и обильной еды, чтобы присоединиться к толпе, ты связываешься с молокососами, называющими себя группой «Чертополох», «Сорняк» или «Противники насилия»; ты опускаешься до того, что сидишь с ними на голой земле, поешь, дискутируешь, демонстрируешь, иными словами — делаешь все, чтобы преградить дорогу войскам, призванным сюда на нашу защиту.

И все это оттого, что ты и некоторые другие считают, будто наша демократия сделалась продажной, будто она давно превратилась в олигархию, власть немногих, которые чем красивее говорят, тем менее способны действовать и, потрясая оружием, бессовестно толкают народ на верную гибель...»

«Ракеты «Першинг-2» идут к нам. Но нас не сломить. Время, которое требуется организаторам гонки вооружений для превращения нашей страны в стартовую площадку ядерных ракет, мы используем для того, чтобы развернуть широкое сопротивление,— говорилось в призыве «гражданских инициатив за мир», созданных в Мутлангене, Швебиш-Гмюнде и других городах Баден-Вюртемберга.— Мы не намерены мириться с планами военщины, которая готова принести Европу и весь мир в жертву атомной катастрофе».

Под этим заявлением стояли подписи сторонников мира не только из Мутлангена и окрестных городов. Документ подписали такие видные общественные деятели ФРГ, как ветеран либерального движения Вильям Борм, пастор Генрих Альберц, представитель Координационного комитета 26 антивоенных организаций ФРГ юрист Йозеф Ляйнен, подполковник «люфтваффе» в отставке, бывший член ХСС Альфред Мехтерсхаймер, писатель и публицист Гюнтер Вальраф.

«...Ах, дорогой Аристипп, ты ведешь себя так, будто персы все еще преследуют нас, будто они не поддерживают нас, помогая всеми силами сломить могущество Спарты. Ты пишешь об охвативших Грецию смятении и нерешительности, о растущей усталости и разочаровании.

Когда же ты принимаешься говорить о грозящей нашему государству гибели, то я, мой друг, готов (не обессудь!) просто расхохотаться. Поверь, как бы велико ни было число мертвых, Греция погибнуть не может, порукой тому — успехи нашей науки, искусства и философии».

Люди, двигавшиеся в Мутлангене по снежному полю навстречу колючей проволоке, полицейским кордонам и водометам, несли на плечах 108 могильных крестов. Ровно столько «Першингов-2» намерены установить Пентагон и НАТО на западногерманской земле. Сколько человеческих жизней грозит унести каждая такая ракета?..

Этот вопрос задал через колючую проволоку своему сверстнику-полицейскому молодой демонстрант в Мутлангене: их диалог решилось было показать напрямую телевидение. Блюститель порядка размеренно и заученно, словно читая устав внутренней службы, начал разъяснять: «Депутаты бундестага, избранные населением, приняли решение о размещении ракет...» «Большинством всего в 60 голосов и вопреки воле подавляющей части народа!» — парировал его оппонент, и тут же на телевидении возникли «помехи», передача оборвалась. Но уже безо всяких помех телевидение показало, как бьют водометы по сжавшейся колонне манифестантов, как вздымаются над головами людей полицейские дубинки: чтоб неповадно было...

«Прости меня, Дамокл, сижу в насквозь промокшей палатке и пишу на коленях. Знаешь, нас здесь уже больше пяти тысяч — тех, кто занял склад с оружием, ибо ты по опыту знаешь, что мир никогда еще не устанавливался надолго с помощью оружия. Прибывший сюда большой отряд афинской полиции пока ничего не предпринимает, хотя нас и обвиняют в том, что мы (кто — молча, кто с пением) осадили дорогу Смерти. Очевидно, все дело в том, что здесь очень много выдающихся умов нации... При этом можно действительно предположить, что вместе со всеми прочими осаждающими представители философии, литературы, искусства, короче — весь цвет Афин будет сметен полицией, а значит, погибнет. Пусть ты прав, пусть интеллигенции удастся лишь в последнее мгновение предотвратить грозящую Афинам гибель, однако правда и то, что народ валит к нам валом, большинство убеждено в правоте нашего дела, так как никто не хочет снова стать мишенью и жертвой сильных... Неужели ты чувствуешь себя под мечом твоего господина в такой уж безопасности? Неужели ты, мой добрый Дамокл, полагаешь, что конский волос, на котором он (этот меч) висит, так уж прочен, что ты сможешь и впредь беззаботно наслаждаться всеми прелестями царского стола?..»

Вместе с группой журналистов я провел день в Мутлангене, а потом целую ночь ехал машиной обратно, в Бонн. И в тысячный уже раз мучился вопросом, который постоянно задаешь себе, живя и работая в ФРГ, и который слышишь едва ли не в каждом разговоре дома: так что же, забыли западные немцы уроки и раны страшной войны, развязанной с немецкой земли?

Если слушать правых депутатов в бундестаге, которые в течение многочасовых дебатов талдычат о том, что только «под ракетным зонтом США» западногерманский бюргер может спать спокойно, то ответ на вопрос, к сожалению, один: забыли, не помнят и не ведают, что творят.

Если полистать тамошнюю «свободную», «независимую», «открытую для всех мнений» прессу, посидеть пару вечеров у телевизора, выбрать наугад с конвейера массовой культуры несколько «литературных произведений о России», то остается лишь крикнуть: опомнитесь! Неужто вы хотите повторения — и еще более страшного? Неужто вы не можете отрешиться от своей ядерной логики и вспом-

нить о первейшем праве человека — праве на жизнь?

Нет, не слышат.

Но слышат и понимают другие. У них нет большинства в парламенте, их бьют струями водометов и полицейскими дубинками, волокут в участки, поливают грязью в прессе, на телевидении и радио. Но их больше, чем было несколько лет назад, чем было вчера. 60 депутатов бундестага, с помощью которых правительству удалось протащить в парламенте «ракетное решение», и более 6 миллионов граждан ФРГ, подписавших знаменитое Крефельдское воззвание «Атомная смерть угрожает всем нам. Никаких ядерных ракет в Европе!»,— это соотношение говорит само за себя. С американской военно-воздушной базы в Рамштейне, где приземляются транспортные самолеты из-за океана, ползут в Мутланген, Нёй-Ульм, Хейльбронн слоноподобные тягачи с «Першингами-2». Но вновь и вновь встают на их пути живые человеческие цепи. И потому ответ на заданный выше вопрос столь же ясен: нет, здесь не забыли, что такое война.

«...Сотни безвестных миролюбцев, осадивших другие склады оружия, подвергаются зверскому расстрелу из водометов, унизительному нападению специально обученных собак, с ними обращаются как с преступниками, хотя они требуют только одного — жизни своему народу — и хотят продемонстрировать свою готовность к миру. Я знаю, дорогой Дамокл, что нашей демократии после этих событий придется решить для себя, собирается ли она как правовое государство в дальнейшем подходить к этому вопросу пристрастно или нет. Поверь мне, каждый, кто носит одежды раздора или тогу примиренчества, должен, наконец, получить право и набраться мужества решать этот вопрос самому... Кончаю. Дождь льет как из ведра. Сейчас мы все длинной цепью направимся к форуму. Пусть узнают все до последнего гражданина, что сейчас нас может спасти одно: если мы наберемся мужества и выйдем на улицы. Наслаждаться мы можем и позже, когда настанет истинный мир. Я имею в виду мир без занесенного над головой меча».

Можно лишь догадываться о том, что произошло с Аристиппом и его сторонниками на Форуме. Но доподлинно известно о судьбе многих участников символических блокад американских ракетных баз в Мутлангене и других городах ФРГ. С 1983 по 1985 год за подобное «недостойное поведение» (официальный судебный термин) возбуждены дела против 5500 западногерманских граждан. 1100 таких дел приходится на крохотный Мутланген. Одно из них заведено в начале 1985 года против упоминавшегося ученого и писателя Вальтера Йенса, приговоренного к крупному денежному штрафу.

Но именно в этой стране, из пределов которой дважды в этом столетии обрушивались на мир чудовищные войны, бушует сегодня небывалое по размаху антивоенное, антиракетное движение. Именно в этой стране родилась такая форма выступления за мир, как живые человеческие цепи, соединяющие, словно нервы, эпицентры борьбы,— 108-километровая цепь от Нёй-Ульма до Штутгарта, 250-километровая лента из Северного Рейна-Вестфалии в Баден-Вюртемберг... Прогрессивная литература и публицистика ФРГ — в этих шеренгах.

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ

◆

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

КТО ГОТОВИТ АПОКАЛИПСИС

Если хочешь мира, старайся лучше понять, что́ ему угрожает.

Человечество толкают к ядерной катастрофе наиболее агрессивные империалистические круги, которые «заказывают» соответствующие стратегические концепции, подгоняют наращивание вооружений, равно как и создание новых, все более изощренных орудий войны; наконец, усиливают психологическую обработку масс в духе ненависти к «потенциальному противнику». Этот гибельный путь вымощен, так сказать, различными теориями, «идеологемами», старыми и новыми, выраженными в наукообразной или художественной форме, и просто заблуждениями и предрассудками. Некоторые из этих, назовем их так, «культурных» слагаемых сил, толкающих навстречу катастрофе, затронуты в настоящей статье.

■

Ровно сорок лет назад в дыму и пламени кончался третий рейх. Задолго до того, как советские войска приблизились к Берлину, Гитлер не раз заявлял, что он «никогда, никогда не капитулирует». «Если мы потерпим поражение,— истерически восклицал он,— мы целый мир увлечем в своем падении — мир, объятый огнем!» Говоря, вернее, крича так, фюрер имел перед глазами картины «Гибели богов»» Рихарда Вагнера, в финале которых все герои гибнут в огне. Авторская ремарка не щадит даже зрителей, «огонь проникает со сцены в зрительный зал»,— читаем на последней странице либретто.

Нацисты очень по-своему понимали Вагнера и всячески превозносили его, пытаясь столкнуть в «помойную яму» (выражение Томаса Манна) своей идеологии. А когда пришел час расплаты они вспомнили о судьбе Вотана и других героев Вагнера, обрекших себя на самосожжение. Фигляр, который, сделавшись виновником № 1 чудовищных злодеяний, не перестал быть фигляром, сам себя видел персонажем на подмостках высокой трагедии. Между тем, у него даже не хватало мужества покончить с собой, и Геббельсу с Борманом пришлось его убеждать, что это необходимо и что это будет «по Вагнеру» [1].

Если бы в эти последние для него дни в распоряжении Гитлера был ядерный арсенал, достаточный для уничтожения жизни на земле, скорее всего он вряд ли колебался бы, прежде чем принять роковое решение; и если бы его никто не схватил за руку, «головня Брунгильды» была бы брошена в костер: едва ли он устоял бы от искушения пустить новое оружие в дело, тем более что такой конец в его представлении «соответствовал» финалу «Нибелунгов».

В послевоенные годы известный западногерманский философ и музыкальный критик Т. Адорно, вероятно под свежим впечатлением нацистского флирта с тенью Вагнера, писал, что в его произведениях нашли отражение «мечты буржуазии о саморазрушении». Очевидно, такая оценка грешит социологизаторским упрощенчеством (с другой стороны, здесь налицо и психологизаторское упрощенчество: оно — в чересчур прямолинейном приписывании буржуазии «мечты о саморазрушении»). «Кольцо Нибелунгов» — слишком многозначное произведение, чтобы с ним можно было «разделаться» подобным образом; его отличает редкая масштабность художественного мышления и глубина проникновения в мифологический мир, поражающая современных мифологов.

[1] Факты излагаются по книге английского исследователя: W. C. Langer. The Mind of Adolf Hitler, London, 1972.

Но как истолковать финал последней части? Отчего верховный языческий бог германцев Вотан вдруг повелел разложить костер вокруг Валгаллы — обиталища богов и героев? Обычно трагедию Валгаллы объясняют разладом между знанием и волей или между знанием и властью. «Что дало мне знанье? Что дали мне руны?» — с этим криком Брунгильда бросает головню в сложенный костер. (Один из вариантов возможного объяснения конфликта: знание вырвалось вперед, опередив добрую волю, искушение оказалось сильнее моральных императивов. Не стоит утверждать, что Вагнер именно это имел в виду, но образ — особенно вагнеровской емкости — на то ведь и образ, чтобы поощрить известную свободу его истолкований.)

Сегодня, сорок лет спустя, в мире скопилась такая масса разрушительных сил, что осуществить вселенское истребление — holocaust[2] — стало делом в техническом отношении несложным. И чтобы перейти роковую грань, вовсе не обязательно быть маньяком, который однажды (скажем, в сознании собственной обреченности), решив наложить на себя руки, захотел бы весь род людской потянуть за собой в могилу. «Твердолобое» следование вполне традиционным и по-своему даже респектабельным канонам «классического» милитаризма может привести к тому же результату.

Откроем сочинения Клаузевица. Этот кумир прусско-немецкой военщины и сегодня остается для западных, особенно американских, стратегов авторитетом № 1. Конечно, как специальная литература работы Клаузевица сейчас во многом (хотя далеко не во всем) устарели. Но философия войны и методология военного дела, которые они в себе заключают, не менее актуальны, чем в прошлом.

Война, по определению Клаузевица, «представляет собой своеобразную триаду, составленную из насилия, как первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случайностей, что делает ее свободной душевной деятельностью; из подчиненности ее в качестве орудия политике, благодаря чему она становится достоянием непосредственно рассудка»[3]. Это классическое определение войны при капитализме, целиком выписанное Лениным в свою тетрадь с нотабене, выгодно отличается от других определений (даваемых современными буржуазными авторами) своей меткостью и своей откровенностью.

Вот они, дорожные указатели, которые сегодня ведут к holocaust'y. Во-первых, ненависть. Ее всячески разжигают западные пропагандистские службы, занятые целенаправленной психологической обработкой масс. Основной прием манипуляторов, «обработчиков», тот же, что был десятилетия назад: подмена реального «потенциального противника» грубой карикатурой на него, «чудовищем с ножом в зубах».

Во-вторых, игра. На рабочем столе пентагоновских стратегов потенциальное светопреставление выглядит как увлекательное состязание двух команд: «Американский орел против русского медведя». К игре подключены компьютеры, которые, кстати говоря, обладают свойством иногда выходить из-под контроля.

(Тут нужна оговорка. В «технологическом» смысле во всякой войне присутствует элемент игры. Но у Клаузевица это понятие не только «технологическое», оно и философское. «Дух человека и его воображение,— утверждает он,— предпочитают пребывать в царстве случая и счастья[4]» — и не только на войне. В такой категорической форме данное утверждение, как нетрудно заметить, отражает определенную сторону психологии буржуазного (в особенности же «позднебуржуазного») общества, постоянно воспроизводящего человеческий тип «ловца удачи», адепта нигде официально не признаваемого, но всюду тайно почитаемого «бога, играющего в кости»).

Наконец, третье и самое важное: война как орудие политики. Классическая формула Клаузевица гласит: «Война есть просто продолжение политики другими средствами». «Хард-лайнерз», сторонники твердой линии из Вашингтона, считают, что в этом определении ни одна буква не должна быть сдвинута с места. Они продолжают мыслить категориями «классического» милитаризма, не замечая или не желая замечать, что в условиях господства «неклассической» военной техники последние утрачивают свой смысл или даже получают прямо противоположные значения.

А ведь у того же Клаузевица, чьи идеи, как отметил В. И. Ленин, «были оплодотворены Гегелем»[5], находим элементы диалектического подхода к соотношению цели и средств. Отчеканив свою формулу о войне как продолжении политики другими средствами, Клаузевиц, однако, тут же оговаривается: «Но из этого не следует, что политическая цель становится деспотическим законодателем; ей приходится считаться с природой средства, которым она пользуется, и в соответствии с этим самой часто подвергаться коренному изменению...»[6].

Между тем «природа» термоядерного оружия такова, что она должна перечеркнуть самую формулу о войне как продолжении политики другими средствами. Конечно, если империалисты все-таки развяжут термоядерную войну, то она явится продолжением их политики, но таким продолжением, которое одновременно будет ее окончанием. Если человек, желая напакостить соседу, с которым давно враждует, взорвет дом, где оба живут безотлучно, то этот поступок явится продолжением его вражды к соседу и одновременно навсегда лишит его возможности враждовать или дружить с кем бы то ни было.

Но, говоря о том, что грозит миру, нельзя не учитывать и определенные веяния в сфере идеологии, культуры. В. И. Ленин

---

[2] Гибель в огне, массовое уничтожение, бойня *(англ.)*

[3] К. Клаузевиц. О войне. 5-е изд. Том 1. М., 1941, с. 46.

[4] Там же, с. 41.

[5] В. И. Ленин. Замечания на сочинения Клаузевица «О войне». М., 1939, с. 3.

[6] К. Клаузевиц. О войне. Том 1, с. 43.

поправил Клаузевица: война есть продолжение другими средствами политики господствующих классов. Между тем господствующие классы капиталистических стран в той или иной мере осознают, хотя бы ощущают свою историческую обреченность, что находит отражение в идеологии, в частности в различных пророчествах «заката Запада». Приходится констатировать, что воздух буржуазной культуры более чем когда-либо насыщен микробами Апокалипсиса.

■

«...Существует апокалипсическая культура»,— писал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус». Если это было верно вчера, то это тем более верно сегодня.

Отныне речь идет не только о тех, кто послушно ожидает, когда придет «день гнева», представляя его себе таким или почти таким, каким он изображен в новозаветном Откровении Иоанна: по небу летят ангелы и трубят в свои трубы, возвещающие людям гибель. Их, истово религиозных людей, осталось не так уж много.

Речь идет главным образом о тех, кто мысленно допускает если не полный «конец света», который явился бы итогом военного столкновения, то, во всяком случае, грандиозную катастрофу и прямо или косвенно, сознательно или бессознательно внушает другим, что с подобным допущением можно смириться. О тех, кто в ответ на заклятие, отчеканенное на памятнике жертвам Хиросимы: «Это не должно повториться», тайно или явно пожимают плечами: «В конце концов, почему бы и нет?»

Сказать о них, что они просто плохо представляют себе, как выглядела бы наша планета после термоядерного пожара, никак нельзя. В последние годы на Западе выходили книги и статьи (в частности, такие книги, как «Судьба земли» Дж. Шелла и «Жизнь после ядерной войны» А. Каца), в которых уточнялась или, во всяком случае, прояснялась для широкой публики картина бедствий человечества после всеобщей термоядерной войны. Сейчас хорошо известно, что помимо разрушений и остаточной радиации такая война (при условии, что она не привела бы к полному уничтожению жизни на земле) имела бы целый ряд других следствий: распространение тяжелых эпидемических, а также психических заболеваний, драматическое нарушение экологического баланса, ухудшение климата и т. д.

Пацифисты, которые пишут подобные книги и статьи, делают, в общем, полезное дело. Правда, иной раз за такого рода текстами оказывается нечто, прямого отношения к вопросам войны и мира не имеющее: речь идет об эстетике ужасного, занявшей видное место в рамках буржуазной «массовой культуры». «Сделайте нам страшно»,— просит сегодня западный обыватель, для которого страшное, на бумаге или на экране, стало привычным делом, чем-то вроде необходимой встряски. Некоторые описания вероятных последствий термоядерной войны, похоже, отдают определенную дань этому умонастроению.

И все же, повторю еще раз, в нынешних условиях пацифисты, живописующие «следующий день», делают полезное дело. Существует и такой путь к уму и сердцу западного читателя (зрителя). Возможно, что, «внимая ужасам войны», какая-то часть западной публики трезвее отнесется к планам своих стратегов и тем поможет сбить волну милитаризма и шовинизма.

Недаром ведь «ястребы» стараются не привлекать внимания к «ужасам войны». Свежий пример — фильм «Красный рассвет» (1984) Дж. Милиуса, режиссера, известного в Голливуде своими «ястребиными» взглядами. Преамбула фильма становится ясна зрителю где-то в его середине: СССР нанес неожиданный ядерный удар по Соединенным Штатам и, похоже, сразу разрушил все их главные города, после чего обе стороны решили продолжить войну обычными средствами. Но действие фильма развертывается в глуши штата Колорадо, где никаких признаков ядерной войны не ощущается. Зритель видит другое: как группа подростков из маленького городка, захваченного «красными» (кубинцами и никарагуанцами), организовавшись в маленький партизанский отряд, вступает с ними в неравную борьбу, напоминающую традиционную игру «ковбои против индейцев», где, как известно, ковбои всегда одерживают верх. Эта дурного вкуса сказочка, создававшаяся при участии «самого» А. Хейга (бывший госсекретарь и бывший верховный главнокомандующий войск НАТО числится среди консультантов фильма), вызвала в шовинистических кругах настоящий восторг.

В тех же кругах фильм «На следующий день» вызвал крайнее раздражение: его квалифицировали как «панический» и «деморализующий». Такую же оценку получила и книга Дж. Шелла «Судьба земли» (1982), в которой автор называет возможную термоядерную войну «войной против еще не родившихся». К примеру, на страницах сборника «Предпосылки Апокалипсиса» против этой книги решительно ополчился главный редактор журнала «Харперз» М. Кинсли. По его словам, попытка Шелла «и ему подобных», то есть пацифистов, судить о войне «с точки зрения возможных жертв» выдает в них неисправимых романтиков, людей, неспособных смотреть на вещи «без пафоса», «по-деловому» [7]. И это пишет не какой-нибудь «твердолобый», это пишет гуманитарий, редактор «интеллектуального» журнала.

Пожалуй, в книге Шелла пафоса даже маловато (сужу по сокращенному изложению ее в том же сборнике «Предпосылки апокалипсиса» и по отрывкам, которым Кинсли адресует упреки именно за излишек пафоса).

Но, может быть, мир и вправду окончится, согласно известной строке поэта Т. С. Элиота, «не взрывом, но взвизгом»?

Откроем последний (к моменту, когда пишутся эти строки) роман Курта Воннегута «Стрелок» [8] — он имеет отношение к этому «пророчеству». В придуманном городе Мидленд-Сити, штат Огайо, случилась

[7] The Apocalyptic Premise. Washington, 1983.

[8] Kurt Vonnegut. Deadeye Dick. New York, 1982.

странная история: без всякой войны вдруг взорвалась нейтронная бомба. Как известно, это «чистая» бомба, поэтому город каким был, таким и остался, но все сто тысяч его жителей погибли. Отчего произошел взрыв, никто толком не знает. Говорят, например, что бомба просто случайно взорвалась при транспортировке. Ходят и другие версии. Что военные решили проверить эффективность бомбы на своих, поскольку-де бомбить чужих без риска вызвать мировую войну нельзя. Что взрыв спровоцировал ку-клукс-клан, задавшийся целью, ни много ни мало, восстановить рабство — только на сей раз не негров, а цветных иммигрантов — и выбравший Мидленд-Сити местом для концентрационного лагеря. Как будто в подтверждение этой последней версии город уже обносят колючей проволокой и сторожевыми вышками.

Но главное здесь не в выяснении причин взрыва. Главное в том, что взрыв и в результате его гибель такого множества людей воспринимаются не как что-то чудовищное, из ряда вон выходящее, а скорее как происшествие в ряду других происшествий. В тихой жизни провинциального города, где почти каждый мужчина, как и повсюду в Америке, холит свой личный «спрингфилд» или «смит-вессон», они случались и раньше. Однажды охотник нечаянно снес выстрелом голову соседу. В другой раз подросток, балуясь ружьем на чердаке своего дома, нечаянно застрелил беременную женщину, попав ей прямо в лоб. А теперь вот почему-то вдруг взорвалась нейтронная бомба; необычно в этом происшествии количество жертв, исчисляемое цифрой с пятью нулями,— но, в конце концов, это ведь только «деталь».

Таков мир, данный через восприятие героя романа, который сам себя характеризует следующими словами: «У меня чувств не больше, чем у резинового мяча». Это очень печальный мир, где жизнь человеческая лопается, как мыльный пузырь, не произведя никаких потрясений; сто тысяч мыльных пузырей (или сто миллионов) дадут в этом смысле не больший эффект, чем один-единственный. Осматривая родной обезлюдевший город, кладбище, где похоронены все его жители, герой не обнаруживает ни малейших признаков печали или, скажем, наоборот, злорадства — ничего, кроме полнейшей безмятежности. Рядом с ним его брат, который ревмя ревет сначала над гробом когда-то любимой им женщины, а потом над чьими-то могилами, выглядит комической фигурой — это Простак из комедии масок, чья кручина должна вызывать у зрителя не сочувствие, а веселый смех.

Конечно, роман Воннегута — это гротеск, но, как и всякий гротеск, он исходит из реальности. Писатель дает «срез» общественной психологии, притом «срез» вертикальный, идущий снизу до самого верха. В финале романа узнаем, что в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бомбы, «правительство вело себя почти так же беззаботно, как и полоумный парень, устроившийся с заряженным ружьем на чердаке».

У Воннегута находим индифферентность (разумеется, не авторскую) на эмоциональном уровне. Существует индифферентность и на уровне сознания — основанная на предвзятом убеждении, что только слепая Судьба способна развязать мировую термоядерную войну или, наоборот, предотвратить ее. Как говорит американский психолог Дж. Мак, «важной частью такого взгляда на положение вещей является ощущение, что ответственность за ядерную войну несут не люди, а технология»[9]. Дескать, технические системы, созданные человеком, вышли из-под его контроля и теперь сами решают, жить ему или умереть.

Подобный взгляд — один из самых распространенных. Как свидетельствуют данные различных опросов, даже те американцы и западные европейцы, которые проявляют активность, например, в вопросах защиты окружающей среды (тоже имеющей антимонополистическое острие), зачастую опускают руки, когда дело касается угрозы термоядерной войны. Это даже не индифферентность, это квиетизм — пассивное ожидание своей участи.

«Апокалипсис сегодня», внушает американский режиссер Ф. Коппола своим одноименным фильмом (1979), возможен как порождение иррациональных сил. Фильм этот посвящен конкретно войне во Вьетнаме, но по сути она здесь только повод, приводящий в движение грозные силы, независимо от нее уже готовые прийти в движение. Примечательна трансформация, какую претерпела в фильме его литературная первооснова — повесть Дж. Конрада «Сердце тьмы». Напомню, что герой Конрада бежит от цивилизации в полную «тяжелых, немых чар» глушь, стремясь заглянуть «за грань», в бездну изначального хаоса, а заглянув «за грань», находит там всеобъемлющий метафизический ужас. У Копполы же чудовищная военная машина становится средством, независимо от воли тех, кто ее создал, уводящим «за грань», навстречу тому же хаосу.

Апокалипсис у Копполы — «с громом». Летят над землей Вьетнама американские вертолеты, поливая джунгли огнем, а в небе звучит оркестрованный гром — «Полет валькирий» из «Кольца Нибелунгов» (на одном из вертолетов установлен магнитофон, запущенный на всю мощь). Отряд вертолетчиков, посланный со специальным заданием в дебри джунглей, сеет вокруг себя смерть и в то же время сам дичает на глазах; даже внешне американские солдаты становятся похожими то ли на варваров, то ли на дикарей. Кто дал толчок этому роковому движению «за грань»? Кем посланы воинственные девы? Никто. Никем. Воля Вотана замещена самодвижением анонимной военной машины, еще шаг-другой «за грань» — и она станет «машиной судного дня».

Вселяя глубокую тревогу за судьбу мира, фильм Копполы способен кого-то побудить к активным действиям в его защиту.

---

[9] Children's Fears on War. Hearing before the select committee... Washington, 1984, p. 45.

Но равным образом он может внушить и квиетизм.

Хотя чудовищная военная машина, созданная Пентагоном, как и всякая машина, выказывает свой «норов», это не значит, что она движется сама по себе. За всеми ее движениями стоят «люди, принимающие решения», в свою очередь связанные ниточками социального механизма. Следовательно, адресовать претензии и требования есть кому и чему.

С еще одной попыткой убедить, что жизнь человеческая не более чем мыльный пузырь, встречаемся на страницах романа Кейт Уилхелм (США) «Добро пожаловать, хаос» (1983)[10].

Но на сей раз это уже авторская позиция. Роман Уилхелм, действие которого происходит в наши дни,— научно-фантастический, хотя фантастического в нем, собственно, немного: оно сводится к тому, что ученым удалось найти иммунитет от радиации. Открытие это, сделанное почти одновременно в США и в СССР, в условиях «холодной войны» приобретает, естественно, исключительное значение.

Самая драматическая сторона этого открытия состоит в том, что прививка иммунности влечет 50-процентную смертность. Ибо так захотела писательница. Каждый прошедший прививку тяжко заболевает, и из каждых двух один гибнет. Возникает вопрос: прививать или не прививать? Ведь если американцы начнут прививку — такая выдвигается аргументация,— их примеру, вероятно, последуют другие народы, и в итоге, чтобы исключить возможность поражения радиоактивным излучением, придется пожертвовать п о л о в и н о й человечества!

В романе возникает некое содружество ученых и писателей, ратующих за поголовную прививку и даже начавших осуществлять ее явочным порядком. Дело представляется таким образом, что правители США, «связанные соображениями гуманизма», проявляют в данном вопросе колебания и только под давлением упомянутого содружества, а главным образом из страха, чтобы русские (в отличие от американских лидеров не связанные «соображениями гуманизма») не получили какого-либо преимущества, принимают решение, долженствующее сократить число живущих американцев ровно вдвое.

Но кто же эти ученые и писатели, выступившие инициаторами мероприятия — назовем его так,— столь противоречащего «соображениям гуманизма»? Вот портрет одного из них. Если бы необходимо было принять решение о массовом убийстве людей, «Хилари сделал бы это безо всяких угрызений совести, спокойно, быстро и четко и тотчас же забыл бы обо всем, вернувшись к своей газете или роману». Стало быть, перед нами еще один выводок нравственных уродов в ранге интеллектуалов? Никоим образом, уверяет автор. Вся соль ее романа в том и заключается, чтобы убедить читателя: люди эти вполне гуманные, мягкие, чувствительные; и раз уж даже они столь невысоко ценят человеческую жизнь, значит, «так лучше». И потом, разве не подвергают они риску всех без исключения людей, в том числе и самих себя,— тем самым устраивая человечеству своего рода «божий суд»? И разве будет лучше, если погибнет не половина людей, а все люди? Дилемма, как нетрудно заметить, ложная, ибо, во-первых, мировая термоядерная война отнюдь не неизбежна, а во-вторых, если бы радиация сделалась неопасной для людей, риск войны от этого не стал бы меньше.

А чего стоит такой многозначительный диалог (его ведут двое из числа мягких и чувствительных):

«— Я читал, что после того, как по Европе прошла «Черная смерть», эти ужасные годы чумы [11], наступило такое изобилие, какого мир прежде не видел. Это правда?

— Да. Существуют теории, что чума способствовала возрождению искусства, торговли, исследований новых земель...»

Мотай на ус, читатель!

Роман Уилхелм не бог весть какого художественного уровня, но тем не менее здесь есть претензия и на символическую недоговоренность. Героиня романа по роду своей деятельности изучает жизнь орлов в естественных условиях: они появляются в начале книги и в самом ее конце. Орел изображен и на суперобложке романа. Подтекст ясен: наша литературная дама предлагает человечеству равняться на пернатых хищников. Пожалуй, более точным символом послужил бы здесь образ, излюбленный приснопамятным маркизом де Садом: коршун, терзающий голубя.

Прививка жестокости, над которой трудятся среди прочих авторы, подобные Уилхелм, имеет следствием или атрофию «чувств добрых», или возбуждение панических настроений, или, наконец, одновременно и то и другое.

Самое уродливое проявление апокалипсического психоза — организовавшиеся в США и кое-где в Западной Европе группы так называемых «сэрвайвелистов» (от англ. survive — выжить), то есть тех, кто намерен в условиях «послеапокалипсической ситуации» выжить любой ценой. Вот образчик их мышления. «Если будет ядерная война,— заявляет фермер из штата Джорджия,— надеюсь, что всех горожан поубивают. Я не хочу, чтобы они потом явились ко мне, ожидая, что я их накормлю и поделюсь с ними тем, что у меня есть»[12]. «Сэрвайвелисты» сами учатся убивать, считая, что убийство себе подобных будет первейшей заботой у тех, кто останется в живых. Хотя таких групп немного, это осадок мути, которая распространяется повсеместно на Западе.

Паническими настроениями заражают и детей. Можно верить бывшей учительнице из того же романа «Добро пожаловать, хаос», когда она рассказывает: «Когда я спрашивала своих учеников, что они намерены делать в ближайшие пять или десять лет, на меня смотрели как на

[10] K a t e W i l h e l m. Welcome, Chaos. Boston, 1983.

[11] Очевидно, имеется в виду эпидемия чумы 1349 года, унесшая в Западной Европе не менее трети человеческих жизней.

[12] L. R. B e r e s. Mimicking Sisyphus: America's Countervailing Nuclear Strategy. Lexington, 1983.

сумасшедшую. Дети отвечали, что не проживут так долго. Мир идет к катастрофе; если они вообще останутся живы, им придется добывать себе пропитание, копаясь среди руин... Они придумали игру под названием «После бомбы». Это игра в приключения, в которых надо выжить во что бы то ни стало». Что это не совсем нетипичный класс, свидетельствуют специальные слушания, устроенные недавно в конгрессе США. Тема их была «Страх детей перед войной». Несмотря на все старания приуменьшить значение этого вопроса (впервые ставшего в США предметом публичного обсуждения) со стороны конгрессменов-республиканцев, чье правительство несет прямую ответственность за возрастание угрозы войны, картина сложилась достаточно мрачная. Многие дети и подростки боятся, что они никогда не станут взрослыми, боятся лишиться пап и мам; некоторые из них с завистью (!!!) смотрят на пожилых людей, поскольку тем удалось так или иначе прожить отпущенное им время жизни.

Термоядерной войны, надо надеяться, все-таки не будет, а дети травмированы уже сейчас, и с этой травмой им жить всю оставшуюся жизнь.

Искушение мировой катастрофой дало о себе знать в ряде «романов о будущем», появившихся уже в годы первой, как ее теперь называют, «холодной войны». Классические примеры: «Обезьяна и сущность» Олдоса Хаксли и «Гимн Лейбовицу» Уолтера Миллера. Для мизантропа Хаксли всеобщее одичание, наступающее в результате атомной войны,— естественный финал истории человечества, не заслуживающего, с точки зрения автора, лучшей участи. В романе Миллера новая мировая война отбрасывает человечество назад в раннее средневековье, после чего все начинается сначала — цивилизация развивается примерно по тому же пути, что и раньше, и в конце концов вновь приводит к всеуничтожающей войне.

Эту традицию по-своему продолжает известная английская писательница Дорис Лессинг в цикле романов под общим названием «Канопус в Аргусе», точнее, в первом из них, «Шикаста» (1979) и отчасти в третьем, «Эксперименты Сириуса» (1981) [13]. «Канопус в Аргусе» — «космическая фантазия», «взгляд извне» на Землю и земные дела. Наша планета выведена здесь под именем Шикасты; за нее ведут борьбу более могущественные «космические империи» — Канопус (планета добра) и Шаммат (планета зла).

История Шикасты, то есть Земли, начатая от мифологических времен и доведенная до третьей мировой войны, излагается как с точки зрения инопланетных визитеров, «курирующих» землян, так и с точки зрения самих землян. Основное внимание уделяется Веку Разрушений, в котором легко угадывается XX век. Так как читателю предлагают лишь фрагменты разного рода материалов (переписки, дневников и т. д.), у него складывается очень приблизительное представление о том, что, собственно, произошло на «объятой страхом» планете. Известно, что война разразилась в небе над Шикастой, «переполненном различными механическими и техническими артефактами», преимущественно военного назначения. С других планет пристально следили за тем, как развивались события на уровне этой вращающейся механической Оболочки, ставшей полем сражений «звездной войны», но сами жители Шикасты, похоже, ничего толком об этом не знают.

Налицо лишь последствия войны, которую, очевидно, никто не выиграл: повсеместная разруха и вымирание людей. И это несмотря на то, что с неба на землю бомбы вроде бы и не падали. (Стоит заметить, что поборники «звездных войн» пытаются всех убедить, будто сражения, вынесенные в космос, были ли бы так же безвредны для гражданского населения, как и морские сражения.) Кругом свирепствуют голод и эпидемические заболевания со смертельным исходом, в их числе и такие, которые ранее были неизвестны людям; пощаженных стихиями добивают молодежные банды и какие-то мстительные пришельцы из третьего мира. Удел остающихся в живых — страдания и ожидание смерти. Отрывки из дневника, который ведет одна из жительниц Шикасты, местами напоминают дневник Анны Франк или Тани Савичевой. Только размах косы, какою орудует костлявая, здесь другой. Вот рядовая дневниковая запись: «На прошлой неделе умер миллион человек...»

Жизнь на Шикасте все-таки продолжается, более того, оставшиеся в живых герои романа становятся нравственно чище, обретая новое «чувство ответственности». Но слишком высокой ценой оплачены эти приобретения, настолько высокой, что они и не воспринимаются как приобретения. Доминантой романа остается «торжество Дьявола» («Я где-то читала,— делится своими мыслями одна из героинь,— что искуснейшая уловка Дьявола состоит в том, что никто не верит в него. Или в нее. До чего же мы были глупы»). Это тем огорчительнее, что по строю своего мировосприятия Лессинг чужда мизантропии или, скажем, иронического скептицизма и ни к каким заигрываниям с Дьяволом не склонна. Но ее тихое отчаяние фактически играет на руку силам зла и разрушения. Сегодня «оптимизм,— пишет Лессинг,— это способность верить в то, что может выжить 1%». Это не оптимизм, это 99-процентный пессимизм, заставляющий падать духом там где сегодня, как никогда и нигде раньше необходимы упорство и воля.

Искушение катастрофой в какой-то мере нашло отражение и в «Мальвиле» Робера Мерля, переведенном на русский язык [14]. Роман этот вызывает смешанные чувства. Немногие жители селения, затерянного где-то на юге Франции, которые случайно уцелели после термоядерной катастрофы, организовавшись в коммуну, в общем, достойно продолжают традиции народной трудящейся среды. Вместе с тем новые условия их существования, во многом возвращающие их к эпохе раннего средневе-

[13] Doris Lessing. Shikasta. London, 1979. The Sirian Experiments. London, 1981.

[14] Робер Мерль. Мальвиль. М., «Прогресс», 1977.

ковья, рисуются в чересчур розовом свете; слишком увлекательно повествует автор об их приключениях, напоминающих одновременно приключения Робинзона и героев Вальтера Скотта. Легковесно-оптимистический подход (если можно вообще назвать такой подход оптимистическим) в данном случае мало уместен. Добавлю, что в финале мелькает подобие той же дьявольской усмешки, какая отпечаталась на «Гимне Лейбовицу»: мы узнаем, что начинающийся прогресс вновь идет по линии военной техники.

Чтобы картина была по возможности полнее, упомяну о тех, кого Дьяволу искушать не приходится, кто сам взывает к нему: «приди и возьми». Вот некоторые строки из поэмы американца Элиа Джонсона «Почему нам следует сбросить бомбы»[15].

Это было бы так захватывающе...
Жизнь уже не была бы такой скучной...
Мы могли бы начать все сначала...
Это была бы последняя вспышка нашего гнева.
Потом мы могли бы отдохнуть.

Вполне вероятно, что, исполнись это заклинание, автор его схватился бы за голову, если бы она уцелела у него на плечах. Истории известно немало случаев, когда разного рода эстеты и интеллектуалы, всячески подзуживавшие выпустить из бутылки того или иного джинна, потом в ужасе от него отворачивались: мы, дескать, не думали, не гадали, что он такой страшный, такой отталкивающе черный (или коричневый). А ведь тот, кого сейчас призывают выпустить из бутылки,— всем джиннам джинн.

Идея круговорота истории еще могла выглядеть относительно безобидной в те времена, когда «возвращение к началу» откладывалось на неопределенное будущее. Сегодня, когда такое «возвращение» в принципе может произойти в наикратчайший срок неописуемо драматическим путем, идея эта становится абсолютно нетерпимой с этической точки зрения. И то, что называют опережающим воображением, обязано с этим считаться. Поскольку речь идет о художественной литературе, есть только одна разновидность «заглядывания в будущее» (то, которое могло бы наступить после термоядерной войны), которая имеет право на существование: «роман-предупреждение», достойный этого имени. Но такой роман, если считать, как говорится, по большому счету, до сих пор не создан.

■

Свою лепту в распространение апокалиптических настроений вносят и буржуазные ученые. Новый, зловещий смысл получают теории цикличности и дискретности, «разорванности» исторического процесса, противопоставляющие себя идее прогресса. «Преимущество» подобных теорий видят в том, что термоядерная катастрофа «вписывается» в создаваемую ими картину мира. Тогда как в картину развивающегося по восходящей линии человечества она совсем не вписывается». К примеру, американский историк М. Мандельбаум в своей книге «Ядерная революция» утверждает, что это только в рамках «традиционного» линейного представления о времени термоядерная катастрофа выступает как чудовищный нонсенс, как что-то «непостижное уму». Надо, дескать, усвоить другую «идею времени», и тогда все будет выглядеть иначе. «Это идея циклического времени, не столько последовательного развития, сколько бесконечного повторения архетипов[16]. Периодически происходят катаклизмы и космические трансформации. История, в рамках такого понимания, все кружит и кружит, не подвигаясь вперед»[17].

Вот, оказывается, как все просто! Сразу два зайца убиты: во-первых, термоядерная бойня «обретает смысл», если смотреть на нее «с высоты» теорий цикличности и прочая, во-вторых, теории эти получают неожиданное «подтверждение» — надо только, чтобы бойня из «возможной» стала «осуществившейся» (тут, впрочем, можно перегнуть палку и довести дело до полного истребления жизни на земле — тогда случившееся и «с высоты» названных теорий окажется бессмыслицей). Издержки подобного «сведения концов с концами» — сотни миллионов и миллиарды загубленных душ. Но так ли уж это много, коль скоро речь идет об «изяществе» теоретических расчетов и концепций?

Роль главного «пророка» грядущей катастрофы отводят О. Шпенглеру, в своем «Закате Европы» и позднейших сочинениях предрекавшему «ужасный конец» «фаустовской», как он ее поименовал, культурно-исторической формации, то есть западноевропейской цивилизации (с североамериканской в придачу). Нынешние комментаторы Шпенглера утверждают, что, поскольку, дескать, эта цивилизация распространила свое влияние на весь мир, она должна увлечь его за собой и в своем падении. В то же время в учение Шпенглера вносятся и кое-какие коррективы, долженствующие приспособить его к сегодняшним нуждам «большой политики» (шпенглеровское выражение) Запада.

Остановлюсь на концепции немецкого (с 1933 года проживавшего в США) историка Ф. Боркенау ибо она представляет собой наиболее изощренный вариант оправдания мировой термоядерной войны. Работы Боркенау, о которых пойдет речь, были написаны в конце 40-х — начале 50-х годов, но «задействованы» они (по причинам, которые дальше станут понятны читателю) только в последние годы. Ученик Шпенглера, Боркенау поправил своего учителя: тот утверждал, что каждая культура представляет замкнутую в себе монаду, «дом без окон»,— Боркенау правильно констатировал, что это не так, что «окна» существуют. Но какой вывод он отсюда сделал?

Всячески подчеркивая преемственность античной и западноевропейской культур (или цивилизаций), Боркенау особое внимание уделил переходной, «варварской» эпохе. «Варварство», как он пишет, было не просто провалом между вчерашним днем и

[15] «Evolutionary Blues», New York, 1981, vol. I, № 1, p. 1.

[16] Архетип — первообраз, изначальная схема представлений.

[17] M. Mandelbaum. The Nuclear Revolution. New York, 1981, p. 228.

завтрашним, но творческим процессом переработки старых ценностей в новые; это относится не только к данной, но и к любой другой переходной эпохе. «Хаос,— заключает Боркенау,— не есть падение или разрушение. Это необходимое связующее звено между концом одного творческого процесса и началом другого» [18].

Боркенау дерзает провести параллель между эпохой перехода от античности к средневековью и нашим временем. Соглашаясь со Шпенглером, что «закат Европы», точнее, западного мира неотвратим, он утверждает, что полная катастрофа, которая могла бы явиться результатом термоядерной войны, оказалась бы скорее благотворной для Запада (разумеется, в его время ни о какой «полной катастрофе» для Запада не могло быть и речи, Боркенау смотрел в будущее — то, которое должно было явиться следствием неизбежного, как он считал, накопления оружия, совершенствования средств доставки и т. п.; с другой стороны, на страницах его работ угадываются отблески недавнего прошлого — катастрофы, в которую ввергли Германию Гитлер и К°).

Пример Западной Римской империи, на взгляд Боркенау, указывает современному Западу путь, который ему предназначен. Это тяжкий путь, он «может повести к полному краху политической и экономической жизни, к столетиям духовного и материального обеднения и ужасных страданий». Зато в перспективе — возникновение новой, еще более высокоразвитой цивилизации. Поэтому путь этот предпочтительнее того, каким пошла Византия, продолжившая свое существование ценою «окостенения» и медленной смерти. Вслед за некоторыми другими западными авторами Боркенау исходит из того, что понятия «Запад» и «Восток» в основе своей — вечные и неизменные. Византия — это Восток. И СССР — тоже Восток. И контроверза, разделяющая сегодня Восток и Запад, по сути, не очень далека от той, что имела место во времена, скажем, Юстиниана или Одоакра.

Между прочим, византинисты говорят нам, что представление о Византии как о чем-то «окостеневшем» является весьма поверхностным. Но дело, конечно, не в этом.

Исторические параллели, как известно, рискованны. Шпенглер утверждал, что для того, чтобы установить, какие параллели являются стоящими, а какие нет, надо иметь «физиогномическое чутье». У Боркенау это чутье есть — но не в том смысле, что он находит действительно стóящие параллели, а в том, что он находит параллели, устраивающие его самого и тех, для кого он пишет. Ему, как и им, очень хотелось бы, чтобы «закат Европы», то бишь капиталистического мира, не был окончательным; чтобы где-то впереди, за гранью веков, обещал быть новый восход. Ради этого можно пойти и на всемирную бойню, в надежде, что хотя бы на обезлюдевшей и обезображенной планете «западные ценности» (трактуемые Боркенау как «ценности вечного Запада», а не только капиталистического) — индивидуализм и «свободное предпринимательство» — возьмут верх. Пусть даже эти «ценности» будут представлять озверевшие «сэрвайвелисты», истребляющие равно ближних и дальних из-за лишней корки хлеба. (Не говорю уж о том, что тут опять-таки можно перегнуть палку и довести дело до того, что некому будет на земле ценить какие бы то ни было ценности.) Так что «добро пожаловать, хаос!».

Озабоченность судьбами капитализма Боркенау маскирует словами о «судьбе западной цивилизации». Судьба есть судьба— разве против нее пойдешь? «Архетип Вотана» (как говорит Боркенау вслед за известным швейцарским психологом К. Г. Юнгом) повелевает «видеть неизбежную гибель богов и людей». Когда мыслишь такими категориями, как «судьба», «цивилизация» и т. п., какое значение могут иметь люди, проходящие у тебя под окнами?

Таковы некоторые «пробы воздуха», взятые в разных слоях культуры Запада.

Сегодня, когда мы празднуем сорокалетие Великой Победы, нельзя не соотнести нависшую над миром угрозу термоядерной войны с опытом времен фашизма. Нельзя не заметить, что нынешний день кое в чем повторяет день вчерашний. Мы видим, что натовские стратеги, вынашивающие планы невиданной мировой бойни, следуют той же укатанной дорогой «классического» милитаризма, что и генералы фашистского вермахта. Но это еще не все. То кратковременное торжество бесчеловечности, какое явила собою гитлеровская тирания, слишком многими на Западе, пусть и не всегда сознательно, воспринимается как прецедент, то есть как «случай (цитирую толковый словарь), служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода». Ничего удивительного в этом нет: капиталистическая действительность постоянно воспроизводит схему отношений, в свое время сделавшую возможной фашизм, и вместе с нею — тип бездушного убийцы и палача, хотя бы потенциального. Апокалипсический змий с семью головами и десятью рогами — довольно-таки безобидное создание рядом с этим современным «зверем в очках» (как его назвал Илья Эренбург), человеком, утратившим человечность и вооруженным знаниями и новейшей чудо-техникой.

Но опыт истории — это опыт борьбы с фашизмом. Всякое действие рождает противодействие — данный закон, так сказать, нейтральный в моральном отношении, обретает особую непреложность, когда речь идет о действиях, жесточайшим образом оскорбляющих чувства и разум человечества, а теперь посягающих и на само его существование. Победа, одержанная над фашизмом, укрепляет надежду, веру в то, что силы зла и разрушения могут и должны быть остановлены; цена, уплаченная за ту победу, такова, что оправдать ее может только нерушимый мир. Нашей покрытой видимыми и невидимыми ранами планете он необходимее, чем когда бы то ни было.

[18] Franz von Borkenau. End and Beginning. New York, 1981, p. 457, 458, 285.

◆

Антирубрика

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского
НИКОЛАЯ ЖИВАГО

Сократ

В прозрачных сумерках стремглав носились вокруг Парфенона нетопыри. На ступенях храма, отдыхая после жаркого дня, чинно восседали и вели неспешную беседу афинские старцы. В белых хитонах, с бледными лицами и благообразными бородами, они смахивали на мраморные статуи или на горельефные изображения.

Вместе с приглушенным шумом и криками города, где в этот час беспорядочно кипела жизнь, сюда доносился густой аромат подгнивших фруктов, вселяя в душу безотчетную тревогу и уныние.

— Мой сын,— сетовал старец с окладистой пышной бородой,— не желает учиться, ни в какую.

— Ох уж эти нынешние,— сокрушенно вторил ему сухой морщинистый старичок,— одно расстройство. Моих-то внуков тоже приходится на уроки палкой загонять.

— Да-а-а,— вздыхал третий, расправляя складки своего хитона.— Нынче не то, что в наше время. Несерьезная нынче молодежь Беспечная. Игры с мячом, метание диска да бег наперегонки — вот и весь интерес. А учеба побоку.

Похожий на изваяние Софрониск внимал им с чуть заметной улыбкой превосходства.

— Не скажите — наконец заговорил он.— Мой сын учится и учится, не разгибая спины. От темна до темна корпит над книгами. Все глаза проглядел. Что ни вечер, с трудом отправляю его спать.

— Великим мудрецом станет твой сын,— завистливо промолвил один из старцев.

— Бывают же дети на радость родителям,— вздохнул другой

— А уж масла на светильник уходит,— продолжал Софрониск,— не напасешься. Никаких денег не хватит.

— Деньги на пользу — благословенные деньги,— отозвались остальные.

— Вот именно,— с гордостью произнес Софрониск.— И не скрою, я очень доволен своим сыном.

Лопаясь от зависти, старцы поднимались с мест. День угасал Проплыла неподалеку дородная матрона в белой простыне. Юная черноволосая красавица ланью промелькнула и скрылась в переулке. Афины...

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ — ACHILLE CAMPANILE (1900—1977)
Итальянский писатель-сатирик, лауреат премии Виареджо. Автор романов, многих пьес и сборников сатирических и юмористических рассказов.
Предлагаемые рассказы взяты из сборников «Пособие по практике разговорной речи» («Manuale di conversazione», Milano, Rizzoli Editore, 1973) и «Жизнь замечательных людей» («Vite degli uomini illustri», Milano, Rizzoli Editore, 1975).

Чему же обучался сын Софрониска?

Ответ простой: всему.

Казалось, ни одна крупица знаний не могла ускользнуть от него. В дальнейшем история это подтвердила. Сократ, как известно из школьных учебников, действительно был великим мудрецом. Ему принадлежит знаменитое изречение: «Я знаю только то, что ничего не знаю».

К такому выводу он пришел после долгих лет неустанной учебы, когда, одолев все науки, осознал, что нашему слабосильному разуму неподвластно никакое знание.

Однако этот вывод, пользующийся всеобщим успехом у потомков, сослужил ему, как назло, прямо противоположную службу у современников.

Настал день экзамена.

Отец Сократа, хотя и был свидетелем чрезвычайных стараний сына, все же, опасаясь строгой профессуры, предпочел замолвить за него словечко через влиятельных друзей.

— Ну-с, юноша,— обратился к Сократу экзаменатор, от души желая поспособствовать абитуриенту,— наслышан я о твоем усердии. Расскажи мне все, что ты знаешь.

Сократ сделался очень серьезным.

— Я знаю,— начал он,— только одно...

— Маловато,— крякнул профессор, потемнев, и обменялся выразительными взглядами с коллегами по экзаменационной комиссии.— Но мы готовы тебя выслушать.

— Я знаю,— продолжал Сократ с ясным взором,— только то, что ничего не знаю.

— Неплохо для начала,— холодно заметил один из ассистентов, тоже профессор.

— Торопиться не обязательно,— подсказал экзаменатор абитуриенту.— Подумай как следует, прежде чем ответить. Итак, что ты знаешь?

— Ничего, господин профессор,— с почтительной непреклонностью повторил Сократ.— Уверяю вас. Точнее сказать, я знаю только одно, что ничего не знаю.

— Но хоть что-нибудь ты должен знать?

— Ничего. Буквально ничего. За исключением одного, разумеется.

— Чего?

— Того, что я ничего не знаю.

— Это не ответ. Что значит — «ничего»? Давай-давай, напряги память.

— Повторяю вам: я знаю только одно.

— Ну так говори!

— Я знаю, что ничего не знаю.

Терпение профессора лопнуло.

— И с такими знаниями,— загремел он,— ты смеешь являться на экзамен?! Какова наглость! Убирайся прочь!

— Но, профессор, даже если я стану заниматься вдвое больше, мои знания только уменьшатся.

— Прочь, говорю! Плохо! Очень плохо!

Узнав о случившемся, отец набросился на Сократа с подзатыльниками.

— Безмозглая дубина! — надсаживался он.— Я все деньги ухлопал на твои чертовы книги с тетрадями, на твою учебу! Одного масла пятнадцать бочонков я вылил в твой дурацкий светильник! И все коту под хвост! Чему ты научился? Чему?!

— Я научился,— просветленно отвечал Сократ,— тому, что я ничего не знаю.

— Он еще издевается! Мерзавец!!!

Прибежала мать.

— Ну Сократик, ну миленький,— пустилась она уговаривать.— Ну возьмись же ты за ум. Поучись самую малость. И к октябрю, вот увидишь, что-нибудь да обязательно будешь знать.

— Но я уже выучился, мама,— с лучезарной твердостью стоял на своем Сократ.— Честное слово, я уже все знаю.

— И что же ты знаешь?

— То, что я ничего не знаю.

— Тьфу ты, ей-богу!.. Уперся как баран! Хоть бы не болтал об этом на людях. Говори, мол, знаешь немного из географии, немного из истории...

Весть о том, что Сократ провалился на экзаменах, поползла по городу.

— Вон глядите кто пошел,— спохватывались прохожие на улице, указывая пальцем на Сократа.— Это Сократ!

— Который ничего не знает?

— Он самый. Столько лет учился, осел, и ничему не выучился.

— А я слышал,— негромко возражал кто-нибудь из встречных,— он всем говорит, будто что-то знает.

— Как же! Только и знает что похваляться: знаю, мол, что ничего не знаю.

— Ага. Еще и циник ко всему...

А матери стращали ребятишек:

— Смотри учись, не то будешь как Сократ!

Отец Сократа, Софрониск, был совершенно убит горем. По вечерам он не показывался больше у Парфенона, не сидел там в тени колонн, потому что, завидев его, старцы корчили сочувственные мины.

— Ну что сынок-то,— вопрошали они с притворным участием,— не вразумился?

А стоило Софрониску отвернуться, пихали друг друга в бок, хихикая и шамкая беззубыми ртами:

— Видали фанфарона! Разбежался! Нос задирать! Отпрыск, вишь, у него шибко умный. Накось выкуси!

И делали неприличный жест.

Но однажды, как гром среди ясного неба, грянула ошеломляющая новость: Сократ открыл собственную школу.

Скандал вышел грандиозный.

— Ни стыда ни совести! — возмущались одни.

Другие поддакивали:

— Поистине нахальство — второе счастье. Сам трезвонит на всех перекрестках, что ничего не знает, и тут же лезет на кафедру — преподавать!

Кто-то сокрушенно качал головой:

— Докатились. Теперь у нас ставят учителями тех, кто открыто признается, что ничего не знает!

— Хотел бы я знать, чему он там учит, ежели сам не знает ничего,— вторил собеседник.

Некоторые отправлялись посмотреть своими глазами на эту школу и возвращались вне себя от бешенства.

— Он учит только одному,— рассказывали они,— как научиться ничего не знать!

— Ха! Этому и мы кого хочешь научим,— отвечали им.— И без всякой школы.

— И даже почище, чем в школе.

— То-то и оно. Какой прок в таких знаниях? Сам ничего не знаешь — пожалуйста. Твое личное дело. Но учить других собственному невежеству и не стесняться называть эту околесицу культурой — увольте! Хороша культура! Вы как хотите, а я своих детей на обучение к Сократу не пущу!

И уж вовсе не описать, какой поднялся переполох, когда выяснилось, что Сократ выдвинут кандидатом в члены Афинской академии, имея весьма много шансов быть избранным.

— Ну, знаете ли,— задыхались от гнева сограждане,— там и без того засилье бездарей, а теперь еще и недоучки ломятся! Те, что нахально провозглашают свое невежество и кичатся им во всеуслышание!

Зато многие родители, воспрянув духом, стали поговаривать:

— Нынче детям школа без надобности. А что? Вон какую карьеру сделал Сократ, который ничего не знает. Пускай и наши растут ослами. Глядишь, в один прекрасный день их тоже назначат профессорами или академиками.

Случались совсем диковинные вещи. Один школьник сказал в домашнем кругу:

— Я целый день учил уроки и все выучил.

— Помалкивай! — зашикали на него родители.— Хочешь провалиться на экзамене?

Гостю же, который при этом присутствовал и, не расслышав, переспросил: «Что он говорит?» — поспешно объяснили:

— Ничего, ничего. Мальчик шутит.

А все потому, что Сократ успел сделаться признанным авторитетом в области педагогики. В его школу валом валили ученики, и не кто-нибудь, а с большими, как монументальные сооружения, именами. Например, Платон — один из крупнейших мыслителей древности, Ксенофонт и даже знатный гражданин Алкивиад.

— Очень удобная школа,— говорили в народе.— Образование получить — раз плюнуть. Достаточно знать, что ты ничего не знаешь.

Этому все обучались быстро. Вдобавок Сократ преподавал, разгуливая с учениками по улицам. Что многих устраивало.

— И в классе торчать не надо,— радовались они.— И не скучно совсем. Гуляй себе да разучивай, что ничего не знаешь.

Идеальная была школа.

Кроме того, под предлогом проведения занятий Сократ нередко заявлялся со всеми своими учениками в частные дома. Преимущественно к обеду. А бывало, и в другие дома, где... Ну да ладно. Одним словом, не школа, а сплошное недоразумение.

Граждане понемногу начинали роптать.

Перестали жаловать в городе и учеников Сократа. Про Алкивиада рассказывали разные неприглядные истории. Платона считали безнадежно испорченным юношей и единодушно полагали, что коли он не исправится, то плохо кончит.

Однако, вопреки всевозможным выпадам, головокружительная карьера мыслителя, философа, педагога и полемиста Сократа с триумфом продолжалась и по-прежнему строилась на фундаментальном положении его теории, согласно которому он знал только то, что ничего не знал.

Как всегда в таких случаях, появились завистливые конкуренты.

Был там один философ, Пиррон, скептик, которому успехи Сократа не давали спать. Заклятый враг всякой славы, он дотошно выискивал у Сократа слабые места с твердым намерением уязвить коллегу. Но как, спрашивается, было к нему подкопаться, когда тот сознательно специализировался на полном незнании всего? Принять за данность, что он невежда, и обличить его как такового? Но Сократ первый заявлял о своем невежестве, это же и преподавал. Ему удалось сделать из невежества школьный предмет. Хитрец из хитрецов сидел себе неуязвимый, словно в железной бочке, вызывая бешенство у коллег. С другой стороны, Пиррона неминуемо подвела бы его же собственная теория. Он проповедовал принцип, согласно которому мы должны во всем сомневаться. Можно ли было применить этот принцип к сократовским теориям, не восхвалив тем самым соперника? Ведь тогда неизбежно пришлось бы усомниться в том, что Сократ ничего не знает!

Думал-думал Пиррон, и наконец его осенило. Он бросился к Сократу.

— Вот ты утверждаешь,— заявил он ему,— будто знаешь только то, что ничего не знаешь.

— Совершенно верно.

— Но если ты ничего не знаешь, то, стало быть, не знаешь и этого!

Сократ похолодел. В самом деле, выходило, что он даже этого не знал. Вся его философия пошатнулась. Единственное знание Сократа шло насмарку.

Видимо, следовало сказать иначе: «Мы знаем только то, что знаем только это».

Но тогда бы у него спросили:

— Что все-таки мы знаем?

— Что знаем только то.

— Что же именно?

— Это.

И получилась бы путаница. Впрочем, одно дело сказать, что мы не знаем ничего, и совсем другое — что мы знаем только одно. Это самое одно как раз и портит всю картину.

В конце концов Сократа отдали под суд. Состоялось крушение мифа.

— Поделом умнику! — злорадствовали сограждане.— Мы столько лет безропотно глотали его штучки.

И заставили философа по приговору проглотить цикуту.

Сократ скончался так же, как и жил,— светло и радостно. Умирая, он с полной ясностью сознавал, что знает только то, что знает только это.

Носились вокруг Парфенона нетопыри...

Сократ и Ксантиппа

Когда Сократ достиг брачного возраста, родичи приглядели ему Ксантиппу — девицу немного беспокойную, зато работящую и с добрым сердцем.

— Это то, что нужно,— в один голос уверяли они юного Сократа.— Молодая, сноровистая. Такому мужчине, как ты, ко-

торый вечно витает в облаках, в самый раз. Лучше не придумаешь.

И столь усердствовали, что Сократ женился на ней.

Очень скоро начались семейные раздоры. Честно говоря, Ксантиппу вполне можно было понять. Ну посудите сами: ведь ее благоверный целыми днями шатался по улицам и болтал со всеми подряд, даже с торговками на рынке, не желал принимать от учеников решительно никакого вознаграждения за уроки и под предлогом философских упражнений то и дело наведывался к дамочкам отнюдь не самого философского поведения!

Истинным же горем, а точнее сказать, ахиллесовой пятой и непростительным изъяном Сократа была его неизменная правота. Этого ни одна женщина ни за что в жизни не простит своему мужу. Тем более такому, как Сократ, превосходно умевшему мыслить логически. В области логического мышления Ксантиппа заметно уступала супругу, буквально подавлявшему ее несокрушимой мощью диалектики. Оставалось только лупить его в ярости чем попало прямо по башке.

Невероятно действовали ей на психику софизмы мужа. А как вы думали? Попробуйте-ка поживите под одной крышей с человеком, который мнит о себе, что он всегда прав. Но вот беда: Сократ действительно всегда оказывался прав. Его просто невозможно было, как ни бейся, подловить даже на малейшем противоречии. Сплошь и рядом железная цепь логических рассуждений.

Тем не менее, игнорируя безупречные мужнины доводы, Ксантиппа была абсолютно убеждена в собственной правоте и вопреки всякой логике воинственно утверждала, что блистательный мыслитель античности ошибался, а, дескать, права она, Ксантиппа. И с некоторыми оговорками в каком-то смысле это почему-то соответствовало истине.

Впрочем, рассуждать, что называется, здраво Сократу удавалось с кем угодно, только не с супругой. Крупнейших из крупнейших светил диалектики он играючи клал на лопатки в любом научном диспуте. С женой же, хоть ты тресни, ничего не выходило. Ксантиппа буквально сбивала Сократа с толку. Ее способ рассуждений грешил полной абсурдностью, ее высказывания казались совершенно алогичными. Вступая с ней в дискуссию, Сократ испытывал ощущение, будто бьется головой о стену. Женщина не сдавалась перед железными силлогизмами мужа, но при этом не выдвигала контраргумент «*ab absurdo*»[1], не действовала методом исключения, не обращалась к дилемме, не применяла встречный силлогизм, софизм или философему. Зато вполне была способна противопоставить ему одно лишь слово, которому, в свою очередь, придавала свойства аргумента:

— Бандит!

Или же:

— Сволочь!

Совершенно не считаясь с тем, что доводы мужа состояли из софизмов и силлогизмов, а также не умея ответить как подобает, она усматривала в них коварство и подлость.

Но более всего Ксантиппу бесила и просто-таки доводила до белого каления ненавистная индукция, столь присущая сократовским доказательствам. По милости этой самой индукции она неизменно попадала впросак, поскольку Сократ умел так все повернуть, что женщина, не замечая подвоха, как бы сама приходила к какому-нибудь нежелательному для нее выводу. Само собой разумеется, она считала себя гнусно обманутой, и тогда в мужа летело все, что попадалось под руку.

Вообще, чтобы уживаться с женщинами, особенно вроде Ксантиппы, необходимо постоянно быть виноватым. В этом и есть самый главный секрет. Сознающий свою правоту не вопит, не бросается вещами, а спокойно предоставляет истине утвердиться самой. Именно так и поступал Сократ, в отличие от мужчин, которые, понимая, что неправы, и исчерпав аргументы, принимаются швырять на пол предметы обихода, повышать голос, угрожать, после чего, хлопнув дверью, выбегают вон из дома. Таких, между прочим, уважают. Даже побаиваются.

Никогда Сократ не позволил бы себе ничего подобного. Уверенный в своей правоте, он считал это бессмыслицей. В чем, конечно же, наивно заблуждался.

Еще Ксантиппе адски действовало на нервы то, что, если срывалась какая-нибудь затея или все выходило наоборот, Сократ не упускал случая заявить: «Я предупреждал!»

И это было чистой правдой. Рациональный рассудок великого мыслителя заранее безошибочно предугадывал последствия того или иного поступка. Однако Ксантиппу ничуть не восхищала интуиция мужа, хотя тот имел полное право рассчитывать и рассчитывал на ее восторг. Жена ругалась на чем свет стоит, обвиняя его в сглазе и во всех свалившихся на семью несчастьях только лишь потому, что он их предвидел.

И уж тем более не использовала она дальновидность супруга с целью уберечься от оплошностей и передряг. Напротив, когда Сократ говорил: «Смотри, если ты поступишь так-то случится то-то», или: «Опасаюсь, как бы не произошло того-то», или: «Вот увидишь, все кончится так, а не иначе», добрая женщина плевалась и твердила заклинания.

Еще в одном не везло Сократу как мужу. При всех обстоятельствах он сохранял полное спокойствие. Ксантиппа же, как раз наоборот, отличалась повышенной возбудимостью. Оттого-то во время размолвок голова философа безмерно страдала от воплей, визга и домашней утвари. Сам же Сократ, по причине своего обычного философского спокойствия, был абсолютно не способен на такое.

Ну и в довершение всех несчастий Сократа, связанных с супругой, его, как и большинство людей умственного труда, особенно мыслителей, склонных к самоанализу, переполняли сомнения и угрызения совести. Ему постоянно сопутствовали ощущение собственного несовершенства и чувство вины. Что в глазах женщин выглядит позорной слабостью.

[1] От абсурдного (*лат.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

Надеюсь, мне в достаточной мере удалось изобразить те причины, в силу которых Ксантиппа ни в грош не ставила своего знаменитого супруга.

Лорд Браммелл [1], или Искусство не бросаться в глаза

Лорд Браммелл, для которого элегантность одежды составляла высший смысл жизни, имел по этому поводу знаменитую точку зрения. «Настоящая элегантность,— неустанно повторял он,— состоит в умении одеваться так, чтобы вас не замечали». Тем и прославился.

Когда друзья замечали ему при встрече: «Вы чрезвычайно элегантны!» — элегантнейший лорд в ужасе восклицал: «Неужели это заметно?!» — и мчался переодеваться. Он жестоко страдал, читая в светской хронике: «Среди гостей мы заметили лорда Браммелла...» — и чувствовал себя при этом как затравленный. Со временем, однако, его элегантность достигла таких пределов, что светские хроникеры в своих отчетах о приемах и аристократических банкетах стали сообщать: «Среди гостей мы не заметили лорда Браммелла, хотя нам казалось, он присутствовал».

Все уже знали, в чем суть элегантности Браммелла, и — как нередко бывает — у него появились подражатели. Вот почему с некоторых пор после посещения элегантных собраний хроникерам оставалось только констатировать: «Вчера на светском рауте мы не заметили никого, поскольку все его участники отличались той особой элегантностью, которая состоит в искусстве не бросаться в глаза».

Разумеется, даже в окружении подражателей менее всех заметен был сам лорд Браммелл. Поначалу он торжествовал, не имея серьезных соперников в этом труднейшем и изысканнейшем искусстве. «Никого не заметили,— писали хроникеры,— а что касается лорда Браммелла, то его просто невозможно было обнаружить». Но потом лорд понял, что окружающие все-таки научились более или менее сносно подражать ему в элегантности, и занялся поисками новых, причем не всегда благовидных средств, дабы удержать пальму первенства. Так однажды во время празднества при дворе, желая остаться незамеченным, лорд спрятался под стол.

— Что ваша честь изволит делать тут? — спрашивали его вышколенные официанты.

А Браммелл умолял: «Только не выдавайте меня. Я должен остаться незамеченным!»

Он даже начал пользоваться чужой одеждой. Являлся на дамские вечеринки в женском платье. Чтобы не заметили. Обходя с благотворительной миссией бедняцкие кварталы, одевался оборванцем.

Известие о том, что искусство быть незаметным сделало его знаменитостью, обрушилось на голову лорда, словно ушат холодной воды. Где бы он ни появлялся, повсюду за его спиной слышалось:

— Это лорд Браммелл. Гляди, гляди, какой незаметный!

И все показывали на него пальцем и шептались:

— Потрясающе! Вообще незаметно!

Он выходил из дома — вокруг немедленно собирались прохожие воочию увидеть человека, которого никто не замечал. Толпы людей сопровождали его через весь город, чтобы полюбоваться, как лорд Браммелл незаметно ходит по тротуарам. Это был подлинный триумф самой неброской элегантности Хроникеры писали: «Особо выделялся своим умением не выделяться лорд Браммелл».

Зато сам Браммелл потерял покой. Стал чахнуть, не зная, к чему бы еще такому прибегнуть, чтобы его все-таки не замечали. В конце концов он и вовсе перестал выходить на улицу.

Но за ним пристально наблюдали домашние. Им бросалось в глаза то, что лорд сиднем сидит дома, не желая бросаться в глаза. Тогда он перестал выбираться даже из постели и отлеживался там, закутавшись с головой в атласные одеяла. По утрам старый слуга приносил ему горячий шоколад. Где господин? Нет господина! Постель являла собой подозрительный ком из одеял и подушек. Вот он! Подслеповатый слуга ощупывал ком, а лорд Браммелл лежал тихонько, притаившись как мышь.

— Он или не он?

Слуга стаскивал одеяло. Под ним оказывался скрюченный Браммелл.

— Проклятие,— стонал лорд,— он меня заметил!

Понимая, что на незаметной жизни придется поставить крест, он от тоски заболел. Болезнь заметил лечащий врач.

Лорд умер. Смерть его не осталась незамеченной, и тело положили в гроб.

В предсмертном завещании лорд Браммелл в последний раз продемонстрировал свой на редкость изысканный вкус, распорядившись, чтобы его похороны состоялись незаметно для окружающих.

Воля покойного вызвала столь огромное любопытство сограждан, что весь Лондон сбежался посмотреть, как незаметно его тело предадут земле.

Алессандро Мандзони [1], или Потомкам на память

Писатель Алессандро Мандзони, как известно, весьма придирчиво относился к собственным письмам, зная наверняка, что рано или поздно они сделаются достоянием

[1] Лорд Браммелл — Брайен Джордж (1778—1840) по прозвищу Красавец — основоположник дендизма (фаворит принца Уэльского, впоследствии короля Георга IV).

[1] Мандзони Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель, глава романтической школы. Автор исторического романа «Обрученные» (1827).

потомков, и тогда обнаружатся многие чересчур интимные подробности его жизни, а также некоторые сокровенные чувства, которые он отнюдь не собирался выставлять напоказ. Есть сведения, что не раз, бросив конверт в почтовый ящик, он посылал на почту слугу забрать письмо обратно, дабы изъять из текста какую-нибудь сугубо частную деталь или выправить неудачную стилистическую фигуру.

Как же именно, спросите вы, поступал Мандзони при необходимости написать письмо? Задача была не из легких. Во-первых, он обзаводился такой бумагой, за которую не придется краснеть перед потомками. Казалось бы, проще простого черкнуть деловую записку своему управляющему даже на самом замызганном клочке. Однако что скажут потомки? Как будет выглядеть в их глазах великий Мандзони, который пользовался грубой, серой бумагой? И если для управляющего — куда ни шло, то для потомков бумага требовалась приличная. Во-вторых, я уже говорил, бессмертный автор «Обрученных» не любил распространяться в письмах о делах семейных.

К примеру, нужно было сделать письменный реприманд неугомонной жене или транжире-сыну.

Но ничего не попишешь — потомки! Волей-неволей Мандзони пускался на всяческие хитрости, изъясняясь намеками. Перед будущими поколениями он в грязь лицом не ударял, зато получатель безнадежно ломал голову, пытаясь разобраться в путаном письме. Понятно, что долго так продолжаться не могло. Эти благословенные потомки связывали писателя по рукам и ногам. Как тут быть? Прибегнуть к иносказаниям? Не ставить подпись? Изменить почерк? Неудобно перед адресатами. Требовать, чтобы те уничтожали письма по прочтении? Но можно ли было положиться на порядочность адресатов, не менее самого Мандзони заинтересованных в сохранении ценного эпистолярного наследия?

С другой стороны, что скажут потомки, если все письма будут уничтожены? Они скажут: «Эге, да этот Мандзони вовсе не писал писем!» А писателю очень хотелось, чтобы люди будущего обращались к его эпистолам, иначе он не стал бы придавать такое значение стилю. В то же время он решительно не желал, чтобы посторонние совали нос в его личную жизнь или выискивали среди строк мельчайшие стилистические огрехи.

Эту проблему блестяще разрешил один мой приятель. Он намеренно сочинял письма в расчете на потомков. Получает кто-нибудь такое письмо и читает: «Дорогой друг! Излишне напоминать тебе, что я отличаюсь удивительной добротой и щедростью, обладаю недюжинной физической силой, чрезвычайно элегантен. Не говоря уже о моем обаянии и красоте. К тому же я отважен, как лев. Помогаю нищим и т. д. Пользуюсь постоянным успехом». Или же: «Благодарю тебя за добрые слова обо мне и моем произведении...»

Поначалу адресаты лишь разводили руками. Думали: «Рехнулся». Слава богу, им-то было хорошо известно, что он не отважен, не элегантен, не отличается добротой и тем более щедростью. И уж конечно никому и в голову не приходило отзываться о нем добрыми словами.

Тогда он объяснил: «Пишу не для вас, а для потомков».

Мандзони же был слишком порядочный человек и не шел на подобные уловки. Поэтому в письмах он старался вообще избегать ненужных деталей. В отличие от моего приятеля, который, памятуя о будущем, делал в тексте специальные пояснения, предназначенные не адресату, и без того прекрасно осведомленному, а исключительно потомкам.

Он, например, писал своей жене: «Дорогая! Милейший Армандо, который, как ты знаешь, приходится тебе родным братом...» (в таком же духе о ком угодно). Или так: «Я распорядился поместить камин в нашей спальне (третья справа комната от входа)» и т. д. Иногда он пользовался сносками. Например, сообщал: «Я виделся с Пьерино, который просит тебе передать...» — и в нижней части страницы указывал: «Пьерино был моим близким другом. Родился тогда-то там-то. Всецело посвятил себя сельскому хозяйству» и т. п.

Некоторые адресаты недоумевали:

«К чему все это? Мы прекрасно знаем, кто такой Пьерино или Армандо и где расположена спальня».

А он в ответ: «Это не вам! Это — потомкам».

Рождественский индюк

Индюк лучше всего на рождество, но индюку лучше всего без рождества.

(Несуществующая пословица)

«Индюка, по всеобщему мнению, завезли во Францию иезуиты».

Таковы, ни больше ни меньше, сжатые и скупые сведения, преподнесенные нам историей.

Правда, лично я сомневаюсь, что подобное мнение является всеобщим. Лично у меня, например, вовсе нет никакого мнения относительно индюков. Но именно так, а не иначе, говорится в книге Фигье «Птицы», и чтобы отбросить сомнения, я стал расспрашивать друзей и знакомых, кто, по их мнению, завез индюка во Францию. Все без исключения заявили, что им ничего не известно. Даже повара.

Остается поверить историческим сведениям. Но тогда возникает ряд вопросов. Зачем вообще понадобилось иезуитам ввозить индюка во Францию? Какое отношение имели догадливые священнослужители к пернатой твари? И почему до вмешательства иезуитов индюк ни разу не ступал на землю нашей латинской сестры? Сказать: за неимением паспорта — было бы несерьезно. Так же как и утверждать, что индюкам, дескать, вовсе запрещался въезд во Францию на том основании, что это, мол, земля галлов[1]. Неужели вдоль французских рубежей действительно была натянута какая-нибудь особая заградительная сетка, чтобы индюк не смог тайно перебежать через кордон?

Как бы то ни было, давайте представим себе события, на которые намекает история. Итак, мы с вами поблизости от французской границы. Но какой именно? Со Швейцарией, Испанией, Германией или Бельгией? Об этом история умалчивает, хотя точность имеет в данном случае принципиальное значение. Сами понимаете, если индюк двигался во Францию со стороны Германии или Бельгии, то не иначе как в обществе жирной, приправленной трюфелями печенки и почти наверняка с картошкой и капустой. Если же он спешил из Испании, то в окружении помидоров со стручковым перцем. Он мог путешествовать в винном соусе с юга или запада и вместе с пивом, если шествовал из фламандских краев.

Вот почему так важно знать, с чьей территории была предпринята столь внезапная вылазка. Италия, разумеется, не в счет, иначе пришлось бы выяснять, каким образом индюк оказался у нас самих. Но есть другие страны. Представим себе Испанию. Пиренеи. Местность буквально кишит контрабандистами, что как нельзя лучше способствует удаче и придает всей операции романтическую окраску на манер «Кармен». Ночь. В диких ущельях завывает ветер. Иезуиты, задумавшие ввести пресловутую домашнюю птицу во Францию, пытаются переправить ее через границу при помощи хворостины и разнообразных выражений. Грудастый индюк вышагивает впереди, а за ним гуськом священнослужители.

Существуют две гипотезы. Согласно первой, ввоз индюка во Францию происходил легально. Если же верить второй — тайно, поскольку эта живность не была еще известна французам.

Рассматривая первую гипотезу, следует вообразить себе прибытие наших героев в пограничную зону. Таможенники с опаской глядят на странного пришельца в сопровождении иезуитской братии.

— Это что еще за птица?

— Индюк.

— А на что он нам такой нужен?

— На жаркое.

— Не может быть!

— Честное слово! Лучшее блюдо на рождество и Новый год!

— А-а-а-а... Ну тогда проходите.

Вторая гипотеза требует представить себе иезуитов, которые, дождавшись ночи, отваживаются на тайный переход границы с контрабандным грузом. Сколько перипетий и треволнений предшествовало столь злонамеренной акции! И вот, наконец, роковой миг настал. На цыпочках, словно индейцы, ступают иезуиты друг за дружкой по горному ущелью, толкая перед собой индюка. Пустить его сзади было бы неосторожно: вдруг потеряется или угодит в лапы какому-нибудь негодяю. Все продумано до мелочей. Но буквально в двух шагах от границы этот паршивец принимается во всю глотку плести свое «бля-бля-бля-бля!».

Проклятье! Священнослужители пытаются заткнуть ему клюв. Дело не из простых. Ага! Попался! Слышится отчаянное хлопанье крыльев. Гремят в ночи выстрелы, застава поднята в ружье по тревоге, со всех сторон доносится возбужденный топот, крики: «Стой! Кто идет?» Иезуиты окаменели в темноте, затаив дыхание. Индюк упрятан под чью-то сутану, голова окручена подолом, чтобы помалкивал. Подлая птица вырывается, но ее крепко держат. Наконец мало-помалу все стихает. Опасность миновала. Иезуиты вновь пускаются на цыпочках в путь, обмотав индюка тряпками так, что тот еле дышит.

Хвала небу, граница успешно преодолена. Мы во Франции. Иезуиты выпускают птицу на свободу и сами, свободные и счастливые, уходят своей дорогой. Индюк переправлен на французскую территорию, землю свободы, где его ожидает сковорода.

А может, все это сказки? Может, индюка ввозили морским путем? Да, да, да! Скорее всего, так оно и было! Но в таком случае он вел свое происхождение из Америки, и, конечно же, Европа о нем ничего не знала.

Шел, должно быть, семнадцатый или восемнадцатый век. Шхуны, пираты, клады, зарытые на необитаемых островах. В те времена мореплавание считалось опаснейшим предприятием.

Сколько злоключений выпало на долю наших путешественников в их долгом морском пути! Не раз жизнь пернатого висела на волоске, особенно во время штормов, бунтов непокорного экипажа, но самое главное — из-за нехватки продовольствия на борту. Не говоря уже о потаенных умыслах капитана, лелеявшего мечту недурно пообедать tête à tête с какой-нибудь прелестной узницей вроде Манон Леско.

Провиант на исходе. Экипаж и пассажиры, пленники и рабыни в трюмах изнемогают от голода среди сундуков, бочонков, люков, скрипучих трапов, деревянных ног и прочих всевозможных корабельных атрибутов, которые в старину неимоверно затрудняли хождение по палубе, зато несколько веков спустя навсегда угодили в руки авторов кинокартин про пиратов и флибустьеров.

Итак, капитану известно о существовании на борту клетки с таинственным пернатым. Один-единственный взгляд на судового

[1] Игра слов: gallo — петух *(итал.)*.

кока, почти наверняка китайца, и глаза того коварно вспыхивают в знак понимания. Едва наступает ночь, как, невзирая на сидящих по углам зловещих личностей по меньшей мере с одним деревянным костылем, бесшумная тень, вооруженная кинжалом, подкрадывается в темноте к люку и соскальзывает в него. В ту же секунду раздается хлопанье крыльев и отчаянное квохтанье, которое тут же обрывается. Дело обстряпано. Немного погодя на роскошно сервированном столе в капитанской каюте будет пленять взор подрумянившееся в духовке, испускающее обольстительный аромат убиенное тело, неподвижно распростертое меж четырьмя свечами. И прекрасная пленница одарит своей милостью капитана в обмен на золотистый ломтик вкусного жаркого. Да, поистине целую книгу можно написать о путешествии индюка через океан! Книгу, в которой должное место будет отведено сопротивлению иезуитов, тысячам ухищрений с их стороны, дабы уберечь птицу от кухонного ножа и доставить ее целой и невредимой во Францию. Где, разумеется, индюку был уготован такой же конец, иначе совершенно невозможно объяснить то маниакальное упорство, с каким его ввозили в Старый свет.

Но с другой стороны, если все так и происходило, как мы предполагаем, то необходимо, чтобы эпизод океанского путешествия, повествующий о заманчивой перспективе обеда с прелестной узницей и жареным индюком, завершился провалом капитанских умыслов и чтобы в итоге каких-нибудь драматических событий, способных дать пищу для увлекательной главы в книге про индюка, последний миновал кока-китайца с его ножом.

Тогда перенесемся на портовый причал в Гавре или Марселе. Поздняя осень. Туманное, пасмурное утро. Несколько минут тому назад здесь ошвартовался прибывший из-за океана пакетбот, и на берег сходят пассажиры. Вот торопливо спускается по трапу группа иезуитов. Они держатся тесной кучкой, словно скрывают что-то. Таможенник, сверяясь с бортовым журналом, пересчитывает их: первый... второй... третий... Все на месте, лишних нет. Можно проходить. И в самый ответственный момент прямо у него под носом раздается сдавленное «бля-бля-бля-бля!».

Что это? Кто?! Таможенник подозрительно глядит на прибывшую группу. Он еще не знаком с индюками, никогда не слышал их крика; он думает, что над ним смеются, и сурово взирает на иезуитов, которые проходят с серьезными, чуть побледневшими лицами.

Ох, благополучно отделались! Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь опасность позади, индюк во Франции, иначе говоря, в Европе. Тут-то и начинается его вторая жизнь — блистательная эпоха непреходящей славы в Старом и Новом свете на рождество и Новый год.

Несомненно, внедрение индюка в Европу носило иезуитский характер, поскольку в любом случае без махинаций не обошлось. Его могли ввозить под чужим именем, например как простого петуха. А может, выдавали за крупного голубя. Или за римского орла, возвращающегося на родину.

Однако меня одолевают сомнения: а не случилось ли так, что нашего героя ввезли в Европу уже зажаренным? Тогда все вышеописанные сцены нуждаются в коренной переработке. В самом деле: каким образом иезуитам удалось перейти границу с горячей сковородой и ее ароматным содержимым? И где и как сумели они заблаговременно изжарить невиданную дотоле птицу?

Вопросы ждут своего решения. Но главное в другом, а именно: индюк есть и будет! И нам остается лишь с восторгом воздать ему должное.

◆

СЛУЖИТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ НАРОДОВ

В книге почетных гостей издательства «Прогресс» можно встретить немало отзывов зарубежных писателей, ученых, общественных деятелей о важности издания переводной литературы для укрепления взаимопонимания народов мира. Об этом говорили нам и Луи Арагон, Яннис Рицос, Джеймс Олдридж, Джанни Родари и другие авторы и гости нашего издательства. Отмечали они и значение Хельсинских договоренностей для расширения международного книгообмена.

В «Прогрессе» в переводе на русский язык ежегодно выходит около 100 книг иностранных авторов. Это примерно десятая часть всей годовой книжно-журнальной продукции нашего интернационального издательства, выпускающего литературу главным образом для зарубежного читателя на иностранных языках.

Какова же тематика изданий «Прогресса» на русском языке? Она охватывает практически весь спектр общественных наук, различные стороны жизни народов нашей планеты: философию и научный коммунизм, историю и экономику, географию и экологию, социологию и правоведение, психологию и педагогику, проблемы внешней политики, международного рабочего и национально-освободительного движения.

Особое место в нашей литературе традиционно занимают книги, посвященные основоположникам научного коммунизма и их соратникам и последователям. В нынешнем году мы выпускаем на русском и пяти иностранных языках оригинальное издание «В. И. Ленин. Жизнь и деятельность. Документы и фотографии». Эта книга, включающая 1200 фотодокументов, станет составной частью уникального издательского триптиха с маркой «Прогресса». В 1983 году вышла аналогичная фотокнига, посвященная Карлу Марксу; она получила высшую награду книгоиздателей страны — диплом имени Ивана Федорова. В 1986 году будет выпущено подобное фотоиздание о Фридрихе Энгельсе.

Недавно в переводе с немецкого языка вышли художественно-публицистические биографии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Произведение западногерманского публициста В. Шварца охватывает семь лет жизни и деятельности К. Маркса — с 1842 по 1849 г. Именно в этот период происходил решающий переход молодого Маркса на позиции материализма и коммунизма.

Работа В. Баумерта «Полет сокола: юность Фридриха Энгельса» рассказывает о ранних годах героя книги, показывает формирование его философских и политических взглядов, воссоздает атмосферу эпохи.

В наше время острейшей идеологической борьбы буржуазные идеологи, массовые средства западной информации стараются всячески опорочить и дискредитировать социализм, социалистические страны. «Совершались ли ошибки в ходе проведения культурной политики на Кубе? Каковы взаимоотношения кубинского государства с церковью? Соблюдаются ли на Кубе права человека?» — на эти и многие другие острые вопросы отвечает в своей книге «Изменить правила игры», вышедшей в нашем издательстве в переводе на русский язык, Армандо Харт Давалос, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы, министр культуры республики.

Готовится к изданию сборник работ и выступлений кубинских руководителей и видных ученых по актуальным проблемам социально-экономического развития республики после победы революции «Куба: четверть века». Среди авторов — Фидель Кастро и Рауль Кастро, члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы К. Р. Родригес, Х. В. Мачадо, У. Перес, А. Харт Давалос.

Зарубежными читателями хорошо принимаются книги серии «Свидетельства об СССР», написанные иностранными литераторами и общественными деятелями на основе своих личных впечатлений от знакомства с нашей страной и советскими людьми. В переводе на русский язык мы выпускаем отдельные работы или фрагменты из книг в ежегодных сборниках «По Советскому Союзу: зарубежные авторы об СССР». Недавно вышел седьмой сборник, включающий отрывки из работ известного палестинского поэта Муина Бсису «Мой Советский Союз» и западногерманского публици-

ста Александра Гёба «Танец белых журавлей».

Сборники, выходящие в 1985 и 1986 гг., включают фрагменты из книг этой серии ливийского дипломата Абдель Зинтани «Миф о железном занавесе», колумбийского общественного деятеля Аполинера Диаса «От Амазонки до Лены — дороги национального единства», испанского писателя Виктора Моро «Некоторые аспекты советской науки» и голландского публициста Берта Дюббелаара «Проект «Салют».

К 40-летию Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией мы выпустили на русском языке сборник «Это не должно повториться. Зарубежные авторы о войне и мире». В него вошли отрывки из книг Д. Валды (Нидерланды), М. Роиг (Испания), С. Зейона (Франция), Ф. Хитцера (ФРГ), Л. ван Эка (Бельгия) и других зарубежных литераторов.

Среди книг нынешнего года следует назвать работу секретаря ЦК БКП Ст. Михайлова «Социологические проблемы развитого социализма». Она посвящена анализу наиболее актуальных теоретических и практических проблем зрелого социализма.

Издаются также книги Д. Лукача «Своеобразие эстетического» (т. 1) и К. Жигульского «Праздник и культура». Автор первой работы — известный венгерский марксист, столетний юбилей которого отмечается в 1985 г.; в 1986 г. будут выпущены второй и третий тома четырехтомного собрания сочинений его работ. Книга К. Жигульского, переведенная с польского языка, рассказывает о роли празднеств в истории мировой культуры.

Сейчас нет в мире более актуальной проблемы, чем предотвращение ядерной войны, разоружение. Это необходимая предпосылка решения всех глобальных проблем современности, в том числе и экологической. Война с использованием оружия массового уничтожения и жизнь на Земле несовместимы — таково единодушное мнение здравомыслящих ученых всего мира. Оригинальный сборник «Экоцид в политике американского империализма», составленный из статей зарубежных ученых, политических деятелей и журналистов, вскоре увидит свет.

Выходящие в нашем издательстве в 1985 г. на русском языке работы зарубежных авторов освещают также проблемы международных отношений, включая проблемы демилитаризации космоса, запрещения химического оружия, справедливого решения палестинского вопроса и ряд других. В сборнике статей американских авторов с комментариями советских специалистов «Космос: каким его видят из Вашингтона» вскрывается одно из основных направлений агрессивного курса империализма. Другой сборник, «Холодная смерть», содержит выступления на конференции «круглого стола» в Вене специалистов из ФРГ, ГДР, США, Советского Союза, Австрии и Финляндии, указывающих на опасность создания арсеналов химического и бактериологического оружия.

В книге американского писателя Ч. Хайэма «Торговля с врагом» на основе рассекреченных дипломатических архивов рассказывается о тесных связях крупнейших корпораций США с фашистской Германией в годы второй мировой войны.

Палестинской проблеме посвящена работа видного израильского историка и журналиста, члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Израиля Э. Тумы «Сионизм крупным планом», которая знакомит читателя с историей сионистской колонизации Палестины и с расистской практикой тель-авивских правителей на оккупированных арабских территориях, а также сборник документов ООН «Палестинская проблема».

Издательство «Прогресс» продолжает публикацию документальной прозы. В прошлом году мы познакомили читателя с документальными романами президента Гонкуровской академии Э. Базена «Счастливцы с острова отчаяния», японского писателя Моримуры Сэйити «Контейнер смерти». В своем историко-документальном романе «1876» американский писатель Г. Видал с присущими ему убедительностью и сарказмом рассказывает о размахе коррупции в США в предвыборных кампаниях. Это вторая книга трилогии, начатой романом «Вице-президент Бэрр», уже известным нашему читателю.

По предварительным перепечаткам в еженедельнике «За рубежом» материалов из нашей книги «Дорога на Смоленск» и другие репортажи», выходящей в этом году, читатель уже имел возможность познакомиться с корреспонденциями американских писателей и журналистов, написанными в 1941—1945 гг. в Москве и на фронтах Великой Отечественной войны. Среди авторов — Э. Колдуэлл, М. Борк-Уайт, Дж. Э. Браун, Г. Кессиди, А. Верт и другие.

Публицистические работы английских писателей о США вошли в сборник «Свобода угнетать...». Это заметки, политические портреты, памфлеты английских писателей XIX—XX вв., размышляющих о «философии жизни» страны, принявшей на себя столетие назад миссию возжечь «факел свободы» и ставшей затем в глазах прогрессивной общественности мировым жандармом. Среди авторов этого сборника — Ч. Диккенс, Э. Троллоп, Р. Стивенсон, О. Уайльд, Р. Киплинг, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Д. Б. Пристли, П. Х. Джонсон, Г. Грин.

В книге «Над Сеной и Уазой. Франция глазами французских писателей» П. Элюар, Ф. Мориак, А. Лану, А. Мальро, А. Моруа и другие крупнейшие мастера слова пишут об острых проблемах, волнующих современное человечество, размышляют об истории, социальных отношениях и культуре своей страны.

Мемуары лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Николаса Гильена подытоживают пройденный им за 80 лет жизненный путь. Выдающийся поэт рассказывает не только и не столько о себе, сколько об эпохе, о дореволюционной и послереволюционной Кубе, о встречах с современниками — Э. Хемингуэем, М. Кольцовым и многими другими.

Эта книга продолжит начатую нами недавно серию «Мемуары и биографии». В этой серии уже вышел однотомник Ж. Сименона «Я диктую», готовятся «Во-

енные записки. 1939—1942» А. Сент-Экзюпери.

Получившая признание читателей «Библиотека зарубежной художественной публицистики и документальной прозы» (в ней уже были представлены А. Р. Вильямс, Я. Гашек, А. Моруа, Э. Хемингуэй, Ж. Р. Блок, Ф. С. Фицджеральд, Такэси Кайко, М. Иванов, А. Карпентьер, Г. К. Честертон) в текущем году пополнится томами Э. Э. Киша, Л. Новомеского, Ч. П. Сноу и М. Твена, в 1986 г.— Ф. Гарсиа Лорки, Ф. Мориака, Кэндзабуро Оэ, И. Рыбака, Л. Мештерхази, Н. Христозова, М. Фриша.

Книгой французского литератора Рене Андрие «Стендаль, или Бал-маскарад», выходящей в этом году, мы продолжаем выпуск документальных биографий. Написанная в публицистической манере, работа помогает выявить социальное и политическое кредо Стендаля, который, подобно Бальзаку, принадлежал к «могучей породе писателей-революционеров, писателей будущего».

В нынешнем году вышла в свет книга известного английского шекспироведа С. Шенбаума «Уильям Шекспир: краткая документальная биография». Приводя в ней собранные в течение веков сведения о Шекспире и недавно найденные документы, автор воссоздает конкретную историческую обстановку, в которой жил и работал великий английский поэт и драматург.

«...Называть вещи своими именами» — эти слова французского поэта вынесены в название сборника политических и эстетических «манифестов» крупнейших представителей западноевропейской литературы XX в.— А. Барбюса, Л. Арагона, Х. Лакснесса, Г. Гессе, других литераторов.

Гражданская позиция писателя — главная тема также статей, очерков, эссе, материалов дискуссий, интервью, бесед Габриэля Гарсиа Маркеса, М. Отеро Сильвы, А. Карпентьера, Д. Сикейроса и других выдающихся писателей, художников, кинематографистов Латинской Америки с советскими литераторами и учеными. Все эти материалы собраны в книге «Приглашение к диалогу: размышления о культуре латиноамериканского континента»; ее мы готовим к выпуску в будущем году.

Этот короткий рассказ о некоторых книжных новинках хотелось бы закончить отзывом группы французов, оставленным в книге наших почетных гостей: «Деятельность издательства «Прогресс» помогает укреплению взаимопонимания народов, дает людям важный источник знания, а знание порождает сначала уважение, а затем дружбу, без которых невозможен мир...»

В. СЕДЫХ,
директор издательства
«Прогресс»

◆

Советская литература за рубежом

ГДР

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Фольк унд вельт».

Повести ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ «Транзитом» и «Защита». Издательство «Ауфбау».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды». Издательство «Фольк унд вельт».

Пьеса АЛЕКСАНДРА ГЕЛЬМАНА «Скамейка». Издательство «Хеншель».

Переписка МАКСИМА ГОРЬКОГО с советскими писателями. Издательство «Академи-ферлаг».

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Фольк унд вельт».

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Созвездие Козлотура» и рассказы. Издательство «Ферлаг дер национ».

Книга ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Гамаюн. Жизнь Александра Блока». Издательство «Дер морген».

Роман ТИМУРА ПУЛАТОВА «Жизнеописание строптивого бухарца». Издательство «Фольк унд вельт».

Книга ВЕРЫ ЧАПЛИНОЙ «Случайные встречи». Издательство «Киндербухферлаг».

Роман ОТАРА ЧИЛАДЗЕ «И всякий, кто встретится со мной...». Издательство «Фольк унд вельт».

Стихотворения ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА. То же издательство.

К нашим иллюстрациям

Лики Малайзии

Персидские миниатюры, китайская живопись на свитках, балийские книжные иллюстрации, вырезанные ножичком на пальмовых листьях... Каково бы ни было современное искусство Ирана, КНР, Индонезии, тамошние художники чувствуют за спиной дыхание высоких традиций прошлого. Иначе обстоит дело в Малайзии. Были и на ее земле в древности и в средние века большие города, а нынешняя провинциальная Малакка в свое время гремела как один из величайших в мире портов и столица могущественного Малаккского султаната. Но время не пощадило даже самых скромных остатков прежней роскоши, и вряд ли мы узнаем когда-нибудь, как были расписаны деревянные дворцы малаккских султанов, вельмож и торговых гостей. Известно лишь, что в самом начале XV века Малакка приняла ислам, решительно осуждавший культ икон, а заодно порицавший и любые изображения живых существ. Поэтому можно думать, что местные мастера украшали дворцовые интерьеры растительным и геометрическим орнаментом да арабесками.

Так вот и вышло, что первым образцом «фигуративной» живописи для молодых дарований колониальной полиэтнической Малайи оказалась английская акварель, чуждавшаяся поисков европейского искусства XX века. В технике акварели начинает работать и один из основоположников малайзийской живописи — Юн Мэнь Сэнь. Его первые шаги на этом поприще относятся к 30-м годам нашего столетия. Уроженец многолюдного, суетливого Джорджтауна (остров Пенанг), художник всю жизнь тянулся в своем творчестве к природе. На его большой акварели «Дом на взморье» (вторая страница обложки) мы видим две связанные малайские хижины, воздвигнутые на сваях, крытые пальмовыми листьями, с пристроенными открытыми верандами. Картина выдержана в мягких, чуть блеклых, словно выцветших на солнце тонах. Жизнь, протекающая здесь, неспешна и самодостаточна, женские фигуры на веранде и на дорожке кажутся частью окружающего пейзажа, где суша граничит с тихими водами залива.

Следующее, послевоенное поколение местных живописцев представляет в нашей подборке Лай Фын Мой. Окончив в 1953 г. Наньянскую академию изящных искусств в Сингапуре, она продолжила свое образование в Париже и стала первой малайзийкой, посвятившей себя живописи. Ее «Малайская девушка», украшающая обложку этого номера, сидит по местному обычаю на полу, поджав под себя ноги, на ней свободная распашная кофта — кебая — и длинная прямая юбка — саронг. Критик и художник Р. Пиядаса не без оснований усматривает в этом полотне следы влияния Поля Гогена, но одновременно обращает внимание на то, что его пространственное решение восходит к традициям китайской живописи. Своеобразное совмещение приемов постимпрессионизма и дальневосточной классики вообще характерно для Наньянской школы. Насыщенна и сдержанна цветовая гамма «Малайской девушки», тонко передана в этой работе ее грустная, но отнюдь не безнадежная сосредоточенность.

Распространившаяся по всему свету как один из оригинальных способов окраски ткани, родная для малайцев техника батика применяется ныне для создания авторских произведений как в Малайзии, так и в соседней Индонезии, где в этой области преуспевают в первую очередь яванские живописцы. Художнику, работающему этим способом, приходится окрашивать ткань в разные цвета, последовательно покрывая уже окрашенные участки полотна тонким слоем воска. Пионеру этого жанра в Малайзии, художнику Чжуа Тянь Тэну, известному и за пределами своей родины, принадлежит изысканная композиция «Под пальмами». Более простодушна картина Эн Ким Хока «Толчение риса» — веселый стук пестов, с помощью которых женщины очищают насыпанный в корытообразные ступы рис от плевы, до сих пор возвещает о наступлении утра в малайской деревне.

Четыре репродукции, разумеется, не могут дать представления обо всем многообразии современной малайзийской живописи. Многие молодые художники, получающие образование в Западной Европе и в США, тяготеют к созданию у себя на родине местных, сугубо малайзийских разновидностей абстрактного экспрессионизма, конструктивизма, сюрреализма... Однако вряд ли подлежит сомнению то, что прочувствованное вглядывание художника в окружающий мир и воссоздание его в индивидуальных, но узнаваемых формах остаются незаменимым способом связать человека с землей и исполнить его любви к ней.

Б. ПАРНИКЕЛЬ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЖИЗНИ

Клаус Хёпке. Литература и жизнь. Классика и современность в восприятии читателя. Перевод с немецкого. Москва, «Художественная литература», 1984.

Во вступлении к своей книге видный деятель культуры ГДР К. Хёпке пишет: «Всем представленным в этом сборнике эссе об отдельных книгах, современных писателях ГДР и классиках немецкой литературы, равно как и кратким заметкам по актуальным литературным вопросам, присуща одна характерная особенность: литература воспринимается как экспериментальное поле жизни... Итак, литература как проба жизни. Проба как исследование жизненного фрагмента, как предварительная проверка духа, как организованный художническим воображением эксперимент».

Познание бытия через художественную литературу — одна из мыслей, объединяющих сборник. Первый раздел его посвящен произведениям современных писателей ГДР. Здесь и размышления о книге Фолькера Брауна «Беззаботная жизнь Каста», и анализ конфликта, стоящего в центре сюжета повести Гюнтера Гёрлиха «Извещение в газете», статья под заголовком «Нечто большее, чем просто научный спор» о «Бранденбургских изысканиях» Гюнтера де Бройна, статья «Революционная деятельность — следствие революционного сознания» о книге Эрика Нойча «Форстер в Париже», а также статьи о творчестве Анны Зегерс, Эрвина Штриттматтера.

В статье «Литература ГДР сегодня», предваряющей первый раздел, автор пишет об основных темах и проблемах литературы ГДР, с начала ее пути и по сегодняшний день. Действенность духовной силы литературы, по мысли Клауса Хёпке, растет лишь при постоянном развитии и обновлении традиций в соответствии с требованиями времени. Но для того, чтобы обновлять традиции, надо их основательно изучать. «Без знания истоков нет знания о будущем».— утверждает автор. Теперь, на большей временной дистанции от определенных исторических событий, например второй мировой войны, они видятся нам иначе, воспринимаются более сложно.

Интересен с этой точки зрения роман Германа Канта «Остановка в пути», известный советскому читателю. Процесс прозрения главного героя романа Марка Нибура окрашен знанием сегодняшних общественных противоречий. В новой трактовке личности, неоднозначности подхода к основным проблемам бытия роман сходен со многими современными произведениями писателей ГДР.

С середины 60-х годов в этой литературе происходят качественные изменения, выразившиеся в углублении содержания, обогащении формы. Вспомним слова Германа Канта, произнесенные на съезде писателей в Берлине в 1973 году: «...наша литература теперь более свободно осваивает мир во всем его многообразии, в том числе и усложнившийся мир отдельного человека ...литература стала не просто шире видеть, но шире мыслить, глубже проникать в собственную историю, лучше слышать голос народа, она стала нетерпимее к недостаткам и упущениям и в то же время более восприимчивой к комическим, гротескным и фантастическим явлениям жизни» [1].

[1] Герман Кант. Наши слова — аргумент в классовом споре. «Иностранная литература», 1974, № 2.

Действительно, любая тема, раскрываемая современной литературой ГДР, тесно связывается теперь с морально-философской проблематикой. Книга К. Хёпке подтверждает эту основную тенденцию в литературе республики.

Теме моральной ответственности ученого перед обществом посвящен роман Дитера Нолля «Киппенберг», выпущенный на русском языке издательством «Прогресс». По словам К. Хёпке, новое произведение Дитера Нолля — «своего рода разведка одной из существенных сфер нашей жизни. Это глубокая разведка, она выявляет ложность поверхностных решений, с которыми мы еще сталкиваемся в нашей литературе».

Касаясь сущности социалистического реализма, Клаус Хёпке замечает, что литература должна глубже освещать действительность, а не пропагандировать «предвзятые мнения с гарниром из кусочков реальности, окрашенных в яркие или мрачные тона». Для решения насущных проблем необходимы «оптимизм и отвага». Но оптимизм нужно понимать не как «некое антропологически данное человеку свойство, а мировоззренчески обоснованное убеждение, определяющее жизненную позицию и ощущение жизни».

Знаменательна мысль К. Хёпке, что литература не обязана решать все поставленные ею проблемы, главное заключается в том, «какие эстетически-мировоззренческие ценности и убеждения, какие возможности позитивного преобразования человеческой жизни утверждаются в произведении». Литература 70—80-х годов на первый план и выдвигает проблему человека как такового, проблему самоосуществления личности. Основные противоречия, на базе которых строится сегодня конфликт в литературном произведении, определяются литературоведами ГДР так: 1) противоречие между идеалом и действительностью; 2) противоречие между индивидуалистическими притязаниями и общественной необходимостью [1].

Важное место в книге К. Хёпке занимает анализ взаимосвязей между советской литературой и литературой ГДР. В предисловии для советских читателей автор подчеркивает роль советской литературы в формировании литературы ГДР. Сам Клаус Хёпке обратился к нашей литературе в трудные послевоенные годы. Первые произведения, прочитанные им,— «Детство» и «Мать» Горького, роман Островского «Как закалялась сталь». Теперь советская литература стала неотъемлемой частью духовной жизни читателей Германской Демократической Республики. К. Хёпке раскрывает значение гуманистического начала, присущего как русской классике, так и новейшим произведениям нашей литературы. Наиболее популярны в ГДР, по его словам, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» и «Они сражались за родину» М. Шолохова, «Живые и мертвые» и военные дневники К. Симонова. Из более поздних: «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, книги Ч. Айтматова.

[1] См. по этому вопросу статью Клауса Шумана «Многообразие и широта отражения современной реальности в литературе ГДР» («Weimarer Beiträge», 1980, № 8).

Многие произведения советских авторов последних десятилетий несут в себе импульс гражданской активности. Это — «Битва в пути» Г. Николаевой, «Русский лес» Л. Леонова, книги В. Кожевникова, В. Шукшина, В. Липатова, В. Тендрякова, Д. Гранина. По словам Клауса Хёпке, в ГДР живой интерес вызвали дискуссии о творчестве Ю. Трифонова, проходившие в СССР. В ГДР ценят пьесы А. Гельмана за острую постановку проблем, за авторскую нетерпимость к существующим еще недостаткам в нашей работе, в нашей жизни.

Литература призвана помогать нам в борьбе с этими недостатками, анализируя прошлое и устремляясь в будущее. Так понимает автор главное предназначение художественного творчества. Именно поэтому литература для него — это экспериментальное поле жизни. Литература проверяется жизнью и в то же время помогает ее движению вперед. Лучшие образцы подлинно великой литературы не устаревают, и читательское внимание вновь и вновь приковывают те произведения, которые составляют золотой фонд «исторической памяти» народа. Таким образом литература дает отпор тем, кто делает ставку на «короткую» историческую память, тем, кто стремится помешать извлечь правильный урок из прошлого, сделать верные выводы из динамичного и успешного развития социалистических стран, начавшегося после их освобождения от фашизма.

И. КИВЕЛЬ

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД БЕЗ ЛЕГЕНД

Каньон. Американская проза о Дальнем Западе. Перевод с английского. Составление, предисловие А. Ващенко. Москва, «Молодая гвардия», 1983.

Я связан добром с землей. Из современной литературы индейцев США. Сборник. Перевод с английского. Составление, предисловие и комментарий А. Ващенко. Москва, «Радуга», 1983.

В рассказе А. П. Чехова «Мальчики» есть один примечательный эпизод: «Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн-Рида?

— Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».

Ученик второго класса гимназии Чечевицын заслуживает нашего снисхождения, ибо он до такой степени испытал на себе магическое воздействие популярных романов об освоении американского континента, что мечта и действительность стали для него единым, нерасторжимым понятием. Размышляя о смене литературных вкусов, А. П. Чехов писал ровно сто лет назад: «...было время, когда люди зачитывались рыцарскими романами и уходили в Дон-Кихоты», а «наши сызранские и чухломские детеныши, начитавшись Майн-Рида и Купера, удирали из родительских домов и изображали бегство в Америку» Сегодня Купера и Майн-Рида читают значительно меньше, но если спросить нашего молодого современника, чем в его представлении является Дальний, Дикий, Бурный и т. д. Запад США, то вряд ли его ответ будет оригинальнее описания, данного чеховским героем. В сознании укоренился устойчивый стереотип, что Дикий Запад — это вестерн, а вестерн — это ковбои, индейцы, трапперы, бандиты, шерифы, лассо, кольты, виски, салуны, ограбления поездов (это уж обязательно) и как кульминация действия — погоня, где «Боливару не снести двоих».

Современное восприятие американского Запада в большей степени идет уже не от литературы, а от ее киноверсий, которые разнесли по всему миру легенду о прекрасном крае, на широких просторах которого дышится легко и свободно. Вестерн — кинематографическая сказка XX века, персонажи, время и место действия которой общеизвестны, где добро непременно побеждает зло, герой благороден и красив, очаровательная избранница героя обязательно блондинка, а злая разлучница-брюнетка.

Американский Запад в плане литературном недостаточно хорошо известен советскому читателю. Из писателей, творивших на рубеже XIX—XX вв., по сути дела знакомо лишь одно имя — О. Генри, произведения которого неоднократно публиковались, экранизировались и инсценировались в нашей стране. Лишь читатель, более или менее внимательно следящий за новинками зарубежной литературы, мог встретить на страницах периодических изданий (правда, редко) произведения писателей США, избравших темой своих книг жизнь территорий, лежащих к западу от Миссисипи. Поэтому выход в свет двух сборников американской литературы — «Каньон», в котором опубликованы произведения некоторых американских писателей, писавших о Западе, и «Я связан добром с землей», где представлены образцы письменной и устной словесности североамериканских индейцев,— в значительной мере пополняют наше представление о литературе США.

Как справедливо замечает А. В. Ващенко, автор предисловий и комментариев к обоим сборникам, «достаточно спросить любого читателя не о географической, а о литературной карте США как он сразу же скажет: Восток страны дал Фенимора Купера, Генри Лонгфелло, Эдгара По, Мелвилла и Уитмена. Американский Юг — это, конечно, Фолкнер, а за ним и целый ряд писателей. А что дал американской литературе Запад? Оказывается, не столько имена, сколько один литературный жанр — вестерн». Что касается проблемы коренного населения американского континента, индейцев, особенно в плане этнокультурном, то здесь легенда, созданная официальной Америкой, укоренилась в сознании читателей в высшей степени прочно. Поэтому американский литературный обыватель с трудом и некоторой растерянностью вдруг осознал в 60-е годы XX столетия, что «кровожадные индейцы», которых он традиционно презирал и воспринимал как людей второго сорта, имеют не только «экзотический», не всегда понятный фольклор, но и литературу, резко отличающуюся от традиционной американской. Как пишет известный журналист и общественный деятель из племени сиу Вайн Делория, чья публицистика представлена в сборнике «Я связан добром с землей», «наиболее уютно американский обыватель чувствует себя с мифическими индейцами, которые якобы некогда населяли континент. Мифические индейцы свирепы, они разгуливают в перьях и говорят «уф!». Большинство из нас не укладывается в этот идеализированный образ, поскольку «уф!» мы говорим, только объевшись, что бывает редко».

Материалы сборника не только представляют «индейскую» ветвь американской литературы, но и развенчивают многие укоренившиеся не только в сознании американцев мифы и иллюзии. Взять хотя бы публикуемый в сборнике подлинный документ британских колониальных властей от 3 ноября 1755 года о так называемом скальпировании. Практиковать этот изуверский способ умерщвления начали цивилизованные джентльмены, а отнюдь не «дикие краснокожие». «И посему я приказываю подданным Его Величества в этой Провинции пользоваться всеми случаями, дабы преследовать, брать в плен, убивать и уничтожать всех и каждого из вышепоименованных индейцев. И Генеральный суд этой Провинции постановил, дабы премии... даровались и выплачивались из казны Провинции... в следующих суммах: за каждый скальп индейца мужского пола, представленный в доказательство его убиения, как выше указано,— сорок фунтов. За каждый скальп индеанки женского пола или индейца мужского пола, не достигшего двенадцати лет, представленный в доказательство их убиения, как выше указано,— двадцать фунтов». Как пишет Вайн Делория, «индейский скальп оказался ценнее бобровых, куньих и других шкур пушных животных».

Не только литература индейцев заставила многих современных американцев взглянуть на прошлое своей страны иными глазами. Свою позитивную роль сыграли виднейшие представители собственно американской культуры, которые своим творчеством поддержали культурные искания индейской интеллигенции. В первую очередь необходимо назвать имена Хэла Борланда, Томаса Бергера, Дэна Кашмена, в чьих книгах «Когда умирают легенды», «Маленький Большой Человек», «Держись подальше, Джо» были созданы реалистические образы индейцев со всеми их достоинствами и недостатками.

Осознание себя не только этнической, но и этносоциальной силой, трагедии Сэнд-Крика и Вундед-Ни, унижение резервация-

ми — эти и многие другие причины вкупе с общим кризисом американской общественной системы, особенно после поражения США во Вьетнаме, предопределили выход индейцев (а не представителей отдельных племен) на политическую, социальную, культурную и литературную арену современных Соединенных Штатов Америки. Долгие десятилетия насильственной ассимиляции, попытки «растворить» уникальную индейскую культуру в англо-саксонской ощутимых результатов так и не принесли, и официальная Америка отреагировала на это традиционным для нее образом — созданием еще одного мифа, на этот раз о «культурно отсталом и ленивом индейце», который почему-то равнодушен к ценностям западной цивилизации.

Литература индейцев США уходит своими корнями в народно-поэтическое творчество, с его богатым мифологизмом и образностью. Особенно это заметно в поэзии, которая представлена в сборнике произведениями семи ведущих индейских поэтов. Тематика их творчества отличается широтой и многообразием, но объединяет их, пожалуй, одно — осознание себя неотделимой частью великой природы. Так, Н. Скотт Момадэй размышляет о тайне рождения жизни, о мудрости законов природы, следовать которым необходимо всем живущим. Дуэйн Ниатум видит назначение поэта в сохранении «вещих снов» своего народа, которые есть не что иное, как его историческая память и нравственный идеал. Характерно, что древняя мифология органично вбирает в себя и темы современности, как, например, у Рея Янгбиэра в его «Вьетнамской поэме» и у Саймона Ортиса в его «антиурбанистических» стихотворениях.

Проза представлена произведениями четырех авторов, имена которых широко известны в США — Хаймийостс Сторм, Лесли Силко, Джеральд Визенор, Томас Санчес. Ориентированная на фольклор, современная индейская проза исследует две системы мировосприятия — логическую («западную») и интуитивную («индейскую»), протестует против национального угнетения, поднимает важные для современной индейской молодежи проблемы преемственности поколений.

Современная индейская поэзия и проза очень популярны в изысканных литературных салонах Америки. Это может показаться парадоксальным, но факт остается фактом, хотя и легко объяснимым. Индейская литература, как никакая другая, насыщена глубокой символикой и усложненными образами, что дает возможность современным литературным гурманам в буквальном смысле смаковать не только те или иные стихотворные строки, но и отдельные слова, выискивая якобы зашифрованные в них предвидения и намеки, иногда даже оккультного содержания. Однако если эта категория американских читателей хотела бы видеть в тех или иных авторах современного индейского Нострадамуса, то для читателя-индейца символика эта не имеет ни изощренно эстетизированного, ни магического, ни иного подтекста, так как связана с многовековой культурной традицией индейцев, и в первую очередь с уникальной системой фольклорных и мифологических ценностей. Западная культура помогла молодой индейской литературе в плане чисто прагматическом — она дала индейцам письменность, с помощью которой культурная традиция своеобразно воплотилась в произведениях современных индейских писателей.

Культурная трагедия Америки началась именно в период первых контактов белых с индейцами, когда европоцентризм сомнению не подвергался, а уж культурный тем более. Энергичный европеец проехал на бешеной скорости в дилижансе мимо неповторимой культуры другого народа, система эстетических ценностей которого лежала в иной плоскости, нежели его собственная. Сегодня эта культура заявила о себе в полный голос — это подтверждает и выпущенный издательством «Радуга» сборник современной литературы индейцев США.

На фоне конфликта западной и индейской культур по-иному видится и истинная картина эпохи покорения Дальнего Запада, и ее отражение в литературе США. В этом плане сборник «Каньон» позволяет оценить ситуацию как бы изнутри, а не с высоты литературных ходулей традиционного вестерна. Освоение Дальнего Запада — важный, если не решающий момент американской истории.

Колонизация Запада завершила становление американской государственности, в значительной мере консолидировала молодую нацию, превратив этнический «котел» в ту самую этническую «мозаику», о которой сейчас так много дискутируют в научных кругах США.

Реалистическая литература—более объективный свидетель противоречивых исторических процессов, нежели официальная историография, так как ее героями чаще всего были люди простые, на судьбах которых история и оставляла свои неизгладимые следы. Сборник «Каньон» вполне рассказывает советскому читателю о Западе без его традиционных героев, о веке минувшем и о нашем времени, где, как пишет автор предисловия, «Запад перестает быть замкнутой в себе, условной территорией с прошлым».

Повесть Джека Шэфера «Каньон» — это как бы пролог эпохи великих потрясений, повествование о потерянном рае коренного населения Америки — индейцев. Пройдет какое-то время, и этот удивительный мир социального и экологического равновесия исчезнет навсегда, превратившись в индейскую мечту, и сбудутся пророческие слова, прозвучавшие в статье А. С. Пушкина «Джон Теннер»: «Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский». Недоступный каньон, затерянный где-то между Дакотой и Вайомингом в районе реки Шайен, где провел долгие трудные и одновременно самые счастливые месяцы своей жизни шайен Медвежонок,— это своеобразный микрокосм того канувшего в Лету континента, где среди богатых трав паслись бесчисленные стада бизонов, а человек был не

властелином природы, но неотъемлемой ее частью. Коротконогий, «с луной в глазах» индеец Медвежонок, который почему-то не мог курить «трубку войны», а передавал ее дальше по кругу, так и не затянувшись,— герой, для американской литературы необычный. С точки зрения европейца, он, может быть, выглядит социальным отщепенцем, но для индейца общественное и личное — понятия нерасторжимые. Медвежонок не изгой, просто он не может в силу особой духовной организации поднять руку на себе подобного. В конце концов, это его право, которое для индейца столь же естественно и священно, как дар жизни или тайна смерти: «Человек должен быть уверен, что сердце говорит ему правду... Один человек не может изменить племя. Но он может жить со своим племенем, не позволяя чересчур изменять себя...»

Заманчивее всего было бы увидеть в Медвежонке еще одного Кандида, на этот раз индейского, но это не так. Герой повести — свободный человек, и даже его следующий, уже добровольный уход в каньон не есть бегство от людей, а реализация его жизненной философии. Философия эта проста и мудра — свобода выбора делает личность свободной. Индейский социум предстает в повести Шэфера как некое добровольное сообщество людей, обладающих правом выбора, и в этом плане противопоставлено иному типу социальной организации людей, в которой свобода личности есть декларативная фикция.

С этой разновидностью общества читатель знакомится в романе Уолтера Ван Тильберга Кларка «Случай у брода», где, вопреки собственным нравственным принципам, несущие «бремя белых» вынуждены стать соучастниками линчевания, ибо так велит неласный закон «свободного и цивилизованного» общества. Именно боязнь почувствовать себя изгоями заставляет героев романа идти против правды, которую говорит им сердце. В отличие от индейца Медвежонка они не могут «жить со своим племенем, не позволяя чересчур изменять себя», и не случайно для нравственного возрождения героев требуется самоубийство самого совестливого из всех членов этого «цивилизованного» сообщества — Джеральда Тетли. У каждого из героев романа есть как бы свой собственный «нравственный каньон», уход в который спасает человеческое в человеке: для молодого Тетли — это самоубийство, для Джила — безудержное пьянство, для Дэвиса — отчаяние и нравственные терзания. «Случай у брода» стал одним из первых в американской литературе вестернов «без героев», а его экранизация в 1943 году под названием «Инцидент в Окс-Бау» открыла дорогу реалистическому вестерну, традиция которого в американском киноискусстве существует и развивается. «Случай у брода» и «Каньон» — два ключевых произведения сборника. Они полярны по изображению мира, но идеалы добра, справедливости и чести, ими провозглашаемые, общечеловечны.

В сборнике нет произведений, в которых рассказывалось бы о той жестокой поре покорения Запада, когда белый поселенец огнем и мечом сокрушал социально-экологическую гармонию индейской цивилизации. Повесть «Каньон» — это Запад до эпохи колонизации, все же остальные произведения — о веке минувшем или о наших днях. Лишь в рассказе Дороти Джонсон «Пора величия» сквозь полубредовые воспоминания слепого Кэла Кроуфорда, в прошлом знаменитого бобрового траппера, читатель может представить то бурное и жестокое время, когда герой рассказа «снимал скальпы и ухитрился сберечь собственный». Кроуфорд пережил время славы, но у него тоже есть свой «каньон» —воспоминания-галлюцинации, которые есть его прошлое, настоящее и будущее.

Американский Запад — это тысячи разных судеб, чаще всего трагических. В противоборстве добра и зла на бескрайних просторах этой американской окраины рождался тот человеческий тип, который сегодня называют «человек с Запада». Не политики и политиканы осваивали западные территории, а такие парни, как Джил и Арт из «Случая у брода», как траппер Кроуфорд из «Поры величия», как Джек Поттер из рассказа «Приезд невесты в Йеллоу-Скай». Официальная Америка использовала этих людей как орудие территориальной, экономической и иной экспансии, и в том, что их руками творилось зло по отношению к коренному населению страны, не вина их, но беда.

Однако историю невозможно ни изменить, ни повернуть вспять, но похоже, что герои рассказов Джона Сейлза «Буффало» и «Племя прерий» кое-какие уроки истории усвоили. В этих правдивых произведениях повествуется о сегодняшнем американском Западе, о простых работягах, трудолюбием которых держится процветающая буржуазная Америка. Труд не приносит им ни богатства, ни славы, но он единственное мерило любой человеческой личности — белого, индейца, мексиканца или негра. Вслед за Медвежонком они могут повторить слова о нерасторжимой связи всего сущего на Земле: «Каньон принадлежит ему, он добился этого. Но он совершил это не в одиночку... В его руке нож, изготовленный далеко отсюда другим человеком... Его мозг полон знаний — как добыть огонь, как изготовить оружие и одежду, как найти пищу и соорудить укрытие,— знаний, которые передали ему те, кто учили его в детстве, кто показывали, как что делается, когда он жил среди них. Сам по себе он ничто». А Запад так и останется для каждого американца несбыточной мечтой, как та Заколдованная скала из одноименного рассказа Уиллы Кэзер, на которую никто из героев так и не смог подняться.

В Калифорнии есть несколько памятных для индейских племен мест — гора и озеро Шаста и озеро Берреса. В этой индейской топонимике тоже отразилась история, но совсем иного рода. Они хранят память о русских поселенцах Калифорнии, которые в XIX веке установили дружеские отношения с местными племенами. Русские снабжали индейцев орудиями производства, прививали основы земледелия, огородничества, садоводства. Видимо вспоминая свою далекую родину, они и назвали неизвестные для них места русскими словами «счастье» (Шаста) и «береза» (Берреса), которые навсегда остались в памяти индейцев. До сих

пор шумят яблоневые сады в штате Орегон, взращенные когда-то из семян, привезенных из далекой России. Контакты такого рода — всегда благо для любого народа.

Чувство вины перед коренным населением Америки заставляет американскую литературу вновь и вновь обращаться к теме освоения континента. Сборники «Каньон» и «Я связан добром с землей» вобрали в себя наиболее характерные произведения талантливых авторов, для которых описываемые события не просто эпизод из американской истории, а повод для серьезных размышлений об исторической судьбе Америки.

А. НАЛЕПИН

САГА О ТРАГИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ

Алекс Ла Гума. Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов. Время сорокопута. Перевод с английского. Послесловие А. Софронова. Москва, «Радуга», 1984.

В одной публицистической статье Алекс Ла Гума высказал как будто неожиданное суждение: «Никто не знает жизни Южной Африки во всей ее полноте, а потому никто не в состоянии написать о ней всю правду, как подобает истинному художнику. Видение художника ограничено шорами апартеида, и даже самое яркое воображение не может заменить личного опыта». То есть цветной или негритянский писатель не может правдиво отобразить психологию белого населения, точно так же как белый художник рискует оказаться неточным, если будет писать о чернокожих. Но неужели в современной Южной Африке принципиально не может быть настоящих талантов, которым по плечу художественно осмыслить ситуацию в стране во всей ее противоречивой сложности?

Произведения самого Алекса Ла Гумы, в том числе и повести, составившие этот сборник, все-таки свидетельствуют и об обратном. Созданные южноафриканским прозаиком за прошедшие два десятилетия, одни на родине — в пору арестов и репрессий, другие — уже за границей, в вынужденной эмиграции, эти повести сюжетно сильно отличаются друг от друга. В них современная ЮАР предстает перед нами то в обличии бесшабашных цветных парней из трущобного района Кейптауна, то белых полицейских, в упоении вседозволенности глумящихся над беззащитными жертвами; в захолустно-дремотном городке нам встретятся фермеры-буры, отгородившиеся от всего света стеной националистических предрассудков а в выжженном вельде мы увидим чернокожего пастуха, приглядывающего за овцами. В слове «апартеид» есть что-то безысходное, как в заграждении из колючей проволоки. Герои Ла Гумы принадлежат к народу, трагически разобщенному бесчеловечностью официального расизма. Вопреки несхожести сюжетов, многообразию изображаемых лиц и пейзажей (а может быть, именно благодаря этому), повести сливаются в связное повествование о расколотом обществе. Это своего рода сага о народе, мучимом проклятьем отчужденности.

Представитель терпящей стороны, Ла Гума действительно пишет прежде всего о людях с темным цветом кожи. Его взгляд на южноафриканскую ситуацию — это взгляд обитателя гетто, которого так же, как Майкла Эдониса («Скитания в ночи»), можно за малейшую провинность выгнать с работы. Кому, подобно нищему семейству Паулсов («И нитка, втрое скрученная»), нечем прикрыть дыру в потолке картонной хижины, кто, наконец, подобно политическому заключенному Джорджу Адамсу («Каменная страна») и профессиональному революционеру Бейксу («В конце сезона туманов»), осознанно борется против полицейского государства.

Свой человек в цветной локации, Ла Гума в повестях «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная», «В конце сезона туманов» показывает ее изнутри. Словно кинодокументалист, писатель фиксирует внимание то на одном эпизоде, то на другом, запечатлевая в достоверных деталях самое характерное, самое типическое, что свойственно жизни бедняков — убогой и голодной, где, как и повсюду на земле, царят любовь и ненависть, ревность и добродушие, щедрость и скаредность, самопожертвование и эгоизм. Однако мир этот замкнут, из него не найти выхода. Городские кварталы, населенные благополучными белыми, отсюда почти не видны. Мимо проносятся автомобили. Кого они везут, о чем думают люди по ту сторону колючей проволоки — ведь там, за границей гетто, тоже Южная Африка, в которой белое отделено от черного, но и неразрывно связано с ним. В какой-то мере ответ на этот вопрос дает повесть «Время сорокопута», самое позднее из крупных произведений писателя.

В своих ранних повестях Ла Гума скупыми штрихами набрасывает портреты белых южноафриканцев. В основном это полицейские, с ними чаще всего приходится сталкиваться жителям резерваций, да изредка неудачники, отторгнутые своей средой и прозябающие как бы на пограничной полосе. Таковы бывший актер ирландец Дафти из «Скитаний в ночи», владелец маленькой автостанции Мосперт из повести «И нитка, втрое скрученная». Похож на них жалкий лавочник Баренде из «Времени сорокопута». Но в этой книге наряду с Баренде фигурируют и другие южноафриканцы европейского происхождения. Словно забыв о прежних сомнениях, Ла Гума пишет о жителях бурского поселка, о семействе коммивояжера Эдгара Стоунса.

Сорокопут — птичка, которую люди прозвали мясником,— зловещий вестник беды. Ей раздолье во время засухи, когда животные погибают от безводья и много падали. Жесточайшая сушь поразила равнину, сковала жарой провинциальный городок буров. У Ла Гумы, как у некоторых других писателей ЮАР, в частности А. Бринка, картина засухи метафорична. Это не только природное, но и общественное бедствие, знак

кризиса. Горожане даже устраивают специальное молебствие, просят всевышнего облагодетельствовать их дождем. Еще тревожнее другое: жители африканской деревни, которым приказано убраться с облюбованных белыми земель, отказываются повиноваться, зреет бунт. Неминуемо столкновение карателей с безоружными людьми.

Тема «Времени сорокопута» многогранна. Писатель обращается не только к больной проблеме ЮАР — расовому угнетению, он передает нравственный климат, в котором живут обитатели бурского городка. Ведь и среди белого населения ЮАР есть противники апартеида, причем их становится все больше и больше, и Ла Гума не игнорирует это обстоятельство.

Однако чтобы лучше понять и оценить творчество Ла Гумы, его произведения нужно рассматривать в контексте всей прогрессивной литературы ЮАР, отражающей трагизм положения южноафриканского народа. Эта литература создается писателями с разным цветом кожи. Советские читатели уже знакомы и с творчеством Атола Фугарда, Надин Гордимер, Андре Бринка. Эти писатели принадлежат к господствующему меньшинству, но они выступают против привилегий, основанных на расовом угнетении. Их свидетельства также важны для понимания южноафриканской действительности. Особенно интересны книги Бринка, в которых обнаруживается немало параллелей с творчеством Ла Гумы.

Оба писателя как бы вступают в диалог, дополняя друг друга. Хотя ракурс их видения определен принадлежностью Ла Гумы к угнетаемому большинству, а Бринка — к угнетающему меньшинству, они сходятся в оценке южноафриканской ситуации, чреватой катастрофическим взрывом, если апартеид не будет уничтожен. Бринку свойственно обостренное чувство преемственности времен, он стремится выявить истоки сегодняшних антагонизмов, поэтому прямо обращается к прошлому в романах «Мгновенье на ветру» и «Цепь голосов». Но и в романах современной тематики день нынешний для него неотделим от дня вчерашнего.

Бринка сближает с Ла Гумой мысль о нравственной несостоятельности апартеида, о губительности расизма как для угнетенных, так и для угнетателей. Каждый писатель находит свои формы для выражения этой мысли. Бринк нередко обращается к интимной сфере человеческих отношений. Любовь черного мужчины и белой женщины в его произведениях трагически не соответствует общественному порядку. Любовь обречена, как обречены на несчастье разделенные расовым барьером влюбленные.

Белые убили в себе людей, говорит один из персонажей Ла Гумы во «Времени сорокопута». С этим утверждением пытается спорить Бен Дютуа из романа Бринка «Сухой белый сезон», которому совесть не позволяет остаться безучастным при столкновении с вопиющей несправедливостью системы по отношению к чернокожим гражданам. Он протестует — пусть непоследовательно, иногда наивно (идет жаловаться на произвол полиции в саму полицию), но этот протест нужен не только тем, за кого заступается Дютуа, но и ему самому — он понимает, что равнодушие ведет к моральному омертвлению. Однако в среде, к которой принадлежит герой Бринка, много моральных мертвецов с атрофированной совестью. При внешнем благополучии они тоже жертвы апартеида.

Художественное пространство повестей Ла Гумы, включающее в себя негритянские поселки, населенные беднотой пригороды,— для Бринка почти не исследованная территория, куда редко и на короткий срок попадают его герои. Однако Бринк стремится показать основанное на общности целей сотрудничество белых и черных. Революционной работой занят адвокат Бернард Франкен («Слухи о дожде»). Организация, в которой он состоит, объединяет людей разной этнической принадлежности. Бен Дютуа тоже ничего бы не достиг, разоблачая расистов, без помощи друзей «с той стороны», тех самых людей, жизнь которых становится нам понятнее благодаря творчеству Ла Гумы.

Единение — не в этом ли путь к спасению насильно разобщенного народа? Основа для такого единения заложена в общей борьбе против апартеида и расизма. После столетий вражды черному человеку трудно увидеть доброжелателя в ком-нибудь из белых, да и белым не просто расстаться с предрассудками своей среды. Владелец автостанции Мосперт в повести Ла Гумы «И нитка, втрое скрученная» изнывает от одиночества. Чарли Паулс приглашает его: «Приходите к нам вечером, выпьем стаканчик вина, поболтаем» — и Мосперт почти соглашается. Он даже проходит часть пути до негритянского поселка — и все-таки возвращается. У него не хватает духу подавить в себе воспитанное с детства предубеждение против «кафров». Но какой-то ген дружелюбия все-таки заложен в людях, и в конце концов белые и черные должны найти дорогу друг к другу.

Правда о современной Южной Африке рождается коллективным усилием прогрессивных писателей—летописцев трагической эпохи. Они свидетели обвинения, выносимого историей апартеиду. Значение гуманистического творчества Алекса Ла Гумы в этой борьбе велико.

М. ВОЛЬПЕ

Издано за рубежом

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТЁФИ

Befunde und Entwürfe. Berlin, Akademie — Verlag, 1984.

Выводы и проекты. 1984.

Не часто бывает, чтобы сборник литературно-критических и теоретических текстов открывался

стихами. А здесь дело обстоит именно так. В самом начале книги, еще до «Введения», мы встречаем призыв:

Не для пустой забавы пой
В угоду суетному миру!
Готовься к подвигу, поэт,
Когда берешь святую лиру.

Это первые строки известного стихотворения Шандора Петёфи «Поэтам XIX века». Великий революционный поэт убеждает собратьев по перу, что их прямой долг — работать во имя приближения того часа,

Когда любой сумеет брать
От счастья полными горстями,
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями...

(Перевод В. Левика)

Именно в этом — главный смысл многочисленных статей, рецензий, манифестов, полемических заметок, объединенных в книге, вышедшей недавно на немецком языке. Название ее — «Выводы и проекты»,— на мой взгляд, маловыразительно, слишком нейтрально. Но тут же стоит поясняющий подзаголовок: «К развитию венгерской марксистской литературной критики и литературной теории (1900—1945)». Книга появилась в «Академи-ферлаг» в серии «Литература и общество» (в которой еще ранее вышли аналогичные сборники чехословацкой, болгарской марксистской критики, выходят монографии и антологии, посвященные передовой литературной критике других стран). Для всей серии принят плодотворный принцип — не «исправлять» историю, печатать не только бесспорное, но и спорное, подчас и частично устаревшее, публиковать документы полностью, так чтобы становление марксистской литературной критики в разных странах предстало как сложный процесс поисков, столкновений, борьбы, достижений и просчетов, проб и ошибок. Признание общественного долга литературы, утверждение ее связи с народом, с пролетариатом само по себе еще не гарантировало правильности всех конкретных оценок и решений: истина рождалась в спорах.

Этому принципу следуют и составители новой книги: Ласло Иллеш, Йожеф Фаркаш, Миклош Саболчи. Отбор текстов сам по себе потребовал немалой работы. А тут мы находим помимо обширного «Введения» еще и содержательные характеристики всех представленных в книге авторов. Подготовка сборника к печати выполнена с той научной тщательностью, которая вообще характерна для изданий «Академи-ферлаг». Благодаря новой книге много интересных текстов вошло теперь в международный читательский обиход — есть основание порадоваться этому.

В сборнике отразилось своеобразие венгерского исторического и историко-литературного процесса. Меньше чем за сто лет Венгрия пережила два крупнейших революционных взрыва, всколыхнувших всю страну, надолго приковавших к ней внимание всего мира: революцию 1848—1849 гг. и кратковременное торжество советской республики в 1919 г. Оба эти события завершились трагически, оставив неизгладимый след в народном сознании. И идея общественного служения литературы, завещанная Шандором Петёфи, подтвержденная его героической смертью, осталась в памяти писателей последующих поколений. Не случайно, что к имени Петёфи, к его наследию многократно обращаются авторы, представленные в книге.

Ожиданием больших революционных перемен дышит творчество Эндре Ади, одного из крупнейших поэтов нашего столетия. Советский читатель еще несколько лет назад смог познакомиться с яркими страницами публицистики Ади — они включены в его однотомник «Избранное», вышедший на русском языке в Будапеште. Еще в 1901 г. юный Ади писал: «Весь крохотный наш венгерский мирок бурлит, безобразные черные тучи сгустились над ним. И кто рожден не только затем, чтобы увеличить на единицу статистику рождений и смертей, тот не вправе примиряться. Тот борется как умеет»[1]. В сборник «Выводы и проекты» включена другая статья Ади, датированная 1908 г.,— «Литературный мятеж и социализм». Поэт утверждал: «Новая, подвергающаяся проклятиям (и даже не выступающая с политической программой) венгерская литература, судя по всему,— предвестник запоздалого, но ставшего уже совершенно неотложным, социального переворота в Венгрии»... «Я с радостью утверждаю, что этот новейший литературный мятеж наших дней не мог бы возникнуть, если бы в Венгрии не назревал социализм». В том же году выдающийся прозаик Дежё Костоланьи в статье «Пролетарская поэзия» горячо приветствовал зарождение в разных странах Европы литературы, связанной с рабочим классом, называл имена Гейне и Горького, без колебаний солидаризировался с этой новой литературой: «Пролетарии, отверженные, растоптанные, оскорбляемые, носители новых, тонких мыслей и чувств,— это все мы, желающие сегодня обрести голос, чтобы выразить биение многоликой, бесшумной современной жизни; и к нашему слову прислушиваются те, кто изголодались по новому, кто жаждут нового и в чьих душах дремлет скрытая энергия будущего».

Подобные признания и свидетельства помогают понять, что многие видные деятели венгерской культуры были духовно подготовлены к назревавшим в стране политическим сдвигам. В созданную в дни советской республики «писательскую директорию» вошли, как напоминают авторы «Введения», представители разных литературных направлений, в том числе виртуозный мастер стиха Михай Бабич, крупнейший прозаик-реалист Жигмонд Мориц, неистовый ревнитель венгерского авангардизма Лайош Кашшак, лидер венгерского Пролеткульта Аладар Комьят, философ с международным именем Дёрдь Лукач. Документы, включенные в сборник, передают атмосферу бурных революционных дней, размах исканий, накал страстей. «Даешь диктатуру!» — так назвал свою программную статью художник-новатор Бела Уиц. Не обходилось подчас и без крайностей и перегибов. Чересчур ретивые поборники революционной культуры требовали, чтобы из дет-

[1] Эндре Ади. Избранное. Будапешт, «Корвина», 1981.

ского чтения были исключены сказки: не пристало, мол, пролетарским детям слушать фантастические истории про принцев и принцесс! Писатель и критик Бела Балаж выступил со статьей, где брал под защиту любимый детьми жанр литературы. «Осторожно, товарищи! Если мы отнимем у детей сказку, мы навсегда лишим их возможности наслаждаться поэзией...» Перед нами тут — один из многих примеров тех, подчас очень неожиданных, литературных контроверз, которые возникали в условиях острой исторической ломки.

После поражения советской Венгрии страна на четверть века подпала под власть реакционного режима. Литераторы-коммунисты эмигрировали, их разбросало по всему свету. Группа крупных прозаиков и поэтов — Бела Иллеш, Антал Гидаш, Шандор Гергей, Андор Габор, Ш. Барта — обосновалась в Советском Союзе, их книги прочно вошли в советское чтение. Бела Иллеш на протяжении ряда лет возглавлял Международное объединение революционных писателей; в международной литературной жизни приняли участие и другие венгерские литераторы-эмигранты — все это отражено на страницах сборника.

В годы диктатуры Хорти венгерская эмигрантская печать, существовавшая в СССР, а также в Германии (до 1933), в Австрии, Чехословакии, Румынии, помогала писателям, оторванным от своей страны и друг от друга, сохранять венгерскую революционную и антифашистскую литературу как национальное целое. В этой печати развертывались дискуссии, а подчас и разыгрывались баталии вокруг основных категорий марксистской эстетики и критики, прояснялись понятия партийности и народности литературы, шло размежевание и кристаллизация взглядов по таким острым вопросам, как традиция и новаторство, авангардизм и реализм. Материалы сборника передают ту атмосферу идейно-творческих поисков, в которой работали венгерские писатели, сохранявшие в вынужденной разлуке со своим народом верность демократическим и социалистическим идеалам.

В этих поисках участвовали, в меру легальных возможностей, и передовые писатели, остававшиеся в стране. С острым интересом читается сегодня статья Дюлы Ийеша «Народившееся поколение», впервые опубликованная в 1927 г. под псевдонимом. Она написана с оглядкой на цензуру — эзоповым языком, с недомолвками. Здесь выражена живейшая симпатия автора к революционной литературной эмиграции. По мысли Ийеша, подлинная «модерность» (Modernität) не в необычных художественных средствах, а в «образе нового человека». Такой образ создается теми, кто «подошел к истокам нового человека, включился в движение, активно формирующее эпоху». Сказано вроде бы туманно, но современники понимали, что к чему.

В качестве теоретиков и критиков выступали и основоположники венгерской социалистической поэзии, находившиеся в стране,— Аттила Йожеф, Миклош Радноти. Своеобразно построена работа М. Радноти — «Заметки о форме и мировоззрении». Опираясь и ссылаясь на труды Д. Лукача, поэт в своих заметках-тезисах отстаивает мысль о многообразии форм выражения идейности в искусстве слова. Революционная идейность Петёфи проявилась не только в стихотворении «На виселицу королей!», где тираноборческая страсть вылилась в острый лозунг, но и в другом известном его стихотворении, «Тисса», где та же страсть воплощена опосредованно, в образе бурно разлившейся реки. «Цель этих бесхитростных заметок,— писал в заключение Радноти,— не что иное, как служение делу социалистической культуры. Ибо во имя этого дела автор поставил на карту свою жизнь— это не сентиментальная рисовка, а исповедь и обязательство». Эти строки поэта, погибшего от рук фашистов, прямо перекликаются со стихами Петёфи — поэтической увертюрой сборника.

Т. МОТЫЛЕВА

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В «ТОКАЙЯ ГРАНДЕ»

Jorge Amado. Tocaia Grande. A Face Obscura. Rio de Janeiro, Record, 1984.

Жоржи Амаду. Токайя Гранде. Темная сторона. 1984.

Первым на месте будущего селения появилось... кладбище. Не было здесь еще ни одного дома, а на вершине холма по левому берегу реки вырыли несколько могил и бросили в них окровавленные тела «капангас» — наемных убийц, состоявших до вчерашнего дня на службе у «полковника» Элиаса Далтро, которые были застрелены из засады наемными убийцами, подосланными «полковником» Боавентурой Андраде. Засада была тщательно подготовлена, большая была засада: все-таки сразу двадцать семь человек отправили в лучший мир за несколько минут. Потому и закрепилось за этим местом имя «Токайя Гранде» — «Большая Засада».

И прямо там, на месте этой короткой и победоносной схватки, ее организатор и командир, «капитан» Натарио да Фонсека, окинув довольным взглядом поле боя — излучину реки, вспухшей под дождем, девственную землю, которой ни разу еще не касался плуг, и лес, уходящий за горизонт,— решил, что лучшего места на земле не найти. Здесь он поставит свой дом. Здесь заложит плантацию какао, и, как только отпустит его «полковник» Боавентура, Натарио переедет сюда с семьей.

...События, о которых идет речь в новом романе Жоржи Амаду «Токайя Гранде. Темная сторона», происходят в Бразилии, неподалеку от самой земли Баия, где писатель родился и вырос и которой он посвятил все свое творчество. Время действия — начало XX века, эпоха ожесточенных и кровопролитных войн между наемными бандами «полковников», как именовали себя хозяевами этой земли, оспаривавшие друг у друга лучшие плантации, политическое влияние и контроль над экономикой края.

На месте удачной операции «капитан» Натарио да Фонсека (диплом капитана национальной гвардии был куплен ему «полковником» в награду за организацию «большой засады») действительно решает построить дом. Впрочем, еще до того, как на холме над рекой появились плотники, внизу, на берегу, стихийно возникает нечто вроде стоянки для проходящих вдоль реки с плантаций караванов с урожаем какао: шалаш, где можно переночевать, укрывшись от непогоды, две-три хижины, где оседают непритязательные жрицы свободной любви, лавка «турка» Фадула Абдалы, который на самом деле был бродячим торговцем, но решил, что когда-то нужно же осесть и пустить корни на каком-то определенном месте. По рождению он был ливанец и всю жизнь бродил по свету, а потом вдруг понял, что именно здесь — земля, которую он может назвать своей родиной, ибо он убежден, что «родина человека — это то место, где он проливает свой пот, плачет и смеется, где он выбивается из сил, чтобы заработать на жизнь и построить лавку и дом».

Вслед за ним оседает в Токайя Гранде негр Тисао, кузнец, мастер на все руки, который вынужден был бежать от своего хозяина барона Сарайва де Албукерке, наградив его на прощанье увесистой пощечиной.

Так и рождается на наших глазах селение. Рождается на пустом месте. Из ничего. Шалаш. Две-три хижины. Потом первый дом. Еще несколько. И первая улица. Мост через реку. Огороды. Квохтанье кур. Рождение первого ребенка. И первая смерть, за которой проследуют другие, и еще многие и многие несчастья. Жизнь ведь вся соткана из несчастий и трагедий. Так же как, впрочем, из радостей, скупых и редких. И именно из них — из слез и улыбок, из драм и трагикомедий, из счастья и ненависти, в радостных стонах и предсмертных проклятьях рождается на страницах романа удивительный мир людей, связанных общностью судьбы и цели. Судьба — тяжкая. А цель — простая, немудреная, однозначная: выжить, любой ценой выжить в борьбе с суровой природой, со множеством тягот и невзгод. С наводнением, уничтожившим Токайю почти начисто, с эпидемией, опустошившей только что отстроившееся селение... А еще и постоянные схватки с пришлыми «капангас». Да мало ли других трагедий уготовано в этом враждебном и суровом мире «маленькому человеку»! В нескончаемых страданиях, в муках преодоления постепенно рождается что-то такое, что можно назвать чувством локтя, которое домашний философ Фадул, носитель и хранитель недолгих пока традиций Токайя Гранде, сформулировал так: «Если приятель попытается заставить их против воли, мы все будем драться. Тебе следует знать, что у нас тут только так: тронул одного, значит, тронул всех... Это наш закон».

А ведь с этой почти рыцарской, напоминающей (и, может быть, не без умысла) знаменитый девиз мушкетеров Дюма сентенцией «турок» вступается за «честь» местных дев, которые по случаю праздника решили устроить себе выходной и посему отказались «обслужить» нечаянно нагрянувших «транзитных гостей».

Вот как парадоксально устроен мир Токайя Гранде, в котором носителями высших нравственных норм, ревнителями морали и этики становятся отставной наемный убийца, девицы легкого поведения, беглый, разыскиваемый властями преступник и прочие «герои» того же пошиба.

Бразильская критика привыкла делить творчество Жоржи Амаду на два этапа. Первый, более ранний, условно именуется периодом «социального романа» («Какао», «Пот», «Мертвое море», «Жубиаба»). Знатоки творчества писателя почти единодушны в том, что в 50—60-х годах он открыл для себя как бы новый цикл: «романы нравов», так их именуют бразильские литературоведы, или «новый баиянский роман», как назвали советские критики «Габриэлу», «Дону Флор», «Лавку Чудес», «Терезу Батисту».

И вот выясняется, что все смешалось в «Токайя Гранде». И на первый взгляд не понять: то ли Амаду вернулся к истокам, то ли синтезировал все пережитое, увиденное и рассказанное ранее. Безусловно одно: роман может быть квалифицирован как этапный, как одна из вершин в творчестве самого читаемого и почитаемого бразильского писателя не только у себя на родине, но и во всем мире.

Мы привыкли к тому, что сюжеты всех или почти всех романов Амаду сплетались вокруг одного главного героя: Габриэлы или Доны Флор, негра Балдуино или рабочего Сержипано. В «Токайя Гранде» этого нет. В центре внимания — сам поселок и все его жители. И так получилось у Жоржи Амаду, что прямо по уже упомянутому рыцарскому кодексу каждый из его героев участвует в создании образа Токайи. И наоборот, весь пестрый и многоликий мир Токайя Гранде помогает оттенить образ каждого из персонажей.

Любознательные критики уже успели выяснить, что прообразом Токайя Гранде послужил маленький баиянский поселок Пиранги, ныне называющийся Итажуипе. Что прототипом «капитана» Натарио был легендарный в начале века Бразилино Жозе дос Сантос, главарь наводившей страх на всю Баию банды «капангас» который бессчетное число раз воевал, защищая интересы своего шефа «полковника» Базилио. Ему повезло: он умудрился дожить до старости, когда получил в награду от своего покровителя небольшую фазенду, где провел остаток дней своих в покое и благополучии, окруженный почетом и уважением, заботливо ухоженный гигантским семейством. У него было только «законных» двенадцать детей, двое из которых еще и сейчас живут там, в Итажуипе.

...А в романе развязка оказывается далеко не столь идиллической, когда в этот

ставший почти идиллическим мир вторгаются Власть и Закон, когда эти люди, жители Токайя Гранде, затратившие нечеловеческие усилия и принесшие неисчислимые жертвы ради укрощения непокорной природы и освоения «ничьей» земли, вдруг узнают, что Сила и Власть намерены отнять у них плоды их труда и землю, которую они уже считали своей.

Не буду пересказывать трагический финал. Скажу только, что, как это нередко бывает в хорошей литературе (и вопреки сложившемуся убеждению, что правда всегда сильнее вымысла), конфликт, рожденный воображением выдающегося художника, не уступает «всамделишным» житейским трагедиям и мелодрамам.

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО

ИМПРОВИЗАТОРЫ ИЗ ДЕЛЬТЫ

William Ferris. Blues from the Delta. New York. Anchor Press/Doubleday, 1979.

William Ferris. Local Color. New York, McGraw-Hill, 1982.

Уильям Феррис. Блюзы Дельты. 1979. Уильям Феррис. Местный колорит. 1982.

С Уильямом Феррисом[1], создателем и руководителем Центра изучения культуры Юга при Оксфордском университете штата Миссисипи, мы познакомились летом прошлого года на советско-американском симпозиуме в Москве, посвященном творчеству Фолкнера. Центр расположен в маленьком городке Оксфорде, том самом, где Фолкнер прожил почти всю жизнь. Типичная провинциальная «глубинка», ничем не примечательное захолустье. Тем не менее городок прославился повсюду в мире. Ведь это он описан под именем Джефферсона в фолкнеровской саге о Йокнапатофе — в «Авессаломе», «Осквернителе праха», «Особняке»...

Строго говоря, Феррис не фолкнеровед, но, читая его книги, невозможно не почувствовать, что громадная фигура Фолкнера остается в них центральной, пусть даже о творце Йокнапатофы и об отдельных его произведениях нет прямых упоминаний. Они в общем-то и не нужны, потому что атмосферой Юга у Фолкнера пропитана буквально каждая клеточка повествования. Разумеется, Фолкнер никак не сводим к так называемой «южной школе» американского романа, как не сводимы к ней и другие писатели, прочно связанные с Югом,— ни Уоррен, ни Портер, ни Уэлти, ни Стайрон. Но для всех них, а для Фолкнера в особенности, Юг на десятилетия оставался питательной почвой конфликтов, занявших в их творчестве основное место и осложненных более или менее отчетливо выраженным «южным» умонастроением, которое сказалось и на понимании истории, и на концепции гуманизма, ими исповедуемой.

Известны доминирующие особенности этого умонастроения — читатель Фолкнера, как и читатель Уоррена или Стайрона, уже психологически готов и к этим отчаянным попыткам героев повернуть вспять или хотя бы приостановить течение исторического времени, несущего с собой разрушение и упадок, и к предельной обостренности расовых коллизий, отзывающихся тяжелыми нравственными, душевными, нервными травмами, и к исподволь готовящимся неотвратимым вспышкам насилия, и к тоске по идеальному, сколь бы странные формы она ни принимала в сознании персонажей. Известны и первопричины, определившие подобную необщность духовного климата. Итоги Гражданской войны были среди них главными, но и через сто с лишним лет по ее завершении Юг остался цитаделью расизма, более всего повинного в тех человеческих драмах, которые раскрылись в книгах писателей, выросших и сформировавшихся под этим небом.

Таких писателей обычно и подразумевают, рассуждая о культуре Юга. И тогда термин начинает выглядеть расплывчатым, поскольку ни у кого из них своеобразие «южного» взгляда на мир все-таки не стало доминантой творчества: оно присутствует, оно многое корректирует, однако само по себе оно не способно создать художественный универсум. Это так, но суть в том, что культура Юга не только литературное направление или школа, существование которой не раз ставилось под сомнение. Скорее тут целый комплекс взаимосвязанных явлений, которые, конечно, имеют отношение не только к искусству, но прежде всего к особому типу сознания, созданному социальной историей южных штатов, а в искусстве лишь обретшему свое самое отчетливое выражение. Причем не только, может быть, даже не столько в профессиональном искусстве, сколько в народном творчестве, составляющем предмет основных исследовательских интересов Ферриса.

Исследовательских? Да нет, это очень приблизительное определение. Филолог по образованию, Феррис подходит к своим темам как ученый, оснащая каждую книгу обширным научным аппаратом, но, в сущности, перед нами документальная проза. И «Блюзы Дельты», и «Местный колорит» написаны по материалам, собиравшимся не один год,— сначала в библиотеках, а главным образом в ходе специальных фольклорных экспедиций. Феррис встречался с музыкантами, самодеятельными художниками, мастерами народных ремесел, обитающими по преимуществу в негритянских кварталах крохотных городков, расположенных в устье Миссисипи. Он записывал на магнитофон, фотографировал, заполнял блокноты заметками, как будто и не имеющими прямого отношения к предмету, которому он намеревался посвятить книгу. Весь этот материал вошел

[1] См. о нем также в статье С. Чаковского «Фолкнер в Москве», публикуемой в этом номере.

в окончательный текст — иногда, кажется, почти и не редактировавшийся, чтобы сохранить ощущение достоверности испытанных Феррисом впечатлений, услышанных им рассказов. «Блюзы Дельты» содержат своего рода стенограмму музыкального вечера в «джук-джойнте», как называют на Юге негритянские кафе, где исполнители фольклорных песен состязаются в искусстве импровизации, а все собравшиеся сами участвуют в спектакле, подсказывая певцам мелодии и темы. «Местный колорит» — это девять автобиографий народных художников, воссозданных со всеми красочными особенностями индивидуальной речи, вплоть до грамматических неправильностей, для чуткого слуха многое говорящих о человеке.

Комментарии Ферриса, расшифровка образов, имеющих давнее происхождение и сложную историю, этимологические пояснения — все это убрано в глоссарии и примечания, предложено вниманию специалистов, но как бы не обязательно читателю, не интересующемуся учеными тонкостями. Феррис пишет для широкой аудитории, для всех, кто хотел бы ближе узнать мир, чьим высшим художественным воплощением была созданная Фолкнером Йокнапатофа. В его книгах не дается никаких сопоставлений образности Фолкнера с мотивами народного искусства Дельты, но у читателя такие сопоставления возникают непроизвольно: связи слишком очевидны. Весь тот пласт жизни, который увековечен на страницах «Света в августе» и «Деревушки», вновь пройдет перед читателями книг Ферриса. И за притягивающими Фолкнера ситуациями, коллизиями, противоборствами откроется реальная их подоплека, та их точно выписанная «локальность», без которой они бы и не приобрели своей социальной выверенности.

Дельтой именуется небольшой район в низовьях Миссисипи, от Мемфиса до Виксберга — городов, прекрасно известных всем, кто читал Фолкнера. Это богатая земля, сплошь занятая хлопковыми плантациями, на которых испокон веку работали чернокожие, по сей день составляющие две трети здешнего населения. Среди бесконечных полей время от времени попадаются поселки, почти неотличимые один от другого: с полтысячи жителей, банк и почта на главной улице, две-три лавки, ресторанчик, куда сходятся по вечерам. Географически — всего лишь неприметная точка на карте большой страны. В духовном и культурном отношении — особый регион, которому многим обязана культура Юга, да и вся американская культура.

На этом вот, пользуясь фолкнеровской метафорой, клочке земли величиной с почтовую марку зарождались и по-прежнему хранятся собственные художественные традиции. Случилось так, что Дельта стала страной блюза. Теперь блюз чаще всего воспринимают как разновидность джазовой музыки, но изначально его природа была совершенно иной. В обиходном языке слово «блюз» синонимично понятию подавленности и меланхолии, а для исполнителей первых блюзов их грустная мелодия и насыщенная символикой образность заключали осознанный вызов судьбе, завед домо несправедливой к тем, кто сложили эти песни,— к рабам. Блюзы пели на плантации, торопя закат, с которым кончалась изнурительная работа, блюз противостоял духовным гимнам, звавшим к смирению. Блюз, как скажет один из его творцов, был «всем, что вокруг тебя день за днем», и он наполнялся этой реальностью — приземленной, грубой, однообразной даже в жестокостях, ставших обыденными, а вместе с тем обнажающей полярность трагического будничного бытия негритянского гетто и жившей в нем мечты о справедливости.

В блюзе находили выход и тоска, и насмешка, и ярость, его эмоциональная гамма была редкостно широкой. Потом, когда блюз вошел в моду, осталась только одна тональность — элегичная, подчас скорбная. Она сильно чувствуется в американской поэзии, испытавшей влияние блюза: у многих негритянских лириков, у Вэчела Линдзи. А в Дельте блюз продолжал жить таким, как явился на свет. И в нем все так же преобладали образы дороги, которая уведет далеко от Миссисипи, где властвует угнетение, мотивы бунта, бегства, неприятия любых утешений, метафоры одиночества, обреченности, а вместе с тем и гордого противостояния этому жребию, борьбы безоглядной и бескомпромиссной. Он все так же близок балладе, схватывающей множество трагикомичных подробностей бытового распорядка и непременно требующей от своего героя особой изворотливости, лукавства, смекалки, которая выручает в самых нелегких обстоятельствах. Читая записи Ферриса, убеждаешься в правоте самого известного сегодня мастера блюза Биби Кинга, сказавшего, что «у каждого поколения свои блюзы, немножко иные, чем прежде, но корни все равно те же самые, что и всегда».

Не только Фолкнер, а, пожалуй, любой писатель, связанный с Югом, что-то перенял из блюзов — какой-нибудь балладный сюжет, еще чаще — ту или иную особенность их поэтики. Слово это вовсе не кажется чрезмерно пышным в данном контексте. Народное искусство обладает собственной системой выразительных средств — системой, а не просто приемами. Особенности этой системы Феррис указывает в «Местном колорите» — «воображение, импровизация, новизна, экспериментальность, нешаблонность». Воображение не понапрасну названо первым, это вообще черта, отличающая художников-южан, идет ли речь о писателях с мировым именем или о резчиках по дереву, вышивальщицах, живописцах-примитивистах, чья слава не переступила границ Дельты.

Должно быть, в этом культе воображения сказалось постоянно ощутимое на Юге влияние негритянского фольклора с его крайне необычными и причудливыми образами, с его равнодушием к любым установившимся канонам. И все же не это самое существенное. Для всех девяти мастеров, о чьих судьбах рассказано в «Местном колорите», как и для тех, о ком повествуется в «Блюзах Дельты», искусство всегда оставалось призванием, а не ремеслом. В обыденной жизни они были фер-

мерами-издольщиками, учителями начальных школ, механиками, сборщиками хлопка, дорожными рабочими, с самого детства узнавшими, почем фунт лиха, и на десятилетия вынужденными вести существование, какому вряд ли кто позавидует. Творчество для них было тропинкой в другой мир, где человек обретает возможность раскрыть свой духовный потенциал, и профессией оно сделаться не могло — даже те, к кому приезжали искусствоведы из музеев, отказывались продавать свои картины, а признанные сочинители блюзов терялись, когда им предлагали чужие мелодии и тексты. Искусство виделось делом слишком личностным, интимным, не допускающим никаких трафаретов. Все нужно было создавать самому, не оглядываясь на бытующие правила и нормы, импровизация и воображение были как бы исходно заложены в такой художественной деятельности, и не мыслившейся иначе, чем спонтанный акт, которого требует душа.

Книги Ферриса показали, какое эстетическое богатство накоплено этими импровизаторами, не притязавшими ни на чьи лавры, и сколько удивительных открытий ожидает каждого, кто с вниманием отнесется к их творчеству. И кроме того, эти книги подтвердили, что ни одно подлинное явление культуры на пустом месте не возникает. Мы видели вершину пирамиды — произведения Фолкнера, Уоррена, Стайрона. Феррис помог нам увидеть ее основание. Оно воздвигнуто поколениями народных художников, в чьих творениях живет «местный колорит» американского Юга — его жестокая будничность, его болезненность, а рядом с ними и неутолимая духовная жажда, рождающая большое искусство.

А. ЗВЕРЕВ

◆

Советская литература за рубежом

ФРАНЦИЯ

Роман МИХАИЛА АНЧАРОВА «Самшитовый лес». Издательство «Акрополь».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Второе нашествие марсиан». Издательство «Флёв нуар».

Сборник стихов ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА «Трансформация огня». Издательство «Галлимар».

ФРГ

Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Белая гвардия». Издательство «Отто Загнер».

Повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Конец хазы». Издательство «Зуркамп».

Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Время больших ожиданий». Издательство «Фишер».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Трудно быть богом». Издательство «Ульштайн».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЕЛОВА «Воспитание по доктору Споку». Издательство «Смена».

Стихи ВИТАЛИЯ КОРОТИЧА «Запах неба». Издательство «Выходословенске выдавателство».

Сборник рассказов ОЛЕГА КУВАЕВА «Каждый день как последний». Издательство «Праце».

Роман ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Портрет и вокруг». Издательство «Словенски списователь».

Повесть АНАТОЛИЯ МАКАРОВА «Мы и наши возлюбленные». Издательство «Лидове накладателстви».

Стихи АНАТОЛИЯ ПАРПАРЫ. Издательство «Младе фронта».

Сборник повестей и рассказов МИХАИЛА РОЩИНА «Рассказы с дороги». Издательство «Обзор».

Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Дом на набережной». Издательство «Смена».

Сказка ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО «Крокодил Гена». Издательство «Младе лета».

Роман ОТАРА ЧИЛАДЗЕ «И всякий, кто встретится со мной...». Издательство «Словенски списователь».

ШВЕЦИЯ

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Сандро из Чегема». Издательство «АБЕ/Геберс».

Избранные стихи ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. Издательство «Фрам».

ЯПОНИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Кокусайбунка-сюппан».

Повести АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА. Издательство «Риронся».

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ ЭЛИАСА КАНЕТТИ

Мюнхенское издательство «Ханзер» выпустило книгу «Перемигиания. История жизни» — третий том автобиографического повествования крупнейшего австрийского писателя, лауреата Нобелевской премии Элиаса Канетти. Две предыдущие книги, «Спасенный язык» и «Факел в ухе», вышли в 70-х годах. Рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Франсуа Бонди считает, что вряд ли 80-летний Канетти будет продолжать воспоминания. Для того, кто перечтет всю трилогию подряд, очевидна ее внутренняя завершенность.

Третья книга охватывает период 1931—1937 годов. Канетти уже написал свой самый знаменитый роман «Ослепление» (1930), который, однако, получил известность лишь в английском переводе, а в странах немецкого языка остался почти незамеченным и на долгие годы оказался совсем забытым.

Первые две части трилогии рассказывают о детстве и ранней юности писателя. В любых воспоминаниях с этим периодом всегда связаны самые сильные страницы, замечает рецензент. И неудивительно: годы, когда формируется характер и впервые познается мир,— определяют всю дальнейшую жизнь. Однако «Перемигивания», посвященные уже зрелым годам, поражают ничуть не меньшей интенсивностью чувств.

Читатель найдет здесь превосходные портреты знаменитых современников Канетти: писателей Роберта Музиля и Германа Броха, дирижера Германа Шерхена, художника Фрица Вотрубы. Гораздо меньше внимания уделено в книге общественно-политическим событиям тех лет. Возникновение третьего рейха, чувство нарастающей угрозы, ожидание войны — все это происходит где-то на заднем плане и прочитывается скорей между строк.

При всем том книга передает живое дыхание времени, считает рецензент.

БОЛГАРИЯ

СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. ЗЛАТАРОВА

Исполнилось сто лет со дня рождения видного ученого, публициста, критика, общественного деятеля Асена Златарова. Этой дате посвящены статьи в болгарской печати и брошюра Д. Ц. Братанова о жизни и творчестве А. Златарова.

Значительное место в наследии Златарова занимают его работы как критика и эссеиста. Им написан ряд статей о болгарских писателях эпохи национально-освободительной борьбы, о мастерах мировой литературы и культуры.

«Он оставил нам,— пишет еженедельник «Литературен фронт»,— десятки статей о Паскале, Гейне, Гёте, А. де Виньи, Мюссе, Ромене Роллане, Барбюсе, Тагоре, Горьком, Толстом. Он посвятил взволнованные страницы творчеству Золя. Он напоминал о том, какие бессмертные творения завещали нам Пушкин и Лермонтов, Гюго и Ламартин. Нетрудно заметить, что все писатели и книги, которые любил Златаров, всегда были связаны с тем, что назы-

---

Большое внимание болгарская пресса уделяет фильму «Борис I», поставленному режиссером Борославом Шаралиевым по сценарию Анжела Вагенштайна. Фильм получил высокую оценку болгарской кинокритики. Он рассказывает о богатой событиями эпохе правления Бориса I, который ввел в Болгарии христианство и способствовал развитию славянской письменности. Критика единодушно отметила мастерское исполнение главной роли Бориса Стефаном Данаиловым и роли Климента Охридского Костой Цоневым. На снимке: Стефан Данаилов в роли Бориса.

(Газета «Софийские новости»)

вается гуманизмом, со стремлением человека избавиться от гнета капитализма, с тем, что помогает ему прокладывать дорогу в будущее».

Исключительно велика заслуга А. Златарова в укреплении болгаро-советской дружбы. После поездки в Советский Союз он выпустил в 1936 году, в сложной обстановке того времени, объективно написанную книгу «В Стране Советов», в которой непринужденно и искренне, честно и восторженно рассказал об увиденном в нашей стране. Книга стала беспристрастным свидетельством успехов Октябрьской революции, и ее с увлечением читало не одно поколение болгарских читателей.

«Деятельность Асена Златарова, ученого-гуманиста, непримиримого антифашиста и верного друга великой Советской страны, восторженного провозвестника и одного из создателей новой социалистической болгарской культуры, представляет большой интерес не только для старшего, но и для молодого поколения сегодняшней Болгарии», — подчеркивает в своей брошюре Д. Ц. Братанов.

БРАЗИЛИЯ

ПРЕМИЯ БРАЗИЛЬСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Бразильский писатель Освалдо Франса Жуниор, автор опубликованной в № 7 «ИЛ» за 1983 год повести «Бразилец Жорже» (по ней был поставлен многосерийный телефильм), стал лауреатом премии «Каса де лас Америкас». Сейчас готовится к выпуску первая книга рассказов писателя «Одинаковые апельсины», а работает он над новым романом, посвященным социальным проблемам населения затопляемых районов страны.

В интервью корреспонденту газеты «Гранма» Франса Жуниор сказал, что в своих книгах он пишет об истинных героях Бразилии — простых людях. Последние перемены в политической жизни Бразилии придают писателю уверенность в будущем, он убежден, что социальные и культурные сдвиги произойдут обязательно, хотя и не сразу. Говоря о литературном процессе в стране, писатель отметил, что в Бразилии существуют различные литературные центры, и это неизбежно в такой огромной стране. Произведения писателей, живущих в Амазонии, в Минас-Жераис или в Рио-де-Жанейро, не могут не приобрести черты, характерные для каждого из этих районов. Однако литературу Бразилии объединяет стремление познать современную действительность и обобщить исторический опыт. Освалдо Франса Жуниор считает, что именно этим объясняется интерес читающей публики к отечественной литературе. По его мнению, сейчас наибольшим спросом в стране пользуются книги бразильских писателей, несмотря на шумную рекламу, сопровождающую выпуск зарубежных бестселлеров.

В конце интервью он высказал надежду на скорое установление дипломатических отношений между Бразилией и Кубой, что позволит расширить культурные контакты между обоими народами, испытывающими взаимную симпатию.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СНОВА РОБИН ГУД

Телекомпания Би-Би-Си приступила к демонстрации новой двенадцатисерийной телевизионной версии легендарных приключений Робин Гуда. Уже не одно десятилетие читатели многих стран восхищаются подвигами юного саксонца — непревзойденного стрелка из лука, благородного, храброго, умного, веселого, дерзкого и, конечно, удачливого борца за справедливость. Это он, собрав в Шервудском лесу близ Ноттингема братство «веселых людей», не только ведет борьбу с завоевателями-норманнами, но и защищает обиженных, спасает от тюрьмы и виселицы невиновных, грабит богатых, чтобы помочь бедным... Таков герой 36 оригинальных баллад о Робин Гуде, выразителе мыслей и надежд простого люда Англии на исходе средневековья, популярный герой литературных произведений в эпоху Возрождения.

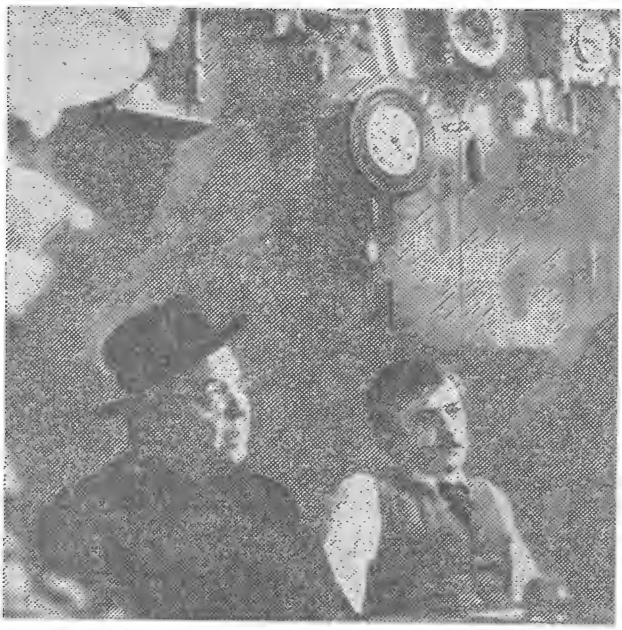
В фильме продюсера Пола Найта и постановщика Ричарда Капентера, мастера исторических экранизаций, осуществлена наиболее смелая попытка воссоздать атмосферу Англии XII века, и 24-летний актер Майкл Прейд, обладающий «саксонской внешностью», играет достаточно современного молодого человека, деятельного и бойкого, отнюдь не ходячую добродетель. Рядом с Робин Гудом — мужественная, независимая, умеющая постоять за себя Мариан (актриса Джуди Тротт, в прошлом балерина). Под стать главным героям и «веселые люди» зеленого леса.

Подготовка к съемкам современной версии приключений Робин Гуда шла два

На снимке: исполнители главных ролей — Майкл Прейд и Джуди Тротт в фильме о Робин Гуде.

(Еженедельник «Телесет жур»)

года в графстве Нортамберленд, где строились декорации, выбирались живописные места для съемок, готовились массовые сцены. Опрос зрителей, посмотревших первые серии новой экранизации, показал, что это самый популярный за последние годы телесериал. Предполагается, что новые приключения Робин Гуда увидят на телеэкранах зрители 14 стран, в том числе и Советского Союза.



На снимке: кадр из фильма «Который час, господин Будильник?».

(Газета «Непсабадшаг»)

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ПЕТЕРА БАЧИ

«Режиссера Петера Бачу, как свидетельствует довольно обширная фильмография его работ, занимают прежде всего актуальные проблемы современности. Но нет никакого противоречия и в том, что Бача обращается и к событиям недавнего прошлого. Сегодня и вчера у него всегда взаимосвязаны: чтобы реально ощутить взаимосвязь людских судеб, необходимо точно реконструировать предшествующие события, обнажить его корни», — писал на страницах газеты «Непсабадшаг» искусствовед Йожеф Вереш в связи с выходом на экраны страны нового фильма Петера Бачи «Который час, господин Будильник?», в основу сценария которого легла новелла Гезы Пашканди. Известный режиссер приурочил его к 40-летию освобождения Венгрии.

События фильма разыгрываются в одном из небольших городков Венгрии в 1944 году. Страна оккупирована гитлеровскими захватчиками. Нацисты и их прислужники вершат беззаконие.

Главный герой фильма — часовщик Арпад Вайскопф, он же господин Будильник. События, происходящие в «большом мире», вроде бы мало его интересуют. Кому в ту пору нужен был человек, умеющий, не глядя на циферблат, точно определять время? Но наступил момент, когда это сыграло свою роль.

С приходом в городок фашистов хозяин часового магазинчика устроил часовщика к начальнику гестапо, и тот, войдя к нему в доверие, стал заниматься делами, совсем не соответствующими его профессии. Господин Будильник передает нужные сведения участникам антифашистского Сопротивления. Человек, принимающий от часовщика эти сведения, попадает под подозрение, и его сажают за решетку. Во что бы то ни стало его следует освободить, для этого необходимо знать точное время. Здесь и выходит на арену господин Будильник...

Анализируя новую работу Бачи, Йожеф Вереш подчеркивает, что это фильм очень важного общественного звучания.

ГДР

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сорок лет исполняется в этом году ведущему издательству ГДР — «Ауфбау». В беседе с корреспондентом газеты «Нойес Дойчланд» директор издательства Эльмар Фабер рассказал, что в планы нынешнего года вошли многие публикации, посвященные этому событию. Среди них — двухтомная библиография изданий, вышедших в «Ауфбау» с 1945 по 1984 год. Кроме того, увидит свет серия из шести томов, в которую войдут книги, опубликованные в первые годы существования издательства.

Юбилею издательства посвящена также и выставка, рассказывающая об истории становления «Ауфбау», об этапах его развития. С первых же дней своего существования оно объединило вокруг себя революционных писателей и поэтов и стало центром духовного возрождения страны. Круг интересов издательства был и остается чрезвычайно широким, здесь и произведения немецких и зарубежных классиков, и книги современных авторов, и труды по истории литературы, и литературная критика. В 1985 году издательство планирует опубликовать около 300 наименований общим тиражом примерно шесть миллионов экземпляров, причем более половины из них — новинки. В планах «Ауфбау» на этот год представлены авторы из 24 стран. «Мы стремимся издавать книги высокого качества и большими тиражами, книги, формирующие и воспитывающие вкус читателя», — отметил Эльмар Фабер.

РОМАН УВЕ БЕРГЕРА

Издательство «Ауфбау» выпустило роман Уве Бергера «Начало любви». Это — второй роман Бергера, известного в основном своим поэтическим творчеством (о нем см. «ИЛ», 1974, № 10; 1977, № 10).

...Несчастный случай сводит двух людей: шофера Вальтера Кусмина, который привозит в больницу своего начальника, попавшего в аварию, и врача Хельгу Баум. Сердечное, внимательное отношение Хельги к пострадавшему вызывает у Вальтера большую симпатию. Знакомство, завязавшееся в больнице, не обрывается. Хельга и Вальтер начинают встречаться и постепенно убеждаются, что не могут обходиться друг без друга. Но люди они очень разные, со своими сложившимися взглядами и интересами. У обоих в прошлом — неудавшаяся личная жизнь. Трудно проходит процесс привыкания.

Как пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд», Уве Бергер рассказал о сложных взаимоотношениях своих героев друг с другом и с окружающими их людьми: с родными, сослуживцами, друзьями. В романе ставят-

ся вопросы морали, этики, в частности вопросы честности и ответственности врачей.

Четыре главы романа посвящены прошлому. Это — рассказ отца Хельги, старого коммуниста, перешедшего во время войны к советским партизанам, и рассказ Зальтера о его военном детстве, о том, как он сначала потерял отца, а в самом конце войны и мать, о том, как советские солдаты помогли ему выжить.

«Обращение к тяжелому периоду истории как бы расширило рамки романа, сделало его сильней и значительней», — отмечает журнал «Нойе дойче литератур».

ИНДИЯ

ПИСАТЕЛИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

В Дели состоялось собрание писательской общественности индийской столицы, созванное по инициативе национальной федерации прогрессивных писателей Индии (НФППИ) и Всеиндийской организации мира и солидарности, которое возглавили видные деятели современной индийской литературы: выдающаяся пенджабская поэтесса, лауреат многих премий Амрита Притам, прославленный поэт урду, президент НФППИ Гулам Раббани Табан, известные прозаики литературы хинди Бхишам Сахни и Раджендра Ядав.

В своих выступлениях участники собрания резко осудили гонку вооружений, квалифицировав ее как опасную трату материальных ресурсов и финансовых средств. Все выступавшие ратовали за разоружение — единственное средство спасения человечества от гибели.

ИРЛАНДИЯ

МУЗЫКА НА СЛУЖБЕ МИРА

Вкладом в дело взаимопонимания между народами считает 35-летний ирландский композитор Кормак О'Даффи свое произведение «Дрезденский реквием», недавно впервые исполненное в ГДР в связи с годовщиной бомбардировки Дрездена. «Я очень рад, что мое сочинение, впервые прозвучавшее в 1981 году на фестивале мира в Ковентри, городе-побратиме Дрездена, теперь услышали его жители, — сказал композитор в интервью газете «Нойес Дойчланд». — Чтобы судьба города никогда больше не повторилась, нужно снова и снова напоминать молодежи о горьком опыте минувшей войны». Работу над «Дрезденским реквиемом» Кормак О' Даффи начал вскоре после своего посещения Дрездена в 1980 году.

«Мы приехали в Дрезден, — подчеркнул он, — чтобы отразить в музыке трагический опыт войны». Мир в понимании О'Даффи — это не только отсутствие войны, но и дружеский диалог, который один может дать надежду на предотвращение ядерной катастрофы.

Оригинальную партитуру «Дрезденского реквиема» композитор передал в дар музыкальному отделу Саксонской библиотеки.

ИСПАНИЯ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКИ

Еще одним проявлением глубокого уважения общественности Испании к памяти выдающегося поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки стало решение муниципалитета города Гранады, в окрестностях которого поэт был расстрелян фашистами в 1936 году, создать мемориальный музей в его бывшей усадьбе Уэрта де Сан Висенте, где он провел последние годы.

Ряд экспонатов — его личные вещи и предметы внутренней обстановки дома — передали в дар музею родственники поэта.

Агентство «Пренса латина» сообщило также, что в театральном центре Гранады была осуществлена постановка его пьесы «Чудесная башмачница», в которой главные роли исполнили племянница поэта Лаура Гарсиа Лорка и актер Фернандо Дельгадо. Спектакль прошел с большим успехом.

КАНАДА

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕКСИКУ

Филип Бэннистер, учитель частной школы, решил провести отпуск с женой в Мексике. Филип и Джоан отправляются на Юкатан, в живописный уголок, где кое-где сохранились останки древних ацтекских построек... Бэннистеры поселяются в небольшом пансионате на берегу моря и в первый же вечер знакомятся с живущей там американской парой... Так завязывается фабула нового, пятого по счету, романа известного канадского писателя Ричарда Б. Райта «Туристы». Сквозной темой книги, отмечает обозреватель канадского ежемесячника «Букс ин Кэнада», является «ни больше ни меньше, как закат Запада, прогнившего изнутри и осажденного вездесущими американцами».

Неприязнь к американскому экономическому и культурному экспансионизму составляет отличительную черту творчества многих англоканадских писателей, упорно отстаивающих культурную самобытность и независимость своей страны от проникновения идеологии «американизма». Среди современных писателей Канады Р. Б. Райт выделяется как особенно яростный противник «ценностей» американского образа жизни и американской морали. «Подобно Ивлину Во, — пишет, в частности, канадский журналист, — Райт по сути дела — юморист, придержи-

---

Театральной труппой общественного Драматического театра Каталонии под руководством Марио Гаса был поставлен спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера». Действие спектакля из Лондона переносится в Испанию в трущобы Китайского квартала Барселоны начала XX века. Главной заслугой творческого коллектива М. Гаса, как пишет рецензент журнала «Публико», является бережное перенесение на испанскую почву революционных идей Брехта. Спектакль «Трехгрошовая опера», по мнению театральной критики, является самым ярким в ряду других постановок. На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Публико»)

вающийся довольно консервативных взглядов на современную жизнь. Его персонажи порой совершают эксцентрические поступки или даже впадают в безумие, когда они слишком близко к сердцу принимают современный упадок духовной культуры, символизируемый пошлыми бродвейскими шоу и шумными карнавальными шествиями полуголых девиц-тамбурмажоров». В «Туристах» происходит непримиримое столкновение представителей двух противоположных «культурных» лагерей — «среднего канадца» и «среднего американца». Этот поединок принимает почти символический облик битвы благородного рыцаря, защищающего «старую добрую» культуру от посягательств вульгарного Теда Хэкера, с кем Бэннистеры познакомились в мексиканском пансионате и который воплощает все, к чему Филип питает отвращение и ненависть. В конце концов доведенный до исступления отвратительными пошлостями Теда, которому почему-то подыгрывает и Джоан Бэннистер, Филип до полусмерти избивает чету Хэкеров, а заодно и свою жену, после чего замуровывает их в глухом подвале...

Неожиданный итог пятидневного пребывания североамериканских туристов в Мексике, отмечает журнал, имеет иронический, почти фарсовый подтекст. Однако эта откровенная условность не снимает общего эмоционального настроя романа, который звучит как «отчаянный вопль гнева и ужаса перед лицом буржуазного мира».

ЛИВАН

«ТИХИЙ ДОН» НА АРАБСКОМ

В этом году «Тихий Дон» впервые напечатан на арабском языке полностью. Ранее были опубликованы только две первые книги «Тихого Дона» (переводчики Ансия Абу Наср и Мустафа аль-Хусейни).

Полное издание «Тихого Дона» вышло в бейрутском издательстве «Дар Ибн Хальдун» (переводчики Али аш-Шаух, Амджад Хусейн и Ганем Хамдун).

МЕКСИКА

КРИЗИС И КНИГИ

В Мехико состоялась VI Международная книжная ярмарка. В ней приняли участие 1050 издательств из сорока стран, экспонировавших 250 тысяч книг. Ярмарка вызвала большой интерес: организаторы ожидали по 75 тысяч посетителей ежедневно, однако количество их значительно превысило эту цифру. Казалось бы, грандиозный успех, но за внешним успехом стоят печальные факты. Начиная с 1982 года в Мексике наблюдается серьезный кризис книгоиздательского дела. Если раньше каждое издательство выпускало в год восемьдесят новых названий, то теперь их число свелось всего к двадцати, цены на книги растут, что объясняется подорожанием бумаги, увеличением почтовых тарифов и налогов, а также отсутствием помощи со стороны государства.

Издатели и видные деятели культуры Мексики обратились к правительству с письмом, в котором подчеркивается, что защита книги — это защита самой культуры и, несмотря на естественную зависимость книги от рыночных колебаний цен и инфляции, правительство обязано обеспечить народу право на чтение. Кризис издательского дела, говорится в письме, наносит ущерб образованию, демократическому характеру культуры.

Наплыв посетителей на книжной ярмарке объясняется тем, что их привлекла возможность приобрести нужные книги по сниженным ценам на распродажах. Корреспондент кубинской газеты «Гранма» наблюдал, как студенты и молодежь покупают книги в складчину. Такова закулисная сторона успеха VI Международной книжной ярмарки.

ПОЛЬША

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ПЛЕНУМ

В Варшаве состоялся XIX Пленум ЦК ПОРП, посвященный проблемам участия польской интеллигенции в социалистическом строительстве Польши.

Пленум открыл Первый секретарь ЦК ПОРП Войцех Ярузельский. Он сообщил, что Пленуму предшествовала огромная работа: был проведен ряд совещаний с членами Политбюро, изучены материалы — такие, как «Идеологическая диверсия против польской интеллигенции» — материалы, разработанные Отделом информации ЦК ПОРП; «Политика партии в отношении интеллигенции в документах съездов и пленарных заседаний ЦК ПОРП (1944—1980) — материалы, подготовленные Центральным архивом ЦК ПОРП, и другие.

Войцех Ярузельский сказал, что проделанная работа позволяет наметить пути и направления развития творчества деятелей культуры, которое будет способствовать расцвету Народной Польши.

Основным докладчиком на Пленуме был член Политбюро ЦК ПОРП Юзеф Чирек, подчеркнувший, что перед польской интеллигенцией встает ряд очень острых вопросов, которые ставит время; возникла насущная необходимость как можно быстрей наверстать упущенное в последние годы в области культуры. Все, что способствует социалистическому обновлению Польши, ее движению вперед, все, что укрепляет позиции страны и ее авторитет в мире, имеет непосредственное отношение к деятельности польской интеллигенции.

«Творческая энергия, новаторский поиск, подкрепленные истинным патриотизмом, являют собой бесценный общественный капитал. Как его умножить, как лучше им распорядиться в свете современных требований — вот тот главный вопрос, на который мы все вместе должны ответить на этом Пленуме».

В прениях по докладу выступил кандидат в члены ЦК, директор и главный редактор Государственного издательского института Анджей Василевский.

Сейчас, сказал он, в век стремительного технического прогресса, понятие «интеллигенция» обретает новое содержание. Появилось много людей, обладающих очень высокой квалификацией в технической области. И нас в первую очередь должно волновать, каким образом использовать и стимулировать их духовный потенциал. Если бы некоторые представители творческой интеллигенции, проявившие себя не лучшим образом в кризисные годы, подвели итог сделанному ими за этот период, они убедились бы в том, что занимались самоуничтожением. И никакая шумная реклама, создаваемая вокруг их имен противниками социалистической Польши, не может никого обмануть. И не надо свою творческую несостоятельность объяснять якобы существующими запретами.

Деятели культуры, сказал далее А. Василевский, несут огромную ответственность перед народом за то, как они отражают его жизнь, как воздействуют на его сознание. Пора направить усилия на то, чтобы объединить всех, кто честен и благороден, кто обладает гражданской совестью.

Директор Национального театра Ежи Красовский также говорил о недостойной позиции некоторых деятелей культуры, тех, что стали в позу «обиженных» и утратили чувство ответственности перед народом и государством.

Все выступавшие высказались за активное участие интеллигенции в жизни общества. «Тот, кто ставит себя выше общества, — сказал театральный критик Ежи Адамский, — теряет почву под ногами».

В заключение Пленумом было принято решение, в котором признана необходимость участия деятелей культуры в построении социалистической Польши, а также создания условий для их плодотворной работы.

РУМЫНИЯ

«САМЫЙ ТРЕЗВЫЙ РЕАЛИЗМ»

Так назвал В. Кристя свою рецензию на роман Константина Стана «Ночи обретения». Молодой румынский прозаик К. Стан (род. в 1951 г.) хорошо известен по первому своему роману «Панцирь», который появился пять лет назад. Уже в нем, как подчеркивает рецензент «Ромыния литерарэ», была ясно сформулирована программная установка К. Стана — показать человека XX века, активного, борющегося, достойного того времени, в котором он живет. Как и в предыдущем, в новом романе писателя, отмечает В. Кристя, «успешно решен замысел автора — отразить действительность с позиций реализма, свойственного литературе XX века».

Действие романа происходит в 1981 году. Главный герой — молодой репортер газеты, энергичный, жизнедеятельный, для которого не существует неразрешимых проблем. Наступает, однако, момент, когда он чувствует неудовлетворенность работой (где, как ему кажется, все удавалось лишь потому, что он часто шел на уступки), разочарованность и в семейной жизни. Герой отправляется в поездку по стране. Как репортер, он особенно остро ощущает динамизм событий, происходящих вокруг; перед ним раскрывается богатство жизни, размах преобразований в условиях строительства нового общества.

Все это выводит героя из создавшегося тупика, возвращает ему веру в себя и в жизнь. Автор, заключает рецензент, добивается оптимистического звучания книги, о чем говорит и само ее название.

СИРИЯ

IX ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Недавно в Дамаске прошел IX фестиваль театрального искусства арабских стран.

Издающийся в Кувейте журнал «Аль-Араби» посвятил фестивалю большую статью театрального обозревателя Валида Абу Бекра. Автор статьи приветствует возобновление дамасских смотров театрального искусства, подчеркивая, что предыдущие восемь фестивалей (последний из них проходил в 1979 году) в большой мере способствовали «активизации театральной жизни в арабских странах».

В IX фестивале приняли участие десять арабских стран. Всего в дни фестиваля было показано более двенадцати спектаклей, из которых одиннадцать представлено девятью странами — гостями фестиваля, а остальные — сирийскими театральными коллективами.

Три последних дня фестиваля были посвящены семинару «Современные средства коммуникации и их связь с театром».

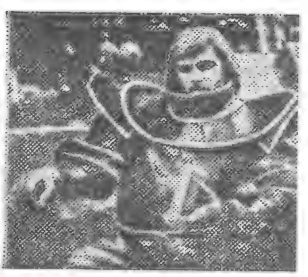
IX фестиваль выявил некоторые новые тенденции в развитии арабской драматургии и театра. Так, сенсацией фестиваля стал успех спектаклей, показанных театральными коллективами Катара и Объединенных Арабских Эмиратов — двух стран Аравийского полуострова, которые в прежних смотрах арабского театрального искусства участвовали лишь формально, так как театр и драматургия делали там тогда лишь первые шаги.

Среди других тенденций, проявившихся на фестивале, автор статьи отмечает возросший интерес деятелей театра к арабскому классическому наследию, которое наиболее ярко продемонстрировал спектакль по мотивам произведения средневекового арабского писателя и философа Абу Хайяна ат-Таухиди под названием «О друзьях и дружбе», поставленный известным марокканским режиссером, артистом и драматургом Ат-Тайибом ас-Саддики, а также обращение драматургов и режиссеров к инсценированию произведений современной арабской литературы и использование театром новейших технических приемов (последнее особенно относится к работам сирийского режиссера Джавада аль-Асади и спектаклям, представленным Тунисом).

Известный румынский кинорежиссер Ион Попеску Гопо снова обратился к экранизации произведений сказочника Йона Крянгэ (1837—1889), произведения которого, переведенные на русский язык, хорошо известны советским читателям. Ранее И. Попеску Гопо были созданы фильмы «Если б я был Белым Арапом» (1966) и «Сказка любви» (1977). На этот раз в сценарии (автором которого является сам режиссер) к фильму «Пари» использованы мотивы из сказок И. Крянгэ «Кошелек с двумя монетами», «Белая как снег».

На снимке: режиссер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей И. Попеску Гопо (слева) и актер Флорин Пьерсик в фильме «Пари».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)



США

«ОСКАР» ЧЕРЕЗ 27 ЛЕТ

23 марта 1985 года вдовам американских кинодраматургов Карла Формана и Майкла Уилсона была вручена премия Оскара, полагавшаяся кинодраматургам еще 27 лет назад за сценарий фильма «Мост через реку Квай», написанный по одноименному роману Пьера Буля. Как отмечает корреспондент «Кэнейдиен трибюн», «в этот день Академия киноискусства исправила вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к выдающимся профессионалам в области кинематографа».

Что же послужило причиной этой несправедливости, вследствие которой творческая заслуга людей была оценена и признана лишь посмертно? Дело в том, что К. Форман и М. Уилсон в числе других прогрессивных деятелей кинематографии были занесены в черный список, составленный под давлением конгресса в разгар «холодной войны». В то время маккартистская «охота на ведьм» ставила под угрозу деятельность многих талантливых людей. Известны случаи, когда сценаристам приходилось выступать под псевдонимами.

В 1984 году друзья уже умершего Уилсона и безнадежно больного Формана составили ходатайство в Американскую гильдию писателей, правление которой единодушно признало заслугу сценаристов. Форман скончался на следующий день после сообщения о том, что он наконец получит премию Оскара. В прошлом же году заслугу кинодраматургов признала и Академия киноискусства.

Итак, премия Оскара вручена посмертно, с опозданием на 27 лет. Как ком-

ментирует это событие корреспондент «Кэнейдиен трибюн», «запятнавшая свою честь Академия киноискусства сделала запоздалую попытку обелить черную страницу своей истории. Что ж, лучше поздно, чем никогда!» — заключает газета.

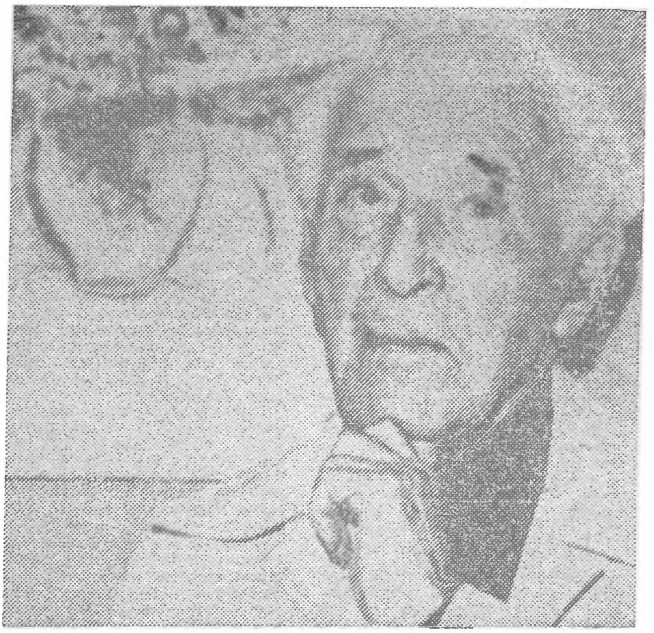
ФРАНЦИЯ

РОМЕН РОЛЛАН НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Новая, 26-я по счету, книга из серии «Тетради Ромена Роллана» посвящена его переписке с романистом Альфонсом де Шатобрианом и охватывает годы 1906—1914. А. де Шатобриан, который был на одиннадцать лет моложе Роллана, еще в начале века стал его горячим почитателем. В годы первой мировой войны, а тем более в последующие годы Шатобриан, стоящий в молодости вне политики, неожиданно стал сторонником крайнего национализма. Оба писателя резко разошлись во взглядах. Но в годы перед первой мировой войной их переписка носила дружеский характер. Роллан рассказывал младшему собрату о ходе своей работы над завершающими книгами «Жан-Кристофа», а потом — о начале работы над новой повестью: «Я погрузился в труд, я облекся в новую кожу, которая мне впору, как перчатка... Я уже не Жан-Кристоф, я Кола Брюньон. Да, я, конечно, когда-то был им, и все бургундцы, которые дремали в моих костях, теперь проснулись...»

Радость творческого труда не отвлекала Роллана от политических проблем дня: угроза мировой войны, отчетливо встающая перед героями «Жан-Кристофа», становилась в глазах писателя-гуманиста все более страшной и неминуемой. Об этом говорят многие его письма. Так, он писал 15.IX.1911 г.: «До свидания, дорогой Шато, и пусть грозящая война не помешает нам встретиться через несколько недель! Я не желаю ее, даже если бы она предвещала победу Франции. Слишком много Франция потеряет — будь она победительницей или побежденной».

К этой теме он вернулся 10.X.1911 г.: «Грязная эта Европа!.. Желаю вам уберечься от грозящей схватки, в которой я действительно не могу встать на одну из сторон: ибо все народы Европы, включая и наш, играют тут отвратительную роль. Здесь сталкиваются не великие души, преданные своим идеалам, а банды жадных и порочных спекулянтов, которые спорят из-за добычи, и сколько подлости и у тех и у других!» 23 мая 1912 года он писал: «Я с ужасом прочитал сегодня утром, что рейхстаг ассигновал еще 1100 миллионов на рост армии и флота. Я в тревоге — не только как француз. Я знаю, что и Франция поступит так же. Я встревожен как европеец. Подумайте, мой друг, сколько баснословных богатств падает вот уже лет пятьдесят в чудовищную пропасть, на дне которой — убийства и грабежи! И это происходит в то время, когда такая нищета вопиет со всех сторон! Ведь с половиной этих сказочных сокровищ можно было бы возвести дворцы искусства, достойные «Тысячи и одной ночи»! Мне стыдно быть человеком среди таких людей». Письмо, завершающее сборник, датированное 1 августа 1914 года: «Предстоит жестокое испытание... А когда оно пройдет, помните, что у вас — и у нас — долг перед будущим: бороться против войны неустанно, с открытым забралом, всеми нашими книгами — и работать над тем, чтобы создать новую Европу, свободную от клановых и расовых предрассудков. Сейчас уже поздно поднимать голос. Но это надо будет сделать, как только буря пройдет». Немного времени спустя Ромен Роллан убедился, что поднять голос против войны — не поздно. 2 сентября 1914 года появилось «Письмо Герхарту Гауптману» — первое в ряду публицистических выступлений Роллана, положивших начало его деятельности как борца против империализма и войны.



Ушел из жизни «великий старец искусства XX века» Марк Шагал. В этом году ему исполнилось бы 98 лет. Волею судеб таланту Шагала суждено было расцвести и окрепнуть во Франции, ставшей второй родиной художника, но в творчестве его неизменно присутствовала Россия. На полотнах Шагала вновь и вновь оживал родной Витебск, Витебск далекого детства. Серию графических работ, посвященных Маяковскому, Шагал принес в дар Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Полотна Марка Шагала, писала датская «Ланд ог фольк» в связи с двумя его большими ретроспективными выставками, поражают своей непосредственностью: «Так и хочется назвать его антисюрреалистом... его работы исполнены жизнеутверждающей силы, любви к людям, причастности к судьбам мира».
На снимке: Шагал в последние годы жизни.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЭГОН ЭРВИН КИШ — НЕИСТОВЫЙ РЕПОРТЕР

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения известного чешско-австрийского писателя Эгона Эрвина Киша (1885—1948). В связи с его юбилеем пражское издательство «Новинарж» выпустило книгу «Эгон Эрвин Киш — журналист и борец». Это своеобразная «фотобиография», авторы которой Габриэла Земличкова и Иржи Томаш собрали более

380 материалов и фотодокументов, рассказывающих о жизни и творчестве выдающегося мастера художественной публицистики. В предисловии к сборнику, написанном Зденеком Хорени, главным редактором газеты «Руде право», говорится: «Эгон Эрвин Киш был и остается одним из самых ярких представителей антиимпериалистического, антифашистского направления в мировой литературе и журналистике».

Эгон Киш с Чарли Чаплином в Голливуде, с Фридрихом Вольфом и Эрвином Пискатором в Москве, Анной Зегерс в Версале... Эти и многие другие фотографии дают представление о неспокойной жизни «неистового репортера», о разнообразии его интересов. Некоторые материалы, вошедшие в книгу, хорошо известны, другие публикуются впервые. Среди последних — много документов, свидетельствующих о влиянии Э. Э. Киша на духовную жизнь Чехословакии.

Недавно чехословацкий Союз журналистов организовал международный симпозиум, посвященный юбилею писателя. Участники симпозиума говорили об огромном значении литературного наследия Киша для современной журналистики, о секрете необычайной убедительности и достоверности его произведений. Особый интерес представляли выступления журналистов старшего поколения, которым довелось работать с Кишем. Они рассказали о большой практической помощи, которую оказал писатель молодым сотрудникам газеты «Руде право» после возвращения из эмиграции. Во многих докладах подчеркивалась способность Киша увидеть за внешней, «фактической» оболочкой событий их сущность и тенденции развития.

Блестящий журналист и убежденный коммунист Эгон Эрвин Киш в 1935 году на конгрессе в защиту культуры в Париже высказал мысль, которую можно считать ключевой для понимания его творчества: «Каждый сознательный писатель должен уметь совмещать в своих произведениях борьбу и искусство, только тогда его усилия не пропадут даром».

Душан Заплетал — известный словацкий художник-график. Он лауреат многих премий. Его произведения широко экспонировались — как в Чехословакии, так и за рубежом.

На снимке: гравюра Душана Заплетала «Мы не хотим войны».

(Журнал «Бильденде кунст»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ /зам. главного редактора/, **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** /отв. секретарь/, **К. А. ЧУГУНОВ** /зам. главного редактора/, **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

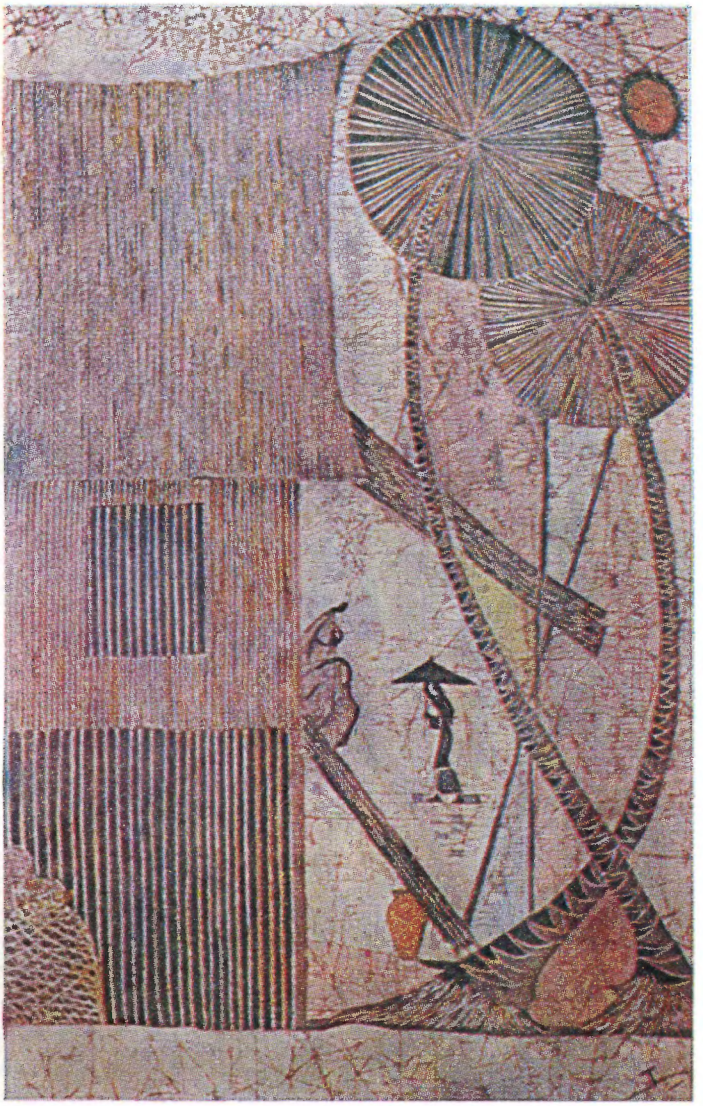
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 31.05.85. Подписано в печать 12.07.85. А 07231. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 26,79

Тираж 377 000 экз. Зак. 2083.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



ЧЖУА ТЯНЬ ТЭН. Под пальмами.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394